

Библиотека журнала «Голос Эпохи»

**Елена Семенова**



**ЧЕСТЬ – НИКОМУ!**

Том II.

**ЮНОСТЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА**

## Annotation

Книга Елены Семёновой «Честь — никому!» — художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход... Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил. На страницах книги читатель встретится, как с реальными историческими деятелями, так и с героями вымышленными, судьбы которых выстраивают сюжетную многолинейность романа. В судьбах героев романа: мальчиков юнкеров и гимназистов, сестёр милосердия, офицеров, профессоров и юристов, солдат и крестьян — нашла отражение вся жизнь русского общества в тот трагический период во всей её многогранности и многострадальности.

- 
- [Елена Владимировна Семёнова. Честь — никому! Том 2. Юность Добровольчества](#)
    - [Глава 1. Манычский «Тильзит»](#)
    - [Глава 2. Святое дело](#)
    - [Глава 3. Распутье](#)
    - [Глава 4. Аутодафе](#)
    - [Глава 5. Могильный звон](#)
    - [Глава 6. «Ноев ковчег»](#)
    - [Глава 7. Горькая победа](#)

- [Глава 8. Триумфальный день](#)
  - [Глава 9. По лезвию тонкому...](#)
  - [Глава 10. Прощание с Первопрестольной](#)
  - [Глава 11. Русская голгофа](#)
  - [Глава 12. Николай Петрович Вигель](#)
  - [Глава 13. Крест власти](#)
  - [Глава 14. Во стане своём чужаки...](#)
  - [Глава 15. Тени мёртвого города](#)
  - [Глава 16. Граф Келлер](#)
  - [Глава 17. Русские люди](#)
  - [Глава 18. Цареубийца](#)
  - [Глава 19. Рождество в Святом Кресте](#)
  - [Глава 20. Патриарх Тихон](#)
  - [Глава 21. Встреча рыцарей](#)
-

**Елена Владимировна  
Семёнова. Честь — никому!  
Том 2. Юность  
Добровольчества**

# Глава 1. Манычешкий

## «Тильзит»

*15 мая 1918 года. Станица Манычешкая*

«Родимый Край... Как ласка матери, как нежный зов её над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов.

Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок под лавкой в уголке, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных моих могил, и над левадой дым кизечный и пятна белых куреней в зелёной раме роц вербовых, гумно с буреющей соломой и журавель, застывший в думе, — волнует сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованный.

Тебя люблю, Родимый Край...

И тихих вод твоих осоку, и серебро песчаных кос, плач чибиса в куге зелёной, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый милый Дон не променяю ни на что...

Родимый Край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разлуки и грусть безбрежная — щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной...

Молчание мудро седых курганов и в небе клетот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зелёный и родной... не ты и это, Родимый Край?

Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой Край Родной...

Но всё же верил, всё же ждал; за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнёт волну наш Дон Седой...

Вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы...

И взволновался Тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна...

Звенит, и плачет, и зовёт...

То Край Родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог и угол...

Кипит волной, зовёт, зовёт на бой Родимый Дон...

За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит Седой наш Дон, — Родимый Край...» — в каком казачьем сердце не звучала эта дивная песнь? Поэты для того приходят на белый свет, чтобы облечь в жемчуга слов чувства многих людей, чувства народа своего, которые не выразить простому смертному. Тысячи сердец бьются святой любовью к родимому краю, тысячи голов кладутся за свободу и счастье его, но только одно сердце — сердце поэта — может немому чувству этому дать голос, дать слова, чистые, как молитвенный вздох, от которых наворачиваются слёзы. В чёрные для Дона дни родились эти строки в душе Фёдора Крюкова. Приговорённый к расстрелу и чудом избежавший его, он с болью наблюдал, как казаки идут войной друг на друга. В родной его станице Глазуновской целых три группы непримиримых явились: «мироновцы», «кадеты» и «нейтральные», надеющиеся смуту пересидеть. А ещё же и шкурников сколько обнаружилось! Едва ли не каждый день созывались сборы, и звали на них Фёдора Дмитриевича, как

образованного человека, писателя, в столице жившего, чтобы разъяснил всевозможные вопросы. Ходил, разъяснял... Сам ни на мгновение не расставался с германским карабином, ожидая постоянно расправы. Разъяснял до хрипоты, что отсидеться — не удастся, что шкурническая позиция не спасёт от насилий и грабежей красных бандитов, что одно нужно теперь — без колебаний братья за топоры и вилы и очищать родную землю от них. Но — не слушали. Сомневались. И лишь испытав на себе гнёт большевизма, очнулись. Так и весь Тихий Дон — всколыхнулся и поднялся на защиту вековых устоев и своей свободы против революционных банд.

Лилась кровь по донской земле. Запустение и разруха воцарилась повсюду. Многие станицы были разграблены, церкви поруганы, атаманский дворец изгажен. Размылись, расшатались нравственные устои в душах. Грабежи, убийства и насилия стали обыденностью повседневной жизни. Полиции не существовало. Повсюду шли бои, немцы, встречаемые, как освободители, занимали западную часть Донецкого округа. Из двухсот пятидесяти двух станиц Войска Донского лишь десять были свободны от большевиков.

При таких обстоятельствах был избран на Дону новый атаман — Пётр Николаевич Краснов.

Генерал Краснов был от природы наделён всеми качествами, необходимыми вождю. Блестящий оратор, тонкий знаток казачьей психологии, имевший несомненный актёрский талант, он умел производить впечатление на людей, умел завоёвывать их любовь. Приняв атаманскую булаву, Пётр Николаевич выделил из многочисленных стоящих перед ним задач основные. Первое и главное — освобождение Дона от большевиков. Что нужно для этого? Армия. А армии необходима идея и оружие.

Ясно как Божий день было, что добровольческая «единая и неделимая Россия» не способна вдохновлять сердца. Это не лозунг, не идея, а что-то размытое и размазанное, не могущее конкурировать с большевистскими звонкими посулами. Даже трудно уразуметь было логику вождей добровольческих — неужели не понимают, что народу нужно дать идею, равнозначную по силе идеям большевиков? Клином вышибают! Проповедуют «товарищи» интернационализм? Отлично! А мы тому противопоставим ярый национализм! Воинственный, пламенный! Бросил атаман лозунг:

— Дон — для донских казаков!

Радикализм? Крайность? Неправильно и несерьёзно? Самостийность, вредная для «единой и неделимой»? Так ведь нет уже «единой и неделимой»! Распалась она! Даст Бог, возродится вновь. Краснов ли против этого был? Краснову ли, русскому генералу, Россия единая не дорога была? Уж, конечно, не быть Дону от России отделённым. Но только тогда — когда Россия будет Россией, а не Совдепией. А дотоле здоровее будет он, оставаясь независимым. Может быть, шовинизм и крайность. Но крайности одной только другую крайность противопоставить можно. Только она способна одолеть. Масса не задаётся вопросами глубокими, масса живёт инстинктами простыми. Большевики к этим инстинктам — самым низменным — обратились, и успешно. (Растлили дух народный — теперь сколько раны эти уврачевывать!) Инстинкты, психология, порыв — всё это много сильнее высокоумных программ и дипломатических формулировок, сухих и сердцу народному ничего не говорящих. А сердцу народному — острота нужна, перец. Национальный инстинкт — из сильнейших будет. Большевизм только шовинизмом вытеснять. Борьба с большевиками может быть только национальной,



народной. Превращаясь в классовую, политическую, она обречена на провал. «Дон для донцов» — доходчиво и звучно. Сказу понимает казак, за что воюет — за свою землю, за свой Дон, за свою независимую, мирную, сытую жизнь, за свои традиции вековые. А скажи казаку — «за единую и неделимую»? Плечами пожмёт только. Зачем она ему? Ему свой баз ближе. Нужно выдвигать те лозунги, за которыми пойдут. А когда пойдут, когда одолеют вражью силу, тогда уже и воссоединять Россию. От сильной и выздоровевшей России многие ли станут отмежёвываться?

А покуда — нет беды в самостийности. Желает незалежная Украина быть независимой? На доброе здоровье! И все прочие — также! Лишь бы с большевиками дрались. А с ними разделавшись, можно решать уже вопросы оставшиеся. Но не понимали этого в Добровольческой армии, не хотели понять. И самостийность виделась ей предательством, отступничеством.

«Единой и неделимой» никогда бы не поддержали немцы. Добровольцам, верным союзническим обязательствам, нет дела до того. А Краснову, как с немцами в контры вступать, если они большую часть Войска Донского заняли? Воевать и с большевиками и с ними? Силёнок не хватит! Добровольцы на Дону — временные гости, им большой заботы нет, как здесь жизнь наладить. А атаману донскому как о том не печься? Союзники-то — где они? Когда-то будет помощь их? А немцы помогали уже теперь. Главным, что армии нужно было. Оружием. Понимал Краснов, что рассчитывать в вопросах снабжения лишь на стороннюю помощь недальновидно, и поставил целью развить на Дону все насущные отрасли, которые позволят жить на самообеспечении. Но такая работа не в один присест делается! На неё время нужно. А время это только немцы своим присутствием и помощью могут

обеспечить. Стало быть, необходимо сотрудничать с ними.

А Деникин — не желал понять. Сотрудничество это считал изменой союзниками. Чуть ли не самой России! Мнилось ему, будто бы действия атамана Россию раскалывают. А атаман все выступления свои перед казаками заканчивал одними и теми же словами:

— Любите свою великую, полную славы Родину — Тихий Дон и мать нашу Россию! За веру и Родину — что может быть выше этого девиза!

Где же раскол здесь? Сам Антон Иванович больше раскалывает антибольшевистские силы желанием подмять их все, навязать «единую и неделимую». К чему?

Ополчились Добровольцы на атамана. А ещё пуще — понаехавшие из Совдепии кадеты. Хороши, нечего сказать! Просвистели Россию, прибежали на Дон, свои шкуры спасая, и тут — начали немедленно подрывную деятельность. Стали раздирать Дон на ориентации. Уже «Круг спасения Дона», Красновым и созданный, выговаривал:

— Надо поступать так, как поступает Добровольческая армия, уходить от немцев.

— Хорошо Добровольческой армии! У неё нет ни земли, ни народа, она может идти хотя до Индии, но куда я пойду со станицами, хуторами, со стариками и детьми? Добровольческая армия чиста и непогрешима. Но ведь это я, донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии! Весь позор этого дела лежит на мне!

Так и распределились роли. Добровольцы — в белых ризах, а атаман — в грязи. А снаряды немецкие брали, делая вид, что они не от немцев их получают... Отказались бы! Были бы принципиальными до конца!

А ещё же хлынули в Ростов и Новочеркасск худшие элементы Добровольческой армии. Герои гибли на фронтах, совершали чудесные подвиги, а шкурники, притворяясь больными и ранеными, стекались в тыл. Тыл становился рассадником спекуляции, разврата, пьянства. В тылу сбывали награбленную у мирных жителей «добычу», звенели золотом... А фронт оставался бос и гол. Пустили в Добровольческой армии крылатый эпитет: «Всевесёлое Войско Донское». Будто бы не её офицерами набиты были Ростовские и Новочеркасские кабаки в то время, как с казаков атаман строго взыскивал за пьянство. Донцы и Добровольцы на фронте не могли идти друг против друга, были единым целым. А в тылу, провоцируемые разными тёмными личностями, враждовали. И тыловым настроениям поддался и Деникин со своим окружением.

Крупная размолвка вышла между командующим Донской армией Денисовым и Добровольцами. Молод и горяч был Святослав Варламович, не стерпел резких нападок в свой и атамана адрес за сношения с немцами, высказался едко, как умел он:

— Что же Войску делать? Немцы пришли на территорию его и заняли. Войску Донскому приходится считаться с совершившимся фактом. Не может же оно, имея территорию и народ, её населяющий, уходить от них, как то делает Добровольческая армия. Войско Донское — не странствующие музыканты, как Добровольческая армия.

«Странствующими музыкантами» — как хлестнул! И из штаба Деникина тотчас в гнев парировали:

— Войско Донское — это проститутка, продающая себя тому, кто ей заплатит!

Но не им было тягаться с Денисовым в острологии. Не остался в долгу Святослав Варламович:

— Скажите Добровольческой армии, что если Войско Донское проститутка, то Добровольческая армия —

сутенёр, пользующийся её заработками и живущий у неё на содержании.

Этого Деникин простить не мог. Денисов был записан во враги Добровольческой армии, и Антон Иванович добивался его удаления. Но атаман был доволен работой своего ближайшего помощника и требование Деникина оставил без внимания.

Все трения во взаимоотношениях двух армий решено было обсудить при личной встрече их руководителей. Она назначена была в станице Маныческой и шутливо именовалась в среде офицерства «Тильзитом». Разговор обещал быть непростым. Генерал Деникин отказывался признавать Донскую армию, требовал её подчинения общему руководству в своём лице, совершенно не считаясь с волей казаков. И странно было бы сорокатысячной Донской армии подчиниться двенадцатитысячной Добровольческой. Добровольческая армия жила на территории Войска Донского, получала снабжение через донского атамана — и требовала себе подчинения. Только развести руками можно было.

О грядущей встрече Краснову сообщили буквально накануне её. Пётр Николаевич поехал на неё вместе с управляющим иностранными делами генералом Богаевским, кубанским атаманом Филимоновым и генерал-квартирмейстером штаба Донской армии полковником Кисловым. Святослава Варламовича, хотя и не без сожаления, решил на эти переговоры не брать, дабы ещё больше не раздражать Деникина и не вызвать очередной ссоры.

Около часа дня прибыли на место. Спустя ещё час приехали Алексеев и Деникин вместе с Романовским и ещё несколькими офицерами. Беседа проходила в хате станичного атамана, где на столе разложены были карты с показанием расположения войск. Предстояло определить дальнейший план действий. Но Антон

Иванович начал не с этого. Он заговорил довольно резко, указывая на карту:

— Пётр Николаевич, я должен заявить вам о недопустимости операций, подобных той, что была под Батайском!

— Почему, Антон Иванович?

— В диспозиции указано, что в правой колонне действует германский батальон и батарея, в центре — донцы, а левой колонне — отряд полковника Глазенапа. Согласитесь с тем, что это недопустимо, чтобы добровольцы участвовали с немцами. Добровольческая армия не может иметь ничего общего с немцами. Я требую уничтожения этой диспозиции.

Краснов пожал плечами:

— Истории уничтожить нельзя. Если бы эта диспозиция относилась к будущему — другое дело, но она относится к сражению, которое было три дня тому назад и закончилось полной победой отряда полковника Быкадорова, — Пётр Николаевич кивнул на присутствовавшего на совещании полковника, — и уничтожить то, что было, невозможно.

Остальные участники переговоров хранили молчание. Романовский выглядел, как всегда, холодно-надменным. Холёное, чуть полноватое, породистое его лицо оставалось непроницаемо. Генерал Алексеев был болен. Он сидел за столом, совершенно серый, безучастный, подперев ладонями голову, время от времени поднимался и выходил на воздух, с видимым трудом переставляя ноги. Серьёзной поддержки за собой на этом совещании Краснов не чувствовал. Богаевский был скорее союзником Деникина. Когда бы Денисова сюда! Но — и лучше без него, с другой стороны. Распалился бы чересчур, вышел бы скандал... И без того довольно их.

Снова и снова гнул своё Антон Иванович:

— ...Вы должны понимать, что единое командование необходимо. Донские части должны вступить в Добровольческую армию. Мы должны быть едины!

— Я не спорю с этим. Но согласитесь и вы, что единое командование может существовать только при условии существования единого фронта, — отозвался атаман и, не дожидаясь подачи Деникина, сам обратился к главному вопросу, который предстояло решить на встрече. — Я рассчитываю и надеюсь, Антон Иванович, что цели, преследуемые Войском Донским и Добровольческой армией, одни и те же — уничтожение большевиков. К этому же стремится и атаман Дутов с оренбургскими казаками и чехословаки, с которыми необходимо наладить взаимодействие.

Тут перешёл Краснов к своей излюбленной идее. Нельзя, нельзя размазывать скудные силы по окраинам, но сконцентрировать их, и единым фронтом-кулаком ударить по главному направлению — в центр. И — как можно скорее. Не давая врагу опомниться.

— Если вы считаете возможным со своими добровольческими отрядами оставить Кубань и направиться к Царицыну, то все донские войска Нижнее-Чирского и Великокняжеского районов будут подчинены вам автоматически. Движение на Царицын при том настроении, которое замечено в Саратовской губернии, сулит добровольцам полный успех. В Саратовской губернии уже начались восстания крестьян. Царицын даст вам хорошую чисто русскую базу, пушечный и снарядный заводы и громадные запасы всякого войскового имущества, не говоря уже о деньгах. Добровольческая армия перестанет зависеть от казаков. Кроме того, занятие Царицына сблизило бы, а может быть, и соединило бы нас с чехословаками и Дутовым и создало бы единый грозный фронт. Опираясь на Войско Донское, армии могли бы начать свой марш на Самару, Пензу, Тулу, и тогда донцы заняли бы

Воронеж... — рисовал атаман ярко все перспективы своего плана, говорил горячо и убедительно, надеясь достучаться, но видел по лицу Деникина, что разбиваются все доводы, как об стену. Как же упрямым был добровольческий вождь! Ничем не сокрушить эту броню!

— Я ни за что не пойду на Царицын, — категорически заявил Антон Иванович, — потому что там мои Добровольцы могут встретить немцев. Это невозможно.

— Ручаюсь вам, что немцы дальше Усть-Бело-Калитвенской станицы на восток не пошли и без моего разрешения не пойдут.

— Всё равно на Царицын я теперь не пойду, — словно не слушал даже. — Я обязан раньше освободить кубанцев — это мой долг, и я его исполню.

А кубанский атаман? Кубанский атаман безмолвствовал, будто бы совсем не касалось его только что озвученное. Даже в лице не отразилось ничего.

О том, каковы должны быть дальнейшие действия армии, генерал Деникин уже давно и прочно решил. И вместе с Романовским составил план, который теперь Иван Павлович стал последовательно и подробно излагать представителям Войска Донского:

— Во-первых, немедленное движение на север при условии враждебности немцев, которые могли сбросить нас в Волгу, при необходимости базирования исключительно на Дон и Украину, то есть области прямой или косвенной немецкой оккупации и при «нейтралитете» — пусть даже вынужденном — донцов, может поставить армию в трагическое положение: с севера и юга — большевики, с запада — немцы, с востока — Волга. Что касается перехода армии за Волгу, то оставление в пользу большевиков богатейших средств Юга, отказ от людских континентов,

притекавших с Украины, Крыма, Северного Кавказа, словом, отказ от поднятия против Советской власти Юга России наряду с Востоком представляется нам совершенно недопустимым. Он может явиться лишь результатом нашего поражения в борьбе с большевиками или... немцами. Во-вторых, освобождение Задонья и Кубани обеспечит весь южный четырёхсотвёрстный фронт Донской области и даст нам свободную от немецкого влияния обеспеченную и богатую базу для движения на север; даст приток укомплектований надёжным и воинственным элементом; откроет путь к Чёрному морю, обеспечивая близкую и прочную связь с союзниками в случае их победы; наконец, косвенно будет содействовать освобождению Терека. В-третьих, нас связывает нравственное обязательство перед кубанцами, которые шли под наши знамёна не только под лозунгом спасения России, но и освобождения Кубани... Невыполнение данного слова будет иметь два серьёзных последствия: сильнейшее расстройство армии, в особенности её конницы, из рядов которой ушло бы много кубанских казаков, и оккупация Кубани немцами...

— Все измучились, — прибавил Филимонов. — Кубань дольше ждать не может... Екатеринодарская интеллигенция обращает взоры на немцев. Казаки и интеллигенция обратятся и пригласят немцев...

Посматривал Антон Иванович на атамана — какую реакцию вызывают приводимые доводы? А реакция читалась явственно — раздражён был Краснов. Так и сквозила неприязнь. Добро ещё не притащил на совет своего любимца Денисова, готового желчью своей всю Добровольческую армию испепелить.

Нет, явно не ладилось ничего с атаманом. Задумывал это совещание Деникин с целью хоть как-то позиции сблизить, найти общий язык, а вот — не



получалось. Волком смотрел Краснов, явно видя себя единственно правым, не считая нужным прислушиваться к другим. Ах, нет Каледина... С ним договориться всегда было легче. А с Красновым — никак. Чувствовал Деникин, что с ним работы не будет.

В конце концов, кем возомнил себя атаман? Вождём самостийной казачьей республики? Единственным спасителем России? Широкий разброс! Хотя бы одно что-то избрал, а то везде поспеть желает. А с армией Добровольческой ведёт себя просто возмутительно. Чего стоит один только приказ об изъятии донских казаков из рядов Добровольческой армии! Какой удар нанесён был этим Партизанскому и конному полкам! Но тем не ограничилось. Некоторые части самовольно переходили на службу в Донскую армию. Ночью целый взвод ушёл в Новочеркасск, забрав оружие и пулемёты. Сбежал конный вестовой самого Деникина, текинец. Прихватил с собой двух лошадей, украв и лошадь генерала. И все они у Краснова встречали радушный приём! А переход из Донской армии в Добровольческую вызывали негодование.

Двадцать пятого апреля в Новочеркасск прибыл отряд полковника Дроздовского. Эти чудо-богатыри добрались до Дона с румынского фронта, через Молдавию, громя на своём пути большевиков и покрывая себя славой. Михаил Гордеевич тотчас доложил Деникину, что прибыл в его распоряжение и ожидает приказаний. Но Краснов делал всё, чтобы оставить Дроздовцев в своём подчинении. Он разбрасывал отряд частями по области, публично и с глазу на глаз упрашивал Дроздовского не покидать Новочеркасск, порочил Добровольческую армию и её вождей, уговаривал остаться на Дону и самому возглавить добровольческое движение под общим руководством Краснова. Но Михаил Гордеевич проявил твёрдость и отверг эти недостойные предложения,

заверив Антона Ивановича в своей непричастности к новочеркасским интригам: «Считая преступным разъединять силы, направленные к одной цели, не преследуя никаких личных интересов и чуждый мелочного самолюбия, думая исключительно о пользе России и вполне доверяя Вам, как вождю, я категорически отказался войти в какую бы то ни было комбинацию, во главе которой не стояли бы Вы...» Но несмотря на честную и категорическую позицию Дроздовского, получить в своё распоряжение его отряд Деникин не мог до сих пор, и это рушило все планы.

В том, что двигаться необходимо на Кубань, Антон Иванович не сомневался. Кубанское офицерство жило ожиданием наступления и освобождения своих станиц. Обмануть их было никак нельзя.

Последнее слово на совещании принадлежало генералу Алексееву. Именно на его плечи легли все сношения с союзниками и финансовыми кругами, с Доном и политическими партиями. Весь авторитет и влияние своё употреблял он на привлечение внимания и помощи Добровольческой армии, работал, не покладая рук с неизменной кропотливостью, не щадя давным-давно расшатанного своего здоровья.

Михаил Васильевич мало прислушивался к происходившей за столом дискуссии. Ему нездоровилось уже несколько дней, а поездка на автомобиле до Манычской разбила его окончательно. Голова кружилась, и не отступала мучительная дурнота. Несколько раз выходил он на крыльцо, вдыхал чистый весенний воздух, но легче не становилось. Слушать доводы сторон необходимости не было. Все их Алексей знал наизусть, но твёрдого мнения, какой путь вернее, не было у него. Последнее время овладела им глубокая безысходность. Казалось, всё было против Добровольческой армии: и финансовое положение, ставшее критическим, и немцы с их скрытыми

политическими целями, и личность донского атамана, его отношение к добровольцам, и беспомощность Кубани, невозможность и бесцельность повторения туда похода при данной обстановке, не рискуя погубить армию...

Терзали Михаила Васильевича сомнения. Генерал Краснов, беря начальственный тон по отношению к армии, указывает ей путь — скорее берите Царицын, но Дроздовского я удержу в Новочеркасске до создания регулярной Донской армии. Цель — сунув добровольцев в непосильное предприятие, на пути к выполнению которого они могут столкнуться с немцами, избавиться о них на Дону... А с другой стороны — углубление на Кубани может привести к гибели. Центр тяжести событий, решающих судьбу России, неминуемо переместится на восток, на Волгу... Опоздать на главный театр, обмануться в выборе пути — смерти подобно...

На Кубани — гибель. На Кавказе — мало привлекательного и делать нечего. На Волге... Куда ни кинь, всюду клин!

Алексеев опустил за стол, вновь подпёр ладонями исхудалое, больное лицо, заговорил едва слышно (каждое слово с мучением давалось, и всего сильнее хотелось — лечь):

— Вы, Пётр Николаевич, правы в том, что направление на Царицын создаст единый фронт, но вся беда в том, что кубанцы из своего Войска никуда не пойдут... — прервался, жмуря глаза, перед которыми плясали красные точки. — ...А Добровольческая армия бессильна что-либо сделать, так как в ней всего около двух с половиной тысяч штыков... Ей надо отдохнуть, окрепнуть, получить снабжение, и Войско Донское должно ей помочь... Кубань хотя и поднялась против большевиков, но сильно нуждается в помощи добровольцев. Если оставить кубанцев одних, можно

опасаться, что большевики одолеют их, и тыл Донской армии будет угрожаем со стороны Кубани...

Всё-таки поддержал Деникина и, бессильно откинувшись на спинку стула, закрыл глаза. А Антон Иванович резюмировал:

— Добровольческая армия совместно с кубанцами вновь пойдёт на Екатеринодар. После очищения Кубани мы сможем помочь Донской армии в операциях на Царицынском направлении.

— Стало быть, расходимся, — констатировал Краснов с глухим недовольством. — В таком случае, позвольте заметить последнее: наступать необходимо сейчас. Не откладывая! Сейчас сердца казаков полны желания и решимости бить красную нечисть, их порыв нужно использовать!

Мог ли думать атаман шире, чем о своих казаках? Ведь был в Великую бригадным генералом, а так рассуждает теперь! Искренно заблуждается или играет? Скользкий человек — не доверял ему Деникин ни в чём. «Наступать необходимо сейчас»! Каково? Хочет погнать Добровольческую армию, измождённую одним походом, не дав духа перевести, в другой, тяжелейший. На верную гибель. А может, того и надо ему? Отделаться?

— Нет, нет и нет. Вы же слышали, Добровольческая армия нуждается в отдыхе и пополнении. Ей необходимы квартиры, правильная организация тыла. И Дон должен быть таким тылом, снабдить армию всем необходимым.

— Пока вы будете отдыхать, время будет упущено безвозвратно! Сейчас комиссары растеряны, им нельзя дать очухаться, а бить, бить, не останавливаясь. Сколько вам нужно на отдых? Месяц? За этот месяц они оправятся, реорганизуются, укрепятся и станут гораздо сильнее и опаснее!

— За этот месяц, Пётр Николаевич, укрепимся и мы. А сейчас армия физически не в силах наступать. Она слишком измотана, разве вы не понимаете? Тыл — вот, первая забота сегодня.

— На Дону не хватает лазаретов и госпиталей, — поддержал Деникина Романовский. — В Ростове и Новочеркасске до сих пор нет этапных пунктов и вербовочных бюро. Снабжение не налажено. Мы приняли решение просить правительство Дона о выделении Добровольческой армии займа в размере шести миллионов рублей, о котором имелась договорённость ещё с атаманом Калединым. Со своей стороны, мы обязуемся обеспечивать тыл Войска Донского со стороны Кубани.

Менее всего хотелось Антону Ивановичу одалживаться у донского правительства (фактически — у Краснова). Но более не у кого было. Денег на содержание армии больше не было, что приводило в отчаяние Алексеева, ведавшего всеми финансовыми делами. Деньги нужны были, как воздух, а на пожертвования «буржуев», исходя из недавнего печального опыта, надежды не было. Оставался — Краснов. Как неизбежность.

Атаман не отвечал. Смотрел как-то недобро и, как показалось Деникину, не без тени злорадной насмешки: что, де, «странствующие музыканты», плохи дела ваши? Не отвечал, словно выдерживая театральную паузу. Что за актёрство! И надо же было, чтобы именно Краснову булаву вручили! Когда бы на этот пост — Африкана Петровича Богаевского. Он тут же сидел, покручивая ус. Первопоходник, верный человек. Тоже не последний на Дону. Брат его, донской Златоуст, казаками чтимый, был правой рукой Каледина, погиб от рук большевиков. Чем не атаман?

Любого ответа ожидал Антон Иванович, но прозвучавший был уже за пределами нахальства:

— Хорошо. Дон даст средства, но тогда Добровольческая армия должна подчиниться мне!

Просто издевался этот сочинитель романов фривольного содержания! Деникин побагровел и, едва сдерживая подступавшее негодование, отчеканил сухо:

— Добровольческая армия не нанимается на службу. Она выполняет общегосударственную задачу и не может поэтому подчиниться местной власти, над которой довлеют областные интересы.

Краснов усмехнулся, ничего не ответил.

— Я прошу вас также настоятельно и в который раз о немедленном присоединении полковника Дроздовского к Добровольческой армии, — добавил Антон Иванович.

— Когда вы предполагаете начать активные действия?

— Примерно через месяц.

— Хорошо, Дон окажет вам помощь.

Как величайшее одолжение сделал! Какое чувство превосходства! Сказал «Дон окажет», а прозвучало: «я окажу». Видимо, ощущает себя олицетворением Дона. Скорее бы добраться до Екатеринодара! Освободиться от унижительной зависимости от донского атамана! На Кубани Добровольческую армию ждут, на Кубани подобное отношение немыслимо.

Хотя договорённости достигли по большинству вопросов, удовлетворения не было. Антон Иванович не верил, что атаман выполнит обязательства, взятые им к тому же с изрядной уклончивостью. Изовьётся ужом и опять потянет одеяло на себя. Как-то с Дроздовским решится?

Уже к концу клонился этот тяжёлый день, и на тёмно-синем, бархатном небе высыпали гроздьями сияющие звёзды. С окраины станицы доносилась протяжная казачья песня. Простились холодно, неприязненно и разошлись в разные стороны.

Добровольческие вожди сели в автомобиль, и серое лицо Алексеева при этом стало ещё более мученическим. Зафыркал мотор, покатали по разбитой дороге, провожаемые любопытствующими взглядами станичников. А атаман со своей немногочисленной свитой направился к ожидавшему его пароходу. Расходились в противоположные стороны вожди двух армий, друг против друга настроенные, расходились и сами армии: Добровольческая — на Юг, к Минеральным Водам, Донская — на Север, к Москве. Ещё только начиналась борьба, ещё ничтожны были силы, а уже и они раскололись непримиримо надвое, и пошли каждая своей дорогой, единой целью движимые, устремились к ней поврозь, прочно похоронив идею единого фронта.

## Глава 2. Святое дело

*Май 1918 года. Где-то на Волге...*

Донька Жилин изо всех своих мальчишеских сил продирался сквозь лесную чащу. Под ногами что-то хлюпало, квакало, и иногда по щиколотку проваливался Донька в жидкую грязь, чертыхался, подражая деревенским мужикам, и ломил дальше. Он знал этот лес с детства, знал каждую звериную тропку, знал, как пройти по болоту и не сгнуться в нём... В глубине леса у Донькиного деда был покос. В деревне до клочка земли этой немного охотников было: трава худая, а поту, чтоб её вывезти много требовалось. А Донька с дедом всякий год отправлялись на покос, шли вдоль тоненькой и слабенькой лесной речки, косили, стараясь обойти друг друга (и никогда ещё Доньке не удавалось деда обойти!), отдыхали в маленькой лачужке, которую дед сколотил некогда с Донькиным отцом. Отца и матери Донька лишился давно. Пришёл в деревню неурожаем, а одна беда, как известно ещё семь за собой приводит. За неурожаем хворости настали: холера, цинга... Так и померли с разницей в неделю отец с матерью, а Доньку дед выходил, и с тех пор никого кроме друг друга не было у них. А теперь деду грозила беда. Накануне прокрался в деревню старый дедов знакомец по имени Трифон. Знал о нём Донька, что был он старостой в своём селе, а после бунта против продразверстки, в нём случившегося, скрывался в лесах с несколькими мужиками. Говорили ещё, что отрядом этим командует не абы кто, а царский полковник по фамилии Петров. «Банда Петрова», как окрестили отряд большевики, многим была известна на Волге, став настоящим бичом и кошмаром для продотрядов. Их подкарауливали на



дорогах и расправлялись. Бывали случаи освобождения целых деревень. Мал был отряд, а действовал столь хитро и ловко, что, нанося красным серьёзный урон, умудрялся всякий раз уйти от преследования, раствориться так, словно и не бывало его. Немало легенд было сложено об «одноруком полковнике» (известно было, что Петров лишился руки на войне с германцами — и это делало образ ещё ярче) и его людях, и, вот, один из этих людей заявился под ночь к деду. О чём говорили они, Доська не слышал. А несколько часов спустя в деревню пришли красные. Продотряды уже бывали здесь прежде. В деревне, никогда не бывшей зажиточной, отыскивали пять «кулаков» и наложили на них контрибуцию. Дядька Парфён тогда явился к деду белее полотна, хмуро цедил чай и говорил, запинаясь от возмущения:

— Что ж это подеялось у нас Лукьян Фокич? В деревне у нас десять человек этих самых коммунистов... Никто из них в жизни не работал, а всегда занимались воровством да пьянством, а теперь они в комитете бедноты, теперь они власть! Сказали исполкому, что мы с Гаврилой буржуи. Буржуи! На меня восемьсот рублей контрибуции наложили, а на него пятьсот... Татаре! Дань им плати! Нашли буржуев! У меня две лошади и корова, детей пятеро, которым бы по улицам ещё бегать, а они все помогают мне работать... Я буржуй?! И так кое-как сводил концы с концами, по миру детей не пускал, а денег не имею ни гроша... Чтоб эти 800 рублей выплатить, я должен продать лошадей и корову, а что ж мне делать потом?! Как жить?!

Контрибуции «буржуи» платить не стали. За это они были арестованы и увезены из родной деревни под стон и вой остающихся без кормильцев жён и детей. После этого решено было остеречься на будущее: сговорились со звонарём, чтобы при появлении красных, дул он без

промедления на колокольню и звонил бы на всю округу, чтобы разом поднялись мужики и прогнали бы непрошенных гостей. В ряде деревень так уже спасались от продразвёрстки. Хороша идея была, да прознали о ней в комбеде, и, когда заявили красные, опередили звонаря, заперли колокольню, и так и не грянул набат...

В избу деда ворвались сразу несколько человек. Схватили гостя его, поволокли волоком на улицу. Только и успел сказать староста Трифон почти с радостью: «Сподобил-таки Господь грешного Трифона мученическую смерть принять...» Красные подступили к деду. Тут же суетился, трясая козлиной бородёнкой, комбедовец Гришка Дранный, запойный пьяница, частенько бывавший битым, а однажды за кражу выпоротый на глазах всей деревни.

— Вы этого старого чёрта хорошенько допросите! Он того, опасный элемент! Он супротив власти нашей родненькой агитацию ведёт! И другие элементы к нему шастают! Это они в набат ударить хотели! Бунтовать хотели! Сволочь кулацкая!

Дед молчал, лицо его было спокойно и ясно. Донька знал, что он не слушает того, что кричали вокруг него, а мысленно читает излюбленную молитовку, в которой черпает силу. Но как не был отрешён дед от мира в этот роковой час, а улучил момент и успел шепнуть Доньке три слова: «Покос. Полковник. Расскажи!» Успел и Донька выскочить из избы и скрыться в лесу от побежавшего было за ним Гришки. Тот скоро выдохся, схватился за бок, выругался матерно да поплёлся назад.

До покоса легче всего было идти вдоль русла речки, но Донька побоялся, что на этом пути его могут отыскать, а потому решил пробираться по едва мелькающей в болотистой топи тропке. Прежде то была довольно добрая дорога, но со временем заболотилась она, заросла травой да кустарником, никто уж больше

не ходил по ней, и лишь знающие люди могли угадать местами узенькую, чужому глазу невидную ниточку, бывшую некогда тропой. Кустарники больно царапали лицо и руки, а сердце стучало так громко, что Доська иногда оглядывался назад проверить, не топот ли это погони. Внезапно какая-то сила бросила его на землю и мгновенно вздёгнула вверх: он попал в охотничью ловушку. Доська отчаянно забился, вися над землёй вниз головой. Рядом раздался смех:

— Вот так дичь нам к обеду попалась!

Из-за дерева вышел невысокий, кудлатый мужик с ружьём на плече, оглядел насмешливо болтающегося на ветке дерева Доську:

— Ну, сказывай, что ты за живность!

— Сперва развяжи, а потом справляйся! — досадливо буркнул Доська.

— Добро! — охотник мгновенно перерезал верёвку, и Доська хлопнулся на землю.

— Не зашибся, стригунок? — добродушно рассмеялся кудлатый, опершись о ружьё. — Тебя как звать?

— Донатом. А ты, дядя, кто будешь? Не лешак часом?

— Панкратом Ефремычем зови. Ты, стригунок, за какой нуждой здесь?

Доська подумал, что до покоса осталось идти совсем недолго, и что кудлатый Панкрат вполне может оказаться человеком из отряда однорукого полковника, и заявил без обиняков:

— Мне, дядя Панкрат, позарез однорукого полковника видеть надо!

— Ишь ты! — Панкрат нахмурился. — А откуда ж я тебе возьму его? Я тут охочусь третий день, никаких одноруких не видал...

— Ты Трифона-старосту знаешь? Его красные схватили. Деревню нашу заняли, а теперь деда моего

мучают, чтоб сказал, где банду Петрова искать! Если не знаешь где, так отыдь с дороги — я сам сыщу!

— Но-но-но, — охотник посуровел. — Экой ты! Тише едешь — дальше будешь. Иди следом — сведу тебя к полковнику. Пуцай он решает, что ты за живность...

Донька пошёл за Панкратом, потирая ушибленное при падении плечо. Очень скоро чащоба, казавшаяся беспросветной, расступилась, открывая небольшую опушку. Это и был покос деда Лукьяна. Теперь здесь разместился отряд в два десятка человек. Люди были заняты своими делами: кто-то пытался починить развалившиеся сапоги, другой чистил оружие, одни коротали время за разговором или игрой, иные просто спали. Над костром в большом котелке варилась похлёбка. Несколько лошадей уныло пощипывали траву. Возле лачужки стояла телега. На ней сидел длинный, худой человек. Одет он был по-мужицки, лицо его, тонкое и бледное, обрамляла густая русая борода. Вот он — однорукий полковник, гроза продотрядов. Даже если бы были у него обе руки, Донька не усомнился бы что это он. Отличался полковник от людей своих, одет был мужиком, а и под мужицким платьем не удавалось скрыть ни выправки офицерской, ни тонких, холёных пальцев единственной руки... Панкрат подвёл Доньку прямо к командиру, подтолкнул перед собой, доложил:

— Вот, Пётр Сергеевич, гонец к нам с деревни прибёг. Внук Лукьяна Фокича, к которому Трифон наш ушёл. Говорит, будто бы красные деревню заняли, а Трифона схватили.

Полковник наклонил голову. По левой стороне лица его пробежала судорога. Пётр Сергеевич внимательно посмотрел на Доньку немного странным взглядом, так, точно не видел его, и, поманив к себе, сказал глуховатым голосом:

— Рассказывай всё подробно.

Мгновенно вокруг собрались люди — услышать Донькин рассказ хотелось всем. И он стал рассказывать, подробно, обстоятельно, стараясь не упустить ни одной детали. Когда он закончил, полковник поднялся, хрустнул тонкими пальцами:

— Не успели! опередили нас «товарищи»... — и, оглядев испытующе своих людей, спросил: — Что будем делать, друзья?

— Трифона освободить надоть! — тотчас крикнул кто-то.

— Не годится старосту в беде бросать!

— И братьев наших тоже не годится бросать! Там нашей подмоги ждут!

— Что тут рассусоливать? Наломаем бока краснопузым — не впервой, Пётр Сергеич! Пусть помнят!

— Деревню освободить надо, — присовокупил и Панкрат. — А продотряд этот перебить, чтоб неповадно было. Если жив Трифон, то должны мы его выручить.

Полковник кивнул:

— Я рад, что мнение наше едино. Трифону я обязан жизнью, а потому никакого иного решения для меня быть не может. Да и от вас не ждал другого ответа. Однако же нужно хорошенько продумать план действий. В нашем отряде и двадцати душ не наберётся, а красных немало число. Ударить нужно врасплох. Действовать быстро и точно. Малейшая ошибка — и пропадём.

— Не впервой!

— Не перебивай атамана!

Пётр Сергеевич подозвал Доньку, протянул ему листок бумаги и карандаш:

— Можешь нарисовать план своей деревни? Дороги? Въезд? Дом твой? Комбед? Церковь?

— Попробую, — готовно кивнул Донька, хотя прежде никогда не рисовал планов.

— Повезло бы у этих сукиных сынов порядочную карту найти! — вздохнул полковник. — Тычемся как кутята слепые... Как можно без карты воевать!

Донька рисовал старательно, и в итоге план вышел довольно сносный. Пётр Сергеевич прищурился, кивнул одобрительно и, положив листок на служившую столом чурку, подозвал несколько человек:

— Отряд разделим натрое. Первый поведу я, второй Панкрат, а третий пускай Фёдор возьмёт. Первый отряд ложится на телегу, укрываем его рогожей — так чтобы не видно было. Его задача: войти в деревню, бесшумно ликвидировав караул, который наверняка будет на въезде, и взять комбед, где, как можно предположить, «товарищи» разместили штаб. Здание нужно обложить кольцом, действовать одновременно и быстро.

— Врываемся и палим по красной нечисти? — уточнил Панкрат.

— Именно. Наша сила во внезапности. Они не должны успеть разобрать, что к чему. Далее. Второй отряд входит в деревню с севера, едва слышав стрельбу. Его задача — поддержка первого отряда и колоколя.

— Грянем в набат, Пётр Сергеевич?

— Грянем, непременно грянем. Третий отряд — в резерве. Он не должен входить в деревню, пока всё не будет закончено. Но должен следить, чтобы ни одна мышшь не выскользнула из мышеловки. Обойдя деревню, залечь у западной стороны, следить за дорогой.

— Пётр Сергеевич, дюже малые отряды получают. Может, двумя обойдёмся? — осторожно предложил Панкрат. — Чего Федькиным ребятам без дела сидеть?

— Если план наш сорвётся, то отступить мы будем на запад, и тогда Федька своими прикроет нас. Всем всё понятно?

— Понятно... Так точно... Не подведём... — ответили вразнобой.

— Вот и отлично. А теперь всем отдыхать. Выступим ночью. Гонца накормить за его нам помощь, — потрепав Доньку по голове, Пётр Сергеевич, чуть улыбнулся: — И наградил бы я тебя, да нечем, брат.

— На что мне награды? — пожал плечами Донька. — Вы, главное, деда выручите. А то ведь убьют его проклятые. Он их антихристами и демонами зовёт. Прямо в глаза режет. А у меня кроме него никого.

— Поможем твоему деду, — кивнул полковник. — Иди супу похлебай, герой. Тебе ночью тоже придётся потрудиться.

Сам Пётр Сергеевич обедал в одиночестве, уйдя в лачугу. Вот уже месяц полковник Тягаев скитался со своим отрядом по Поволжью: то скрывались в лесах, то сплавлялись по Волге, изредка день-другой переводили дух в какой-нибудь деревне. Никогда бы не подумал блестящий кавалеристский офицер, что станет командовать отрядом полуграмотных мужиков. Прежде он и не знал мужика, не соприкасался с ним, не знал деревни и жизни её даже отдалённо. И вот ввергнут был непредсказуемым ходом жизни в недра её, в самую гущу, клокочущую, бурлящую, непонятную. Постепенно Тягаев привыкал к тому, что люди его не ведают воинской дисциплины, отвечают не по уставу, многие никогда раньше не держали в руках ни штыка, ни винтовки. Да и они в свою очередь прощали своему атаману слабое понимание крестьянской души, крестьянской жизни. Атаман! Леса! Партизанщина! Нет, это не войско, не даже подобие его... Это что-то другое. Что-то из книг, из легенд о Робине Гуде. Очень, кстати, похоже. Мерзавцы узурпировали власть, честные люди от поборов и бесчинств попрятались в леса, их возглавил благородный рыцарь, вернувшийся из крестового похода, и все они ждут возвращения пленённого короля... Вальтерскоттовщина — не больше, не меньше. Романизм! Но романтизм хорош для юноши-

юнкера, в крайнем случае, для молодого поручика, а полковнику, за плечами которого две войны, командование крупными боевыми частями, романтизм этот души не отогревал. Чувствовал Тягаев, как от этих блужданий по лесам что-то притупляется внутри его. Его люди не были солдатами, и сам он уже словно перестал быть офицером. Всё размылось, изменилось неузнаваемо. Атаман... Вся прошлая жизнь оказалась отделена плотной пеленой, стала далёкой и почти небывалой. Реальность же походила на затянувшийся сон, тяжёлый, болезненный. Отряд «полковника Петрова» пополнялся людьми. Так рьяно взялись красные за деревню, что крестьяне взвыли и схватились за вилы. То там, то здесь вспыхивали бунты, избивали комиссаров, но бунты жестоко подавляли, топили в крови. Но сила росла, и на эту силу надеялся Пётр Сергеевич. Где-то объявился отряд конных крестьян, вооружённых одними лишь косами. С этими косами мчались они на красных и в бою добывали себе иное оружие. Приходили и к Тягаеву такие бойцы — с косами, с топорами, с вилами. И точно так же добывали оружие — в бою. Бои бывали краткие, искусные. Никогда ещё не случилось Петру Сергеевичу командовать партизанами, а оказалось: спал в нём до срока Денис Давыдов. Каждую операцию выстраивал и продумывал Тягаев так тонко и точно, что многие из них могли считаться образцами военного искусства. Да и войско мужицкое, хотя военного дела не нюхало, а умело исполняло все приказы своего командира. Особенно доставалось продотрядам. Их мужики ненавидели более всех, и борьба с ними стала главным делом отряда. Так добывался провиант, одежда, оружие. После удачной операции партизаны спешно скрывались в лесах, где пережидали, когда поиски их улягутся, набирались сил и вновь продолжали борьбу. Частенько охотники из отряда ездили по деревням, узнавали последние



новости, разведывали обстановку, добывали необходимые сведения. Это было опаснее боёв, разведчики подвергались особому риску. Попавшие в руки красных принимали мучительную смерть: их жгли, топили, разрывали на куски... Но ни один из них не предал своих, выдержав все муки до смертного конца.

Именно с целью разведать обстановку отправился накануне в деревню Трифон. Пётр Сергеевич был против этого: слишком дорожил полковник умным и расторопным старостой, к которому проникся искренней симпатией, а потому не желал рисковать им. Но Трифон отмахнулся:

— Семи смертям не бывать, твоё благородие, а одной не миновать. Сам знаешь, от смерти не уйдёшь. Да и кому ещё идти? Я эту деревеньку знаю. У меня в ней старинный знакомец имеется. Адамант-человек! Таких ты, твоё благородие, не видал на своём веку! Чудодей. Вера в нём великая, а от неё сила! Он в Восточную кампанию под началом Скобелева воевал, крест солдатский имеет. На таких людях мир стоит, так тебе скажу! Чужому человеку он не поверить может, а меня он знает. Так что, как хочешь, твоё благородие, а я пойду.

Возразить Тягаеву было нечего, и Трифон ушёл. Удастся ли свидеться ещё? Жив ли ещё умный староста? Правой рукой был Трифон у Петра Сергеевича. Знал он деревню, знал мужика, умел найти подход ко всякому — то есть обладал именно теми качествами, которых так не доставало полковнику. И как же быть без него? Ах, если бы успеть! Если бы был жив Трифон! Да ведь не станут «товарищи» ждать, кончат скоро, измучив сперва, наглушившись досыта...

Снова и снова прокручивал Тягаев в голове план. Авантюра, совершенная авантюра... Вместо карты — каракули тринадцатилетнего мальчонки. Никаких сведений точных. Вилами по воде всё! А идти — надо.

Не на смерть ли? Ну, как ловушка? А в общем, весь месяц этот, вся эта партизанщина — чистой воды авантюра. Что поделаться! Кончится ли когда-нибудь эта лесная жизнь? А если кончится — то не пулей ли в голову? Не штыком ли в грудь? Но это и нестрашно. К этому готов был Пётр Сергеевич. Жизнь свою видел он оконченной, а потому запретил думать себе о доме, о семье и о той, которая светлым видением прошла чрез его жизнь, мелькнула, озарив на мгновенье. Всё это осталось по ту сторону, всё это не имело значения здесь. И нет больше полковника Императорской армии Тягаева, а есть атаман Петров, «однорукий полковник», партизанский вождь... А по ночам, когда удавалось забыться сном, видел атаман залитую солнцем площадь в летний день, стройные колонны войск, Государя Императора, делающего смотр им. Боже, неужели это было?.. И сводила судорога горло от мысли, что больше уже не будет. Никогда...

Как только солнце стало клониться на запад, партизаны тронулись в путь. Шли не сквозь чащобу, а вдоль речушки по дороге: иначе не пройти бы ни лошадям, ни телеге. Дойдя до окраины леса рассредоточились, согласно плану, затаились, ожидая когда тьма сгустится, а деревня затихнет. Ночь выдалась безлунной, пасмурной, холодный не полетному ветер раскачивал вековые деревья, и они скрипели натужно, стонали, вздыхали протяжно. Пятеро партизан спрятались в телеге, Пётр Сергеевич укрыл их рогожей, а сам привалился сверху, притворяясь спящим. Лошадью правил Донька, которому полковник тщательно объяснил, что делать.

В условленный час тронулись вперёд. У самой околицы на дороге стоял караульный солдат.

— Стой! — приказал он, выплюнув папиросу. — Кто едет?

— Мы с Касимова, — отозвался Доська. — Домой возвращаемся.

— А это кто? — кивнул караульный на Тягаева.

— Тятка мой. Мы у дядьки на крестинах гуляли, а тятка приморился, так, вот, домой везу...

— Хорошо, знать, погулял, — хмыкнул солдат. — А в телеге что? Давай-ка, малой, буди своего тятку, и показывайте, что в телеге! А то знаю я вас, кулачьё! Ничего, мы вас в чувство-то приведём! А найдём вашего одорукого полковника, так на этой сосне вздёрнем, — кивнул он на возвышавшуюся рядом сосну.

При этих словах Пётр Сергеевич мгновенно вскочил на ноги и оказался лицом к лицу с солдатом. Тот хотел что-то сказать, но вдруг замер, заметив пустой рукав, лицо его исказилось страхом. Ни крикнуть, ни выстрелить он не успел, сражённый ударом ножа.

— Рано ты меня на сосну вешать собрался, друг дорогой, — пробормотал Тягаев и, перешагнув тело, сел рядом с Доськой. — Трогай к вашему комбеду. Но тихо.

Тихо и темно было в деревне, лишь несколько собак пробрехали вслед медленно едущей телеге. Дом, в котором располагался комбед, Пётр Сергеевич угадал сразу. Он один светился всеми окнами, и из него доносились громкие голоса. Полковник сказал Доське остановиться и, соскочив на землю, пригнувшись, подошёл к дому, осторожно заглянул в окно. В просторной комнате, у стола толпились «товарищи», угощаясь самогоном и различной закуской. Было их двенадцать человек. В углу лежал избитый и связанный старик. Пётр Сергеевич мгновенно оценил положение. Дюжина в доме была лишь частью красного отряда, остальные, вероятно, разошлись спать по другим избам. Тем лучше. Когда начнётся стрельба, спросонья не сразу сообразят, что к чему. Зато сами мужики — сообразят. И свяжут лихоимцев самостоятельно. А уж когда грянет набат, так не поздоровится товарищам

продразвёрстщикам... Но сначала нужно ликвидировать эту группу. В один момент выбить окна и дверь и открыть огонь со всех сторон, уложить их прежде, чем они, разогретые самогоном, успеют схватиться за оружие.

Тягаев сделал знак Доньке, тот стянул рогожу, и партизаны, расправляя затёкшие в неудобном положении члены, окружили своего атамана. Пётр Сергеевич быстро пояснил свой план. Сам он направился к двери, остальные заняли позицию у окон. Группа сработала, как часы. В тот миг, когда полковник вошёл в дом и открыл стрельбу, стёкла со звоном вылетели, и град пуль обрушился на красных. Минута, и все они лежали на полу. Никто из них не успел воспользоваться своим оружием.

— Молодцы, братцы! — одобрил полковник своих людей. В ту же секунду он заметил, что один из «товарищей» успел-таки выхватить свой наган и целится в него. Выстрел Тягаева опередил его, и он успокоился навечно, получив пулю в голову.

С севера слышалась стрельба. Это второй отряд выполнял свою задачу. В деревне загорелись огни, раздались крики.

— «Товарищей» бьют, ваше благородие, — заметил с видимым удовольствием один из партизан.

— Развяжите старика, — скомандовал полковник.

В дом вбежал Донька, бросился к старику:

— Дед! Живой!

— Спаси Христос вас, детушки, — бормотал старик, всхлипывая и утирая слёзы с окровавленного лица. — Уж мы думали, смертонька наша пришла. Донюшка, родимый, привёл-таки подмогу!

— Звери, — качали головой партизаны. — Пётр Сергеевич, они деду ногти на левой руке вырывали. Изверги!

На пороге появился бледный, как смерть, Панкрат.

— Что? — спросил его Тягаев, сразу поняв, что случилась беда. — Трифон? Убит? Ну, говори, чёрт тебя рази!

— Убили старосту, — голос Панкрата задрожал. — Пётр Сергеевич, они его и трёх мужиков...

— Ну! — вскрикнул полковник. — Не мямли, как баба! Что?!

— Привязали их к лопастям мельницы, и мельницу запустили! — выдохнул Панкрат и заплакал.

Тягаев зажмурился, поднёс руку к горлу. Ему вдруг стало невыносимо душно, словно накинули на шею петлю и затянули.

— Веди меня туда, — хрипло бросил он Панкрату и тяжело вышел из дома.

Деревня преобразилось. Всё, что менее получаса назад спало мёртвым сном или затаилось в страхе, высыпало теперь на улицы. Бросились к складу, куда днём свезли продотрядовцы награбленное у крестьян зерно, спешно уносили спасённое добро, чтобы запрятать его на этот раз понадёжнее. Добивали уцелевших красных. Зловеще блестели кровавым от горящих кругом огней то там, то здесь мелькающие топоры, вилы... Пётр Сергеевич не мог различить лиц бегущих по улицам людей, но мог поклясться, что в это мгновение они немногим отличаются по отображённому на них ожесточению от лиц большевиков. Горько-сладкий напиток мести пьянит, доводит до исступления, и люди уже не ведают удержу, громят, бьют и правых, и виноватых, словно чёрт вселяется в них и вертит душами, как игрушками. Тяжело похмелье после этого страшного напитка. Будет томиться душа, протрезвев. Душа, шалый конь на бескрайнем просторе, обротать бы тебя, чтобы не занеслась ты в буреломы, не искалечилась бы неисцелимо — да как? Этакая сила разве что святым дадена... Оставшихся в живых большевиков следовало бы арестовать, а после судить

сельским сходом. Приговор был бы им тот же, но хоть избежали бы бессудной расправы. Ни в коей мере не шевелилось в Тягаеве жалости к врагу, но стихийные расправы представлялись ему вредными, так как разлагают вставший на борьбу народ. Народ привыкает к крови, привыкает к самоуправству, к жестокости, к вседозволенности. Всё обращается в стихию, а стихия, не обузданная в нужный момент, не направленная сильной рукой в нужное русло, приносит мало пользы. Крестьянские бунты и партизанщина наносят красным урон, но ведь этого мало! Все эти бунты, лесные отряды — рассеяны. Действия их стихийны, не носят организованного характера, а без организации серьёзного дела не потянуть. Перехлопают по одиночке... Такие раздумья не раз посещали полковника, тяготя его. Его раздражала бессистемность и стихийность. Ему нужна была армия, а не стихия, сознательная борьба, а не временные вспышки народной ярости, являющиеся лишь тогда, когда тяжёлая большевистская пята наступает на горло конкретной волости, деревне, человеку. Пока громят соседа, ограничится всё недовольным ворчанием...

Мимо пробежал, прихрамывая, насмерть перепуганный человек с редкой бородёнкой, смахивающей на козлиную. За ним гналось несколько баб, вооружённых какой попало домашней утварью. Они голосили наперебой, то и дело дотягиваясь огреть свою жертву по тощим бокам:

— Стой, Дранный! Говори, говори, окаянный, за сколь мужа моего своим разбойникам продал?!

— Куда моего Парфёна дели?! Говори, пока я тебе глаз твоих бесстыжих не выцарапала!

— Гаврилу моего, своего благодетеля, сгубил! Мало тебя драли!

Драного прижали к стене какого-то сарая. Он кричал что-то, но ничего нельзя было разобрать за

голосами лютующих баб.

— Вишь, Пётр Сергеич, доносчика изловили. Таперича бить учнут. И поделом! — пробормотал Панкрат. — Таких прежде всех бить надо. Которые братьёв продают...

Тягаев не ответил. Его раздражал беспорядок и собственное бессилие его пресечь.

Мельница возвышалась на окраине деревни. На ветру быстро вращались её крылья-лопасти, разрезая ночной воздух. Тела уже сняли. Они лежали на земле, а вокруг толпились люди. Несколько баб истошно выли, раскачиваясь из стороны в сторону. Вокруг одной из них прыгал перепуганный мальчонка, дёргал её за подол, спрашивал:

— Мамка, а что с тяткой? Мамка, ты чего?

— Вот, Пётр Сергеич, видите вдовицу? Изверги у неё сперва отца за недоимки заарестовали и извели, а ныне мужа... — сказал Панкрат. — Люди говорят, страшные дела тут творились. Многих поубивали... И Трифона, вот, нашего... Эх... Какой человек сгинул!

Трифон лежал здесь, но чуть поодаль. Лицо его было обезображено. Оно раздулось, посинело, глаза налились кровью и вывалились из орбит, губы и борода были черны от запекшейся крови.

— Люди говорят, что его вначале пытали, добивались нас выдать, а он ни словечка не проронил. Все кости перебили ему, а затем сволокли на мельницу с тремя другими и распяли... — говорил Панкрат. — Экую мученическую смерть принял... Теперь он со Христом...

Тягаев опустился на колени, перекрестился. Глядя на изувеченное тело друга, он вспоминал не раз виденный образ — снятие с креста. Принял староста Трифон крестную муку, до конца вынес все страдания...

— Прощай, брат мой Трифон, — тихо прошептал Пётр Сергеевич. — Спас ты мою жизнь дважды, а я не

сумел тебе отплатить тем же. Прости! Помяни душу мою там, где ты сейчас...

Загудел скорбно колокол сельской церкви. Мужики обнажили головы, закрестились. На востоке из мрака забагровел кровоточащий рубец близящейся зари. А чёрная мельница оголтело вращала своими лопастями и казалась зловещей и страшной. Всю жизнь перемелет эта мельница, всю Россию перетрёт своими жерновами... Что теперь судьбы людские? Души людские? Зёрна, между этими жерновами угодившие. И смелет их без жалости страшная мельница русской смуты...

Тягаев почувствовал лёгкое головокружение. И сразу же сильнейшая боль ударила в голову, словно раскалённый прут пробил и пронзил насквозь её. Сделав над собой усилие, Пётр Сергеевич поднялся, спросил чуть слышно:

— Поп есть в деревне?

— Был, — отозвался Панкрат. — Вон лежит... — кивнул в сторону распластанного рядом тела, над которым горько плакало несколько баб.

— Нужно всех убитых похоронить с почестями...

— Само собой, Пётр Сергеич. Да уж тут люди всё как надо сделают.

— Ты проследи всё же...

— Слушаюсь. Какие ещё будут распоряжения?

Тягаев провёл ладонью по лбу:

— Собери наших. Когда уляжется всё, объяви, чтобы собрались все у церкви. Я говорить буду. Нам нужны припасы, оружие и люди. Силой брать ничего не будем, но надеюсь, что добровольцы сыщутся. Оружие, какое нами взято в бою у красных, сосчитать и распределить между партизанами. Если кто из большевиков уцелел, расправы прекратить. Будем судить их. Всё ясно?

— Понял, Пётр Сергеич.

— А сейчас проводи меня к деду этому. Как его?



— Дед Лукьян.

— Да. Мне поговорить с ним нужно.

Дорогу до дома деда Лукьяна Тягаев почти не разобрал. Слишком сильна была боль, от которой темнело в глазах. Пётр Сергеевич в которой раз проклинал свою контузию и молил Бога, чтобы болезнь не разошлась и не приковала его к постели, что могло бы грозить гибелью всему отряду.

Дом Лукьяна Фокича ещё носил на себе отпечаток недавней борьбы, бывшей в нём. Битое стекло, поломанная мебель — всё это разбросано было по полу. Сам же хозяин уже успел несколько поправиться. Лицо его было умыто, густые седые волосы расчёсаны и перехвачены тесьмой. На нём была чистая рубаха, а искалеченную руку кто-то заботливо перевязал. Старик восседал за столом, прихлёбывал чай с блюдца. У ног его сидел, не сводя с деда глаз, Донька. Войдя в горницу, Тягаев обессилено опустился на стоявший в углу стул, приникнув головой к выбеленной печной стенке. Он помнил, что хотел поговорить со стариком, но не мог произнести ни слова. Словно издалека, слышался голос деда Лукьяна:

— Это, стало быть, ватаги вашей главный?

— Да, дед. Полковник Петров, — отозвался Панкрат.

— Полковник? Самделишный?

— Самый что ни на есть!

— Стало быть, барин?

— Должно, барин.

— Никак хворый? — не укрылось от взгляда старика вытянувшееся и посеревшее от боли лицо Петра Сергеевича.

— Занемог маленько.

— Ай-ай-ай, — сочувственно покачал головой дед Лукьян и, поставив блюдце на стол, подошёл к Тягаеву. — Недужится, барин?.. — спросил ласково. — Это бывает, бывает. Голова болит? Хочешь, вылечим?

— Что? — вымолвил полковник.

— Говорю, хворость твою могём выгнать.

— Это как же?

— Заговор знаем.

Пётр Сергеевич с досадой махнул рукой. В заговоры и прочие деревенские суеверия он не верил.

— Не веришь? Ну, как знаешь... — пожал плечами старик, по-видимому, несколько обидевшись.

— Ладно уж... — вздохнул Тягаев. — Заговаривай, колдун.

— Какой тебе колдун! — рассердился Лукьян Фокич. — Колдуна, барин, у нас в запрошлом году мужики на деревне дубьём пришибли. То колдун был! А мы — нет...

— Не сердись, дед, — сказал Пётр Сергеевич примирительно. — Не силён я по этой части...

— Не силён! Колдуны — вражины! Колдуны порчу на людей наводят да на скотину. А мы наоборот — выгоняем её.

— Я понял. Прости. Заговаривай уж...

— Так-то лучше, милой, — голос старика вновь стал тёплым и ласковым. — Погодь малость, мы сейчас.

Что делал Лукьян Фокич, Тягаев не видел, зажмурив глаза от света, усилявшего боль. Через несколько минут старик протянул ему жестяную кружку:

— До донышка пей.

Пётр Сергеевич выпил и закашлялся: в кружке была какая-то несусветная гадость.

— Дерёт, дерёт, верно, — говорил ласково целитель. — Это хорошо. Ты, милой, потерпи, — он коснулся крупной, тёплой ладонью лба полковника, пошептал что-то и отошёл на шаг. — Сейчас всё пройдёт, барин.

Прошло несколько минут, и Тягаев с удивлением почувствовал, что боль исчезла, словно её и не было. Он открыл глаза и недоумённо посмотрел на старика. Тот

ласково улыбался и поглаживал окладистую белую бороду:

— Что, барин, болит?

— Не болит! — воскликнул полковник, вставая. — Дед, да ты же кудесник! Спасибо тебе!

— Бога благодари, барин, а нас — за что?

Пётр Сергеевич, наконец, смог рассмотреть чудесного целителя. Был он очень высок, выше самого полковника, крепок и прям. Лицо его было красиво и просветлённо. Казалось, будто сошёл Лукьян Фокич только что со страниц древнерусской былины или сказки. Глаза его смотрели ласково, с лёгкой долей родительской снисходительности: так любящая мать смотрит на расшалившееся чадо. На груди у старика висел большой восьмиконечный старообрядческий крест.

— Ты старовер? — спросил Тягаев.

— Да. Не гоже разве?

— Я просто спросил...

— Садись, барин, чайку попей. Вишь, что подеялось с людьми... Убивают, истязуют друг дружку, точно нехристи... Упустили огонь, а как потушить теперь? Донька, налей чайку нам.

Донька проворно бросился к самовару, налил чаю, поставил на стол.

— Пей, барин, — говорил старик. — Откушай чего. Мёду возьми, вот...

Пётр Сергеевич сделал несколько глотков и спросил:

— Скажи мне, кудесник, от чего же всё это сотворилось?

— Знамо отчего, милой. Бога забыли, а демоны тем и воспользовались. Большаки — они кто ж? Демоны самые настоящие. И бороться с ними крестом надо, — старик указал на свой крест. — Нельзя, барин, Бога

забывать. А у нас как? В тревогу — и мы к Богу, а по тревоге — забыли о Боге.

— Как думаешь, дед, одолеют нас большевики? Россию — одолеют?

— Мы, барин, путей Господних не ведаем. Одно скажем, мужику эти большаки уже поперёк горла стали. Ты поспрошай в любой деревне: и всяк тебе одно скажет.

— Что же скажет?

— А то и скажет, что был у нас Царь, было начальство, и жили мы — Бога благодарили, — все имели, а если чего и не хватало, то надежду всякий питал: коли есть голова да руки, то и для себя и для детей заработаешь. Был порядок, был и закон и справедливость. Теперь у нас комиссары-большаки, начальства есть много, ну а остального ничегошеньки нет — ни пищи, ни одежды, ни порядка, ни закона, ни справедливости. Можно сказать, не живёт народ ныне, а только глядит, как бы не умереть. Да и то не знаешь, будешь ли жив от комиссара завтра. Да и надежды на лучшее при них никакой, прямо охота работать пропадает.

— Ну а при Керенском как было? Что скажешь?

Старик помолчал, затем чуть улыбнулся и ответил:

— А скажем мы тебе, барин, так: бывает лето с плодами Господними, бывает зима с морозами, стужами, буранами. А между ними слякоть, распутица никчёмная. Такая слякоть и Керенский был. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга...

— Мудрец ты, дед, — заметил Тягаев. — Что ж дальше будет?

— А то и будет, барин, что свет до тьмы стоит, но и тьма до свету. Бороть антихриста будем, покуда живы. Не окажемся рабами ленивыми и лукавыми, так и поборем.

— Чтобы побороть, люди нужны, дед, — Пётр Сергеевич хотел было закурить, но передумал, вспомнив, что в домах староверов табак считается зельем сатанинским. — А где мне людей взять? У меня в отряде восемнадцать душ. И дольше месяца мы с ними, как проклятые, по лесам шарахаемся, не то удачу, не то смерть свою ищем. И куда дальше, скажи? Вот, в твоей деревне мужики всю ночь продотрядовцев били, а утром как? По домам разойдутся — ждать, когда отряд большой явится и всех их, как Трифона, на мельницу сведёт? Кабы встали все, как один, соединились бы, так, может, и побороли бы.

Возвратившийся Панкрат доложил, что все поручения полковника он выполнил, после чего присоединился к скромному застолью.

— Нечем нам вас, детки, потчевать, — покачал головой дед Лукьян. — Всё повыгребли нечестивцы.

— Ничего, отец, воротим, — сказал Панкрат, доставая краюху хлеба и проворно нарезаая её охотничьим ножом.

— Добро ты сказал, барин, про то, чтобы все как один, — вернулся старик к прерванному разговору. — Дед наш, царствие ему небесное, прожил восемьдесят годочков и помнил ещё Бонапарта. Тогда хорошо было. Тогда все дружно взялись: и мужики, и баре...

— Тогда проще было, — возразил Панкрат. — Тогда иноземцы пришли, хвранцузы — все и поднялись. И таперича свои!

— Какие такие свои? — нахмурился Тягаев. — Троицкий тебе свой? Латыши и китайцы, которые по всему Поволжью страх на людей наводят тебе свои? «Свои»! Нашёл своих...

— А знаешь, барин, ты на нашего брата напраслины не возводи, — сказал вдруг старик. — После того, что эти поганые у нас творили, не разойдутся по домам. Возьмутся, вот наше слово. И мы первыми на святое

дело станем! Ни с винтовкой, ни с вилами, а с крестом на них пойдём. Демоны креста убоятся.

— Куда тебе, старый, в бой-то идти! — рассмеялся Панкрат.

— Жить, сынок, значит, Господу Богу служить. И уж если такой час пришёл, то за дело его мы костями ляжем. Мы под началом Скобелева-генерала турок били. И здесь не оплошаем.

Нравился Петру Сергеевичу этот былинный старец-старовер. Казалось, говорила в нём та прадедовская Русь, обритая и всунутая в заморский кафтан преобразователем Петром. Убеждённо говорил дед Лукьян, и светилось лицо его. Почти сутки пробыл он в руках красных, и болело тело его от побоев, а такова сила и высота духа была, что не замечал он ран своих и готов был хоть теперь идти в бой против красных демонов, вооружившись одним только крестом.

Утром у церкви собралась вся деревня. Убитых накануне положили в гробы и выставили внутри неё для прощания и отпевания. И они, принявшие лютую смерть, теперь должны были живых поднять на брань, чтобы те отплатили за их муки. Мрачны были лица собравшихся, и читалась в них суровая решимость и ожесточение. Тишина царила такая, что всякий шорох был слышен. Даже заплаканные бабы умолкли — ни тихого всхлипа не вырывалось. Живых большевиков в селе не осталось. Все они были убиты ночью. Несколько пыталось бежать из деревни, но их перехватил оставленный в засаде отряд партизан. Судить было некого. Убитых красных закопали в общей могиле за околицей. Кое-кто из стариков качал головами:

— Землю-матушку вырождаками паскудить... По ветру развеять бы!

Поднявшись на церковное крыльцо, полковник Тягаев оглядел выжидающе смотрящую на него толпу. Он не любил таких моментов. Не любил говорить речи.

Пётр Сергеевич знал доподлинно, что нет у него дара говорить красиво. А к тому — перед мужиками. Что он мог сказать им? Прежде выручал всегда Трифон. Вот, кто был мастер говорить перед крестьянами! Златоуст — не меньше! Так умел говорить покойный староста, что до всякого мужицкого сердца доходили его простые слова. Но не знал Тягаев тех простых слов, а потому не мог унять волнения. Начал Пётр Сергеевич с поминовения погибших, затем заговорил об антинародной сущности большевиков, но сам понял, что говорит — не так. Мудрёно, не тем языком, не про то. Сбился полковник, замялся. И тогда — выручил его Лукьян Фокич. Вышел старик на середину площади, махнул рукой перевязанной:

— Полно, барин! Чего говорить? Али мы дети малые, и сами не разумеем, что к чему, кто вражина нам, а кто брат? Не надо слов! Мы и без них всем миром на поганых встанем и будем бороться их, доколе силёнок достанет! А ты только веди нас, как ты есть образованный командир, и подвиги твои и твоих партизан мы все здесь ведаем! Так ли, мужики?

— Верно!

— Правильно!

— Пусть только сунутся к нам вдругорядь!

— Мы на своём веку видали многое, — продолжал старик. — На войне под началом Скобелева-генерала турка бивали. А ныне мы нехристям-большакам войну объявляем. Дело то, братцы, Божие! Святое дело! Грудью постоим за землю нашу, кормилицу! Освободим Волгу от лютого ворога! Не падём духом, и Господь не покинет нас! Против антихристовой войска сражаться станем, и Пречистая Богородица укроет нас Покровом своим! Помолимся, братцы, чтобы милосердный Господь укрепил нас и даровал победу!

Так вдохновенно взывал дед Лукьян к сердцам своих односельчан, что многие были тронуты до слёз.

Когда же он опустился на колени и стал горячо молиться, осеняясь двуперстным крестом, то и все пали на колени следом и присоединились к его молитве. Потрясённый этим торжественным и прекрасным зрелищем, Тягаев, так же ставший на колени, подумал, что войско его теперь уж точно возрастет, и решил не уходить со своими партизанами в леса, а разбить лагерь в этой деревне, местоположение которой было весьма выгодно в стратегическом плане. Кто знает, может, отсюда, из этой простой русской деревушки начнется освобождение Волги, а следом и всей России?..



## Глава 3. Распутье

*26 мая 1918 года. Новониколаевск*

Всего сорок минут потребовалось, чтобы свергнуть большевиков в Новониколаевске! Чехословаки и барнаульцы взяли город! С чехословаками договорённость была достигнута на недавнем совещании в Челябинске, на котором присутствовали от них Гайда и Кадлец, от самарского Комуча капитан Каппель и полковник Галкин, а от сибирских боевых дружин Гришин-Алмазов, выработали и утвердили план будущего выступления, и в конце мая началось оно. Словно принцип домино пришёл в действие — город за городом освобождалась Сибирь от красных. Но освободить мало, нужно — удержать. А для этого необходимы силы, а силы, если не считать чехов, ничтожны — во всех сибирских военных организациях едва наберётся семь тысяч человек! И с этой малости начиная, предстоит создавать армию, которая сможет освободить Россию и продолжить войну с немцами, которым их агенты-большевики щедро подарили огромные пространства русской земли. Велика была задача, но подполковник Гришин трудностей не боялся, они лишь пробуждали в нём азарт. В своих силах и способностях уверен был Алексей Николаевич. И последние события лишь укрепили эту уверенность.

Сибирь знал подполковник Гришин прекрасно. Родился и вырос он в Тамбове. Затем учился в Воронежском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище, принял боевое крещение в Маньчжурии, после чего прибыл в Сибирь, где шесть лет возглавлял команду разведчиков и учебную команду. Годы эти молодой офицер потратил на

доскональное изучение необъятных сибирских просторов, много путешествовал по Амуру, Уссурийскому краю и другими областям. Можно ли было думать, что здесь совсем скоро придётся вести бои с германским авангардом, состоящим из предателей и наёмников! На Великой войне Алексей Николаевич в составе 5-го Сибирского корпуса участвовал во многих наступательных и оборонительных операциях, был награждён многими орденами и медалями. Последней «наградой» боевому офицеру стал арест и увольнение из армии за открытое выступление против октябрьского переворота. Что ж, не приходится пенять на судьбу: можно считать, легко отделался, со многими поступили проще — просто подняли на штыки...

Ища возможности бороться с ненавистной властью, подполковник Гришин устремился на Дон. К Корнилову. Лавр Георгиевич в ту пору сам едва успел прибыть в Новочеркасск и вынашивал идею перенесения основного фронта борьбы с большевиками в Сибирь, в которую верил непреложно. Увлечённый этим замыслом, генерал принял приехавшего офицера-сибиряка. Лавр Георгиевич хотел знать реальное положение дел в Сибири, был убеждён в необходимости налаживания там работы. Алексей Николаевич слёту подхватил идею, немедленно изложил генералу свои соображения на этот счёт. А соображения были! Так уж устроен был Гришин: стоило поставить перед ним вопрос, конкретную задачу, как с полуоборота являлись в уме варианты решения её. Быстро и легко находилось нужное, и закипала работа в умелых руках. И Корнилову мгновенно представил он целый перечень мер, которые можно предпринять. Генерал предложения одобрил и командировал Алексея Николаевича в Сибирь для их воплощения.

Пересечь большевистскую Россию было делом нелёгким. Приходилось соблюдать строжайшую

конспирацию. Раздобыв документы на имя артиста Алмазова, именно в этой роли и прибыл Гришин в Сибирь. Некоторое время он присматривался и прислушивался к настроению общества. Настроение это было противоречивым. В Сибири большевики ещё не успели явственно показать своё истинное лицо, осторожничали, а потому и народ не готов был восставать на них. Офицеры были настроены жёстче. В разных городах существовали небольшие организации, никак не связанные друг с другом. Сразу понял Алексей Николаевич: это дело так оставлять нельзя, связь нужно налаживать. Но каким же образом? Не привлекая внимания большевиков? Собственные ноги обивать — никак иначе. Но офицеров для работы недостаточно. Нужны промышленники, кооператоры (они лучше других поняли опасность для себя большевистской власти), нужны политики... Политики в Сибири были. Члены партии социалистов-революционеров. В отличие от всех прочих они были активны и готовы к действию. Эсеровские идеи чужды были Гришину. С детства впитал Алексей Николаевич патриархальные устои, согласно которым жили родители, люди набожные, скромные, небогатые. В семье Гришиных всегда чтили Царя, Божия помазанника, матушка Алексея Николаевича не пропускала ни одной службы, старательно приучая к тому и сына. Много перенял Гришин от отца с матерью, перенял набожность их, которую не порушили ни годы учёбы, ни война. Даже в самые трудные времена он не забывал говеть, не давал себе ни малейших поблажек в следовании православным канонам. Под стать была и жена. Мария Александровна, женщина умная, решительная, обладала волевым и твёрдым характером. Пламенная патриотка, она живо интересовалась политикой, превосходя в этом занятого службой мужа, и, несмотря ни на что, придерживалась твёрдых монархических

убеждений. Разделял их, хотя и не столь горячо и эмоционально, и Алексей Николаевич, но, оценив сложившуюся в Сибири ситуацию, понял, что провозгласить теперь монархическую идею — значит, прикончить всё движение на корню. Пришлось монархисту Гришину играть роль эсера Алмазова. А что делать? Теории, ориентации, партии — всё это, быть может, и важно, но Россия неизмеримо важнее. А значит нужно искать среднюю линию, компромисс, оставить до лучших времён всевозможные частности. Если никого кроме эсеров нет, значит, надо работать с эсерами.

Ближайшим соратником в начатой работе стал член Учредительного Собрания Павел Михайлов. Бледный человек с горящими чёрными глазами, он отличался выдающейся работоспособностью. Не зная отдыха, Михайлов работал сутками напролёт. Вместе они исколесили все сибирские города, внося систему и единство в раздробленные офицерские организации. Сколько гибкости и осторожности требовалось, чтобы найти подход ко всем! Чтобы заставить бежать в одной упряжке политических противников! Офицеры волновались, что после переворота у власти станут эсеры, эсеры опасались диктата со стороны военных. И между этими полюсами должен был лавировать Алексей Николаевич, вызывая в одном лагере подозрения, как «эсер», а в другом, как потенциальный кандидат в «наполеоны».

И всё же работа шла. Немало усилий стоило объединение самых крупных офицерских организаций: томской, иркутской, омской. Омская организация насчитывала до трёх тысяч человек, тогда как новониколаевская, возглавляемая Гришиным, всего шестьсот. Само собой, руководитель первой, Иванов-Ринов имел все основание претендовать на лидерство и не питал желаний подчиняться «Алмазову». Полковник

Иванов, взявший себе конспиративный псевдоним «Ринов», долгое время служил в Туркестанской военной администрации на должности начальника уезда, равнозначной полицейской должности исправника, затем был помощником военного губернатора. Придерживаясь правых взглядов, он не желал подчиняться эсерам, но после продолжительных переговоров Алексей Николаевич сумел и его склонить к совместным действиям, забыв во имя общего дела о партийных разногласиях.

Объединение антибольшевистских сил Сибири произошло не на почве поддержки партии, которая оказалась в тот момент во главе организации, но на поддержке самой идеи власти, хотя бы данное содержание её и представлялось неприемлемым.

Свои цели Гришин всегда видел максимально ясно. Он никогда не брался за дело, не сформулировав точно, для чего берётся за него, и каким должен быть итог. Так и теперь чётко представлял Алексей Николаевич и долгосрочную цель, к которой стремился, и ближайшие задачи. Наипервейшая задача — создание боеспособной армии. Армия должна создаваться по типу, диктуемому во все времена, во всех странах, непреложными выводами военной науки, на основах строгой воинской дисциплины, без каких бы то ни было комитетов, съездов, митингований, без ограничений прав начальников, без подчинения «постольку-поскольку»... Во главу угла должна быть поставлена строгая дисциплина, потому что без того армии не будет. В качестве уступки новому времени — отказаться от погон и наград. Погоны восстановят старую иерархию, а она неуместна в сложившихся условиях, когда выдвигать командиров нужно не по чинам, а по талантам и заслугам. К тому же погоны слишком раздражают солдат, а это ни к чему — был бы серьёзный повод, чтобы провоцировать лишнее

недовольство! Награды же пристало давать за подвиги на войне с внешним врагом, которая ещё не окончена, но не на усобице. Погоня за чинами и наградами развращает, а армия должна быть проникнута одной лишь идейностью борьбы.

Что же касемо цели главной, то она одна: освободить всю Россию, создать всероссийское правительство. Всего лучше — с единоличным диктатором во главе. Пока о единовластии говорить рано, тактически несвоевременно, но именно эту цель ставил пред собой в перспективе подполковник Гришин, к ней стремился.

Свержение большевистской власти в Новониколаевске и других городах Сибири было первым шагом на пути к заветной цели. Эту первую победу ощущал Алексей Николаевич, как свой Тулон, но упоение триумфом не заставляло его забыть о деле. Уже через полчаса по окончании боя он благодарил участвовавших в нём доблестных барнаульцев. По объявлении благодарности, Гришин сообщил о начале мобилизации и наступления на другие районы, где большевики ещё держатся. Барнаульцы расходились в приподнятом настроении. Не менее приподнятым было оно и у Алексея Николаевича. Подумалось, как, должно быть, ликует теперь Маша, и стало немного жаль, что в эту минуту не разделить с ней радости первой победы. Для радости не было времени. Радоваться будем, когда Москву освободим. А теперь ждала работа: формирование правительства, армии, налаживание управления. И всё это неотложно, нужно действовать быстро, не давая противнику перевести дух, оправиться. И отдыха не нужно было Гришину, энергичная натура его требовала действия, и успехи лишь прибавляли сил и бодрости.

Веселы были барнаульцы, лёгкость первой победы окрыляла, давала надежду, что и впредь столь же

быстро враг будет сдавать позиции, и скоро закончится эта дрянная усобица, и вернётся привычная жизнь. Только поручик Юшин казался чем-то озабоченным, отвечал невпопад и явно таил какую-то тяжёлую думу.

— Что приуныли? Или жаль молодую жену оставлять? — сострил кто-то.

— Да иди ты! — буркнул Алексей.

Настроение его, в самом деле, было далеко от победного, хотя в кратком бою он успел отличиться, и только что был особо отмечен Гришиным-Алмазовым. Сумрачно было на душе Юшина. Он воевал, но так и не мог вывести для себя — за что и во имя чего он воюет. То была не его война, и одолевали поручика сомнения, верно ли поступил он, встав под бело-зелёное знамя. Хотя был ли выход? Завтра объявят мобилизацию, и он всё равно был бы призван. Одно знал Алексей точно: против кого ему придётся воевать. И от этого знания становилось особенно тошно.

Три года не был Юшин дома. Пройдя войну, пережив позор отступления, чудом избегнув гибели от рук большевиков в Киеве, он желал одного: в ближайшем будущем не касаться более оружия, отдохнуть, заняться мирным делом, от которого так давно отстал, жить в родной деревне, пахать землю — просто жить. Рядом с ним был теперь преданный друг, дорогой, любимый человек, нежность к которому согревала сердце — невеста Надинька. Вместе они проделали долгий путь — через всю Россию — от Киева до Алтая. Надеялись, что в Сибири будет спокойно, что здесь большевиков нет. Но ошиблись: большевики установили свою власть и в Сибири. Правда, власть эта была непрочной, а потому не приобрела ещё тех разнузданных форм, которые видел Алёша на юге.

Деревня, где уже десять лет жили Юшины, располагалась между Барнаулом и Новониколаевском, была крупной и зажиточной. Правда, немал был в ней и

процент бедноты. На плодородные земли Алтая стремились многие переселенцы, инстинктивно чувствуя богатство здешних недр. Переселенцы, приехавшие сюда десять-пятнадцать лет назад, успели получить хорошие наделы, обрасти хозяйством. Теперь они именовались «старожилами». Новосёлам же повезло куда меньше. Земли в этом районе им уже не доставало, устроиться порядком в короткий срок они не успели, а, между тем, перед глазами был пример зажиточных соседей. Отсюда являлось разделение, зависть. Прежде Алексей никогда не задумывался об этом, но революция обнажила вовремя незамеченный разрыв, и в первые дни Юшину суждено было уяснить, что многое изменилось за время его отсутствия.

Поначалу показалось Алёше, что всё осталось по-прежнему на его малой родине, несмотря на установление в деревне советской власти: то же течение жизни, те же люди... А родной дом ещё больше и наряднее стал! Пристройку срубили к нему, крышу железом покрыли! Не каменный, конечно, но, право слово, не хуже каменного! В каменных домах самые богатые крестьяне живут, фермеры навроде Антохиного тестя, а Юшины — середняки, для них просторный сруб — лучше не надо. Вдыхал Алёша знакомый воздух, вглядывался до боли в глазах в каждый дом, в деревце каждое. Вот, яблонька какого-то сорта редкого (Антохин тесть отцу привёз), Алёша сам сажал её — какая красавица выросла! Скоро расцветёт, заблагоухает! Забрехал, не узнав хозяина, Бушуй, рванулся из конуры, а как узнал, так завизжал ласково, ластиться стал. Бушуй, старый дружище — как здорово, что жив ещё! А на лай его сестра на крыльцо выскочила: дородная стала бабёнка, не узнать девчушки худенькой, которую дёргали с братом за косицы. На руках у неё младенчик хнычет, бабёныш сопливый за подол держится, смотрит опасно,



большеглазый, а позади девочка лет десяти стоит, строгая... Неужто племянница? Неужто Глашка? Вот, посмотришь на чужих детей, и поймёшь, как время летит. Ну, ничего! Скоро и свои забегают! Надя рядом стояла, волновалась заметно, как примет её Алёшина родня.

Сестра вскрикнула, кинулась в дом:

— Мамаша! Тятя! Алёшка вернулся!

И вот, бежала уже с крыльца — мать. Платок в горнице забыла, вьётся за спиною коса. Коса с девичьих лет была гордостью Марфы Игнатьевны. Почти до колен доходила она ей, и хоть хлопот много было с ней, а берегла мать свою красу. Теперь уже не смоляная коса, какой была прежде, седина пробивается... Обнялись, подхватил Алёша на могучие руки поочерёдно — мать, сестру, племянницу, взвизгнувшую испуганно. Затем представил невесту...

Сестрин муж, отец Диомид вместе со старшим сыном уехали накануне по делам в соседнее село и должны были вернуться лишь через два дня. Отец выйти навстречу не мог: отказали ноги Евграфию Матвеевичу, почти не вставал он с постели, хотя видом ещё бодр был и говорил громко, горячо. Не успели облобызаться, как отец спросил с подозрением:

— Ну, что же ты, Алёшка? Большевик или как?

Алексей опешил:

— С чего ты взял?

— Так дружки твои — все за них горло дерут, сколтыши... — тон отца стал желчным. — Пашка, Филиппов сын, всю жизнь у Григория Фомича батрачил, пил, как сапожник, да Дуньку свою лупцевал... Тоже стервь хорошая! Ей бы подол на голову и пустить... А теперь этот Пашка самый главный начальник в ихнем Совете! Каково?! Да ему же сарая доверить нельзя — всё разнесут! Тьфу!

— Уймись, старый, — покачала головой мать. — Ребёнок только порог переступил, а ты уже его поедом ешь!

— Никто его не ест. Но пусть ответит! А ты не суйся! Пойди на стол сberi, пока мы тут потолкуем.

— Успокойся, тятя, я не большевик, — улыбнулся Алексей.

— И на том спасибо, — ответил Евграфий Матвеевич. — Ты усвой, Алёшка, нам с этих самых совдепов пользы не будет, а одна беда. Власть должна тем принадлежать, кто успел доказать, что умеет рачительно хозяйствовать, строить. А эти что доказали? Голытьба! Доказали, что умеют мотать, разорять и разрушать! Теперь рты на чужой каравай раззявили! И то сказать — в чужой-то руке ломоть всегда больше и слаще кажется! А сколько поту да крови затрачено, чтобы ломоть этот велик был, они не думают. Зачем?! Зачем пот и кровь тратить, надрываться зачем, когда проще отнять этот ломоть у того, кто его горбом своим заработал!

— Что ты кипяتيشься, тятя? Кажется, у тебя пока никто ничего не отнимает!

— Именно что пока, — отец сел на постели, свесил высохшие ноги, накинул на плечи тулуп. — Но когда начнут отымать, поздно будет! С фронта вон солдатушки прибёгли торпко, за власть советскую агитируют! Им терять нечего! А нам есть что терять. Ты слушай, что старики наши говорят. Они дело говорят. Разорят всё эти самые большевики, а ничего не построят взамен. Потому что рождённый ломать, строить не может! Усвой!

— По-моему, ты слишком горячишься, тятя. Мне, например, всё равно, чья власть будет, лишь бы устроено всё было по справедливости.

— Балда! — с досадой воскликнул Евграфий Матвеевич. — У нас с ними справедливость разная! Для

них справедливость — это отобрать то, что мы нажили да промотать вчистую. А для нас — сохранить и умножить! И мы не сойдёмся!

— Справедливость, тятя, едина для всех. Одна правда.

— И какая ж это?

— Та, которой Христос учил.

— Христова истина — это одно, а человеческая правда другое. Правда у всех своя.

— Так если правда на правду ударит, то что ж выйдет? Кривда одна.

— Не умничай, — поморщился отец. — Говоришь, истина Христова? Так ведь они, большевики твои, и её не признают. У них своя истина! Этого, как его чёрта лысого...

— Ленина. И Маркса.

— Вот-вот.

— Успокойся, тятя. Я ведь сказал, что большевикам не сочувствую.

— Добро, коли так.

— Всё, кончайте помелом мести! Обед простынет! — раздался зычный голос матери.

— Пособи-ка мне, Алёшка, до стола добраться, — сказал Евграфий Матвеевич.

Алексей легко поднял отца и отнёс к столу. Надя робко сидела в углу, немного боязливо поглядывая на Марфу Игнатьевну и Анфису. Юшин ласково подмигнул ей, она чуть улыбнулась в ответ. За обедом Евграфий Матвеевич вернулся к прерванному разговору.

— Тебе, Алёшка, надо будет к Антошке в Новониколаевск съездить, — заявил он, хлебая щи.

— Совсем ты, старый, ополоумел, — покачала головой мать. — Не успел ребёнок вернуться, а ты уже его гонишь!

— Я не гоню, а посылаю брата навестить.

— Само собой, я проведу Антона, — ответил Алексей. — Но не сейчас же! Вот, вернётся Демид, обвенчает нас с Надей, а там видно будет.

— Это конечно, — не стал спорить отец. — Обвенчаться непременно надо. А то грех. А с братом тебе будет, о чём потолковать. Антошка, куда тебя не было, шибко в гору пошёл. Акинфий Степанович хозяйство своё расширил. А Антошка управляющим. В Новониколаевске у них группа там. Промышленная... — Евграфий Матвеевич понизил голос. — Организация у них там. Чтобы этих свалить.

— Вон оно что, — усмехнулся Алёша. — Ну, Акинфию-то Степановичу, знамо дело, бороться надо. Он же вон сколько загрёб под себя!

— А ты никак осуждаешь? — прищурился отец.

— Я никому не судья. Просто считаю, что большим куском подавиться можно.

— Ишь ты! А ты подумал, скольким людям Акинфиево хозяйство работу, корм даёт?!

— Его же батраки на него и попрут, тятя.

— Конечно! Народ-то этот известного сорта! Благодарности не жди! Ладно, я не спорю, есть среди Акинфиева брата глоты настоящие, которые у работников своих жилы мотают. Попадают такие. Но так ведь в каждой семье не без уродов! Так что ж, по уродам о семьях да о классах судить учнём?! Не дал Бог свинье рога, а мужику барства, и правильно! То, что легко достаётся, добра не приносит. А Акинфий с нуля поднялся, из батраков! Потому что ум ему даден! Характер! Хватка! И ни одной души он не загубил! А многим и помог! А теперь в глоты его запишем?! В живодёры?!

— Я лишь хотел сказать, что нельзя всю жизнь подчинять делу, хозяйству, добыванию и умножению земных благ!

— Ишь ты нестяжатель какой выискался! Поучи-ка нас дураков, чему жизнь подчинять надо?

— Жизнь, тятя, больше хозяйства!

— Да? — отец усмехнулся. — И в чём же состоит твоя жизнь? Ты ведь блажной у нас, Алёшка! Не тебе жизни-то людей учить! Сам ни Богу свечка, ни чёрту кочерга! Ни хлебороба не вышло из тебя, ни попа...

— Уймись ты, старый! Чего напустился? — нахмурилась мать. — Поп у нас в доме есть, хлеборобы тоже, а господ офицеров ещё не было. А теперь есть! Вот он, голубчик мой! Георгиевский кавалер! — глаза Марфы Игнатьевны засияли, и она ласково поцеловала сына. — А ты ещё ругаешься на него!

— Ладно... — немного утих Евграфий Матвеевич. — Твоя правда, мать, погорячился я... Офицер вроде бы вышел. Удивительно даже... А что господин офицер намерен теперь делать? Куда старания приложить?

— Я, тятя, месяц в поездах провёл. И Надя тоже. В Киеве мы от большевиков чудом спаслись. А теперь ты хочешь, чтоб я немедленно мчался к Антону и ввязался в какую-то авантюру? Нет уж, уволь.

— Так и быть, отдыхай, — милостиво разрешил отец. — Баньку стопи, погляди на житьё наше, матушкиных пирогов пожуй да с женой помилуйся... Может, и обойдётся как-нибудь... Эх... А всё же жаль, что хлебороба не вышло из тебя. Но ничего. Зато внука мне Анфиска доброго родила. Посмотришь, вот, на Матвейку, когда он вернётся. Пятнадцати годков нет, а уже мужик, каких поискать! Ты с ним на кулачках попробуй: спорю, что он тебя на лопатки положит!

— Ну, это мы поглядим, — весело откликнулся Алексей, чувствуя, что отец подобрел и размяк.

— Ты рассказывай лучше, сынок, про себя, — сказала Марфа Игнатьевна. — А то ведь этот старый ворчун и поговорить нам не дал.

И Алёша стал рассказывать домашним все приключения, которые выпали на его долю за последние месяцы. Иногда Надя, немного оживившаяся, дополняла рассказ. Мать и сестра охали, Марфа Игнатьевна даже всплакнула несколько раз, отец качал головой, бормотал что-то неразборчивое, ругал большевиков. К концу обеда отчуждённость, которая возникла было вначале, исчезла. Алёша почувствовал, что он — дома, среди самых родных людей. Когда же вошёл он в свою комнату, то и совсем потеплело, повеселело на сердце: ничего-то не поменялось за три года! Подошёл Алёша к полке, на которой стояли немногочисленные его книги, снял с неё пухлый греческий словарь, погладил любовно, показал Наде:

— Столько раз мечтал, как приеду сюда и засяду за него! Очень мне хотелось греческим в совершенстве овладеть, чтобы Писание и Святых отцов в подлиннике постигать. В семинарии у меня по греческому всегда отличные отметки были... А сейчас, чувствую, позабыл его порядком в окопах-то, — Алексей улыбнулся. — Может, теперь наверстаю, как думаешь? — и, помолчав, добавил. — Хотя вряд ли. Время не то, и настроение тоже.

А Наденька думала о чём-то своём. Алёша заметил это, приобнял будущую жену за талию, спросил негромко:

— Что ты, хорошая моя? О чём задумалась?

— Как ты думаешь, понравилась я твоим родным или нет?.. — спросила Надя. — Твоя сестра так пристально разглядывала меня, что я всё время краснела... Наверное, я им странной кажусь, чужой. Барышней...

— Ничего, они привыкнут и полюбят тебя, — заверил Алексей. — Отец, конечно, суров, а под старость сварлив сделался, но ты не думай: он человек хороший.

— Я ничего такого и не думаю, — посветлела лицом Надя. — Я их всех ещё заранее полюбила. Они же твоя семья. И ты непременно полюбишь моих родителей, когда их узнаешь.

— Я уже люблю их, — отозвался Алёша, целуя невесту.

К вечеру Алексей решил истопить баню. Хороша была баня у Юшиных, и сладко было Алёше в предвкушении её обжигающей, обновляющей усталое тело ласки. Верно говорят: банька не баба, а любого ублажит. Разоблачившись до пояса, Юшин проворно орудовал топором, лихо раскалывая сухие чурки так, что ни единой щепы не отскакивало в сторону. Внезапно его окликнул знакомый голос:

— Здорово, Архиерей!

Алексей обернулся, и увидел повисшую на заборе длинную, сутуловатую фигуру Давыдки, лучшего друга отроческих и юношеских лет. Давыдка смотрел на Алёшу, попыхивая папиросой, и щербатое лицо его, всегда выдвинутое вперёд, смеивалось. Юшин бросил топор и поспешил приветствовать друга:

— Здорово, Жердь! Сколько лет, сколько зим! Рад тебя видеть! Давно с фронта?

— Давненько, — уклончиво ответил Давыдка.

«Дезертир», — мелькнула мысль, но тут же исчезла, уступая место искренней радости от встречи.

— А чего на заборе виснешь? Чего не заходишь?

— Да я собственно так, мимо шёл... — снова уклончиво прозвучал ответ. Темнил Давыдка, держал камень за пазухой.

— Слушай, Жердь, я баню истопил. Попаримся вместе, как в лучшие годы жизни, а? Деверь мой в отъезде, отец хвор, а одному скучно. А, Жердь? Заодно и потолкуем! Столько времени не виделись!

Давыдка подумал, хлюпнул носом, сплюнул и, загасив папиросу, легко перепрыгнул через забор:

— Баня — дело доброе. Баню я уважаю!

— А Илюха что? Дома ли? — спросил Алексей, вспомнив другого приятеля. — Его бы ещё позвать! Совсем бы было как раньше!

— Убили Илюху, — коротко ответил Давыдка.

— Когда?

— Уж год как. В Галиции...

— Царствие небесное...

— Помянем?

— А как без того?

Илюху друзья помянули, уже вдоволь нахлестав друг друга берёзовыми вениками в жарко нашкваренной бане. Заметил Алёша два следа от пулевых ранений на спине Давыдки, но не спросил о них. Да и о чём было спрашивать? Война есть война. Но старый друг сам заговорил о войне:

— Ты в каком же, Архиерей, теперь чине? До генерала не дослужился?

— Поручик, — ответил Юшин.

— Вон оно как! Благородие, значит... — в голосе Давыдки Алексей уловил глухое недовольство. Лёжа на полке, блаженно чувствуя, как благодарно поёт каждая клеточка распаренного тела, Алёша меньше всего хотел спорить о чём-то с другом, но почувствовал, что спора избежать не удастся. Слегка свесившись вниз, он посмотрел на Давыдку, растянувшегося на нижнем полке во всю длину своего долговязого, худого тела, спросил осторожно:

— Тебе что-то не нравится?

— Мне не нравится, что ты теперь другой класс, а значит, супротив нас будешь.

Алексей даже сел от неожиданности. Кажется, и впрямь все с ума сошли. Утром отец целый допрос с пристрастием устроил, теперь — Жердь...

— Жердь, ты не пьян ли? Ты что несёшь? Какие классы?! Ты мужик, и я мужик!



— Ты офицер, а я солдат.

— Это было на войне, а здесь не война. Ты вдумайся, какую околесицу несёшь! Лежим мы с тобой в бане, голые! Где ты погоны офицерские увидел?

— Ты разговор не переводи в другую плоскость, — Давыдка тоже сел. — Скажи-ка лучше, ты как к большевикам относишься?

Алёша еле подавил стон. И здесь начиналось то же самое!

— Плохо отношусь! Меня господа большевики едва «в расход» не вывели.

— Вот видишь!

— Что я должен видеть?

— То, что разные у нас классы теперь. Разные стороны.

— Ну, и какие же это классы?

— Трудящиеся и эксплуататоры.

— Дожили! — ахнул Алексей. — Это я, значит, эксплуататор? И кого же я эксплуатировал, расскажи подробнее? У моего отца даже батраков никогда не было! Всё своими силами устроил!

— Ты, может, сам и не эксплуататор, а сторону их держишь. У брата твоего тесть — мироед...

— И кого ж он съел? Я что-то не пойму, Жердь, тебе-то чего не достаёт? Твой отец в бедняках никогда не ходил.

— Причём здесь мой отец? Мой отец тоже большевиков ругает. Я потому дома и не живу теперь.

— Так тебе-то зачем большевики? — не мог понять Алексей. — Что ты от их власти получить хочешь?

— Я хочу, чтобы мир по справедливости устроился. А не так как теперь: одним всё, а другим шиш с маслом! Антохин тесть целые заводы, гектары земли под себя гребёт, а у Егорыча дети рахитом с голодухи болеют!

— А в этом что, тесть Антохин виноват? Или мой отец?! Или твой?!

— Да раскрой ты глаза, Архиерей! Неужели не видишь, что так дальше продолжаться не может?! — глаза Давыдки загорелись. — Вот, возьми хотя наш Алтай! У нас же здесь два класса! Одни всё что बारे, помещики малые! В каменных домах живут! Полы у них крашенные! Земли у них — взгляда не хватит окинуть! Скотина у них! Всё! А другие?! А другие, Архиерей, в землянках ютятся, ни землицы, ни лошади... Только батрачеством и спасаются! Ваши скачут, а наши плачут!

— Когда наши отцы с тобой сюда приехали, то сперва тоже в землянках жили и ничегошеньки не имели, а затем пустили корни в эту землю, обросли хозяйством. И что же? Давай отнимем у них то, что они за всю жизнь наработали, и отдадим тем, кто не успел или не сумел устроиться? Что думаешь, они станут богаче тогда? Да не станут! То, что не заработано, сбережь трудно, потому что цена этого не ощущается! Нельзя построить справедливость на том, чтобы отобрать у одних и дать другим! Как ты не можешь понять!

— А мы и не будем отдавать другим! Всё должно быть общим! Тогда неравенства не будет! Ты из деревни нашей выйди и к новосёлам пройди! Погляди, как они живут! В грязи, в нищете, в болезнях! А старожилы наши что ж?! Помогают им?! Шиш! Батраков нанимают, дешёвой рабочей силе радые!

— А скажи, Жердь, ты свою рубаху отдашь тому, у кого её нет? Только честно?

— А это тут при чём?

— А при том, что больно вы горластые требовать, чтобы кто-то свою рубаху снимал, а сами-то своей никогда не снимете! Будет комиссар в куртке кожаной сидеть и с мужиков рубахи снимать! Повидал я их, знаю!

— Стало быть, оправдываешь ты такое положение?

— Нет, не оправдываю. Я считаю, что наши старожилы слишком увлеклись накопительством, слишком себе на уме, что следовало бы более внимательно относиться к нуждам неимущих, как Христос учил. Но силой тут ничего исправить нельзя. Я, не задумываясь, отдам свою миску каши голодному, но я никогда не пойду отнимать её у кого-либо. Это дело совести человеческой, а не классовых догм. Пойми, Жердь, догмы — они бездушны, им до человека дела нет! Нельзя же догмами, партийными уставами заменять совесть!

— А ты, когда офицером был, по совести жил, аль по уставу?

— Я устав исполнял, но в противоречие с совестью моей это не вступало.

— Надо же! А у нас ротный был, так он (по совести, между прочим!) долгом своим считал солдата кулаком поучить. Одному так заехал, что челюсть вывихнул. Тот ему тоже отвесил! Офицеру — что? Выговор и перевод, а нашего брата в арестантские роты! И ведь по совести всё!

— И что ты этим хочешь доказать? Что сволочи в каждом деле встречаются?

— Что совесть у нашего брата с твоим — разная. И правда разная! А значит, однажды придётся нам с оружием в руках встретиться, Архиерей.

— Ты это всерьёз? — Алексей спрыгнул на пол, остановился напротив Давыдки.

— Всерьёз. Ты Тимоху спроси — он то же самое тебе скажет.

— Тимоху я ещё могу понять. Отец его сгинул рано, он с матерью и младшими всю жизнь в нужде мыкается.

— Тимоха сейчас в нашем местном Совете заседает. Он в Москве был, Ленина видел. Ты потолкуй с ним. Он тебе многое разъяснит лучше, чем я.

— А ты уже что, тоже партийный?

— Да, на фронте вступил. И Тимоха тоже. Его за агитацию под трибунал отдать должны были, а он сбёг. В Москву. А из Москвы до дома подался.

— Фронт, Жердь, не место для агитации, — сухо произнёс Алексей.

— Вот-вот! — вскинулся Давыдка. — Сразу офицера чувствуется! Смотри, Архиерей, не ошибись, на чью сторону встать!

— Я не собираюсь вставать ни на чью сторону! — вскипел Алёша. — И не надо тянуть меня, точно барана! Я готов воевать с врагом, а в глупости, которую вы называете классовой борьбой, я участвовать не собираюсь! Я деления вашего на классы не принимаю! И за оружие ни за вас, ни против вас браться не стану!

— Э, брат! — протянул Давыдка. — Этак не получится у тебя. Рано или поздно, а придётся сторону выбирать. И защищать её придётся.

— Что же, станем стрелять друг в друга? Жердь, ты что ж, станешь в меня стрелять?

— Стану, Архиерей, если ты на той стороне с оружием окажешься. Потом, может, не прощу себе этого, запью с горя, а стрелять стану.

— А я не буду в тебя стрелять, на какой бы стороне ты не был, — сказал Алёша. — Давай выпьем, чтобы не свела нас судьба при таких обстоятельствах.

— За это стоит, — согласился Давыдка.

Выпив, Алексей сообщил:

— Я жениться решил. Днями свадьба. Придёшь?

— Поздравляю. Но прийти не смогу.

— Почему?

— Я с твоей роднёй на ножах. Так что за одним столом нам не сиживать.

— Воля твоя... — вздохнул Алёша, понимая, что друга он потерял. Перед ним был не прежний Давыдка, с которым удили рыбу, проказили, понимали друг друга с полуслова, а жёсткий, увлечённый идеей борец,

готовый во имя своей цели разорвать все узы, отречься от родных и друзей, жестокий к себе и к другим. И снова почувствовал впервые за три года Алексей отсутствие твёрдой почвы под собственными ногами. Прав был отец, ругаясь, что он ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Отец, брат, Демид, Давыдка, Тимоха — все они знают совершенно точно свою стезю, нашли свою правду и твёрдо стоят на ней. А у Алексея никакой своей правды нет. Жаль ему людей, согласен он в чём-то и с Давыдкой, согласен и с отцом, а во всём сомневается, и не знает, куда пристать. Не желал Алёша примыкать ни к одной партии, ни к какой правде. Партия — что? Часть, претендующая быть целым. Правда — что? Одна из граней Истины, посягающая на то, чтобы подменить её. А Алёше хотелось оставаться с целым, с Истиной. И неужели нельзя жить так? Неужели нельзя быть ни на чьей стороне? Неужели нельзя не участвовать в братоубийстве? Но как донести до других свои мысли, как убедить их в абсурдности того, что они считают мудрым? Да и имеет ли право Алёша поучать других жизни? Для чего сам он жил до сей поры? Жил — просто так. Сомневался, колебался, как трава на ветру... Для чего теперь намерен жить? А на этот вопрос, пожалуй, есть ответ. Для жены, для их будущих детей. Он должен, обязан оградить их от нарастающего безумия, быть опорой и защитой им. Если надо, то и с оружием в руках...

День спустя возвратился из отлучки деверь с племянником. Сильно вымахал Матвейка, и не скажешь что мальчишка ещё — взрослому мужику фору даст. И в кого такой? Отец Диомид росточка был среднего, поджар, да жилист. Лицо его всегда было немного усталым, мягким, кротким. Незлобив был батюшка, приветлив со всеми, в службе ревностен. В округе любили его, потому как для всякого находил он доброе слово, всякую душу понять и почувствовать умел. Не

успел войти отец Диомид в дом и перекреститься, как уже насел на него тесть с расспросами, что творится в соседних деревнях, что говорят люди о новой власти. Жгло неуёмного старика беспокойство, страх, что пойдёт прахом всё, на что положил он свою многотрудную жизнь.

Отец Диомид отвечал меланхолично, неспешно:

— Говорят, что и везде. Старики новой власти не верят. Молодёжь приветствует. В целом, отношение безучастное. Мужики говорят, что им до власти дела нет, в партиях они не смыслят. Пусть кто угодно будет, лишь бы землицы дали побольше, а налогу поменьше. Эх, всяк о своём печётся, един Бог обо всех...

— Ох, натворят же дел! Чует сердце, всё разорят! — стонал Евграфий Матвеевич. — Одним утешаюсь, что, может, Господь помилосердствует и сподобит меня прежде того помереть.

— Опять ты, старый, за своё, — морщилась Марфа Игнатьевна.

— Народ с ума сошёл, — качал головой отец Диомид, поправляя лампаду. — Прёт, сам не знает куда, разрушая всё на своём пути... Сметут и нас, и тех... Как песчинки сметут... Но да на всё воля Божия.

Отец Диомид, единственный из всей семьи, сразу нашёл общий язык с Надей, к нему она сразу прониклась доверием. Ласков был он, говорил с нею долго, ободрял, и Алёша был очень благодарен ему за это, понимая, как трудно должно быть Наде в чужом доме, среди незнакомых людей.

Обвенчались вскорости. Свадьбу справили скромно, по-семейному. Надя, не привыкшая к деревенскому образу жизни, никого не знающая, не хотела, чтобы собиралось много чужих, да и Алексей не желал шумного застолья, зная, что лучшие друзья не придут порадоваться за него. Отец и мать сердились, считая, что нарушать обычай грех, а по обычаю надо на свадьбу

всех родных и соседей позвать. Но Алёша остался непреклонен, заметив, что в грозные дни, о которых всё время твердит отец, вполне можно обойтись без всенародных гуляний. И всё же и Евграфий Матвеевич, и Марфа Игнатьевна дулись на молодых. Подхватывала за ними и Анфиса, но её одёргивал муж, принявший сторону Нади и Алексея, отлично поняв причины, по которым они не желали шумного торжества.

Так долго ждал Алёша этого дня, что, оставшись с молодой женой наедине, немного оробел. Такой хрупкой, такой чистой казалась она, так стыдливо пылали маками её щёки, что и коснуться было страшно. Никогда в жизни не был Алексей так счастлив, как в первую их ночь. Разрывалась грудь от огромного, великого чувства, заливала душу нежность. Разве можно сделать людей счастливыми, следуя придуманным догматам? Разве можно выводить счастье для какого-либо класса? Все эти бездушные доктринёры никогда не ведали счастья, настоящего светлого чувства, озаряющего всю жизнь, а потому и тянет их ниспровергать этот мир, мир в котором они несчастливы. Думают ли, что построят новый, где найдут своё счастье? Или же просто из зависти хотят, чтоб и другие стали такими же несчастливыми, ущербными, искалеченными? А Алёша ничего не хотел ниспровергать, потому что был счастлив, а тот, кто счастлив, не разрушает мира, в котором ему хорошо, не мстит никому.

Рассчитывал Алёша подольше пожить дома, отдохнуть, налюбоваться с молодой женой, но прошло совсем немного времени, и обстоятельства вынудили его уезжать. Местные фронтовики и молодёжь, повально увлекшаяся большевизмом, буквально не давали Алексею прохода. Иногда заявлялись недавние друзья, пытались агитировать. Алёша реагировал резко, и разговоры часто оканчивались ссорой. Случалось ему,

идя по улице, слышать злобное шипение себе вслед: «Офицер... Контра...» Вначале Алексей не обращал на это внимания, но постепенно стал раздражаться. Спросил при встрече Давыдку:

— Объясни мне, какого чёрта ваши не дают мне прохода?! Я боевой офицер, я честно гнил в окопах три года! В чём вы меня обвиняете? Я ни словом, ни делом не выступал до сих пор против вас. Но вы делаете всё, чтобы вынудить меня к этому. Зачем?!

— Не выступал против, да. Но и за не выступал. Сторонишься, обособляешься, новой жизни не принимаешь... Враг ты нам, Архиерей, как не крути. На нашу сторону ты не пойдёшь, а по середке не долго удержишься. Ты нам можешь стать опасен.

— Так, может, прямо сейчас и шамальнёшь меня?! — крикнул Алексей. — Давай! Избавитесь от потенциальной опасности!

— А ты не ори на меня! Вспомнил, благородие, как нашего брата на передовую гонял?! Так здесь тебе не фронт! И не пятнадцатый год! Так что язык прикуси! Здесь мы власть! Захотим и шамальнём!

— Я власти дезертиров и предателей не признаю! — выпалил Алёша.

— Вот и раскрылся! — усмехнулся Давыдка. — Шкура офицерская... Даже бабу себе нашёл — из благородных! Наши, чай, не годятся уже? Благородная скунее? — и сплюнул презрительно.

Не выдержал Юшин и «наградил» бывшего друга хорошим тумаком, как бывало прежде в мальчишеских ссорах. Но не ответил тем же Жердь, как тогда, не кинулся валить обидчика на землю, а встал, отряхнулся, процедил сквозь зубы:

— А вот об этом ты ещё пожалеешь! — и ушёл.

А вечером прибежал Матвейка, сказал, отдышавшись:



— Арестовать тебя решили, дядя Алексей! Петька Игошин сам слышал, как брательник его Тимоха говорил, что тебя арестовать надо!

— Да за что ж? — охнула и осела на лавку мать.

— Контрреволюция, говорят, — пожал плечами Матвейка, зачерпнув ковшом ледяной воды из кадки.

— Надо же, а я и не знал, что фингал на Давыдкиной морде равен покушению на советскую власть. Мало я ему всыпал... — фыркнул Алексей.

— Вот они, дружки твои! — крикнул отец. — Мало их пороли, сукиных детей!

— Уймись, старый! — мать оправилась от испуга, поднялась и заявила решительно: — Уезжать тебе надо, сынок. Немедленно. Поезжай к Антону в Новониколаевск. Там они тебя не достанут.

— Ладно, — махнул рукой Алёша. — Видать, с судьбой не разминёшься... Поеду.

В четверть часа собрали нехитрые пожитки. Отец Диомид запряг свою небольшую, серую кобылку:

— Сам свезу. Этак безопаснее будет.

Алексей усадил Надю в телегу, расцеловав на прощанье мать и сестру, забрался следом сам. Под покровом ночи покинул поручик Юшин родную деревню, немногим разминувшись со своими бывшими друзьями, шедшими его арестовывать.

В Новониколаевске остановились на квартире брата. Раздобрел Антошка на тестевых харчах, приосанился. Мужика уже и не заподозрить в нём. Не дать, не взять — барин. Волосы зачёсаны, усы и борода аккуратно подстрижены, дорогой костюм, карманные часы золотые, очки... Несколько лет уже жил Антон в городе, следя за делами тестя, часто выезжая по делам в другие области. Квартира его располагалась в центре города, была просторной и дорого обставленной. Дороговизной и изяществом обстановки увлекался Акинфий Степанович. Ещё на первых порах будучи по

делам в Китае, закупил он там огромной высоты зеркало. Было оно столь велико, что не входило в двери, а потому новый дом находчивый хозяин строил, предварительно установив дорогое зеркало. Много всевозможных дорогих и красивых вещей собрал Акинфий Степанович, часть отдал в приданое дочери Мане, и теперь они украшали квартиру, в которой жила она с мужем. Долгое время живя в городе, Маня успела отвыкнуть от деревенской жизни и превратилась в типичную мещанку. Молодость её уже минула, но она следила за собой, стремилась одеваться красиво. Правда, понимание красоты было у неё своеобразным, и Алёша счёл её наряды слишком яркими, до безвкусья. Пятерых детей родила Маня мужу. Один умер от кори, старшая дочь училась в пансионе, сын-гимназист жил с родителями, а младших забрал к себе дед. Маня пыталась вести «светский» образ жизни, бывала на всевозможных мероприятиях, участвовала в благотворительных обществах, прочла несколько книг и с глубокомысленным видом изрекала заученные цитаты. Хозяйство она препоручила экономке, нанять которую уговорила мужа. Антон, занятый работой, прихотям жены не перечил, жалея силы и время на домашние скандалы.

Приехавших Алексея и Надю Маня поселила в просторной и светлой комнате, занимаемой до поступления в пансион её дочерью. Бурной радости приезду гостей она не обнаружила, но вела себя подчёркнуто вежливо и предупредительно. Антон же был рад встрече с братом. Правда Алёше показалось, что радость эта была, во многом обусловлена надеждой Антона втянуть его в «организацию», о которой упоминал отец. Что из себя представляла эта организация, Алексей узнал скоро, придя вместе с братом на её тайное заседание.

Братья немного запоздали. Когда они вошли, говорил довольно высокий человек лет тридцати пяти-сорока с продолговатым, высоколобым, гладковыбритым лицом и глубоко посаженными, умными глазами. Он был одет в штатское, но в осанке его, в движениях Алёша безошибочно угадал офицера. Оратор был немногословен. Речь его, без цветистости и пафоса, была темпераментной и убедительной. В ней не было красивых фраз и митингового задора, но было слово, точное и решительное, была искренность. Речь неизвестного офицера сразу захватила Алексея.

— Необходимо каждому поступиться своими партийными убеждениями для общего дела, — говорил он. — Россия, господа, выше партий, выше личного самолюбия. И ей одной мы должны служить! Через армию — придём к Сибирскому Учредительному Собранию, а затем к сильной, единой, нераздельной России! Всё для победы, господа!

Правда! Правда! — готов был согласиться Алёша. В говорившем он почувствовал не болтуна, к которым успели привыкнуть, а человека слова и дела, человека, умного и готового действовать. То был редкий тип делателя, организатора. И Алексей поверил ему. Позже от брата он узнал, что выступавшим был подполковник Гришин-Алмазов. Не случись того собрания, кто знает, чтобы делал Алёша? А так, встретив на своём пути такого человека, не смог не пойти за ним, уклониться, не откликнуться на пламенный призыв, не поддержать того, что счёл правильным.

Несколько раз посещал Алексей собрания, познакомился с Гришиным лично, а после вступил в его организацию. Прав оказался Давыдка, не удалось сохранить нейтралитет. Может, и к лучшему? Негоже болтаться навозом в проруби, надо же и к какому-то берегу пристать...

Девятнадцатого мая Гришин объявил:

— Договор с чехами достигнут. Выступаем ровно через неделю. Прошу всех быть готовыми.

Многие питали надежду, что, кроме чехов, окажут помощь союзники, которые непременно высадят свой десант во Владивостоке. Иные утверждали, что десант уже высажен и спешит на подмогу. Алексей предпочитал слухам не доверять. И казалось ему, что лучше будет, чтобы эти союзники не высаживали никаких десантов. Если борьба правая, так народ поймёт это, и сам сметёт большевиков. А просить помощи во внутренних делах у чужаков — не дело. Это, как если бы муж, которому жена изменила, вместо того чтобы самому отходить её, подол задрал, пригласил ещё двух-трёх соседей в помощь. Не любил Алёша политики, отогнал привычно сомнения — есть приказ, и надо выполнять.

И, вот, двадцать шестого восстание началось. Подкатили по железной дороге чехи, ударили барнаульцы, и рухнула советская власть в какие-то полчаса. И зачем нам союзники? Сами больно здорово управимся!

В Новониколаевске наблюдалось заметное оживление. Доморощенные ораторы уже спешили блеснуть красноречием, повсюду расклеивались приказы и призывы к населению. Алёша шёл по улице и думал, что сейчас ему надо будет огорчить милую Надиньку, сообщив ей о своём завтрашнем отбытии на фронт. Не успели пожениться, а уже разлука. Хорошо всё же, что они перебрались в город. Здесь, у Антона и Мани, будет ей лучше, чем в деревенской глуши, столь чуждой ей. С такими мыслями дошёл Алексей до дома, и едва переступил порог, как две нежные, мягкие руки обвили его шею, а жаркие губы приникли к щеке:

— Живой! Я так волновалась всё утро... Мне так страшно было, словно тогда, в Киеве...

Всё утро Надя не находила себе места. Заслышав выстрелы, вздрагивала, бросалась к окну, силясь представить, где теперь может быть Алёша. Маня невозмутимо сидела за изящным чайным столиком и раскладывала пасьянс. На Надю смотрела она насмешливо-снисходительно:

— И что ты волнуешься, не понимаю? Вернётся он. Жив-здоров. Молодая ещё...

Как легко было говорить ей! Антон в эти часы не участвовал в боях, а заседал где-то в безопасности в ожидании итога восстания. Конечно, и его безопасность — относительная. Если восстание провалится...

— Маня, а если они проиграют?

— Не говори глупостей! — Маня поморщилась. — Слышишь — ухаает? Это чехи с железной дороги ведут обстрел. Побегут советчики, никуда не денутся. Так Антон говорит.

Такая уверенность немного успокоила Надю. Она попыталась сосредоточиться на чтении: раскрыла зачитанную книгу Зайцева, пробежала несколько строк и поняла, что совершенно не в состоянии следить за текстом. Попробовала вышивать, взяла пяльцы, но тут же укололась.

— Неженка ты, — вздохнула Маня, потягиваясь. — Вот, сразу видать: барышня. Голубая кровь! Не мог братец наш среди своих девку найти...

Этот упрёк уже слышала Надя. И читала в глазах свекрови и Анфисы. Конечно, их можно было понять. Марфе Игнатьевне нужна была в доме помощница. А потому мечтала она, чтобы привёл сын в дом справную, здоровую, хозяйственную жену. Мало ли девок хороших в деревне? Выбирай любую! За офицера, за георгиевского кавалера — какая откажется? Да и дом Юшиных — крепкий дом, зажиточный. Так нет: привёз сын барышню нежную. Барышню ту тронуть страшно, а уж как такой поручишь воды натаскать (да ещё

сибирской-то зимой!), как в поле работать послать? Да она ж на плечики свои хрупкие и коромысла не подымет! Барышня хозяйства не ведала. Зачем ей было? В доме горничная обихаживала, кухарка готовила. Ничего-то не умела Надя по дому. Научили её языкам да музыке, а руками работать не научили. А зачем нужна была Марфе Игнатьевне такая сноха, которая только книжки читает? Косилась она на те книжки неодобрительно. Привёз сын барышню безрукую — какой с неё прок? Так же рассуждала и Анфиса. Ртом в доме больше стало, а помощи никакой. Только отец Диомид и утешал Надю. Правда, со свекром нашла она общий язык. Старик охоч был до газет, а грамоте знал слабо. Правда, в последнем не признавался, валя всё на мелкий шрифт и слабое зрение:

— Ну-ка, дочка, почитай ты лучше!

И Надя читала. Никогда прежде не доводилось ей читать столько газет. Газеты сплошь были советские. Свёкор сердился, негодовал на то, что в них было написано, но просил читать всё.

Не показывала Надя виду, а тяжело было ей в деревне. Никогда прежде не жила она в сельской местности, никогда не сталкивалась с трудностями быта. Правда, всё пережитое за последние месяцы закалили её, а всё же тосковала «барышня» по городской, устроенной жизни. Недоброжелательность же свекрови тоску усугубляла. Надя не обижалась, но чувствовала себя без вины виноватой и пред ней, и перед Анфисой. Виноватой в том, что, в самом деле, ничего не умеет она, что чужая им, всему укладу их жизни. Алёше она не жаловалась, но он и сам стал догадываться, что жене тяжела такая жизнь. Он сам заговорил о том, что надо бы поехать проведать брата, пожить в городе. Стычка же его с местными большевиками отъезд ускорила.

Жизнь в городе была Наде привычнее. С Маней они не подружились, но у неё, в отличие от Марфы Игнатьевны и Анфисы, не было причин сердиться на «барышню» за её неумелость в хозяйстве: здесь хозяйство всё равно лежало на плечах экономки. Таким образом, не было ни конфликтов, ни близости. Маня скучала, и общество Нади, видимо, даже развлекало её. Она расспрашивала новоявленную родственницу о Петербурге, где ещё девочкой однажды побывала с отцом, о тамошнем обществе, листала её книги и даже выписала себе в тетрадь какое-то стихотворение Блока. Надя охотно рассказывала обо всём, с удовольствием вспоминая светлые дни своего детства. Маня взялась показать ей Новониколаевск, ввела её в круг своих знакомых, наконец, настояла на необходимости заказать новое платье. Надя долго отнекивалась, считая в душе, что думать о туалетах в такое время не пристало, но Маня заявила категорически:

— Война или не война, революция или что другое, а женщина обязана оставаться женщиной, и иметь хотя бы один приличный туалет, в котором не зазорно было бы выйти на люди. Мало ли что? Пригласят твоего Алёшу и тебя на какой-нибудь банкет, и в чём ты пойдёшь? Нужно же иметь что-то приличное!

— Но у меня нет денег, — всё ещё сопротивлялась Надя.

— Мы с Антоном не смогли приехать к вам на свадьбу, так что за нами подарок.

И Наде пошили платье. Цвет и фасон она выбрала сама. Строгое, неброское, сочетающее шоколадный и кремовый цвет — оно очень шло к глазам своей обладательницы. Надев его впервые, Надя подумала, что Маня, пожалуй, была права. Женщине необходимо иметь хотя бы один приличный туалет, чтобы взглянув на себя в нём, вновь ощутить себя привлекательной, красивой, женственной. Маленькая женская слабость —

кто поставит ей её в укор? Посмотрела Надя в зеркало на себя, развеселилась — уж больно шло платье, так точно по фигуре легло! А то ведь от прежнего гардероба мало что уцелело, и, права Маня, в случае нужды в порядочном обществе не в чем показаться. И Алёше — приятно же должно быть, что у него такая жена! Довольна была и Маня. Ей, вообще, доставляло большое удовольствие заниматься гардеробом: и своим, и чужим.

— Вот, другое дело, — говорила она. — Теперь хоть на генерал-губернаторский бал, если такие у нас ещё будут! Я была однажды на таком балу... С отцом... Отца ведь везде знают. Даже в твоём Петербурге...

Об отце Маня любила говорить. Отцом она гордилась. Муж так и остался для неё вторым человеком после него.

Скоро Надя нашла себе занятие: стала заниматься французским с Маниным сыном Денисом. Мальчик ленился, но мать строго следила, чтобы он не отлынивал от уроков, присутствовала при них сама, говорила назидательно:

— Учись, сыночек. Дед твой в поте лица трудится. Отец тоже. Пока мы только в Сибири известны и в России немного, а там, глядишь, и до заграницы дойдём. А ни дед, ни батя по-заграничному не знают. Так ты знать будешь! Будешь в Париж ездить по нашим делам.

Мальчика, кажется, такая перспектива не очень вдохновляла, но послушаться матери он не смел.

Алёша всё чаще стал отлучаться из дома. Он ничего не скрывал от Нади, и она знала, что муж стал членом подпольной офицерской организации, что готовится восстание. Переполнялась душа страхом за Алексея, но понимала Надя, что иначе он не может. Что потом не простил бы себе, если бы остался в стороне, как многие другие. Вечером накануне восстания Алёша ушёл,



предупредив Надю, что завтра решающий день, но что всё, скорее всего, обойдётся, чтобы она не волновалась. Всю ночь Надя не спала, поднялась чуть свет и не могла усидеть на месте нескольких минут.

— Наливки хочешь? — спросила Маня с жалостью. — У меня отцовская есть, лечебная. Полегчает.

— Спасибо, не хочется.

— Зря. Тогда пообедаем.

Обедать Наде тоже не хотелось, но никаких ссылок на отсутствие аппетита Маня не приняла. Сама она таким не страдала никогда и теперь отдала трапезе из трёх блюд должное. Надя через силу проглотила кусочек рыбы, выпила с Тоней крохотную, чуть больше напёрстка рюмку «лечебной». Кровь потеплела, и волнение немного улеглось. До темноты Надя стояла у окна, мысленно твердя «Богородицу», чтобы разогнать страшные мысли. Возвратился Антон, поздравил жену и невестку с победой, а Алёши всё не было. Наконец, вернулся и он — камень с души свалился. Улыбался ласково, шутя над Надиными страхами:

— Глупая, что со мной могло случиться? Постреляли маленько — делов! Красные так припустились от нас, что даже размяться толком не вышло. Скука!

— Ничего, брат, ещё разомнёшься, — посулил Антон. — Теперь фронт у нас большой будет. Погоним мы этих краснюков так, что отхлынут они, как талая вода — и до Москвы! Дайте срок, к осени в Первопрестольной будем!

И вновь захолонуло сердце, едва успевшее отогреться в мужниных объятиях.

— Что же, значит, ты теперь... на фронт? — спросила Надя, изо всей оптимистической тирады Антона поняв одно: её Алёша снова будет воевать, снова им жить в разлуке, снова ей не знать покоя, боясь за его жизнь.

— Да... — словно извиняясь, кивнул Алексей. — Завтра выступаем... Приказ уже получен. Только ты не огорчайся. Это ненадолго. Если всё пойдёт такими темпами, как сегодня, то прав Антон, и...

Надя слушала и понимала, что сам Алёша не верит своим словам, не верит оптимизму брата. Она провела ладонью по его лицу, такому любимому и родному, кивнула:

— Конечно, я и сама понимаю, что это ненадолго... Я понимаю...

Сколько раз уезжал на войну отец, но никогда так не разрывалось сердце Нади. Она видела, как прощались они с матерью. Оба спокойные, строгие, немногословные. Мать никогда не плакала, не бросалась на шею отцу, не говорила обильных нежных речей. Обнимались крепко, короткий поцелуй, рукопожатие, несколько фраз — и всё. Отец уходил, а мать, проводив его взглядом из окна, возвращалась к своим делам. Всё это носило характер ритуала, неизменного и нерушимого. Как-то сухи и пресны были эти прощания. Будто бы не на войну уходил отец, а уезжал на неделю в Москву проведать родных. Прощались так, точно не думали, что это прощание может стать последним. Тогда Надя не придавала значения этому, так повелось — значит, так и должно быть. Но теперь, прощаясь со своим мужем, она никак не могла понять матери. Как она могла быть такой холодной? Такой сдержанной? Впервые Надя усомнилась в том, что родители любили друг друга.

А Алёша шептал что-то ласковое, утешительное, гладил по волосам, как всегда, заплетённым в тугую косу, немногим уступавшую косе Марфы Игнатьевны. Надя вспомнила, как читала где-то о проводках деревенскими бабами своих мужей на войну: как шли она рядом с лошадьми, держась за стремя, заливаясь слезами, воя, как хватали кормильцев за руки,

целовали... И казалось Наде, что и сама бы она пошла так, стелая и плача, держась за стремя. Но — сдержала слёзы, заставила себя улыбнуться, чтобы не огорчать Алёшу. Всё же передали родители дочери своё самообладание, и за это поклон им.

## Глава 4. Аутодафе

*25 июня 1918 года. Петроград*

«Казнь капитана Щастного!», «Первый приговор ревтрибунала!», «Щастный расстрелян!» — такими заголовками пестрели последние газеты. Павел Юльевич вчитывался в каждое слово и не мог поверить случившемуся. В голове не умещалось, что и такое — сделалось возможным. Алексей Щастный был из тех офицеров, которые остались служить после большевистского переворота, считая невозможным покинуть свой пост во время войны. На окровавленном Балтийском флоте, где озверевшие матросы жестоко расправились с огромным количеством начальников, не делая разницы между «шкурами» старшими офицерами и престарелым заслуженным адмиралом, Щастный стал первым не назначенным, а избранным командующим. Уставшие от анархии и крови, протрезвевшие балтийцы выбрали капитана на этот пост, и ему удалось то, что казалось совершенно невозможным: наладить на флоте дисциплину. По условиям Брестского мира Балтийский флот, героически сражавшийся всю войну, бывший непреодолимой преградой на пути германского флота к Петрограду, должен был быть затоплен. Двести тридцать шесть боевых кораблей было приказано взорвать и затопить. И снова сделал невозможное капитан Щастный. В считанные дни он вывел флот в море, чтобы вести в Петроград и, таким образом, спасти. Балтика была покрыта льдом, ледяные торосы достигали в высоту пяти метров, никогда ещё не приходилось совершать кораблям подобного похода. Для передвижения флота командующий избрал наименее замёрзший северный шхерный фарватер,

корабли шли друг за другом, и те, что были больше, торили путь остальным, сокрушая льды. Это беспрецедентное плавание получило название Ледовый поход капитана Щастного. В Петрограде балтийцев и самого капитана встречали, как истинных героев, что сильно не понравилось городскому главе Зиновьеву, военному Троцкому и их поделщикам. Раздались мнения о необходимости военной диктатуры. В Кронштадте, ещё недавно опорном пункте большевиков, воссталая минная дивизия, требовавшая установления таковой. Восстание было потоплено в крови. Алексей Щастный от роли диктатора отказался. Но, считая условия Брестского мира предательством, он узнал очень многое об истинных механизмах его заключения. Тучи над ним сгустились уже в мае, угроза ареста стала осязаемой. Но петроградцы стояли за своего героя горой. Тогда капитана вызвали в Москву на совещание. Щастного предупреждали о рискованности этой поездки, советовали бежать, но он не пожелал и слушать подобных советов. Капитан ехал в Москву с целью изобличить предателей, в первую очередь, Троцкого. Но всё вышло иначе. Двадцать седьмого мая Щастный был арестован и заключён под стражу в Кремле. Процесс над ним длился чуть меньше месяца. Это был первый процесс свеже созданного (специально ли для расправы с потенциальным диктатором?) Ревтрибунала. Председательствовал на нём бывший прапорщик, а теперь глава красной юриспруденции, убийца генерала Духонина Крыленко. Единственным свидетелем и обвинителем выступал Троцкий. Капитана Щастного обвинили в неисполнении приказа, и не Троцкого, а именно его выставили предателем. Несмотря на официальный запрет смертной казни, трибунал приговорил свою первую жертву к расстрелу. «Смертная казнь запрещена!» — воскликнул капитан. «А вас и не казнят, вас просто расстреляют!» —

глумливо ответил Крыленко. Им мало стало тайных и бессудных расправ, свершаемых по ночам, когда несколько матросов во главе с комиссаром ходили по домам и отбирали жертвы, о судьбах которых ничего затем уже нельзя было узнать. Теперь они приговаривали и казнили публично. Капитан Алексей Щастный был расстрелян двадцать второго июня. О месте его захоронения не пожелали сообщить даже вдове. В предсмертном письме капитан написал: «Смерть мне не страшна. Свою задачу я выполнил — спас Балтийский флот...»

Весть о расстреле Щастного потрясла Петроград. Новая волна арестов накрыла город. Арестовывали, в первую очередь балтийцев и офицеров. Ненасытный Минотавр ночь за ночью проглатывал всё новые и новые души. И этим ясным летним утром Павел Юльевич Вревский ясно почувствовал, что скоро придут и за ним. Придут, потому что он был знаком с Щастным, потому что считался его сторонником, потому что... Зачем все эти «потому что»? Им не нужны «потому что». Они уничтожают подряд всех, кто хоть чем-то может быть опасен им, и даже тех, от кого нет и мифической угрозы. Превентивно. А ведь ещё несколько месяцев тому назад убеждал Вревский старого друга Тягаева в том, что разумнее примириться с новой властью, пытаться улучшить её изнутри. Какая наивность! Как наивен был Павел Юльевич! Как наивен был Щастный, вступив в единоборство с Троцким! Неужто думал переиграть?.. Или просто следовал долгу?.. А где теперь Тягаев? Может быть, давно убит. Но он, по крайности, знал, за что убит. А Вревский — за что? А может быть, ещё можно успеть скрыться? Бежать в Финляндию? Нет, некуда бежать... В том стане — в глаза наплюют, как предателю. А здесь... Здесь уже ясно, что ждёт — пуля. Не сегодня, так завтра. Может, и к лучшему... Так всем спокойнее будет...

Мысли стремительно проносились в голове, прерывая друг друга. Павел Юльевич вышел из дома, пошёл по пустой улице. Когда прежде улицы Петрова града были так пусты, тихи, запущены? На этой улице и вовсе не бывает теперь людей. Все обходят за версту её. Гороховая. Здание ЧК. Сколько душ умучено здесь? А тела? Куда их..? В братские могилы. На пустыри. Вревский был на таком пустыре. Земля была свежевскопанной, и Павел Юльевич понял, что это — могила. Могила тех, чьи имена теперь лишь Господу ведомы. Тяжело стало ходить по родному городу — такое чувство, что по могилам идёшь, по костям...

День выдался прохладным, но Вревскому было жарко. Над Невой он остановился. Вспомнились счастливые юные годы, и мелькнуло видение: тёплый, залитый солнцем июньский день, золотые блики на воде, лодка, стройный юноша-юнкер и хорошенькая гимназистка в белом платице и белой шляпке, поля которой срывают её лицо, только звонкий смех её слышен, только маленькая ручка касается воды... Ту девочку звали Лией. Отец её, Исаак Мазин, был известным театральным критиком, а мать, Клара, не менее известной пианисткой. Лиичка была удивительно хорошенькой — немного смуглая, с бархатными, тёмными глазами, похожими на вишни, со жгуче чёрными, непослушными кудрями... Она неплохо музицировала и любила театр, была озорной и весёлой. Юнкер, которому оставалось меньше года до выпуска, влюбился в неё, что называется, по уши. Завязалась переписка. Впервые примерный Паша на уроке не слушал, что говорил преподаватель, а украдкой сочинял вирши для предмета своего обожания. Впервые был застукан за этим и впервые получил взыскание. Но велика была награда — первый поцелуй! Душистый, как аромат ландыша! Лиичка смешно покраснела и потом рассмеялась, обнажая небольшие, белые зубки...

Потом пришла разлука: Паша получил назначение в полк, а Лиичка поступила на курсы. Переписка их оставалась насыщенной, страстной, нежной. Но вскоре молодой офицер заметил, что в жизни любимой появились новые интересы, которым всё больше отдаётся она. Интерес, собственно, был один — революция. Лиичка окунулась в этот омут со всей горячностью своей натуры, и теперь письма её рассказывали не о жизни, не о театре и музыке, а о политике, о прочитанных книгах, о «борьбе». Под её влиянием и Паша стал почитать кое-какие книжицы на эту тему и даже частично соглашался с излагаемыми в них взглядами. В отпуск он ездил в Петроград, впервые они с Лиичкой были вместе. На близость она пошла легко, без всякого девичьего стыда (а некогда от поцелуя невинного зарделась, как маков цвет — куда всё подевалось? — и кольнула ревность: что же, и с другими — так же?..). Целых две недели провели на квартире какой-то Лиичкиной подруги, актрисы, уехавшей на гастроли. Паша предпочёл бы провести это время вдвоём, но Лия спешила познакомить его со своими новыми друзьями, напичкать почерпнутыми из учений социалистов истинами, донести «свою идею». Паша делал вид, что пространные и эмоциональные речи Лиички были ему интересны, а на самом деле, просто любовался ею в эти моменты — ещё краше становилась она во время своих монологов. Не стесняясь наготы, разъясняла какие-то мудрёные вещи, цитировала Маркса, Ленина, потрясала в воздухе кулачком, грозя «проклятому царизму», и была похожа на саму Свободу, сошедшую с картины, прославляющей французскую революцию. Только флага не доставало. Лиичка просила Пашу взять у неё какие-то документы и спрятать их у себя: «Ты офицер, на тебя не подумают». И он взял. После много раз обращалась Лия с такого рода просьбами, и Вревский никогда не отказывал ей.



Не отказывал даже тогда, когда любовь их отгорела, и в жизни его появилась другая женщина.

К первой любви Павел Юльевич сохранил на всю жизнь тёплое чувство. Сохранил, несмотря на то, что через несколько лет Лию арестовали. За участие в террористическом акте она была отправлена на каторгу. Позже Вревский слышал от кого-то, будто бы с каторги ей удалось бежать за границу, и там она примкнула к большевикам. Так ли это, Павел Юльевич не знал, но всей душой жалел хорошенькую, нежную девочку-гимназистку с бархатными глазами-вишнями, которой так и осталась Лиичка в его памяти.

— Барин! Павел Юльевич, вы ли? — хрипловатый голос прозвучал совсем рядом, и Вревский резко обернулся. Перед ним стоял пожилой человек со впалыми, в седой щетине щеками, в залатанной, с чужого плеча одежде.

— Не узнаете? Архип я. Фёдора Павловича денщик...

— Архип? — поразился Вревский, с трудом узнавая в измождённом старике слугу отца своего погибшего на войне друга, отставного полковника Фугеля. — Прости, не признал...

— Немудрено, Павел Юльевич... Жизнь-то экая стала... Вот, и барина нет теперь...

— Что случилось с Фёдором Павловичем? — тихо спросил Вревский.

— Да ничего особенного... Расстреляли всего лишь...

— Как?.. — глупо спросил Павел Юльевич.

— Самым простецким образом, барин... Анна Вацлавовна тело насилу выпросила для погребения. Они, изверги, раздели его догола, у стены поставили, и папиросу зубы всунули... — старик утёр набежавшую слезу. — Анна Вацлавовна, как барина похоронила, так занедужила и тоже отошла. Так никого и не осталось... А меня всё носит земля зачем-то. Вы-то как живы, барин?

— Не убили ещё, как видишь... — ответил Вревский.

— Слава Богу. Может, хоть вас сия участь минет... — вздохнул старик и побрёл куда-то.

Сколько уже подобных историй слышала Павел Юльевич, а каждая новая обжигала, и казалось ему, словно перед всеми этими убитыми и замученными он виноват. Раз пошёл на службу власти, которая вершит такие злодеяния, значит, и на нём лежит кровь, ею пролитая. И только собственной кровью осталось этот грех искупить, если только хватит её... Страшно стало встречать знакомых. Ни единого не было среди них, у кого бы не убили родных или друзей. Только и слышалось: «расстреляли», «сначала отрубили нос и уши, а после...», «утопили», «проломили голову»... Вот, и старик Фугель... Кому он помешал? Чем провинился, чтобы какая-то сволочь глумилась над ним? Торжество сволочи! И он, Вревский, виноват в этом торжестве, потому что ни словом, ни делом не попытался препятствовать ему... Господи Боже, какая страшная ноша! Павлу Юльевичу мучительно хотелось поговорить с кем-то, излить кому-то душу, покаяться. Но к кому понести эту боль, на чей порог? Кто согласится выслушать? Разве что... Лиза? Лиза, всегда спокойная и рассудительная, она не прогонит, она выслушает, простит... К ней только и идти теперь.

И Вревский направился к дому Елизаветы Кирилловны Тягаевой. Общественный транспорт в городе практически не действовал, и все расстояния приходилось преодолевать пешком. Но это даже радовало Павла Юльевича — ходьба успокаивала расшатанные нервы. Лиза Добреева с юных лет была девушкой рассудительной и умной. Она не блистала красотой, в ней не было девичьей лёгкости, а чувствовалась в осанке, походке, движениях тяжеловатость, присущая солидным дамам, но чем-то привлекла «королева», как за гордость и царственность

называли её, и Вревского, и его друга, Петра Тягаева. Вне всякого сомнения, Павел Юльевич непременно сделал девушке предложение руки и сердца, если бы не понял, что выбор уже сделан не в его пользу. Вревскому осталось лишь отступить и пожелать даме сердца и лучшему другу семейного счастья, а самому искать оно в другом месте. Увы, семейного счастья Павлу Юльевичу не суждено было обрести. Он женился было на миловидной художнице, но та ушла от него через три года брака, увлѣкшись каким-то поэтом. С той поры Вревский зарѣкся связывать себя брачными узами и укрепился в недобром отношении к женщинам. Правда, уважение и теперь уже скорее братская любовь к Елизавете Кирилловне осталась неизменной. Лиза была безупречна.

Последний раз он видел её, когда приходил предупредить о готовящемся аресте Петра. Правда, и после не забывал Павел Юльевич Елизавету Кирилловну. Зная о её бедственном положении, Вревский посылал ей деньги и кое-какие продукты из своего пайка. Делал это он анонимно, зная гордый характер Лизы, зная, как нетерпимо для неё ощущать себя кому-то обязанной.

Поднявшись по знакомой, теперь ледяной, сырой и покрытой плесенью лестнице, Вревский, помедлив мгновение, решительно вдавил кнопку звонка. Дверь долго не открывалась, но, наконец, щёлкнул замок, и на пороге показалась мать Лизы, Ирина Лавровна Добреева. Она сильно сдала, исхудала и, очевидно, была тяжело больна. Хрупкая старушка опиралась на палку и придерживала платком онемевшую левую сторону лица. На лестнице было темно, Ирина Лавровна прищурилась, спросила неуверенно:

— Пашенька, голубчик, это вы?

— Я, Ирина Лавровна. Простите за вторжение...

— Что вы! К нам теперь никто не ходит... Мы с Лизой совсем одни остались... И Мишенька уехал на гастроли... — Добреева говорила с некоторым трудом, а когда начинала торопиться, то речь её делалась неразборчивой. — Как это хорошо, Пашенька, что вы пришли! Вы знаете, Лиза ушла утром... В «хвост», а потом на толкучку... Мы ведь почти всё продали, Лиза работу ищет, а откуда взять? А я хотела самовар поставить... Пашенька, я ведь ставила уже... Несколько раз, и получалось... А тут — забыла... Я, голубчик, совсем больная сделалась. Лизе со мной столько хлопот... Скорее бы уже Господь прибрал меня... Так вот, я что-то напутала, и не получилось... Может быть, вы поможете? — Ирина Лавровна всхлипнула, мотнула головой. — Вы не обращайтесь внимания, пожалуйста. У меня от болезни теперь всегда глаза на мокром месте... Так стыдно... — она слабо улыбнулась своей прежней, светлой, немного грустной улыбкой.

— Показывайте ваш самовар, дорогая Ирина Лавровна, — сказал Вревский. — Сейчас мы с ним разберёмся.

— Спасибо вам, Пашенька! Право, так неловко... Вы пришли, а я к вам со своими неприятностями... Я вас чаем напою... У нас беспорядок в квартире, мы не ждали...

Павел Юльевич вошёл в до боли знакомую квартиру, опустевшую и носящую на себе отпечаток заброшенности. Ему стало грустно и от вида её, и от вида разбитой болезнью её хозяйки. А Лиза? Какова она теперь? Неужто и её сломила эта страшная жизнь?..

С самоваром Вревский разобрался быстро. Ирина Лавровна действительно спутала, куда класть щепу, а куда заливать воду. Пока Павел Юльевич возился, она сидела рядом, на краешке стула, смотрела на него влажными, печальными глазами, говорила сбивчиво, но уже не быстро, а потому понятно.

— Я, Пашенька, всё забываю последнее время. Я даже читать не могу ничего, потому что не могу сосредоточиться и ничегошеньки не в силах запомнить... Только Библию читаю. Евангелие. Всё время читаю... Я никогда так прежде не понимала того, что там сказано, как теперь... Пашенька, ведь это всё про нас... Пророчества — про нас! Всё так жутко сбывается... Мы, наверное, очень грешные, и за это тоже будем рассеяны по свету... «Два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды...» Вы понимаете? Понимаете?..

— Я понимаю, Ирина Лавровна...

— Если бы мы могли услышать прежде, понять прежде... Нужно было, чтобы Божии суды свершились на земле, чтобы мы, в мире живущие, научились Его правде... Это книга пророка Исаяи... Вы прочтите, и тогда так ясно станет всё, что творится... Вот, послушайте! — Добреева подняла руку и, закрыв глаза, проговорила, старательно выговаривая каждое слово своим подрагивающим, слабым голосом: — «Ноги их бегут ко злу, и спешат они на пролитие крови; мысли их — мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далёк от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждём света, и вот тьма, — озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми — как мёртвые» ... — Ирина Лавровна всхлипнула, утёрла выступившие слёзы, вновь заговорила, волнуясь. — Наши дни, Пашенька, это время сбывшихся пророчеств... «Шакалы будут выть в чертогах их и гиены — в увеселительных домах» ... Я знаю, я очень много говорю... Вы простите! Просто я знаю, что мне уже очень скоро говорить

невозможно будет... Вы уж потерпите мою болтливость...

— Помилуйте, Ирина Лавровна...

— Нет, нет, не спорьте... Знаете, Пашенька, я раньше смерти боялась. А сейчас уже не боюсь. Как милость жду... Я одного боюсь, что мне совсем откажет разум, что силы совсем оставят меня, и я буду лежать недвижно, и Лизе придётся тогда совсем тяжело. Я Бога молю, чтобы он её пожалел, чтобы призвал меня прежде того...

— А как чувствует себя Елизавета Кирилловна?

— Слава Богу, здорова. Ей так тяжело приходится... У нас ведь ничего почти не осталось... Хорошо, что теперь лето, и не надо топить печь... А что будет зимой? Подумать страшно... Лиза сильная, волевая, но какие силы беспредельны? Нам, Пашенька, какой-то неизвестный благодетель помогает... Деньги присылает, продукты... Я за него всякий день Бога молю. Кстати, Лиза подозревает, что это вы...

— В самом деле? — вздрогнул Вревский.

— Да, она не раз говорила, что кроме вас в городе нет человека, который бы мог...

— Самовар вскипел, — сказал Павел Юльевич, желая скорее перевести разговор.

— Ах, как это славно! — обрадовалась Добреева. — Теперь мы с вами чаю попьём...

— Нет, право, не стоит...

— Не отказывайтесь! Вы мне так помогли... И потом как бы ни были худы наши дела, а я не допущу, чтобы гость ушёл от нас, не выпив хотя бы чашки чаю.

Вревский понял, что своим отказом обидит Ирина Лавровну, и принял приглашение. Чай был из каких-то трав, терпкий, странный на вкус. К нему полагалось несколько сухариков, но от них Павел Юльевич отказался наотрез, заявив, что совсем не голоден.

Добреева же взяла один, долго размачивала его в чае, откусывала по крохотному кусочку, жевала медленно.

— Нет ли известий от Петра? — спросил Вревский.

— Нет... Но мы надеемся, что он жив. И что Надинька тоже... Нам чудом дошла весточка из Киева... Если бы вы знали, Пашенька, какой ужас пережила там семья моей Анечки! Там была настоящая бойня! Её мужа убили, и она с его матушкой и Надинькой искали его тело среди других убитых... Бедная Мария Тимофеевна не выдержала этого и скончалась... Не знаю, как Анечка пережила всё это... Как Надинька выдержала... Она всегда была такой нежной, ранимой девочкой... Аня написала, что Надинька вышла замуж и уехала с мужем к его родным в Сибирь... Аня считает, что это очень надёжный и хороший человек... Дай Бог! Но как же это всё страшно... Мне уже не суждено никого из них увидеть, хоть бы Лизе ещё довелось обнять дочь...

У Вревского было ощущение, словно его поджаривают на медленном огне. Словно вся эта пролитая в Киеве кровь тоже льётся на его голову.

— Ирина Лавровна, а Елизавета Кирилловна скоро ли придёт?

— Не знаю, голубчик... Может быть, только вечером... А вам очень нужно поговорить с ней?

— Да, мне нужно было с ней поговорить...

— А вы мне скажите, Пашенька. Я же вижу, что вы мааетесь. Что у вас душа не на месте. Так вы выговоритесь — может быть, легче станет...

— Ирина Лавровна, скажите откровенно, вы считаете меня виновным в том, что я этой власти служить пошёл?

— Нет, голубчик... — Добреева покачала головой. — Нет... Разве кого-то можно обвинять теперь, судить? Я не беру тех, что главенствуют, и тех, что кровью упиваются. Они из людей выбывшие... А людей судить и обвинять нельзя. Ведь вокруг безумие, вокруг

светопреставление, ад, а люди слабы, как можно требовать с них чего-либо? Нужно понимать, сострадать, прощать и любить... Достоевский писал, что ад настанет, когда умрёт любовь. Так и получилось. Умерла любовь в людях, и ад настал. Одна ненависть живёт, умножается и убивает. Нельзя... Нельзя... Ненавидеть — нельзя... Нужно любить. Только любовь ад преодолет... А вы не казнитесь. Вы поступили так, как полагали должным... Вы не виноваты... Точнее, вы не более виноваты, чем все. Мы все виноваты. Все... Все... Эта кровь не на вашей душе, и не вам за неё отвечать перед Богом...

Вревский почувствовал, как ком подкатил к горлу, и слёзы навернулись на глаза. Эта хрупкая, полупараличная старица читала его сердце, как книгу, понимала без слов и отпускала грехи. Павел Юльевич опустился на колени, поцеловал её высохшую, пергаментную руку.

— Что вы, Пашенька? Всё ещё образуется... — мягко произнесла Добреева. Она перекрестила Вревского, слабо улыбнулась: — Всё образуется... А вы не мучайте себя, а лучше сходите в церковь, исповедуйтесь... И будет вам облегчение...

— Спасибо вам, Ирина Лавровна, — с чувством сказал Павел Юльевич.

— За что? Разве я что-то сделала для вас?

— Очень многое... Вы... помолитесь за меня... А я должен идти.

— Я обо всех, кого знаю, молюсь. И о вас. А Лизу вы разве не дождётесь?..

— Нет, мне пора... — Вревский сам не знал, куда так спешит, но ясно чувствовал, что должен уходить. Положив на стол все деньги, которые имел с собой, он добавил: — Вот, примите эту небольшую сумму... Только не говорите Елизавете Кирилловне, что это от меня... И не отказывайтесь, пожалуйста!



— Не откажусь, — отозвалась Добреева. — Я же вижу, что это от души... Пашенька, вы не ответили, это вы нам помогали? Лиза угадала?

Павел Юльевич не ответил. Ирина Лавровна утёрла вновь набежавшие слёзы:

— Спаси вас Христос, Пашенька! Вам там это зачтётся... Вы так нам помогли...

— Скажите, — спросил Вревский уже на пороге, — что же будет дальше? Вы мудрая, Ирина Лавровна. Скажите.

— Я не мудрая, я уже почти слабоумная, голубчик... — ответила Добреева. — Забываю имена, даты... Элементарные вещи... Вы читайте Библию... Там на все вопросы ответы есть. И на ваш — есть. «Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер — и вот ужас! и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разрушителей наших».

— Прощайте, Ирина Лавровна.

— Прощайте, Пашенька...

От Добреевой Павел Юльевич возвращался со странным чувством облегчения и вины. Проходя мимо церкви, он поймал себя на мысли, что хочет перекреститься, но это показалось ему неудобным, и он подавил своё желание. В церкви он не бывал уже давно. В детстве Паша не пропускал служб, поскольку этого требовали родители, люди верующие. Для отца, гвардейского офицера, было два священных понятия: Бог и Царь. Какое счастье, что его уже давно нет в живых! Что он не увидел крушения своих святынь! А то бы и его могла постичь участь несчастного полковника Фугеля... От этой мысли Вревскому стало тошно. Отец умер, когда Паше было десять лет. Влияние матери было слабо, и мальчик как-то быстро отстал от привычки ходить на службы, негромко вторить

церковным певчим, говеть... Он исправно бывал на молебнах, учась в кадетском корпусе, будучи юнкером, став офицером, потому что так было положено, но мысли его отстояли далеко от Бога. А может быть, зря?.. Павел Юльевич подумал, что, если доживёт до утра, то, пожалуй, сходит исповедаться. Может, права Добреева, и станет легче?

На Троицком мосту стояла небольшая толпа. Прильнув к перилам, люди неотрывно взирали на Петропавловскую крепость. Павел Юльевич приблизился и посмотрел туда же. В нескольких сотнях футов к старой крепостной пристани были борт о борт пришвартованы две большие деревянные баржи. Одна из них была пуста, другая — наполовину заполнена людьми. Вскоре за крепостными стенами собралась толпа и стала спускаться к пристани. Их было порядка ста человек, одетых, большей частью, в офицерскую форму. Их гнали к баржам, как обречённых на закланье овец, матросы, вооружённые ружьями с примкнутыми штыками. Это был улов чекистов за время последних рейдов. У Вревского подкосились ноги. Смесь отвращения, жалости, стыда и гнева захлестнули его. Хотелось, во что бы то ни стало, раздобыть где-нибудь пулемёт и палить по этим существам в человеческом обличье, ведущим на истребление людей, за которыми не было никакой вины. Хотя нет! Вина была! Вина страшная и непоправимая! Все они были офицерами, все они защищали свою страну, все они не разделяли политики большевиков, все они иначе чувствовали, мыслили, жили! Все они были такими же, как сам Павел Юльевич, а многие, вероятно, и лучше его. И за это обречены они были исчезнуть с лица земли. За это будут вычеркнуты из списков живущих, стёрты из людской памяти они и их семьи. И никто не узнает ни имён их, ни того, как жили они, ни бед их, ни радостей, ни подвигов, ни неурядиц, ни даже — могил. Будто бы и

не было их на этом свете... Дольше смотреть на страшное действо Вревский не мог. Он отошёл от перил, оттолкнув нескольких человек, и почти побежал прочь, ничего не замечая вокруг, оглушённый, раздавленный.

До своего дома Павел Юльевич добрался лишь вечером. На углу он заметил машину, явно ожидавшуюся кого-то. Вревский знал эти машины. Знал, кого и зачем они ждут по ночам. И предчувствие, явившееся ещё утром, подсказало, что на этот раз приехали — за ним. Вревский ускорил шаг, вошёл в подъезд, поднялся по лестнице. Дверь в его квартиру была приоткрыта, оттуда струился луч света, и доносились голоса. Сомнений не осталось — за ним пришли. Глубоко вздохнув, Павел Юльевич решительно переступил порог...

За порогом родной квартиры Павлу Юльевичу тотчас заломили руки назад, так что плечи хрустнули, втокнули в кабинет, швырнули на пол. Знакомый откуда-то голос приказал:

— Оставьте нас и ждите моих указаний.

Вревский поднялся на ноги. Свой кабинет он увидел перевёрнутым: обыск уже был проведен. За столом, растворяясь в клубах табачного дыма, сидела худая, чернокудрая женщина в кожаной тужурке. На столе лежал «лучший друг комиссара» — маузер. Лицо чекистки показалось Вревскому смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить откуда. Наконец, она потушила папиросу, посмотрела на него холодными, безразличными глазами. Глазами, так похожими на спелые вишни... Павел Юльевич содрогнулся. Те самые вишни, только взгляд у них — чужой, жестокий, страшный, полный какого-то нечеловеческого зла. Те самые черты, только заострившиеся, огрубевшие — ни ямочек на щеках, не пухлости губ. Тот самый голос,

только прокуренный и жёсткий. Лия... Какой страшный сон...

— Лия, ты? — глухо спросил Вревский.

— Для вас, гражданин Вревский, я не Лия. Лии больше нет. Есть товарищ Перовская.

— Псевдоним? Или мужнина фамилия?

— Вас это не касается.

— Лия, объясни мне, пожалуйста, что с тобой случилось? — почти закричал Павел Юльевич. — Зачем тебе всё это?! эта кровавая баня?! Где та девочка, мечтавшая о свободе и братстве?!

— Мы как раз строим свободу и братство. Помнишь, я говорила тебе, что революция, и наша победа — историческая неизбежность, поскольку царизм зашёл в тупик? Вот, всё сбылось.

— Неизбежность... — повторил Вревский. — Правда, сбылось. Только где же свобода? Где же братство? Если Россия в крови утопает?

— Что такое твоя Россия? Так... — Лия презрительно сплюнула. — Несостоявшаяся страна с ущербным народом. Теперь хоть какая-то польза будет от неё. Она послужит нам полигоном для того, чтобы построить совершенно новое общество! Общество равных людей, подчинённых единой идее.

— Общество рабов, ты хотела сказать? Из кого вы будете строить что-либо при таких масштабах уничтожения людей?

— Мы уничтожаем не людей. Мы уничтожаем врагов. А ещё — лишних. Тех, кто не сможет существовать в нашем обществе, тех, кто не сможет изменить своей психологии, тех, кто не будет полезен нам.

— Таких, как я?

— Да, таких, как ты.

— И ты считаешь это справедливым?

— Я считаю это целесообразным, — Лия закашлялась и закурила вновь. — Вы не умеете жить. Вы умеете только метаться, страдать, искать каких-то идиотских истин, верить поповским сказкам и мешать работать тем, кто в отличие от вас работать умеет, кто знает, к чему стремится, и на пути своём не боится никаких препятствий.

— Таким образом, ты считаешь целесообразным уничтожение большей части русского народа?

— Русские — народ-недоразумение. Ошибка мировой истории. Ничего иного они не заслуживают. Мы оказываем услугу им. Россия и русские ничего не дали миру, иным народам. Но теперь они станут жертвой во имя торжества новой истины, во имя мировой революции и рождения нового мира. Это всё, что они могут. Это ваша великая миссия в истории, — Лия говорила отрывисто, словно выплёвывая каждое слово, наслаждаясь своей неведомой местью.

— За что ты так ненавидишь Россию?

— А за что мне любить твою Россию? Сколько времени и сил понадобилось нам, чтобы поджечь этот гнилой, сырой хворост, чтобы раздуть этот пожар! Сколько людей, лучших людей принесли себя в жертву! Но теперь этот пожар не потухнет, он истребит всё, и останется чистое место, на котором мы начнём строить новое... — глаза Лии загорелись, словно отблески кровавых пожаров, о которых страстно говорила она, отразились в них.

— Ты сумасшедшая, Лия! — воскликнул Вревский. — Откуда столько зла?!

— А на каторге, Паша, добру не учат, — звякнул, как затвор щёлкнул, гордый ответ.

— Когда ты со своими... коллегами устроила взрыв, в результате которого погибло семь человек, включая маленького мальчика, ты ещё не успела побывать на

каторге... Детей — тебе тоже не жаль? Они-то чем виноваты перед вами?

— Это издержки великого дела. Без них ничто не обходится, — равнодушно пожала плечами Лия.

Вревский ничего не спрашивал больше. Ему показалось, что перед ним сидит не человек. Не женщина. Не Лия. А демон, напяливший её личину. Интересно, сколько крови, сколько загубленных жизней на счету этого демона? Вспомнилась девочка, задорно смеявшаяся, белое платье, летний полдень, нежная ладошка, ударяющая по воде, белая шляпка, поля которой скрывали хорошенькое личико... Павел Юльевич пожалел, что в руках его нет оружия, чтобы убить этого демона в облике Лии. Он опустил голову, сказал устало:

— Меня — сразу «к Духонину в штаб»? Или допрашивать будете, Лия Исааковна?

— Не буду, — ответила Лия, поднявшись и взяв со стола маузер. — О чём допрашивать? Вы, гражданин Вревский, довольно уже пояснили свои убеждения. Вы не наш. Вы нам враг.

— Рад это слышать, — усмехнулся Вревский. — Для меня великим бесчестьем и горем было бы стать вашим...

Вошедшие матросы вновь заломили ему руки:

— Шагай, контра! — вытолкали из квартиры, довели до примеченной им машины, втолкнули в неё...

Последний раз видел Павел Юльевич улицы родного города. Три поколения Вревских жили в Петербурге. Ещё больше — служило России на поле брани. Предки Вревского бились под Нарвой и Очаковым, гибли на Бородинском поле, сражались на Кавказе и Балканах... Один из предков, гвардейский офицер, принял участие в восстании декабристов. Был сослан солдатом на Кавказ. Честной службой вновь вернул себе офицерское звание, был прощён, а вскоре погиб в одной из схваток

с горцами. Павел Юльевич чувствовал, что отчасти повторяет его путь. Правда, ему уже не посчастливится искупить проступка подвигом, а только лишь смертью... Но может быть, когда станут взвешиваться грехи его и добрые дела, то зачтётся и это. И то, что как бы то ни было, а ведь он служил России верой и правдой, прошёл две войны, не прятался за спины товарищей и долгу был верен. Он ошибся в своих надеждах, обманул сам себя, но России он не предавал никогда...

Вревский думал, что его немедленно отвезут к месту расстрела, но ошибся. Его везли в Петропавловскую крепость... Ледяным холодом обдали коридоры пятого бастиона и одиночки, во мрак которой он был водворён. Здесь почти век назад ждал своей участи его пращур-декабрист. Отсюда в последний путь отправились пятеро первых борцов с самодержавием... С каким священным ужасом всегда говорилось об их судьбе! Казнь пятерых бунтовщиков, восставших с оружием на своего Царя, имевших целью убить всю царскую фамилию, казалась образованной публике неслыханной жестокостью! Господи Боже, какая капля то была в сравнении с бойней, учинённой народолюбцами-революционерами! А ведь приди к власти декабристы — и они развязали бы такой террор?.. Развязали бы, конечно... Может, не в такой степени, но развязали бы. Декабристов оплакивали целый век, а убитого одним из них героя Милорадовича — никто. Царский сатрап, так и надо ему... О, безумие! Какое безумие! Никогда прежде не понимал этого Вревский. А теперь — словно озарило! Судный час должен настать на земле, чтобы люди осознали Божью правду... Как-то так сказала Добреева... Так и есть. В лихорадочном возбуждении мерил Вревский шагами пространство каземата. Николаю Первому не могли простить пятерых повешенных, Второму — Кровавого воскресенья, Столыпину — подавления террора... Всех

называли «кровавыми», а сами всю Россию утопили в крови, и не стесняются объявлять, что это только начало, что чем больше будет уничтожено народа, тем лучше... Сатанинская сила ворожит им, не иначе!

Петропавловская крепость, кого только не видели твои стены! Масона Новикова, петрашевцев, Достоевского... Особ царской крови, министров Царского и Временного правительств, депутатов Думы, членов учредительного собрания... Отсюда двух членов правительства Временного, Шингарёва и Кокошкина, перевели в больницу, а там жестоко убили. Здесь теперь томятся моряки-балтийцы, арестованные следом за своим командиром капитаном Щастным, и сколько ещё невинных! А ведь большевики, придя к власти, заявляли, что сделают из страшной крепости музей... Французские революционеры разрушили Бастилию, российские поступили рациональнее...

Дверь отворилась, раздалась грубая команда:

— На выход!

Кажется, всё?..

Павел Юльевич скоро понял, куда везут его на этот раз. В Стрельню. Тамошняя пристань с недавних пор стала петроградским лобным местом. Каждую ночь сюда привозили новые жертвы и расстреливали...

На этот раз обречённых было тридцать человек. Большая часть — офицеры. Несколько штатских. И один пожилой батюшка. Приговорённых погнало по Царской дороге. Её проложил ещё Император Пётр, не раз ступала по ней его нога... Останется ли после этой невиданной бойни в России хоть одно место, не обогрённое кровью, одно место, за которым не тянулся бы страшный шлейф преступлений? Или же всё выйдет так, как рассчитали они, и никто не вспомнит о невинно убитых? Не уцелеет никого, кто будет помнить этот ужас, а редкие выжившие станут молчать, и вырастет поколение, которое ничего не будет знать о своей



истории? На местах братских могил разобьют парки, площади, проложат дороги, построят дома... И живущие не будут знать, что ходят по костям, живут на погосте... Вся Россия превратится в погост...

Жертв подвели к длинной морской дамбе. Священник о чём-то попросил комиссара, ещё совсем мальчишку на вид, тот милостиво кивнул. Батюшка опустился на колени и стал читать отходную. Аутодафе началось. На край дамбы выводили по несколько человек, стреляли в затылок, трупы сбрасывали в воду. Какой-то юноша, по виду студент, едва сдерживал слёзы.

— Я ведь не жил ещё... За что? За что? Пощадите!

Коренастый капитан с окровавленным лицом и перебитой рукой бросил сурово:

— Прекратите истерику, молодой человек! Не унижайте себя перед этой мразью! Нужно уметь умирать с честью!

Выстрел, и капитан тяжело рухнул на землю, проворный китаец из расстрельной команды с силой пнул тело ногой, раздался всплеск: море приняло очередную жертву. Вревский, перепуганный студент и священник оказались в последней партии. Стоя на краю дамбы, Павел Юльевич смотрел на чёрную воду, лижущую дамбу, на небо, замкнувшее слух от несущихся к нему с земли воплей... Не осталось ни страха, ни сожаления — сердце билось ровно, неколебимое ни единым чувством. Последнее, что услышал бывший полковник Императорской армии Павел Вревский, были слова батюшки, сказанные негромко и радостно:

— Помолимся, дети. Ко Господу идём!

## Глава 5. Могильный звон

*28 июня 1918 года. Новочеркасск*

Хуже вести с фронта прийти не могло. Хуже вести, вообще, не могло прийти. Её сообщила Ростиславу Андреевичу Тоня. Сообщила испуганно, тихо, почти шёпотом:

— Генерала Маркова убили...

Ушам своим не поверил Арсентьев.

— Что?.. — переспросил оглушённо.

— Убили... — повторила Тоня. — Вы только... Вы только не огорчайтесь так... — не знала преданная душа, как утешить, не находила слов.

— Всё в порядке, Тоня. Что вы слышали?

— Сегодня гроб привезли в город. Он выставлен в домово́й церкви при Епархиальном училище. Туда уже народ стекается...

Ростислав Андреевич быстро надел китель и отправился к училищу. Кровь стучала в висках, и призрачная, безумная надежда ещё не покидала душу — а вдруг всё-таки ошибка? Вдруг Тоня напутала?

Добравшись до церкви, Арсентьев понял — ошибки нет. Бесконечным потоком лились люди проститься с белым витязем. Много было Марковцев, резко выделявшихся своей траурной чёрной (только просветы и верхи фуражек белели) формой. Эта форма придумана была самим Сергеем Леонидовичем. Чёрный цвет — траур по убиенной России. Белый — надежда на её воскресение. Генерал Алексеев как-то попенял Маркову:

— И зачем вы так мрачно свой полк одели?

— А не такова ли судьба всех нас? Судьба всей России?

Офицеры входили и выходили из церкви. Многие не могли сдержать слёз. С трудом поднялся Ростислав Андреевич по ступеням, оседая на трость и волоча неподвижную, атрофированную после ранения левую ногу. В церкви было многолюдно. У гроба стояли часовые Марковского полка. Арсентьев подошёл и сквозь стекло, вделанное в крышку гроба, увидел лицо чудесного профессора. Всегда живое, таким чужим и странным казалось оно теперь, застыв в мёртвой неподвижности. Ростислав Андреевич не мог оторвать взгляда от лица своего командира, удивительного воина, бывшего Ангелом-Хранителем всей Добровольческой армии, которому была обязана она своим спасением из екатеринодарского капкана. Армия осиротела... Вначале не стало её вождя — Корнилова. Теперь убили Маркова. Души лишили... И кто же остался теперь? Деникин. Тяжкое наследство легло на его плечи. Как-то справится с ним?

После всех потерь казалось Арсентьеву, что больше нечего терять ему. А эта утрата острым ножом полоснула по сердцу. Так не должно было быть! Не такой безвременно ранней, напрасной гибели заслуживал Сергей Леонидович. Самых лучших воинов и командиров похищала смерть, и душа содрогалась: если так беспощадна судьба, значит, и Бог — не с нами?.. Зияющая пустота владела сердцем Ростислава Андреевича. И одно сожаление жгло, что не было его в том роковом бою, где нашла смерть Маркова, выходявшего невредимым из стольких губительных сражений. Что теперь нет его на фронте, чтобы бить красную сволочь. Проклятая инвалидность удерживала Арсентьева в Новочеркасске, лишая последнего утешения в искалеченной его жизни — сражаться с врагом, гнать его насколько хватит сил, а однажды сложить и свою голову, которая и так слишком задержалась на плечах...

Послышались негромкие голоса. Ростислав Андреевич поднял глаза и увидел приближающегося генерала Алексеева. Арсентьев отступил. Михаил Васильевич подошёл ко гробу, перекрестился. По впалым щекам его текли слёзы. Некоторое время он стоял неподвижно, молился, затем отвесил земной поклон и покинул церковь. Ростислав Андреевич также поклонился своему погибшему командиру и вышел следом за Алексеевым.

Хотелось Арсентьеву долго-долго идти пешком, уходить боль, но нога лишала его такой возможности. Доковыляв до ближайшей скамейки, опустился на неё. Сияло в июньском, жарком небе чему-то радостное солнце, ничуть не гармонируя с царящим в душе трауром. Снова и снова билась в голове неотступная мысль последнего месяца: на фронт! На фронт!!

Когда армия уходила во Второй Кубанский поход не могло быть и речи, чтобы Ростиславу Андреевичу, только-только поднявшемуся с больничной койки, заново учащемуся ходить, полуразбитому параличом, встать в строй. Но всё же Арсентьев осаждал штаб с просьбой назначить его хоть на какую-нибудь должность до той поры, пока он не поправит здоровье. И его назначили туда, куда никак не ожидал он — в контрразведку. Назначение это не очень понравилось Ростиславу Андреевичу. Явно не его дело предлагалось ему, но отказываться не стал, надеясь в скором времени подлечиться и всё же добиться отправки на фронт. Он не хотел уже, как прежде, мстить. Он знал точно, что не станет больше расстреливать пленных. Ему претил тыл. Ему невыносимо было сидеть в тылу, когда соратники его гибли в боях. А ещё на поле боя легче было найти смерть. Правда, смерть уже не виделась Арсентьеву единственным исходом и избавлением. Возвращаясь к жизни после ранения, Ростислав Андреевич дал обет, если война окончится, а он вопреки всему останется

жив, остаток дней посвятить Богу, принять монашество. Даже маленькие чётки завёл подполковник Арсентьев, перебирал их незаметно, пряча в перчатке или в кармане, читал Иисусову молитву. Все святые отцы, как один, утверждали, что от повторения её на душе воцаряется мир. Этого Арсентьев пока не чувствовал, но молитвенных упражнений не оставлял. Свой путь видел он теперь яснее, чем когда-либо: сражаться, исполняя до конца долг, а затем умереть — или совсем, или для мира лишь, как Господь даст.

Солнце пекло всё жарче. Ростислав Андреевич поднялся, поковылял по улице. Всё же решил он не брать извозчика, а идти пешком. На фронте в атаку на извозчике не поедешь...

За день побывал Арсентьев у двух бывших однополчан. У одного из них застал офицера-марковца, бывшего в роковом бою и легко раненого в нём. Тот рассказал подробности случившегося:

— У станции Шаблиевской всё случилось. Местность там открытая, ровная. А мы в наступление идём — ну как на ладони! Так и косят нас краснюки! Не укрыться! Тогда генерал приказал командиру конной сотни обскакать по низине хутор и атаковать его. Конница наша ворвалась туда, сразу полторы сотни пленных и два пулемёта взяли, погнали «товарищей». Огонь смертоносный! А генерал, как всегда, в самом пекле! На плечах убегающих краснюков стрелки наши перешли мост через речку и продолжили наступление на станцию. Сергей Леонидович вышел из хутора, чтобы видеть их переправу. Снаряды совсем вблизи его рвались... — рассказчик судорожно сглотнул. — Есаул, что с генералом был, едва уговорил его уйти назад. А там, едва он отошел от одного здания, как на месте, где он был, разорвался снаряд... Представляете? Через мгновение буквально! Генерал ещё пошутил: «Знатно, но поздно!» Знатно, но поздно...

Слушал Арсентьев, понурился головой, в каждом эпизоде, как наяву, своего командира узнавая с его лихостью и бесстрашием...

— Вы же знаете Сергея Леонидовича! Он же не мог руководить из безопасного места! Он должен был непременно видеть все поле боя, противника, его бронепоезд, красных, оставляющих свой подбитый эшелон! Всё-то он в самых опасных местах был, где огонь гуще всего. Уговаривал есаул уйти, так генерал отправил его. Около шести утра артиллерийский бой был в самом разгаре... Один из вражеских снарядов взорвался шагах в трех от Сергея Леонидовича. Он, как подкошенный, на землю свалился. Рядом — его папаха белая ... — офицер глубоко вздохнул, прервался ненадолго. Ему явно тяжело было говорить. Выпил рюмку водки, продолжил: — Мы недалеко были... Бросились к нему... В первое мгновение думали, что он убит... У него левая часть головы, шея и плечо были разбиты, всё в крови... Но он дышал ещё. Подхватили мы генерала, хотели унести его. А тут новый взрыв! Мы невольно упали, прикрыли Сергея Леонидовича собой. Когда пролетели осколки, снова подняли его и перенесли в укрытие... Доктор был в ужасе. Осколочное ранение в левую часть затылка, большая часть левого плеча вырвана... Жутко! А генерал не стонал даже. Очнулся, спросил нас: «Как мост?» Мы ответили... Он понимал, что умирает. Попросил принести икону его, что он возил с собой всегда. Командир Кубанского стрелкового полка поднес её к его лицу. Сергей Леонидович приложился к ней, сказал нам: «Умираю за вас... как вы за меня... Благословляю вас...» — и умер... — офицер не выдержал и заплакал, повторяя последние слова генерала: — Умираю за вас... как вы за меня...

Весь Марков был в этом бою. В каждом этапе его. В каждом действии своём. И в каждом слове. И в этих

последних минутах, сохраняя мужество, несмотря на сильнейшие мучения, думая лишь о своих подчинённых... И в этих последних словах... Не только с ним бывших, но и всех белых воинов благословил, как завет оставил...

— Наш долг теперь быть достойными памяти нашего командира. Сражаться за нашу Родину так, как он нам завещал. И если понадобится, умереть за неё, как он, — тихо сказал Арсентьев. — Давайте, господа, поклянёмся во всём и до последнего вздоха следовать его примеру!

Поклялись торжественно, помянули генерала и разошлись в глубокой печали.

В тот вечер Ростислав Андреевич добрался до своей квартиры пешком, а на утро, встав чуть свет, пешком же, несмотря на порядочное расстояние, поковылял на Новочеркасское кладбище, где этим утром должно было появиться ещё одному кресту над ещё одной овечьей славой могилой.

Давно не видело старое кладбище такого скопления народа. Много офицеров, простые горожане — все пришли проводить героя в последний путь. У вырытой могилы стояла семья Сергея Леонидовича: убитая горем мать, лишившаяся последнего сына, вдова, держащая за руки малолетних сына и дочь. Здесь же был и генерал Алексеев, ссутуленный больше обычного, измождённый, с белоснежной непокрытой головой. Когда гроб был опущен в могилу, Михаил Васильевич тяжело повернулся лицом к присутствующим и не сразу начал свое последнее надгробное слово, видимо, собираясь с силами. Чувствовалось, сколь велика для старого генерала эта утрата. Наконец, хриплым, сдавленным, прерывающимся голосом он заговорил о Христоробивом воине Сергии, положившим жизнь свою за други своя, верном сыне Отечества, для которого жизнь была не дорога, жила бы только Россия во славе

и благоденствию, о примере для всех, который дал воин Сергей...

Взглянув на семью покойного и повысив с усилием голос, Алексеев обратился к присутствующим:

— Поклонимся же мы земно матушке убиенного, вскормившей и вспоившей верного сына Родины! — с этими словами он, седой, как лунь, тяжело больной старец, генерал от Инфантерии, Верховный руководитель Добровольческой армии, тяжело упал на колени перед матерью Сергея Леонидовича и, уже не сдерживая слёз, отвесил ей земной поклон.

Зрелище вышло душераздирающим и величественным... Следом за Михаилом Васильевичем поклонились и все присутствующие. Но Алексеев не закончил. Не поднимаясь с колен, надрывным голосом он продолжал:

— Поклонимся мы и его жене, разделявшей с ним жизнь и благословившей его на служение Родине, — и снова поклонился до земли. — Поклонимся мы и его детям, потерявшим любимого отца!

После третьего поклона генерал с трудом поднялся и, повернувшись к могиле, бросил первую лопату земли на гроб. Застучала земля по деревянной крышке и закрыла её. Над покрытым венками холмом водрузили скромный деревянный крест. На нём не было надписи, висел лишь терновый венец.

Поклонившись дорогой могиле, Ростислав Андреевич побрёл вдоль бесконечной вереницы крестов, явившихся на старом погосте в последние месяцы. Здесь были похоронены атаманы Каледин и Назаров, Митрофан Богаевский и ещё многие и многие сотни лучших сынов Дона и России. Арсентьев машинально читал надписи: «Партизан Чернецовского отряда, гимназист Платовской гимназии 5-го класса», «сестра милосердия, замученная большевиками»,



«неизвестный доброволец»... Словно вся Россия нашла на этом погосте последний приют... Россия белая...

У одной из могил одиноко стояла женщина, на которую трудно было не обратить внимания. На ней было одето нечто вроде чёрного балахона, перехваченного широким ремнём. Её тёмные, густые волосы отдавали в рыжину и похожи были на тёмную лаву, льющуюся из жерла вулкана. Они были небрежно заколоты длинной китайской заколкой. Женщина стояла прямо, высоко держа голову, по горбоносому профилю её можно было судить о её принадлежности к одному из кавказских народов.

Когда Арсентьев уже прошёл мимо, незнакомка вдруг спросила, не поворачивая головы:

— Скажите, вам не кажется, что на этом кладбище вся Россия похоронена?

Ростислав Андреевич остановился:

— Прошу прощения, вы обращаетесь ко мне?

— А разве мёртвые могут мне ответить? — женщина повернула голову, посмотрела на подполковника зелёными, продолговатыми глазами. — Так вам тоже так кажется?

— Да, мне подумалось об этом. У вас здесь похоронен кто-то?

— Я...

— Простите?

— Моя жизнь похоронена здесь, — женщина говорила глуховатым голосом, медленно, перебирая в руках длинные, крупные чётки. — Меня зовут Полина. Ростислав Андреевич, я давно ищу с вами встречи.

— Откуда вы знаете меня? — удивился Арсентьев.

— Я неплохо осведомлена о сотрудниках контрразведки.

Положительно не нравился Ростиславу Андреевичу этот разговор, и странная женщина эта с её загадками.

— Откуда такая осведомлённость?

— Когда в осведомлённости есть нужда, то нужные сведения всегда можно собрать.

— И какова же ваша нужда?

— Я хочу работать на контрразведку.

Арсентьев недоверчиво посмотрел на Полину. Не сумасшедшая ли она? Или того хуже — агент большевиков? По её губам скользнула чуть заметная усмешка:

— Вы напрасно подозреваете меня. Я не безумная и не большевичка. До недавнего времени я была членом партии социалистов-революционеров, потом разошлась с ними. Теперь у меня одно желание: работать против большевиков. У меня личные счёты с ними. Я хочу отомстить.

— Вы эсерка? — поморщился Ростислав Андреевич.

— Бывшая. Я понимаю, господин подполковник, что такая рекомендация для вас весьма скверна. Но посмотрите на дело с практической стороны. У кого больше опыта в подпольной деятельности, шпионаже и подрывной деятельности, чем у эсеров? У меня тоже есть кое-какой опыт. И я хочу поставить его на службу делу.

— Опыт? Прекрасный опыт! Взрывали лучших министров и губернаторов! Охотились за самим Государем! Всю страну ввергли в пучину террора и довели до нынешней вакханалии! К чёрту же такой опыт!

— Вы не правы.

— Что?

— Вы не правы, посылая этот опыт к чёрту. Если вы считаете, что именно он привёл к крушению царской власти, то чем плохо, если он окажет такую же «услугу» большевикам? Подумайте об этом. И ещё: не думайте обо мне столь плохо. Я никого не взрывала. На моих руках крови нет. Да, я поддерживала террор. Это было моим заблуждением, в котором я, поверьте, уже тысячу

раз раскаялась. Но кто не поддерживал его? Лучшие люди ему аплодировали... Разве нет? Теперь не время выяснять те ошибки. Я предлагаю вам свои услуги. Уверена, что они могут пригодиться.

— Какого рода услуги вы предлагаете? — спросил Арсентьев, немного остыв.

— Любые, — не дослушав вопроса, ответила Полина. — Мне, Ростислав Андреевич, терять нечего и некого. Поэтому я пойду на всё. Надо будет — убью, а надо — умру сама.

— Вы полагаете, убить — просто?

— Не знаю. Но если будет надо, то моя рука не дрогнет.

— Вы хотите мстить кому-то конкретному?

— Нет. Я хочу всем им отомстить...

— За что?

— За человека, которого я любила. Этого довольно?

— Он здесь похоронен?

— Нет, на Кубани. В братской могиле...

— Он был участником Похода?

— Да... Вы принимаете моё предложение?

Предложение Полины Арсентьеву не нравилось. По глубокому убеждению его, женщине ни при каком раскладе не следовало участвовать в подобных делах. Даже такой, как эта бывшая эсерка. Никогда не понимал Ростислав Андреевич женщин, занимавшихся политикой. Что за радость? Женщина-революционер, женщина-террористка... Какая же это, прости Господи, женщина? Разве что по обличию, да и оно неуловимо искажается, убивается всё нежное, мягкое, женщине свойственное, а остаётся сушь и огрубелость. Вот, и в лице Полины, интересном и ярком, что-то было грубоватое, жёсткое.

— Я доложу о вашем предложении начальству.

Вот, лучший выход. Слишком не опытен ещё был подполковник на своём новом поприще, чтобы так

скоропостижно решать что-то. Доложить начальству, навести справки об этой даме, а там уж и видно будет.

— Где я смогу вас найти?

— Я сама найду вас, — Полина повернулась, чтобы уйти, сделала несколько шагов по тропинке. Где-то печально загудел колокол. Полина остановилась, обернулась медленно, подняв указательный палец: — Слышите? Знаете, я в начале войны историю одну слышала. Один офицер ехал на фронт, в лесу он увидел старуху, стирающую в ручье залитую кровь рубаху. Он спросил её, чья это рубаха. А она ему ответил: «Твоя»... В первом бою его убили, и рубаха его была вся в крови...

— К чему вы это говорите?

Полина странно повела головой:

— Вам не кажется, что этот колокол по всем нам звонит? Всех нас отпевает? — звякнула чётками. — Доложите вашему начальству, господин подполковник! До встречи! — и ушла быстрым шагом, скрылась, за частоколом крестов, как призрак.

Сумасшедшая, как есть сумасшедшая... Или нет? Доложить всё же надо. Небо заволкло тяжёлыми грозowymi хлябями, гулко охнул гром вдалеке, и встревоженная им стая ворон с клёкотом поднялась над крестами, пророча подобно исчезнувшей Полине своё всегдашнее:

— Крах-крах! Крах-крах!

Неужели, в самом деле — крах?..

## Глава 6. «Ноев ковчег»

*21 июля 1918 года. Москва*

Колокола в Москве не гудели поминально, как не гудели они и по всей России. Убитого Императора поминали тайно. И ничем, казалось, не примечателен был этот июльский день, день празднования иконы Казанской Божией матери. Прежде в праздник этот полны были московские церкви, и были крестные ходы, нарочно заворачивавшие во дворы болящих, дабы подкрепить их. А теперь — ничего. Теперь тихо. Теперь затаилась страна, недавно великая и не имеющая равных в мире, под сапогом варвара, и лампы её угасали...

Ещё утром все обитатели квартиры на Малой Дмитровке разошлись по своим делам, и Юрий Сергеевич остался один. Он прислушивался к доносившимся с улицы звукам, листал и откладывал с приступом ужаса и тошноты советские газеты. Как жить людям, чей мир разрушен? Стоит ли жить вообще? И зачем жить? Эти вопросы часто закрадывались в душу Миловидова в последний год, он гнал их от себя, но они вновь наступали, изматывая, требуя ответа.

Юрий Сергеевич Миловидов никогда не был борцом, отличаясь мягкостью и робостью. Ему чужды были общественные бури, он сторонился их, сторонился политики, ища в мире гармонии. Он родился недалеко от Москвы, в дворянской семье, в типичной русской усадьбе, так тонко описанной почти всеми писателями. Ничего не знал Миловидов более гармонично устроенного, чем русская усадьба с её природой, неспешной, несуетной, медлительной жизнью. Прогулки, занятия, чаепития в саду, вишнёвый сад,

терпкий запах черёмух весной, и приторный — яблочный — осенью, малиновый звон, струящийся под высокими небесами, простор неохватный... Господи, какой же великий дар дал ты нам, русским! Какую прекрасную землю! Какой простор! Имея такой дар, созерцая его, человек должен расправлять плечи, становиться сильнее и шире. А люди погрузились в суету, перестали замечать то великое, чем обладали, съёжились, опошлились. А Юрий Сергеевич замечал, видел каждый оттенок, слышал каждый звук. Во время, которое проводил он в усадьбе, на него сходило молитвенное состояние, он чувствовал, что Бог где-то близко.

Отец Миловидова, крупный учёный, мечтал, чтобы сын пошёл по его стопам, стал математиком. Не желая огорчать родителя, Юрий Сергеевич окончил соответствующий факультет Московского университета, но учёным математиком так и не стал. Миловидова влекло искусство. Ему казалось, что человечество небрежно относится к накопленным за века ценностям, забывает традиции, культуру, великие имена и творения. И Юрий Сергеевич решил посвятить жизнь собиранию растрачиваемого культурного и исторического наследия, сбережению и возвращению его людям. Он полагал, что, связав, таким образом, прошлое с настоящим, удастся через культуру гуманизировать сознание людей, сделать их лучше. Но всего главнее, было даже не это, а само спасение ценнейших памятников прошлого, которые могли быть забыты, могли исчезнуть.

Юрий Сергеевич работал неутомимо. Он исколесил всю Россию, год прожил в Европе, изучил множество архивных материалов. Зная шесть языков, включая, кроме основных европейских, древнегреческий, латинский и иврит, он мог свободно изучать древние манускрипты, читать подлинники древних авторов.

Миловидов написал несколько научных работ, замеченных «Миром искусства» Бенуа, после которых имя его стало набирать известность. Войдя в число известнейших искусствоведов, он участвовал в издании многих журналов и альманахов, выступал с лекциями, издал монографию об искусстве Древней Руси... Тут-то и свела его судьба с крупным московским меценатом Сергеем Сергеевичем Тягаевым. Был Сергей Сергеевич много старше Миловидова, но с тем же жаром, с тою же любовью относился ко всему прекрасному и талантливому. Обладая безупречным вкусом, Тягаев безошибочно узнавал таланты истинные, а, узнав, помогал им всемерно, заботился, как о родных детях. В его просторном особняке на Малой Дмитровке месяцами жили бездомные художники и артисты, частенько бывали поэты и литераторы. Сергей Сергеевич проводил выставки, помогал открывающемуся в Москве новому театру, театру новой эпохи, свободному от прежних систем, участвовал в издании книг и журналов. Стар уже был Тягаев, и болел часто, а с тою же страстностью заботился о процветании искусства, с тем же неослабным интересом следил за всем новым, так же горел бесчисленными идеями и прожеками. Мечтал Сергей Сергеевич открыть музей. И тут-то и пригодился ему Миловидов. Их устремления совпали. Юрий Сергеевич давно переживал, что из-за стеснённости в средствах не имеет возможности выкупать ценные вещи, собирать коллекцию с тем, чтобы, сохранив это достояние, передать его соотечественникам. На помощь этой работе Тягаев не скупился, и вновь колесил Миловидов по городам и весям, ища утерянные реликвии. Составляя подробное их описание, готовя попутно очередную книгу. Музей был открыт. Главным предметом экспозиции стала русская старина. Но были залы, посвящённые древним цивилизациям (главным образом, Византии), и зал, где,

сменяя друг друга, выставлялись современники. Увы, вскоре после этого Сергея Сергеевича не стало. Его вдова, Ольга Романовна, продолжила дело мужа, но ей не хватало ни горячности его, ни знаний. Это сознавала и она сама, а потому старалась окружать себя людьми знающими, ближайшими сотрудниками Тягаева. И первым в их числе был Миловидов, которому Ольга Романовна предложила всецело взять на себя руководство музеем. Юрий Сергеевич согласился.

Более двадцати лет был Миловидов директором музея, более тридцати отдано было служению культуре. Но, вот, настал Семнадцатый год. И всё стало рушиться. Будучи человеком либеральным, Юрий Сергеевич всегда сочувствовал демократическим преобразованиям, но революции не принял. В революции он не увидел ни свободы, ни обновления, а увидел только одно: горящее здание Верховного Суда в Петрограде (со всеми бесценными архивами!), грязь, харканье, пьяные, вдруг одичавшие не-лица, свергнувшие с себя Божий образ — не расцвет, а распущенность, не свободу, а раскрепощение в душах Зверя, раз-ру-ше-ни-е. Революция — в переводе, возвращение назад. Назад — как далеко? Человек, с которого сняли все ограничения, развращается. Свобода абсолютная, свобода без ответственности, неминуемо становится не свободой для достижения каких-либо высот, но свободой разложения, свободой бессовестности, свободой одичания. Человек теряет свой облик, стимул к тому, чтобы совершенствоваться (зачем, если всё позволено?), все самые дурные свои склонности раскрепощает: прямой путь от человека к скоту. Ещё мудрый Сенека говорил, что жажда наслаждений — удел скотов. Свобода — отлично! Но свобода должна опираться на что-то! На фундамент духа, на нравственность, на культуру! Но ведь это достояние меньшинства. А большинство



невежественно. И ему дали свободу, дали ребёнку поиграть с огнём... Остро чувствовал Юрий Сергеевич надвигающийся хаос, торжество гунна, торжество варвара... Куда же откатится Россия? В новое Средневековье? Или — дальше ещё? К Средневековью уже скатилась. Поиск врагов революции — охота на ведьм. И эти дикие расправы!

Всякий день ходил Миловидов в свой музей, присутулившись, по залузганным, заплёванным, неметеным тротуарам, мимо пьяных солдат-дезертиров, и чувствовал себя маленьким, беззащитным человеком. Когда какой-нибудь из новых гуннов приближался к нему, нависая над ним, как гора, Юрий Сергеевич содрогался, ожидая худшего. Он никогда не был храбр, но в дни революции понял о себя беспощадно: трус. Он перестал ездить в трамвае, потому что трамваи всегда были забиты солдатами, которые вели себя беспардонно, так что вагоновожатые кричали в отчаянии:

— Скорее бы немец пришёл, привёл бы вас в чувство!

Он боялся смотреть по сторонам, его стал мучить нервный тик и бессонница. И всё же каждый день, преодолевая, несмотря на слабость здоровья, длинный путь пешком, невзирая на погоду, Миловидов шёл в свой музей, к своим книгам, картинам, изделиям древних мастеров. Посетителей почти не бывало, и целыми днями Юрий Сергеевич просиживал в музее один, и эта столь любимая им атмосфера успокаивала его.

Из имения пришли горестные вести: усадьба была разграблена. Миловидов представил родной дом опустевшим и разорённым и горько заплакал. Не только о своём доме, но и обо всех русских усадьбах, разрушаемых и предаваемых огню новыми гуннами. Эту красоту неземную, эти памятники, эти сокровища земли

русской — в прах, в огонь рукой варварской! Представить нельзя — сердце разрывалось на части! Такое отчаяние овладело Миловидовым, что не хватило сил и воли ехать в имение, разбираться в произошедшем. И страшно было увидеть родной дом в таком ужасном состоянии. И всё равно ничего нельзя было исправить.

С детства не отличался Юрий Сергеевич крепким здоровьем. Был он хрупок и болезнен, но радость работы не давала ощутить какие-либо недуги, обладая целительной силой. А теперь, когда стало всё разрушаться, как никогда прежде почувствовал Миловидов и перешагнутый полувековой рубеж, и изношенность организма. Всё навалилось разом — так что и вздохнуть нельзя.

А это было только начало. В октябре забила артиллерия прямой наводкой — по Кремлю! Полыхало зарево у Храма Христа Спасителя, на Никитской, Кудринской, на Поварской и Арбате гремела стрельба. В каком-то полубезумном состоянии метался Миловидов по Москве, дважды едва не был арестован, чудом не задет пулями. К кому бежать, перед кем на колени пасть с мольбой: пощадите Кремль!? Ужасом переполнялась душа: неужели Кремль разрушат? От страха за Кремль отступили все иные страхи, даже чувство самосохранения отказало. Готов был Юрий Сергеевич собственной узкой грудью Кремль заслонить, чтобы не разрушила артиллерия эту святыню. Он бы, не задумываясь, отдал жизнь, если бы она, такая ничтожная малость в сравнении с Кремлём, могла что-то спасти. Тогда Миловидова, блуждавшего по улицам, заметил Александр Васильевич Сабуров, старинный знакомый, кинулся к нему, пригибаясь под пулями (Юрий Сергеевич и не подумал, чтоб пригнуться), схватил за руку, чуть не силком потащил за собой,

втянул в здание Александровского училища, где размещался штаб восставших, выговорил раздражённо:

— Вы, профессор, я вижу, совсем с ума подвинулись! Сидели бы дома или в своём музее! Вас только не доставало здесь!

— Александр Васильевич, надо Кремль спасти! История не простит нам...

Сабуров махнул рукой:

— Пойдите-ка к господам большевикам и скажите им, что они не правы, что народное достояние надо беречь, и что история им не простит. Полагаю, ваши слова будут иметь на них колоссальное влияние! Притулитесь здесь где-нибудь, блаженный вы человек! Право слово, не до вас!

Долбила, долбила артиллерия. Юнкера обстреливали из Кремля пулеметным огнем «Метрополь» и Охотный ряд. Для того чтобы прекратить этот обстрел, орудие с Лубянской площади стало бить по Спасской башне. Одновременно по башне начали стрелять и орудия «Мастяжарта» с Швивой горки. Один из снарядов попал в башню. Кремлевские часы остановились... Артиллерия в упор била по Никольским воротам. Каждый залп её казался оглушительным, каждый залп — словно в самое сердце не Москвы, а Юрия Сергеевича бил.

Кремль, переживший татар, поляков и французов, пережил и большевиков. Но повреждения всё же были значительны. Небольшая комиссия во главе с митрополитом Тихоном, в которую вошёл и Миловидов, была допущена для осмотра. Горькое зрелище довелось увидеть Юрию Сергеевичу. Пробиты были купол Успенского собора, стены Чудова монастыря и собора Двенадцати апостолов, обезглавлена Беклемишевская башня. Драгоценные украшения, церковная утварь лежали в пыли, стены храма Николая Гостунского исписаны непотребными надписями, на месте, где

хранились мощи святителя Николая, устроено отхожее место, образ самого Чудотворца на Никольской башне — расстрелян. На Соборной площади в луже крови лежал убитый юнкер... Ещё не ведал в тот час Миловидов, что короткие дни боёв не только покалечили великую русскую святыню, но и стоили жизни его сыну...

Кадет первого корпуса Серёжа Миловидов вместе с товарищами оборонял Лефортово. Пуля попала ему в шею. Рана оказалась тяжёлой, но при своевременном хирургическом вмешательстве Серёжу можно было спасти. Но откуда было взять врача в тот момент?

Страшной была эта утрата. И вдвое тяжелее она была от того, что пришлось выслушать Юрию Сергеевичу от жены. Мари не чаяла души в сыне, он был её отрадой, её гордостью, и в гибели его она обвинила мужа.

— Ты во всё виноват! Ты один! Ты убил его!

— Помилуй, Мари, чем же я..?

— Я говорила тебе, что нужно уезжать из этой проклятой страны! Ещё весной я говорила тебе! Если бы ты думал о нас, то Серёжа был бы жив! Но тебе же всегда не было до нас дела! Тебе любая твой экспонат был дороже нас! Твоя работа! Вот, что для тебя было важно! Я ненавижу твою работу! Твой музей! Тебя!

— Мари, не надо так...

— Ты погубил мою жизнь! Господи, если бы я знала! Скажи честно, ты хоть раз подумал в эти дни о нас?! О Серёже?! Только не ври! Ты думал о Кремле! Об исторических ценностях! О мёртвых стенах ты думал! А о нас забыл! Ты сам мёртв, как эти твои экспонаты!

Миловидов не спорил, не пытался защитить себя. Правда, он больше думал о расстреливаемом Кремле, почему-то не вспомнив о том, что его родной сын тоже может быть среди восставших... Правда, он отказался уехать за границу, когда на этом настаивала Мари. Он

не мог уехать. Не мог покинуть своей Москвы, своего музея. Как бы ни было трудно, он не смог бы жить вне этих улиц, церквей, домов. Он должен был оставаться в Москве, чтобы попытаться сохранить хоть что-то, не дать разграбить всё. Мари не могла этого понять. Но ведь он же не противился, чтобы она уехала без него...

Юрий Сергеевич слушал сыпавшиеся на него чудовищные обвинения, не поднимая глаз, не смея возразить. Он чувствовал себя виноватым за всё и перед всеми. Ему хотелось хоть как-то утешить жену, но для неё во всех бедах и неприятностях уже давно не было лучшего утешения, чем изводить мужа, подливать масла в мучительный огонь, и без того пожирающий его. Оттого-то так стремился Миловидов бывать дома реже, оттого-то и уходил так часто. Но теперь и уйти не смел. Он должен был дать ей излить всю боль, принять её на себя, терпеть...

— Ты отвратителен мне! Я ненавижу тебя!

Она никогда его не любила... Это Юрий Сергеевич понял очень давно, но всё же поздно для того, чтобы исправить. Лишь одна женщина любила и понимала его в жизни. Вера. Первая юношеская любовь, ставшая, что нечасто бывает, и первой женой. Они познакомились, когда обоим было по четырнадцать. Вера с родителями гостила в имении Миловидовых. А в девятнадцать они уже просили благословения и, получив его, венчались. Счастливы были те годы! Снимали в Москве две комнаты, Юрий Сергеевич учился в университете, вечерами гуляли, бывали в театре, ходили в гости к друзьям-студентам. Те бредили революцией, увлекалась ею и Вера. Миловидов относился к этому увлечению снисходительно, полагая, что революционность — свойство юности, что всё равно никакой революции не будет. Иногда он и сам сочувствовал высказываемым идеям, читал и прятал запрещённые книги. А однажды даже жил у него

несколько дней скрывающийся от полиции «настоящий революционер». Юрий Сергеевич не сочувствовал его взглядам, но считал позором не оказать помощи, а, тем более, сотрудничать с «охранкой». Через год Вера забеременела, революция отступила на второй план. Родившегося сына назвали Лёвушкой, переехали из комнат на квартиру, наняли по настоянию Веры, возымевшей желание учиться, гувернантку, молодую, хорошенькую француженку Мари Дюро. Жизнь складывалась счастливо. Карьера Миловидова развивалась, он становился известен, статьи его выходили в журналах... Правда, денег это приносило очень мало, практичности Юрию Сергеевичу не доставало, но выручал доход от имения. Вера к непрактичности мужа относилась понимающе, помогала ему в работе, была самым надёжным другом. Никто и никогда не смог заменить её Миловидову.

Вера погибла в железнодорожной катастрофе. Юрий Сергеевич был безутешен. Он не привык к утратам, к бедам, к лишениям, а потому оказался совершенно незащищен перед ударом судьбы, сломлен им. И никого не было рядом, кроме четырнадцатилетнего Лёвушки (да и его-то не было — он учился в кадетском корпусе) и Мари, ставшей из гувернантки домоправительницей. А Мари превосходила себя, Мари окружала его таким вниманием, была такой нежной и предупредительной, что незаметно вошла в его жизнь, взяла в свои руки его дом, подчинила его себе. Сколько воли, ума и таланта было у Миловидова во всём, что касалось работы! Но в работу и уходили они, а на жизнь ничего не оставалось. Пошёл он тогда за Мари, как телок, покорно, доверился ей, не имея сил взять на себя заботы, которые прежде были на плечах Веры. А потом вышло так, что нужно было дать имя родившемуся Серёже... И Юрий Сергеевич женился на Мари, не считая достойным

поступить иначе. Тем более, что Мари казалась ему умной и доброй женщиной, которая сумеет содержать в порядке его дом, что так необходимо было ему для спокойной работы.

А вышло всё иначе. Мари несколько не любила его. Она, бедная французская гувернантка, искала положения. Брак с Миловидовым давал ей дворянский титул и статус жены известного учёного. Но этого скоро оказалось ей недостаточно. Мари хотелось иметь много денег, собственный дом, а не скромную квартиру, бывать в свете вместе с мужем. Всё это в планы Юрия Сергеевича не входило. Его вполне устраивал скромный быт, заботиться о зарплате он не умел, поскольку материальные заботы слишком отвлекали его от Дела, бывать в свете он не любил, считая этой суетой и пустой тратой драгоценного времени. Начались обиды, скандалы, обвинения... Семейная жизнь не удалась. Но менять что-то было поздно. К тридцати пяти годам родились девочки-близняшки, Юля и Аля. Их Юрий Сергеевич обожал. И как же можно было расстаться с их матерью? Да к тому же развод — столько сил, нервов... И скандал! Нет, не хотел этого Миловидов. Продолжал терпеть попреки и истерики жены, старался приходить домой лишь на ночь, а дни проводить в музее, в университете, в библиотеке, у кого-нибудь из друзей — мало ли мест, где можно было спокойно предаваться любимому Делу.

Но, несмотря на все скандалы, не думал, не представлял Юрий Сергеевич, что Мари настолько ненавидит его. Эта бездна ненависти, сдерживаемая прежде, выплеснулась на него, сломленного несчастьями, теперь, когда не стало Серёжи. Слушал Миловидов жену и содрогался. Может быть, просто помешалась от отчаяния? Не ведает, что говорит? Нет, понимала. Понимала и с каким-то наслаждением давила, добивала лежачего:

— Все твои мёртвые экспонаты теперь перебьют и пожгут! И правильно! А ты им принёс в жертву нас! И поделом тебе! Это тебе кара! За мои страдания! Но теперь хватит! Довольно я мучилась! Мы с девочками уезжаем! В Париж! Вон из этой проклятой страны!

Угрозу Мари сдержала. Она уехала через несколько дней после похорон Серёжи. Напоследок хотела ударить ещё сильнее:

— С девочками можешь проститься только в моём присутствии!

— Мари, пожалей меня хоть немного. И их пожалей. Дай хоть проститься нам. Хочешь, я перед тобой на колени стану?

И стал бы. И молил бы. Ради девочек, ради того, чтобы в последний раз обнять их, крошек бесценных, без надзора их безумной матери. Уже не осталось гордости... Но умилоствовала, разрешила и так.

Девочки, два ангела, в отличие от Серёжи, копии отца, плакали навзрыд, льнули к Юрию Сергеевичу, а он не находил слов, что сказать им в этот час, сам не мог сдержать слёз. Конечно, Мари права была, что увозила их. Не дай Бог случилось бы и с ними что-нибудь... Но больно: неужели не вернуться больше в Россию? Неужели их никогда не увидеть больше?

Ехать провожать на вокзал Мари запретила. Простились у дома. Нагруженная пролётка отъехала, стуча колёсами по мостовой. Из неё смотрели на Миловидова две заплаканные мордашки, махали, кричали что-то... А в нём мешались два чувства: облегчение от того, что уехала Мари, и горечь ставшего полным одиночества. Уехали (безвозвратно — понимал Юрий Сергеевич) девочки, погиб Серёжа, пропал Лёвушка... От Лёвушки, с фронта, уже несколько месяцев вестей не было. Жив ли?.. Большая фотокарточка его со стены смотрит материнскими, Веринными глазами. Так похож на неё! Только серьёзный



всегда, неулыбчивый. А Серёжа — наоборот. Смешливый. На фотографии — улыбается широко. Нельзя поверить, что его уже нет. И девочки... Самые дорогие, нежно любимые...

После отъезда Мари Юрий Сергеевич почти переселился в музей. Сидел в старом, залатанном пиджаке в своём кабинете, бродил по залам, чувствуя себя едва ли не призраком. А однажды в музей явились пятеро. Трое солдат и пара плюгавых субъектов, которым на лбу можно было бы вывести одно слово — Хитровка. Миловидов почувствовал холодок внутри, спросил:

— Что вам угодно?

Вошедшие ухмыльнулись. Они стояли перед ним, глядели насмешливо на тщедушного профессора, двое лузгали семечки, плевали на пол. Ото всех явственно тянуло спиртным.

— Деньги есть?

— Помилуйте, откуда?

— А водка?

— Нет...

— Тогда отойди-ка в сторону, мы сейчас тутошнее добро реквизируем будем. Ишь, буржуи! Попрятали ценности, а народу с голоду пухни?!

Оборвалось всё внутри. Разграбят то, что десятилетия собиралось. Разграбят, разобьют, изгадят... Преградил путь, чуть назад отступая:

— Вы не имеете права... Товарищи, это же музей... — лепетал севшим голосом.

Хохотнули. Один из хитровцев молниеносно подставил Юрию Сергеевичу подножку, и тот упал на пол. Очки отлетели в сторону. Миловидов протянул руку, чтобы взять их, но чей-то сапог наступил на них и раздавил с хрустом...

— Что, интеллигенция, в штаны наделал? — удар в лицо. — Сопли утри! — и ещё один, в живот.

Юрий Сергеевич не боялся смерти. Но боялся боли и унижения. Никогда не испытывал он ни того, ни другого. Даже в играх мальчишеских не случилось драться ему. Занимаясь искусством и историей, он не соприкасался с грубостью и жестокостью, всё это обходило его стороной. А теперь он, русский интеллигент, посвятивший всю жизнь собиранию и сбережению для народа крупиц его старины, его культуры, профессор, известный даже за границей, лежал у стены, беспомощный, с разбитым лицом, плохо видя без очков, а над ним возвышались пятеро хамов, глумились над ним, отпускали непотребные шутки, плевали, тыкали носками сапог, гоготали... За что? Господи, за что? Нестерпимо жаль было себя, ещё жальче — музей, обречённый на разграбление.

Вдруг сзади раздался хлопок. Выстрел. Варвары всполошились. В то же мгновение кто-то неведомый быстрыми ударами поверг на землю двоих из них. Миловидов зажмурился. Когда возня и крики стихли, осторожно открыл глаза. Перед ним стоял Тимофей Скорняков, сыщик московской полиции, теперь служащий новой власти в том же качестве. Скорняков присел на корточки, покачал головой:

— Досталось вам, профессор, горой меня раздуй! Ну, ничего, мы им теперь устроим. Лично их в битое мясо превращу.

— Не надо никого превращать в битое мясо... Они же не виноваты в том, что невежественны, бескультурны и не в состоянии понять...

— Оставьте ваш либерализм! Подняться можете?

Подняться Юрий Сергеевич не мог. Хотя били его не сильно, больше для острастки, но нервы дали знать себя: ноги отнялись. Миловидов лежал на полу, по лицу его, смешиваясь с кровью, текли слёзы. Он плакал не от боли, а от обиды, от унижения, от стыда за свой страх, свою слабость.

— Ничего, ничего, сейчас дотащу вас, доктора кликну, — ободрил Скорняков.

— А музей? Ведь его могут разграбить!

— Я тут пару своих людей пока поставлю, а там решим, как народное достояние защитить, — рассудил Тимофей.

Скорняков отнёс Юрия Сергеевича прямиком в дом Ольги Романовны, где по её настоянию он и остался.

Прошёл уже месяц после несчастного случая, а он всё ещё не мог подняться с постели и совестился, что доставляет неудобства милейшей хозяйке и ест чужой хлеб.

Ольга Романовна Тягаева-Вигель проявила настоящие чудеса мудрости, стойкости и практичности после октябрьского переворота. Когда «буржуев» начали уплотнять, она приняла все возможные меры к тому, чтобы не делить своего жилища с какими-нибудь «товарищами». Первый этаж дома, правда, пришлось отдать, зато второй удалось спасти. Ольга Романовна попросту пригласила переехать к себе ближайших друзей, также страдавших от уплотнения. Таким образом, просторная квартира в бывшем особняке Тягаева на Малой Дмитровке являла собой подлинный Ноев ковчег, в котором находили приют все нуждавшиеся в нём.

Стойкость Ольги Романовны достойна была преклонения. Совсем недавно был арестован её муж, бывший следователь по особо важным делам, действительный статский советник, бывший член Московской Думы, член подпольного Национального центра, Пётр Андреевич Вигель. При такой биографии трудно было надеяться на благосклонность советской власти, но Ольга Романовна не давала волю чувствам. Глядя на неё, казалось, что она всё ещё вдова крупного мецената, хозяйка большого дома, радушно принимающая гостей. Ольга Романовна следила за всем

в доме, заботилась о своих гостях-квартирантах, воспитывала восьмилетнего внука Илюшу, держалась бодро... И каждое утро ходила к Бутырской тюрьме, передать хоть что-нибудь Петру Андреевичу.

В этот день она вернулась рано. Юрий Сергеевич ещё на лестнице услышал её голос. Войдя в комнату, Ольга Романовна устало опустилась в кресло:

— Как вы, милый профессор? — улыбнулась мягко.

— С вашим приходом хорошо. Что там? — осведомился Миловидов.

— Передачу приняли. Значит, жив...

— Слава Богу!

Было Ольге Романовне уже за шестьдесят, но её фигура сохраняла худобу, как в молодые годы. Тонкое лицо её, покрытое сетью мелких морщин, уже не хранило следов молодости, но отличалось интеллигентностью и красотой, седые волосы были тщательно уложены в высокую, очень идущую ей причёску.

— На обратном пути купили картошки... Дёшево.

— Вы что же, тащили её на себе?!

— Что вы! Это Тимоша помог.

В комнату заглянул Тимофей, приподнял кепку:

— Здравствуйте, профессор! Ольга Романовна, я картошь на кухню отволол, Илюшка там уже чистить к ужину взялся. Хороший парень растёт! С руками, горой меня раздуй!

— Разве можно по-другому сейчас, Тимоша? — вздохнула Ольга Романовна.

Скорнякова в доме Вигеля знали с юности. Знали с тех лет, когда он, мальчишкой приехал из деревни в Первопрестольную, и был взят в ученики московским сыщиком Романенко, приходившимся старинным другом Петру Андреевичу.

— Так разве ж это плохо, что дети не барчуками растут, как прежде?

— Если бы они не умирали от голода, было бы неплохо.

— Так разруха, Ольга Романовна, что же вы хотите?

— А кто её устроил, Тимоша?

— Вы напрасно во всём большевиков вините, ей-богу, — Скорняков поскрёб толстую шею. — Нет, ну, ехала купчиха на базар! Нашли крайних! Аристократия дурила-дурила, кадеты крутили-крутили, а большевики одни виноваты?

— Не одни. Но они страшнее остальных. Вот, Василь Васильич, будь жив, не рассуждал бы, как вы, Тимоша. Он бы вам объяснил.

— Да что бы он мне такого объяснил?

— Я не понимаю, как вы можете поддерживать советскую власть, которая погубила уже столько невинных людей!

— Да кто вам сказал, что я поддерживаю?

— Вы же пошли служить ей!

— Ольга Романовна, давайте не путать. Я пошёл не служить власти, а ловить бандитов. Таких, как те, которые едва-едва Юрия Сергеевича не ухлопали. Не пойдя я служить, не окажись там в тот момент, и его бы непременно уколошили, а музей разнесли! А я этого не допустил! Какая бы власть ни была, всегда есть уголовники, которые снимают пальто в тёмных подворотнях, вынимаю кошельки, убивают...

— Больше всех убивает теперь власть.

— Поэтому надо дать волю всем уголовникам? Вам будет легче, если их никто не будет ловить в связи с принципиальными расхождениями с властью? Мне всё равно, какая власть! Лишь бы не анархия! Если есть власть, значит нужна и полиция. Если есть полиция, то она ловит уголовников. Политика — не моё дело. Моё дело — ловить уголовников. Я не могу обезопасить граждан от ЧеКи, но почему же я не должен обезопасить их хотя бы от воров и убийц, коли это моя

работа? Победит ваш Деникин — ради Бога, я не против. Я при любой власти буду заниматься своим делом, лишь бы дали. И ведь, заметьте, что мало в Москве сыщиков, которые сыскное дело лучше меня знают. У меня, между прочим, квалификация! Я всю Хитровку знаю! Прикажете мне забыть об этом? И пусть занимаются борьбой с преступностью призванные красноармейцы, которые ни в зуб ногой не смыслят? Вам лучше от этого будет?

— Хорошо, хорошо, Тимоша, вы меня убедили, — примирительно откликнулась Ольга Романовна. — Простите, я просто очень беспокоюсь за Петра Андреевича.

— А вы думаете, я не переживаю за него?

— Спасибо вам, Тимоша, за вашу помощь нам.

— Ольга Романовна, обидно и слышать. Как будто я скотина какая, чтобы своих позабыть!

Появившийся Илюша, худенький восьмилетний мальчик, сообщил:

— Бабунечка, я картошку почистил.

Ольга Романовна встала, поцеловала внука в лоб:

— Спасибо, милый. Поиграй пока, а я пойду готовить ужин, а то скоро все наши вернутся, а у меня ещё ничего нет...

Нелёгкое дело — приготовить ужин на восемь душ из скверной картошки, остатков муки и некоторых других продуктов, которые прежде странно было бы употреблять в пищу. Лето — всё же благодать. Летом хоть чем-то разжиться можно. Хоть травой... А цены! Цены! Никаких фамильных драгоценностей не хватит, чтобы прокормиться. Ольга Романовна покосилась на мешок гречневой крупы, привезённый недавно Володей Олицким. Володя ездил по Волге — менял ситец на крупу. Натуральное хозяйство торжествует. В деревнях можно выменять многое, но до них надо добраться. А это не так-то просто. А гречку ещё проверить надо,

перебрать, чтобы не подсыпали для весу какой-нибудь дряни. Подумала Ольга Романовна и решила делать оладья из картошки с мукой. Пожалела, что нет в доме ни капли молока. Молоко, как и всё питательное, жирное, стало роскошью. Дольше сорока лет не ведала Ольга Романовна никакой домашней работы, на кухню заходила лишь изредка, отдать распоряжения повару или кухарке. При первом муже — в какой роскоши жила! Лакеи, горничные, собственный выезд... При втором — скромнее. Но тоже двое старых слуг вели хозяйство. Да вот, не выдержали голода, поплакали и попросились в деревню. И Ольга Романовна не посмела не отпустить. И легло всё хозяйство на её худощавые плечи. Ещё Надя Олицкая помогала порой, да немного умела она. А Ольга Романовна, как оказалось, умела. И четыре десятилетия не истребили спасительных навыков, в сиротской юности обретённых.

Юность! Для других это было время праздности и веселья, но не для Ольги Романовны. Родители её умерли рано, и осталась она, бедная сиротка-бесприданница, со старой, больной бабушкой и маленькими сёстрами — в нищете совершенной. Перебивались пенсионом, помощью добрых людей. Хотела Олинька давать частные уроки, но хозяин дома, куда пригласили, совсем иные цели имел. Так и отказалась от намерения своего. Юность! Квартирка у Девичьего поля, стены монастыря Новодевичьего, колокольный звон, зимой — катание на коньках по ледяной глади пруда... Всё же как много было прекрасного! И была любовь. Первая — и на всё жизнь. Пётр Андреевич Вигель. Ещё начинавший лишь тогда свою карьеру, не имевший гроша за душой. И эту любовь в жертву принести пришлось. Бабушке, желавшей умереть спокойно, и сёстрам, чтобы им нужды и унижения не знать. Вышла Ольга Романовна за преданно любившего её друга покойного отца,

пожилого, богатого, очень достойного человека, Сергея Сергеевича Тягаева. С ним в браке двадцать лет прожили. И не погневишь Бога — хорошо прожили. Ладом. Уважала Ольга Романовна мужа, любила дочерней любовью. Когда не стало его, искренне горевала, чувствуя, что лишилась в жизни надёжной опоры, мудрого и любящего друга, стены, за которой не знала она горя. А прошло ещё несколько лет, и (не уйдёшь от судьбы!) свела жизнь с Петром Андреевичем...

Ни о чём не жалела Ольга Романовна в своей жизни. Только «жертва», принесённая ей когда-то, почему-то больше принесла счастья ей, а не сёстрам. Не сложились судьбы у них. Одна умерла рано, так и не выйдя замуж. Вторая вышла не по любви, жила вроде бы не хуже других. Но, вот, недавно пришла ужасная весть: погибли в Ледяном походе два сына её, совсем мальчишки. Вся жизнь — вдребезги. И подкашивались ноги от мысли, а если и Петрушу?.. Сына Ольга Романовна боготворила и была против избранной им военной стези, разлучавшей его с нею и грозившей столькими опасностями. Но Сергей Сергеевич запретил препятствовать, считая, что человек должен решать свою судьбу сам. Сколько раз уже Петруша был на волосок от смерти с той поры! Надрывалось материнское сердце, каждую рану сыновнюю на себя принимая. Уже насилу с того света вытянули его в последний раз, без руки остался, без глаза (думать без боли нельзя), а ничего не останавливало его. И сейчас, уверена была Ольга Романовна, где-то сражается он. За Россию... Как племянники, дети невинные, сражались. Как Николенька, пасынок. А у Ольги Романовны одна надежда осталась — внук, Илюша. Его, пищащим младенцем, принесла студёной осенней ночью Лидинька. Явилась больная, ещё не оправившаяся от родов, оставила ребёнка и ушла. Даже вскормить сына



не позаботилась, Ольга Романовна нашла кормилицу. Что же это за молох такой, революция, что делает мать столь безучастной к своему ребёнку?..

Революции отдалась Лидия ещё в отроческие годы. Ольга Романовна так и не смогла понять, когда «упустила» дочь, где совершила ошибку. Сергей Сергеевич мало уделял времени детям, занятый своими многообещающими талантами, жившими и работавшими в специально отведённой части тягаевского дома. Увлечён был Сергей Сергеевич искусством, театром, живописью, литературой, а на детей времени не хватало. А Ольга Романовна слишком сосредоточена была на любимом сыне, дочь была на втором месте. Ах, не думала она, что причиняет по неосторожности боль дочери! А Лидинька почувствовала это, решила, что не нужна родным, затаила обиду. Да ещё же и таланты, постоянно находившиеся в доме, сплошь разделяли прогрессивные идеи, попадались и революционеры. Погорячился Сергей Сергеевич, собирая всех их в собственном доме. А Лидинька слушала, оказывается, их свободомысленные, полутрезвые речи — и впитывала. Ей восемнадцати не было, когда исчезла она из дома, объявив матери, что не желает больше иметь ничего общего со своей семьёй. Исчезла Лидинька не одна, а с «товарищем по борьбе». Видела его Ольга Романовна раз мельком. Бойкий еврейчик с маслянистыми глазами, довольно смазливый. Лидинька и фамилию его взяла (или революционный псевдоним?) — Рацкая. Ещё надеялась Ольга Романовна, что дочь одумается, нагуляется и вернётся. Но этого не произошло. Мало что известно было о Лидиньке после разрыва. Дважды арестовывалась она, была в ссылке, жила за границей... Обычная революционная биография. Домой навевалась она лишь несколько раз. Первый — скрываясь от полиции.

Прожила три дня, оскорбляя мать, брата и отчима, которого возненавидела более всех. Пётр Андреевич тогда два дня не ночевал дома, чтобы не сорваться. Во второй раз явилась просить денег. «На дело». Ольга Романовна, наступив на горло жалости, ничего не дала. Через её руки на такие дела средства не пойдут. А Лидинька покривилась: погоди, сами возьмём... Теперь и брали... На третий раз принесла внука. Между очередной ссылкой и заграницей, уже больная, родила его от товарища по партии, поляка, после революции занявшего высокую должность в ЧК. Сыном он не интересовался. Не проявляла материнских чувств и Лидинька. Но Ольга Романовна только рада тому была: не испортят ребёнка, успеет она вырастить его, вложить ему в душу основы, которые будут ему фундаментом в жизни. Дочь «упустила», так хоть внука на ноги поставить, как должно...

Обо всех родных и близких успела подумать Ольга Романовна. Рассеивала мысли, не давая сосредоточиться на главном, жгущем, лишаящем сил: Пётр Андреевич в тюрьме. Выпустят ли? Перенесёт ли он заключение? Ведь он немолод, и три года назад уже был удар, и едва оправился после него. А в камере — условия ужасные! Пища! А люди? С кем приходится сидеть? А охрана — не лютует ли? Ничего нельзя было узнать, и от этой неизвестности взвыть хотелось. Ходила Ольга Романовна, как на работу — носила передачи (самое лучшее, что могла из голодных запасов набрать), выстаивала многочасовые очереди на ноющих ногах, едва не теряя сознание от мысли, что передачу могут не принять, и это будет означать... Ольга Романовна всхлипнула от жалости к мужу, но заплакать не успела, так как в прихожей раздался сильный, красивый баритон Володи Олицкого:

— Моё почтение всему честному обществу! Ольга свет-Романовна, я не один! Прямо у вашего порога

столкнулись с доктором!

— Дмитрий Антонович, а вы разве потеряли голос, что о вас нам докладывают? — шутливый голос Тимофея из комнаты.

— Почти угадали, — сипло отозвался доктор. — Простыл...

Высокий, тонкий Олицкий проскользнул в кухню. Был он лет на десять моложе Ольги Романовны, всё ещё красивый мужчина, аристократ с ног до головы. Когда-то пышная шевелюра Володи давно уступила место сияющей лысине, но это не портило его. Князь Владимир Олицкий был старым другом Петра Андреевича и знаменитым композитором. Ученик самого Танеева, он уже в молодые годы получил признание, гастролировал по России и за рубежом, писал симфонии, оперы и чудные романсы. А теперь должен был ездить по деревням и менять ситец на крупу, нести трудовую повинность, подметая улицы...

Расцеловались, и Володя с заговорщическим видом протянул Ольг Романовне свёрток.

— Что это?

— Мясо, Ольга Романовна.

— Что?!

— Мужик сказал, что телятина. Но морда у этого воспетого землепашца была столь «честная», что слепой бы отвернулся. Легко мог и собаку за телка выдать, и кота за кролика. Но будем считать, что это всё-таки телок.

— Володя, да ведь это же целое состояние...

— Всего-навсего моя скрипка, — грустно улыбнулся Олицкий.

— Вы продали скрипку?

— Представьте себе. Заметили вы, сколько в Москве антикварных лавок стало? «Буржуи» расстаются с фамильными реликвиями. Да... Это была скрипка старого мастера, очень дорогая. А я продал за

бесценая, за мясо... Осталась у меня моя старенькая, плохонькая скрипочка. Но её я не продам. За неё ломаного гроша не дадут, а она мне дороже... Я на ней самоучкой первые мелодии наигрывал в Олицах...

— Но что же мне делать с этим мясом? — растерялась Ольга Романовна. — Зажарить сразу? Жалко.

— Засолите, — посоветовал Олицкий.

— У меня мало соли...

— Значит, завтра я продам Надеждино ожерелье, мой подарок ей в честь рождения нашего первенца, и куплю соль.

— Тогда лучше продайте нашего Кипренского.

— Я бы с удовольствием, но, думаю, профессор расстроится. Он слишком трепетно относится к произведениям искусства.

— А вы нет?

— Я, Ольга Романовна, стараюсь убить в себе культурного человека. Вся эта культура нас разнеживает, делает уязвимее и слабее. Это мы с вами понимаем ценность Кипренского, ценность старинной скрипки. А эти, — Олицкий повёл головой в сторону окна, — не понимают и понимать не хотят. Поэтому жить им проще и легче. Нужно огрубеть, научиться жить по первобытным канонам. Кому теперь нужны наши Кипренские и Рафаэли? Кому нужна великая музыка? Когда есть «Яблочко», похабные куплеты и ещё более похабный «Интернационал»? Кому нужна культура? Гении? Не нужны таланты, не нужен интеллект... Нужна грубая физическая сила и крепкие нервы. А чем меньше ума и таланта, тем крепче нервы, тем больше физической силы.

— Владимир Владимирович совершенно прав! — просипел доктор, входя. — Позвольте стакан воды?

— Конечно.

— Как врач, могу вам сказать, что пациенты, умственно и душевно неразвитые, вылечиваются гораздо быстрее, нежели люди высокого интеллекта и тонкой душевной организации.

— Вот! — князь поднял палец. — Этим они и побеждают! Хамы и дураки побеждают! Быдло! А уважаемый профессор с его тонкостью и гениальным мозгом уже месяц не может оправиться от пережитых волнений. Нервы!

— Володя, идите в гостиную, — сказала Ольга Романовна. — Я что-то не очень хорошо соображаю сегодня, а разговоры отвлекают меня от приготовления пищи.

— Это серьёзно. Пища — это не скрипка. Священнодействуйте, Олинька, а мы не будем вам мешать!

Олицкий прошёл в комнату, определённую, как гостиная, поздоровался с Миловидовым и Скорняковым, сел к фортепиано и, хлопнув по его крышке, отметил:

— Вот, ещё ценная вещь для продажи!

— Эту вещь лучше пустить на дрова в холодную зиму, — ответил Тимофей.

— Правда ваша, молодой мой друг! Массив дерева! Долго можно будет обогреться!

— Дико слушать, что вы говорите, — поморщился Юрий Сергеевич. — Это же не шкаф какой-нибудь! Старинный инструмент!

— Боюсь, в этом доме всё старинное. У покойного Сергея Сергеевича был слишком хороший вкус. Эх, хотел бы я посмотреть, чтобы сказала моя тётка, доживи она до наших скорбных дней. Мне иногда кажется, что при ней и революции бы не случилось. И уж, во всяком случае, ничего не изменилось бы у нас в Олицах, где теперь заправляет какой-то совет... Она бы этого совета не допустила.

— Да уж можно подумать! — усмехнулся Скорняков.

— А вы не смейтесь. Тётушка моя была женщина исключительная.

— Васса, — хмыкнул доктор.

— Называйте, как угодно. Она в нашем имении такое хозяйство наладила, что никому и не снилось. С Надеждиным отцом маслобойню организовала, школу для детей крестьянских, больницу, все новейшие научные достижения самолично изучала, из-за границы технику выписывала. И людям хорошо жилось, и ей доход был огромный. В Пятом году мужички наши взбаламутились, управляющий дёру дал, а она на крыльцо к толпе этой ревущей вышла. Старуха уже была, а сколько силы! Поговорила с ними по-хозяйски, строжайше, напомнила, как жили они прежде, и как при ней жить стали. На колени пали перед ней, прощения просили, что смутились, сами зачинщиков пришлых на суд выдали.

— Да, человек была ваша тётушка! Почему только продолжить дела её некому оказалось? Измельчали, знать, потомки-то?

— Знать, измельчали, — грустно вздохнул Олицкий, наигрывая гамму. — Всё прахом пошло... Проклятье, какие хвосты везде стоят в Москве! Хлеба приличного уже сто лет не видели! А раньше? Чуевские булки...

— Пирог с вязигой... Расстегаи...

— Господа, смените тему, — попросил Юрий Сергеевич. — Это мазохизм — говорить о еде в нашем положении.

— А о чём говорить? О политике? — усмехнулся Скорняков.

— О предметах духовных.

— Тоже невесело.

— Да, господа, — просипел Дмитрий Антонович, — муки нет, крупы нет, магазины пусты, только анатомические театры полны.

— И у всех пули в затылках, — присовокупил Тимофей.

— Не у всех, но у многих. Многих хоронить некому, так они к нам попадают, для опытов...

— Вот, вам раздолье-то! Есть на ком тренироваться!

— Чёрт бы взял такое раздолье...

— Доктор, а чем вы, собственно, недовольны? — осведомился Олицкий. — Вы ведь у нас, если не ошибаюсь, из сочувствующих? Вам же большевики по сердцу?

— Вы не ошибаетесь. Я сочувствую коммунистической идее, — ответил Дмитрий Антонович. — Но мне несимпатичны методы, которыми она претворяется в жизнь. Дурные методы могут погубить добрую идею.

— Ничего в вашей идее доброго нет! — фыркнул Владимир Владимирович. — Методы соответствуют ей вполне! И вся эта мразь, именуемая большевиками, достойно воплощает её!

— Я просил бы вас выражаться менее резко. Мы с вами принадлежим к разной среде. Вы, простите, барчук. Выросли в тепле и неге, труда и лишений не зная, у вас было всё! Приехали в Москву, окончили блестяще консерваторию... Вы хоть раз голодали? Нет! Вам приходилось спать под землёй, рядом со сточными водами? Вам приходилось гнить заживо от грязи и холода? Нет! Вам приходилось воровать, чтобы не сдохнуть с голоду? Нет! А мне приходилось! Я, будет вам известно, родился на Хитровке. Вы бывали на Хитровке? Заглядывали в ночлежки? Где убивали? Где торговали детьми? Где дети рождались от пьяных матерей на помойных кучах? Вы видели всё это когда-нибудь? Нет, разумеется! Зачем было вам, барчуку, спускаться в преисподнюю, портить расположение духа столь неприглядными картинами, дышать этим смрадом? Вас бы, интеллигентного человека, стошнило

от этого! Вы бы бежали без оглядки, увидев хотя бы единойжды «Ад»! А я рос среди этого! Ноги мои были в свищах, на лице не заживала язва. Но язва эта ценилась! Мальчику с язвой подавали больше, чем мальчику с чистым личиком... Мать моя умерла рано, я остался один. Мы были стайкой голодных волчат, пытавшихся выжить. Грабили прохожих... Один кошелёк срежет, а другой с ним — дёру. А зимой у нас валенки были одни на четверых, и я босяком по снегу бегал. Знали вы об этом в своей сытой и благополучной жизни? Барчуков, богатеев мы ненавидели... Я, скорее всего, сдох бы, как пёс, в сточной канаве, если бы меня не подобрал мой благодетель, доктор Жигамонт. Он, хоть и известный был врач, с положением, а Хитровки не сторонился. Бесплатно лечил нищих, ходил по трущобам без страха. У нас его благословляли. Он и мать мою лечил, хоть и без успеха, в больницу устроил, кормил... Подобрал он меня, взял на воспитание, вылечил, дал образование, вывел в люди. Всем я ему обязан. Он-то и его друзья, такие, как Пётр Андреевич, Ольга Романовна, меня и примирили с такими, как вы, с барчуками. Я не буду вести с вами политических споров, Владимир Владимирович. Наши взгляды разны, этого не изменить. Но я не понимаю, почему из-за расхождения взглядов нужно портить личные отношения. К тому же, я врач, и мой долг помогать всем людям. Мой благодетель, дворянин, пользуясь представителями высшей знати, не гнушался гноя и язв хитровцев, а я, безродный хитровец, следуя его примеру, не отвернусь от знатных и богатых, которые прожигали жизнь, когда моя мать чахла в нищете. А в коммунизм я верю. Большевики перегибают палку, среди них оказалось много дурных людей, но они везде есть. Но идея правильная. Нельзя, чтобы одни жили в кошмаре Хитровок, а другие во дворцах. Вот, устаканется всё, и,



уверен, настанет более честная и справедливая жизнь, чем была раньше.

— Было добро, да давно, и опять будет, да нас тогда не будет, — мрачно заключил Олицкий. — Мы, «буржуи», в вашу новую, светлую жизнь допущены не будем. Её на наших костях отстроят. Вы не вздумайте только, дражайший доктор, нечто подобное выдать в присутствии Сабурова. Его от вашей проповеди большевизма, пожалуй, ещё удар хватит.

— Ни в коем разе, — доктор туже затянул шарф вокруг шеи. — Сабуров — фанатик. А с фанатиками в прения лучше не вступать. Ещё Герцен писал, что переубеждать убеждённого — чрезвычайно пустое занятие. Вдобавок, я не в голосе сегодня.

— Кстати, а где, наконец, Сабуров? Пора ему уже возвращаться. Надежда моя ушла с ним... Зачем, спрашивается?

— Не могла не помянуть Государя... — отозвался Миловидов.

— Дома бы поминала. Ещё арестуют их... К тому же с Сабуровым! С его-то горячностью! Вечно в какую-нибудь историю вляпается.

— А по мне, так вам бы нужно было радоваться, что ваша супруга ушла именно с Сабуровым, — подал голос Скорняков.

— Это почему же?

— Арестовывать сегодня никого не будут, а, вот, жуликов по улицам шатается много. А Александр Васильевич — человек крепкий, и сможет дать отпор в случае нужды.

— Дай Бог... Ох, и тошно же на душе! Или напиться пьяным, или в петлю... — Олицкий ударил по клавишам. — Спеть, что ли что-нибудь?

— Спойте, Володя! — крикнула с кухни Ольга Романовна.

— Только, пожалуйста, не что-нибудь декадентское, — попросил Миловидов. — Не травите душу.

— «Молитва» Лермонтовская вас устроит?

— Молитва не устроить не может. Ничего кроме молитв у нас не осталось.

Мягким, красивым голосом Владимир Владимирович запел «Молитву». На фразе «Тёплой заступницей мира холодного» в комнату вошли Сабуров и Надежда Арсеньевна.

— Репертуар подходящий, — оценил Александр Васильевич, никого не приветствуя. Мрачнее тучи он пересёк комнату, сел в углу, приоткрыл окно, закурил, что бывало нечасто. Повисло молчание, которое никто не решался прервать, словно Сабуров был хозяином дома, и его никак нельзя было тревожить.

Александр Васильевичу ещё не было пятидесяти. Подтянутый и жилистый, он был довольно моложав, хотя буквально в последний год прежде совершенно чёрные волосы его и борода сильно поседели, а умное лицо, то напускно-суровое, то простодушно-открытое, осунулось, состарилось, и глаза исполнены были безысходного страдания. Сабуров бывал частым гостем в доме Вигелей. Правовед, философ, публицист, он близко сошёлся с Петром Андреевичем после Пятого года, благодаря большой схожести взглядов. Вспыльчивый, но отходчивый Сабуров всё, происходившее в России, принимал крайне близко к сердцу, подчас сгоряча говорил и писал лишнее, срывался, Вигель, всегда сдержанный и отличавшийся в силу профессии куда большим холоднокроем и умением просчитывать ситуацию наперёд, остужал слишком резкие порывы друга. Обсуждать проклятые русские вопросы они могли часами. Обычно, круг друзей у людей формируется в юности, и лишь в редких случаях закатные годы приносят крепкую дружбу.

Закатные годы Петра Андреевича принесли ему дружбу с Сабуровым. Ещё теснее связал их созданный в Восьмом году Всероссийский Национальный Союз, членами которого оба они стали. Большие надежды возлагал Александр Васильевич на эту организацию, энергично взялся за работу. Но первый порыв прошёл, а воз остался на месте. Как это часто бывало с ним, всплеск энергии и чрезмерной горячности сменился у Сабурова периодом апатии и самоедства. Чувствовал он, что упускается что-то важное в деятельности организации, что уступает она трагически левым и либеральным партиям, что сам он, Александр Васильевич, не способен к грамотной организационной работе. Одно дело формировать идеологию, писать статьи и книги, другое — практическая работа. Сабуров практиком не был. И что всего хуже, большинство верных Царю и Отечеству русских людей также не отличались практичностью, которой так в избытке было у всех врагов! Что говорить, даже газеты, о которой столько говорено было, не смогли наладить! Старый следователь Вигель организаторскими способностями обладал, и умел договариваться со всеми, не давая волю эмоциям, но годы давали себя знать, не те силы были. В Пятнадцатом уже и соборовали, и чудом выходила его Ольга Романовна.

В последний год Самодержавия всем существом чувствовал Сабуров приближение Катастрофы. Ничьё положение не было более трагическим, чем положение русских монархистов и националистов в ту пору. Либералы и социалисты на всех углах с упоением бранили власть. Монархисты бранить власть не могли. Но и защищать её — как было можно? Защищать чехарду сменяющих друг друга бездарностей, лишённых искры государственного мышления, ума, элементарного чувства самосохранения, тупо и слепо ведущих страну и Династию к пропасти, к поражению, к

гибели?.. Ведь сами, сами давали пищу для раскачки, сами, мечась, расшатывали всё, безвольные, бесталанные, откуда только извлечённые на Божий свет министры! Их — защищать?! Ясно видел Сабуров, что, летя в пропасть сами, эти сановные паралитики неминуемо увлекут за собой Трон, Государя, тысячелетнюю Россию. А Государь — не видел?.. И осудить нельзя, и защитить нельзя. Как защищать тех, кто сами не защищаются, но продолжают самоубийственный путь?.. Что осталось? Молчать. И молчали. И в безмолвии, с глухим отчаянием наблюдали, как рушится всё. Не в силах помешать.

Весть об отречении Государя прозвучала убийственно. Это был — Конец. Всего. Монархии. России. Самого Сабурова. И вся камарилья обласканная — разбежалась! Подлые трусы и предатели! Зачем вы, Государь, окружили себя этим сбродом? Государь, ведь сколько верных вам сердец билось и бьётся даже сейчас! Неужели не слышали, не чувствовали? Государь, почему вы не призвали нас? Не опёрлись о наши плечи в трудный для вас и Отечества час? Пусть много недостойнств у нас, но мы бы — не предали! Мы бы кольцом окружили вас, как верные воины своего вождя, и либо отстояли вас, либо погибли за вас. Но вы — не позвали. Словно бы не нуждались в верных и преданных людях, а только в той ничтожности, что облепила, как тля, ваш престол, как черви, источили корни могучего дуба и повергли его. Государь, почему, почему вы не призвали нас?! — стоном рвался этот вопрос из души Александра Васильевича. И черно было в глазах, и жить не хотелось.

Как совпало всё в проклятом Феврале. Все враги — соединились! Немцы не могли допустить дальнейшего участия России в войне. Союзники... Это, вообще, ошибка была — заключать договор с республиканской Францией и искони враждебной и бесчестной Англией.

Никогда с ними в дружбе не быть России, всегда ждать от них ножа в спину. Сколько крови пролито было русской, чтобы не смяли немцы их фронты, чтобы хилые лягушатники одержали свою славную победу под Верденом. Враньё! Это мы одержали эту победу! Мы, лёгшие костями на своём фронте, чтобы Верден не был взят. Но об этом кто вспоминает?! Русской крови счёта не ведут. В Шестнадцатом окончательный договор заключили: по весне решительное наступление, разгром Вильгельма и... По этому договору закреплялись за Россией после победы проливы и Константинополь! Константинополь — Иерусалим наш! Сколько стремились к нему! Да разве могли допустить — они? Англичане разве могли допустить? Если за большевичками стояли немцы, то за кадетами — англичане. Господин Милюков, в пекле гореть ему за всё, вопил с думской трибуны: «Слава Англии!» Не России — слава! А — Англии! Англии, а не России служил этот подлец, и никто не припёк его за то, не заткнул лживый рот его, изрыгавший мерзейшую клевету в адрес Государя и Государыни. Все соединились в одной общей ненависти — ненависти к России! А благомыслы наивные, не поняв того, примкнули, а потом ужаснулись сами. А трусы разбежались...

А мы — что же? Националисты? Монархисты? А ничего. Растерялись. Раз нет Монарха, то как же теперь? Монархисты без Монарха — ерунда! Молчали, переживали горе, осмысливали, обдумывали, пытались прийти в себя. Ещё вчера бахвалились — «многомиллионный Союз Русского Народа»! И куда подевались все эти миллионы?! А не было их! Были лишь в речах, на бумаге, в чьём-то больном воображении... А те, что были, рассеялись бездарно, окаменели, как Лотова жена. А время шло. Бесценное время! Последнее время, когда напряжением всех

умственных и физических сил, всей воли, ещё можно было спасти что-то. «Временщики» оказались неспособны удержать власть. Это было видно сразу, но в обмороке затяжном не могли сориентироваться, как эту слабость их использовать. Катились, катились стремительно. Мелькнула надеждой фигура Корнилова. Пусть слывёт февралистом, но — герой, боевой генерал, понимающий национальные интересы России. Трудно забыть арест Императрицы им, но нет другого вождя. Граф Келлер ушёл на покой. Вот, тогда бы единой силой, хоть запоздало, ударить, свалить «временщиков» (немного и надо для того было), подавить большевиков (а вождей — арестовать), установить диктатуру, а там, глядишь, освободили бы Государя, возродили бы Монархию. Но и здесь — просомневались (спорили, стоит ли доверять Корнилову, спорили, не лучше ли подождать, спорили, не образуется ли всё само (большевикам ведь тоже власти не удержать)), ни к чему не оказались готовы (даже программы не выработали конкретной), а уже Корнилова и свалили...

А в Октябре — может быть, последний шанс Богом давался? И опять ни к чему не были готовы. Просто болезнь какая-то русская! Ни к чему не готовы! Никогда! Всё предсказываем задолго, но ни к чему не можем путно приготовиться. А они — готовы были. Они — готовы всегда. Они эту упавшую власть ухватили цепкими лапами, пока мы, растрёпанные и растравленные, деморализованные и непрактичные, спорили и сомневались. А теперь уж нескоро новый шанс выпадет. А и выпадет — так ведь опять не готовы окажемся...

Жену и детей Александр Васильевич ещё летом отправил от греха подальше к тёще в Рязанскую область. Там, в деревне, и сытнее, и спокойнее. И Сабуров мог дышать свободнее, не страшась за них, как

если бы были они в Москве. В октябрьские дни участвовал Александр Васильевич в антибольшевистском восстании. Штаб расположен был в Александровском училище, обстреливаемом с Воробьёвых гор. Здесь формировали и отправляли на позиции части из юнкеров, кадет, студентов, офицеров. Комендант Москвы, полковник Рябцов, демонстрировал, однако, нерешительность. Он не считал себя вправе отправлять на убой молодые жизни, учитывая то, что за большевиков был почти весь гарнизон. Но большинство считали иначе. Считали, что необходимо сражаться до конца, а затем прорываться на Дон. Так полагал и Сабуров. Обвиняли Рябцова в пособничестве большевикам. Откуда-то явился слух, что на подмогу Москве с Дона идут казаки. Произносились воодушевляющие патриотические речи. Но — чего-то не хватало. Не хватало — Вождя. Не ведали офицеры, за кого же им умирать? За Керенского? Говорил в мартовские дни офицер-инвалид: «Две святыни были: Бог и Царь. А теперь Царя нет. Пойти напиться...» Царя не было. Популярного вождя не было. Кинулись было к генералу Брусилову, а тот, bestия хитрая, заявил, что не может действовать без распоряжений правительства, которому присягал. Добавил очередную низость ко всем своим! Знал ведь доподлинно, что правительства больше не существует! И присяга удержала ли его в Феврале, когда он среди первых предал Государя? Встав однажды на скользкую наклонную плоскость, человек неудержимо катится вниз. И Брусилов — катился. Выпроводил прочь делегацию восставших, не желая портить отношения с большевиками, быстро поняв, с какой стороны ветер и, подобно флюгеру, в очередной раз повернувшись в нужном направлении. Так и остались без Вождя. Рябцов колебался и лишь снижал боевой дух. Умирать было не за кого. Это действовало удручающе. Возмущался тогда

Сабуров Рябцовым, а позже думал, а так ли виноват был полковник? Шансов победить не было. Силы восставших были ничтожны в сравнении с большевиками. Орудий не было вовсе, патронов ничтожно мало. Что за время! У каждой сволочи было оружие, а господа офицеры и юнкера, чтобы добыть его себе, должны были жертвовать жизнями! И для кого было губить эти молодые жизни? Для обывателей, которые, как крысы, попрятались по домам и ничем не пожелали помочь?! Теперь эти обыватели гибли от голода, страдали от террора ЧеКи. И поделом! Нечего было дрожать за свои драгоценные шкуры в октябрьские дни, нечего было отсиживаться трусливо по подвалам! Когда пал Кремль, и стрельба утихла, все эти трусы (наши же, русские люди!) выползли на улицы, стали срочно пополнять продовольственные запасы. И не могли сдержать проступавшее на лицах удовольствие от того, что «всё кончилось». Ещё лежали тела убитых юнкеров, и взирала укором расстрелянная икона Святителя Николая, и зиял брешью купол Василия Блаженного, а горожанам не было дела до этого, они заботились лишь о том, чтобы наполнить свои утробы, чтобы их шкуры не испортили. Вот, из-за этого, из-за этих — и погибло всё! В ярости смотрел Сабуров на обывателей, сердцем багровея, проклинал их и теперь не мог сдержать злорадства от того, что им всё-таки не удалось сберечь ни шкур своих, ни дородности...

Два дня назад «Известия ВЦИК» объявили о расстреле Государя... Газета сообщала также, что Государыня и дети живы и отправлены в другое место. Но — не верилось тому. Расстреляли... Тайком. Без предъявления обвинений. Почти две тысячи лет назад в Гефсимании никто не посмел наложить рук на голову Христа, свидетельствуя тем, по иудейскому обычаю, своё обвинение. Не посмел и Иуда, заменивший наложение рук подлым лобзанием. Вечная трагедия,



сквозной линией пронзившая историю человечества! Лицемерные народные старейшины, предатели, трусы, отрекающиеся, бегущие и хранящие молчание страха ради иудейска, толпы, обезумелые, отдающие предпочтение разбойнику Варавве перед праведником... И горстка верных, но растерявшихся и потрясённых.

Никто не наложил рук и на Государя. Не предъявил обвинений. Никто не судил его (во Франции, в Англии хоть видимость соблюли). Вся вина его состояла в том, что он был и оставался русским Царём, Помазанником. Но какая иная вина могла быть больше, тяжелее в чёрном оке бесноватой, ненавидящей Россию власти?

В тот же день, когда получено было скорбное известие, Патриарх Тихон созвал совещание Соборного Совета и в церкви Епархиального дома, где заседал он, совершена была панихида по убиенному Императору.

И на литургии в честь Казанской, проходившей в Казанском соборе, подле Кремля, где заседали палачи, поминали Государя. Патриарх произнёс вдохновенную проповедь:

— Счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях заветов Господних. Эту истину твёрдо помнили наши предки. Правда, и они, как все люди, отступали от учения Его, но умели искренно сознавать, что это грех, и умели в этом каяться. А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до такого времени, когда явное нарушение заповедей Божиих не только не признаётся грехом, но оправдывается, как нечто законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее наше правительство — Исполнительный комитет — одобрило это и признало законным. Но наша христианская совесть, руководясь

Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинувшись учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падёт и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего Государя: беспристрастный суд над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит перед нелицеприятным судом Божиим. Но мы знаем, что он, отрекаясь от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе... И вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России, небольшой кучкой людей, не за какую-то вину, а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить. Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние, уже после расстрела, одобряется высшей властью. Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны Церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы всё это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего: Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е!

С литургии возвращался Александр Васильевич в глубокой скорби. Всю дорогу он хранил молчание, и Надежда Арсеньевна Олицкая, бывшая с ним, также не произносила ни слова. С семейством Олицких Сабуров прежде был знаком мало, ценил Владимира Олицкого, как композитора, но недолюбливал, как последователя либеральных идей. Жена же его оказалась женщиной простой и приятной, обладающей большим тактом. Когда Патриарх произносил свою проповедь, Надежда

Арсеньевна тихо плакала, в отличие от мужа, чутко, не умом, а сердцем понимая глубину свершившегося несчастья.

Ни с кем не хотелось говорить Александру Васильевичу в этот день. Никого не хотелось видеть. Но, придя в квартиру Вигелей, где жил после уплотнения собственного жилища, Сабуров застал там всех постояльцев «Ноева ковчега» в полном составе. Никому из них, судя по всему, не было дела ни до убийства Императора, ни до проповеди Патриарха, они были заняты своими делами, своими праздными разговорами. Погружённый в свою скорбь, Александр Васильевич даже не заметил, как все смолкли при его появлении, словно мрачное расположение его духа, его подавленность наложила печать на их уста, словно стеснялись они при нём продолжить прерванную беседу. Сидел Сабуров, склонив голову, глядя невидяще в окно, курил (до Семнадцатого года лет двадцать не прикасался к табаку). А вокруг царила нерушимая тишина.

Тишину нарушил голос хозяйки:

— Надя, Илюша! Помогите мне на стол накрыть!

Вынырнул откуда-то, полетел на зов Илюша, тяжело последовала за ним дородная Надежда Арсеньевна.

К столу в этот день поданы были картофельные оладья и морковный салат с зеленью. Голодно, но оладий, во всяком случае, порядочно. А к тому — штофик водки. Точнее, это и не водка была, а спирт, разведённый мастерской рукой доктора в пропорции сорок к шестидесяти. Странная же вышла картина: монархист и либерал поминали убитого Императора спиртом, украденным из больницы врачом-большевиком. И сам врач тоже не отверг тоста... За столом молчаливость была забыта, и потянулся привычный спор, которому не было конца и края.

— Сволочи большевики, — ругался Владимир Владимирович. — Всё рухнуло, когда эти мерзавцы в Октябре свергли правительство и захватили власть!

— Помилуйте, друг мой, всё началось раньше, — возражал Миловидов, поглаживая маленькую французскую бородку. — Всё началось, когда правительство разрешило этим негодьям приехать в Россию, когда Керенский предал генерала Корнилова... Тогда всё рухнуло.

— Всё рухнуло, когда в офицерских собраниях подлецы, не достойные носить чина, стали рассказывать гнусные анекдоты об Императоре, а все слушали их и подхихикивали, вместо того, чтобы вытолкать внашею наглцов и преподать им хороший урок за оскорбление Венценосца, — сказал Сабуров. — Когда у господ офицеров, столь отважных на фронте, перестало хватать смелости на то, чтобы защищать своего Царя от клеветы и глумления. В одном собрании какой-то негодяй притащил грязную карикатуру. И никто не отвесил ему пощёчины, не вызвал на дуэль! Смотрели, посмеивались! Вот, с этих смешков! С этого потакания! С этой стыдливой подлости! Всё началось!

— Вы бы уж тогда сказали, с чего начались подобные карикатуры и анекдоты, — покривился князь. — Не сам ли он давал к ним повод? А особенно — она? И Распутин? И вся эта околопрестольная шушера?

Сабуров хотел ответить, но его опередил Миловидов:

— В Царе перестали видеть небожителя... Вспомните времена Александра Третьего. Второго. Николая Павловича...

— Ну, этого ещё! — фыркнул Олицкий.

— Прости, Володя, я не говорю о личностях этих монархов, — красивый, чувственный голос Юрия Сергеевича звучал вкрадчиво и как будто извиняясь за что-то (он всегда говорил так, и едва ли не за всякое

поперечное слово просил прощения, боясь кого-нибудь обидеть). — Я говорю об отношении к ним в народе и обществе. Царь был небожителем. Полубогом. Фигурой священной, стоящей выше простых смертных. Николай Павлович мог спокойно гулять пешком или в санях по улицам безо всякой охраны, люди могли запросто видеть его, но при этом он оставался на высоте недостижимой, он был Царь...

— Идол для рабов!

— Помолчите вы! — процедил Сабуров. — Вы, господин Олицкий, не в Думе.

Миловидов болезненно улыбнулся, опустил крупные, тёмные, всегда увлажнённые, всем сочувствующие глаза, продолжал:

— Государя Николая Александровича уже нельзя было увидеть так запросто. Он, в силу обстоятельств, стал очень далёк от народа. Но при этом жизнь его усилиями прессы и многочисленных салонов стала достоянием общества. Причём жизнь эта подавалась в виде извращённом, подавалась врагами... Царя убили сплетней. Народ перестал видеть Царя, зато многое стал слышать о нём. Слухи о Царе заменили самого Царя, в каком-то смысле. И народ увидел в Царе не небожителя, как прежде, а обычного человека, под стать себе, а обычного человека уже нельзя обожествлять. А если не обожествлять, то и перестаёт быть неопровержимой, священной его власть. Полубога можно не любить, даже ненавидеть, но над ним нельзя насмехаться, нельзя унижать. Он всё равно остаётся на пьедестале. А когда пьедестал разрушен, и становится очевидно, что Царь такой же человек, не выше, не лучше прочих, то это отношение гибнет. Царя-полубога нельзя шельмовать, Царя-человека можно и необходимо для утверждения собственной значимости и в отместку за то, что он оказался всего лишь человеком, когда нужен был полубог... Любое событие совершается

несколько раньше, чем мы видим его. То, что мы видим, это уже не само событие, а лишь внешнее проявление его. Крушение монархии в Семнадцатом и есть такое внешнее проявление. А, на самом деле, Самодержавие прекратилось не на Николае, а на его отце, равно как династия Рюриковичей окончилась на Грозном, а не на слабоумном Фёдоре Иоанновиче. Александр Третий был последним Самодержцем, с ним Самодержавие сошло в могилу. Потом была лишь инерция, и внешнее закрепление невидимого события Февральским отречением.

— Любопытная теория, профессор... Но я берусь с вами спорить.

— Сделайте одолжение, Александр Васильевич.

— Вы всё толкуете о народе, а при чём здесь народ? Народ не устраивал революции! Народ не требовал свержения Монарха! Народ не требовал даже замены одних министров другими! Всё это делала интеллигенция! Это ей плохо жилось! Это ей жаждалось перемен и бурь! Мы с Пётром Андреевичем частенько рассуждали, отчего сегодня столько людей срываются во всевозможные пропасти? Откуда взялось это повальное увлечение шарлатанами, эпидемия самоубийств, террор, разложение нравов, возрастающая изощрённость преступлений? Среда заела? Но огромный процент наиболее изощрённых преступлений совершался выходцами из вполне благополучной среды. Сводили счёты с жизнью дети богатых и знатных родителей. Террор поддерживали респектабельные и состоятельные граждане. За новыми истинами гнались интеллигенты и представители знати... Распущенность всеобщая! Какая ж тут среда? Никакой среды! А — пустота жизни! Потеря почвы под ногами и Бога в душе. Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие толкают людей разрывать все нити, связывающие их с Богом, но, порвав эти нити, они не

знают куда идти. Становятся слепы. Они мечутся в темноте, боясь её, ища какой-то свет и принимают за него всё, что попадётся. Но это попавшееся не служит наполнению души, а ещё больше опустошает. Помните евангельское изгнание беса? Найдя свой дом пустым, он возвращается туда и приводит с собой ещё сорок демонов, страшнее себя. Такова участь пустых душ... Чем занималась наша интеллигенция? Искали Христа! А обрели Антихриста! А некоторые и откровенно искали последнего, а он у них за спинами стоял и тешился! Сумасшедший Ницше призывал к полному раскрепощению. Новомодные лжепророки вопили: «Наслаждайтесь!» А ведь даже Вольтер предупреждал, что тот, кто наслаждается постоянно, на самом деле, не наслаждался ни единого мгновения. И, вот, уже жизнь показалась им отвратительной во всех своих проявлениях! И когда все способы чем-то заполнить жизнь (пусть даже ценой отнятия оной жизни у ближнего) исчерпались, осталось одно — вернуть дар Творцу. Вы вспомните, что писали все эти обезбоженные декаденты! Все эти кликуши, либеральные господа и экзальтированные дамы кричали на всех перекрёстках о любви к человечеству. Но эта псевдолюбовь вырождается в ненависть к отдельному человеку. И, если и любили они кого, то не ближнего, а отщепенца и преступника, чувствуя в нём родню себе, одержимого теми же демонами. Все бредили революцией! Даже вполне лояльные граждане, боящиеся, в общем-то, перемен. Почему? От пустоты жизни. Им казалось, что жизнь, которую они ведут, пуста и отвратительна. Но порвать с ней самостоятельно, в гордом одиночестве они не желали. На это им не хватало воли. Поэтому они ждали, когда кто-то другой сделает это за них. Прервёт это ненавистное течение жизни, перевернёт всё с ног на голову. Они ждали очистительного урагана на свою

голову, надеясь, что спровоцированная ими стихия, которая всё разрушит, даст вместе с тем начало новой жизни для них, жизни, в которой они, наконец, найдут себе место. Не умея изменить своей жизни, они навлекали гибель на всех, алкали разрушения того, что не они создавали, но что, как им представлялось, мешало им жить иначе. Они искали бича себе, но вместе и всем другим. Их тяга к суициду вырождалась в желание гибели всему обществу. Уйти из жизни самим обидно. Но быть смытыми с лица земли новым потопом вкупе со всем живым — куда лучше! И они призывали этот потоп. Инстинктивно чувствуя, что таким потопом может стать революция, они призывали её. И жаждя гибели себе, они обрекали ей всю Россию... А народ ни при чём... Народ запутала интеллигенция, прикрывая свой срам его именем.

— Всё-то вы интеллигенцию анафематствуете, Александр Васильевич, — в бритом, породистом лице Олицкого сквозило недовольство. — Пётр Андреевич то же самое слово в слово говорил. Только кто больше интеллигенции заботился о просвещении народном? Кто заменял власть там, куда её заботы не доходили? Кто создавал шедевры искусства, научные открытия, которые укрепляли славу России во всём мире? И почему вы вините исключительно интеллигенцию? А аристократия? А мещане? И, наконец, какого чёрта вы постоянно говорите «они»? Себя вы из числа интеллигентных людей исключаете?

— Последний упрёк принимаю, — кивнул Сабуров. — Уместнее говорить «мы». Так вот, господа, революцию не народ сделал, а мы. Это нам всё не хватало чего-то в жизни! Всё казалось не то и не так! Слишком медленным, недостаточным! Это мы, ничего не делая сами, самоуверенно критиковали тех, кто пытался действовать. Это мы — ныли и брюзжали, недовольные всем! Огорчённые люди! Вот, вы, господин Олицкий,



скажите мне, Бога ради, чего вам не хватало в этой жизни? Ваше имение, даже после смерти вашей тётки, приносило вам стабильный и высокий доход, вы были прославлены, выступали даже перед Императорской семьёй, вам дано было абсолютно всё! Так почему вы вечно жаловались? Зачем вам нужна была революция?

— Мне лично вовсе была не нужна. Но я думал о других. Я думал о России. О нашем народе, о его благе.

— Неужели?! А просил народ наш вашей заботы?! И что вы могли разбирать в жизни народа, не зная его, ничего не смысля в государственных делах? Почему каждый поэт, музыкант, студент-недоучка возомнил, что он лучше разбирается в нуждах народа и России, нежели государственные люди?! Вот, сбылась ваша мечта! Настал ваш чайный потоп! Пришла ваша революция, о которой вы так грезили! Ешьте её и радуйтесь!

— Господа, прошу вас говорить тише, — сказала Ольга Романовна, массируя висок тонкими пальцами. — Внизу живёт домком. Не хватало ещё, чтобы вас услышали. И так уж бельмом на глазу у них наша квартира... — погладила внука по голове, добавила: — И Илюше уже спать пора.

Надежда Арсеньевна, всегда чуждавшаяся разговоров, робевшая высказываться сама, поднялась со стула:

— Я тоже пойду прилягу. Что-то устала сегодня... Александр Васильевич, вы не корите нас так уж... Будьте снисходительнее...

— Простите, Надежда Арсеньевна, если был слишком резок. Просто невольно сатанеешь от этого всего.

— Я понимаю, — вздохнула Олицкая и, поцеловав мужа, ушла вместе с Илюшей.

Ольга Романовна проводила их взглядом, затем заговорила вполголоса:

— Я понимаю и разделяю ваше раздражение, Александр Васильевич. Но нельзя же всю интеллигенцию одной меркой мерить. Как всех чиновников, всех офицеров... Во всяком классе разные есть люди. В интеллигенции тоже. Есть гении, чей вклад в развитие России столь значим, что не нам судить их взгляды и поступки. Есть земские деятели, не жалевшие здоровья, сил, жизни, чтобы облегчить положения народа. Учителя, врачи, которые от столичной благополучной жизни ехали в деревни, в нищету, считая своим долгом служить народу. Они ждали революции, но я не могу укорить их, потому что их дела, их жертвенное служение, их искреннее желание блага не себе, а народу не может быть осуждено. Они оказались обмануты. И только. Есть представители интеллигенции, которые никогда не сочувствовали и не помогали революции, стоя на охранительных началах.

— Ошельмованные и подвергнутые обструкции, зачумлённые остальными своими собратями, — вставил Сабуров.

— Есть сумасшедшие, о которых вы упоминали. Есть просто бессовестные люди... И ещё вопрос, можно ли отнести их к интеллигенции. Студенты-недоучки, курсистки, мелкие чиновники — какая это интеллигенция? Не нужно самозванцев приравнять... И тех лиц, которые сейчас стали завсегдатаями «Музыкальной табакерки» я тоже к интеллигенции относить не могу. Просто лишённые совести люди.

— Что ещё за «Табакерка» такая? — осведомился доктор, не любивший вмешиваться в политические разговоры. Утконосое, несколько одутловатое лицо его имело неизменно скучающий вид. — Поясните для отставших от жизни.

— Подлейшее заведение! — ответил Олицкий. — Кабак! Сидит всякая шушера: спекулянты, жулики,

шулера, проститутки (простите, Ольга Романовна)... Пьют, трескают пирожки, которые, между прочим, по сто целковых идут. А с ними писатели и поэты заседают.

— Я слышала, что Толстой...

— Да, Алёшка там. И Брюсов Валерий.

— Брюсов — негодяй, — заявил Сабуров. — Да и Толстой не многим лучше.

— Тут я с вами солидарен! Брюсов накануне Пятого громил революцию, в Шестом уже печатался у Горького, в Четырнадцатом стал ура-патриотом, призывал взять Царьград, а теперь — большевик!

— Сказал бы я, кто он есть, да не при Ольге Романовне... Шкура...

— Они в этом кабаке читают свои и чужие произведения. Исключительно похабные. Брюсов, я слышал, «Гаврилиаду» читал. Причём со всеми непечатными словами.

— Вот, ваша революция! Ваша свобода! Свобода — вслух, не стесняясь, кричать и печатать слова, которые прежде заменялись точками. Свобода похабства!

— И за это им ещё гонорары платят, представьте! Большие!

— Хороши писатели! — рассмеялся Скорняков. — Наши уголовники из простых, пожалуй, ещё и порядочнее будут! Моя б воля, закрыл бы я этот притон, а ваших поэтов выдрал, как сидоровых коз.

— Я Брюсова поэтом не считаю, — заявил Олицкий. — Пошлый делец, возомнивший, что стихи — это просто нанизанные рифмы. Для него же каждый стих — не вдохновение, а каторжный труд.

— Хороша интеллигенция!

— Тимоша, нельзя по недостойным представителям судить о классе. Равно как и о народе.

— Теперь классов не будет, — заявил доктор. — Теперь будет равенство всех классов и народов.

— О, разумеется! Выстроенные у стенки все классы равны! — бросил Сабуров.

— Я думаю, что историческая неизбежность состоит в том, что все классы должны отмереть, иначе не разрешить социальных противоречий. Да, это тяжёлый и болезненный процесс, но без равенства справедливости быть не может.

— Вы говорите вздор, — Александр Васильевич нервно захрустел пальцами. — Бог всех создал неравными. Все ваши коммунистические идеи — это отрицание законов божественных и природных. Что такое ваш интернационализм? Эта идеология восстаёт на самую основу мироздания, ибо человечество создано разноплеменным, и делать из него однородную, серую массу — значит, бороться с природой, с Богом, что есть безумие! Интернационализм — идеология Вавилонского Столпотворения. Вы хотите из живого многообразия племён сделать одну мёртвую, бездуховную человечину! А равенство? Аристотель утверждал, что истинная справедливость заключается в неравном отношении к неравным людям, в умении подходить к каждому, согласно его данным, а не стричь всех под одну гребёнку, рубя во имя равенства лучшие головы за их высоту! Равенство — гильотина для людей, наделённых большими талантами и способностями, нежели серая масса, а без таких людей народ зачахнет!

— Но как же, по-вашему, решать социальный конфликт?

— Сейчас всё пытаются свести к социальному конфликту! Любезный Дмитрий Антонович, социальный и все прочие конфликты — второстепенны. Со дня Творения идёт единственный, главный конфликт. Между Добром и Злом. Светом и Тьмой. Они борются, а не классы.

— Да ведь всё зависит от того, что понимать под Злом и Добром. Вы, например, Зло видите

исключительно в большевиках...

— Не только. Зло — это всё, что ведёт к разрушению стран, наций, веры, семей, душ. Большевики занимаются этим комплексно, другие отдельными сторонами. Наша бюрократия, например, тоже, во многом, была Злом.

— Хоть это вы признаёте... Ну, а что же Добро в таком случае?

— Все здоровые, созидательные национальные силы.

— Чересчур размытое понятие.

— Доктор, простите, но, что есть Добро, а что Зло, указано Христом, — промолвил Миловидов.

— Я атеист.

— Тогда нам понять друг друга невозможно, — развёл руками Сабуров.

— А всё же, Александр Васильевич, что ни говорите, а ваша Монархия себя изжила, — сказал Олицкий. — Нужно было не тянуть на себя одеяло, не упираться, а дать Конституцию. Нет ничего выше и справедливее народовластия.

— Ошибаетесь, Владимир Владимирович. Высшая форма правления — это Монархия. Потому что Монарх даётся Богом, и перед Богом предстоит, перед Богом отвечает за свой народ. Монарх, изначально имея всё, не имеет личной корысти. Монарх, передавая государство своему сыну, лично заинтересован в том, чтобы оставить наследство в наибольшем порядке.

— Монархия слишком часто вырождается в деспотию. Да и Монархи-то бывают зачастую людьми малоумными и недостойными.

— А ваша демократия? Кто сказал, что сотня невежд выберет одного умного? Кто гарантирует, что толпа последует за достойнейшим? Да никогда этого не будет! Толпа пойдёт за тем, что кричит громче, кто наглее, кто больше обещает. За пустозвонами, лжецами

и негодьями пойдёт. Пошла уже! И потом что вам опять не хватило? Ведь вам дали Думу! Напрасно очень, к слову сказать. И чем же занималась она? Бессовестной болтовнёй, игрой на публику, стяжанием личной славы! А где теперь все эти ораторы? Крикуны? Разбежались кто куда! Цари не покидают своих народов...

— Ваш Царь отрёкся!

— Юридически это отречение недействительно. Это я вам как правовед говорю. Читали ли вы «Основные законы о престолонаследии»? А надо было бы прочесть! В статье тридцать седьмой чёрным по белому указано, что престол может быть передан лишь лицу, имеющему на оный право, и лишь в том случае, если отречение от него не представляет затруднения в дальнейшем наследовании престола. Оба этих условия были нарушены. После отказа от трона Михаила Александровича, Государь должен был дальше нести крест монаршей власти. Но разве кто-нибудь вспомнил у нас о законах! При нашем-то правовом нигилизме! Никто и не подумал вспомнить! Заявить о нарушении! Потребовать возвращения Государя! Вот, и расхлёбываем теперь... Сегодня на литургии поминали Императора, как «бывшего». Но он не был «бывшим»! Юридически он до смерти оставался Самодержцем Всероссийским!

— Ах, господа, скажите лучше, какой выход из этого? — спросила Ольга Романовна. — Что будет дальше?

— Большевики долго не продержатся, — уверенно заявил Олицкий. — Говорят, что чехи идут на Москву.

— В прошлом году ждали казаков, — заметил Миловидов. — Я не верю слухам. Но надо ждать и пытаться сохранить то, что ещё не разорено и не разграблено. Теперь все музеи стали государственными, и я очень опасаюсь, что их могут разграбить. Скорее бы мне подняться с моего одра... Я

бы подал прошение, чтобы меня приняли на службу, чтобы следить... Ведь они же не в состоянии понять ценности всех этих вещей!

— А вы им объясните! И они послушают! — не удержался от сарказма Сабуров. — Ждите от собаки кулебяки... Въехали в Кремль, как цари. Что теперь останется от него... От всего что останется... Жиды кругом. Москва превращается в Бердичев!

— Антисемитизм — это моветон.

— Князь, оставьте ваши интеллигентские штучки. Или вам, может, по нутру это новое иго? Куда ни ткни, то Роза из Совнархоза, то Хайка из Чрезвычайки!

— Нужно было вовремя разрешать еврейский вопрос, а с ним тянули, как со всеми другими.

— Конечно! Других печалей не было у России! Не народ, а проклятье общемирового масштаба...

— Александр Васильевич, а вы-то как полагаете, во что это всё выльется?

— Я не могу разделить оптимизма почтенного князя Олицкого.

— Вы всегда всё видите в чёрном цвете, — усмехнулся князь.

— Я не в чёрном свете вижу, я просто имею острое зрение. А ещё я знаю историю, и могу вам сказать, что мы в точности повторяем судьбу Византии. В Византии чиновничество, бюрократия развилась, погрязла во взятках, в беззаконии. В народе же иссяк патриотизм. Никто не считал себя обязанным встать на защиту Родины, все исходили из известной позиции крайней хаты. Всем не было дело ни до судьбы Отечества, ни друг до друга. Когда крестоносцы взяли Константинополь, горожане бросились спасаться в сельской местности. Но сограждане не сочувствовали их горю, а насмеялись над ними, злорадствовали и радовались, что могут получить большую выгоду, обирая своих попавших в беду соплеменников. Не это

ли мы переживаем сейчас? В точности! Судьба Византии всем известна. Она ждёт и нас.

— Неужели вы никакого шанса России не оставляете? — спросил Миловидов.

— Оставляю. Испив чашу до конца, достигнув дна, Россия, если поймёт своё падение, может начать возрождаться. Но это очень долгий путь. В первую очередь, духовный. Мы должны будем всенародно покаяться за то, что допустили такой невиданный позор и преступление. Но не только в этом. Ещё и в том, что столько времени Церковь наша оставалась сиротой без Патриарха. И в том, что жестоко преследовали часть своего народа за верность старым обрядам. За Раскол. С глубокого и всеобщего покаяния только и может начаться подлинное воскресение России.

— Это утопия, — возразил Олицкий.

— Это, князь, единственный путь. После покаяния Всенародный Собор должен решить судьбу России, власти её. По моему убеждению, решение это должно состоять в восстановлении трона и Династии.

— Династии? — князь не смог сдержать гримасы. — И кому же вы желаете присягать? Великим Князьям, предавшим Царя? Великому Князю Кириллу, поддержавшему Думу? Ну-ну! Давайте! Их только и не доставало для полного счастья! Откройте вы глаза, Александр Васильевич! Монархия отжила своё, как бы это ни было вам неприятно. Когда Монарх становится объектом грязных шуток, которые звучат в обществе, в армии, в народе — это значит, что с Монархией покончено.

— Это значит, что общество, армия и народ сошли с ума! Россия, князь, не может нормально существовать без Монархии! Это надо понимать!

— Не стоит столь недооценивать России! Я не вижу никакой необходимости в реставрации, и я, хоть убейте, против Монархии!



— В таком случае, вы самоубийца! — воскликнул Сабуров и, пружинисто вскочив с места, в крайнем раздражении покинул комнату.

В гостиной было слышно, как хлопнула входная дверь. Скорняков, умудрившийся задремать под звуки спора, приподнял голову:

— Что-то случилось?

— Ничего особенного... — отозвался доктор. — Просто неврастения стала слишком распространённой болезнью. Нет, я не понимаю, на кой ляд все эти споры? Всё это взаимное раздражение и без того расшатанных нервов? Вот, большевики не тратят столько времени на праздные дискуссии, а делают дело. Дело делать надо: и пользы больше, и для здоровья меньше ущерба. А то расшатают себе нервы, потом начинаются болезни, а нам, врачам, лечи... Интеллигенция...

— Тимоша, голубчик, будьте добры, пойдите за Александром Васильевичем и верните его, — попросила Ольга Романовна. — Как бы ещё не вышло чего, Боже сохрани.

— Попробую, — Скорняков надел кепку, расправил могучие плечи. — Эх, и почему-то у врачей и сыщиков всегда больше других работы? Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту...

Тимофей ушёл, и Ольга Романовна обратилась к Олицкому:

— Ну и зачем вы сделали это, Володя?

— Сделал что? — недоумённо пожал плечами князь.

— Зачем вы рассердили Александра Васильевича?

— Если у него нервы не в порядке, то при чём здесь я?

— Володя, признайтесь честно, что для вас демократия и всё, о чём вы говорили здесь, является лишь отвлечённой теорией, но никак не чем-то священным. Вы никогда не были отчаянным врагом

Монархии, не были и ретивым борцом за демократию. Для вас это было вторично, не правда ли?

— Не скажите, Ольга Романовна, я вполне убеждён...

— Володя, вы никогда бы не стали жертвовать жизнью ради демократии. Я не права?

Олицкий помялся и ничего не ответил.

— Я права. А для Александра Васильевича его убеждения святы. Он за них в огонь пойдёт. Поэтому, вы уж меня простите, но с вашей стороны спор этот был не совсем честен. Тем более, в такой день! После этой ужасной расправы в Тобольске ... Зачем было затевать подобный разговор? Сыпать соль на раны? Провоцировать? Мне кажется, вам следовало бы извиниться.

— Извиняться я не буду, — категорически ответил князь. — Может, мне и не стоило поднимать этот вопрос сегодня, но вины своей я не вижу. Он мог бы изначально не поддержать этого спора.

Снова хлопнула входная дверь. Мелькнула взвинченная фигура Сабурова, прошедшего мимо в свою комнату. Следом показался Тимофей.

— Доставил, как вы и просили, — отчитался он, шутливо приставляя руку к кепке. — Ольга Романовна, спасибо вам «за снесь и пиво», до завтра меня не ждите.

— Вы куда-то уходите?

— Служба, господа, служба! В Москве бандиты распоясались. Мои люди напали на след одной из крупных банд. Мне надо лично проследить за их работой. Как бы валежнику не наломали.

— Берегите себя, Тимоша.

— Да чего там! Мне бандитские ножи и наганы нестрашны! Это им меня беречься надо! Прощевайте!

Князь снова сел за фортепиано, энергично прошёлся сильными, длинными пальцами по клавишам и заиграл

«Прощание с Родиной» Огинского. На глазах Миловидова выступили слёзы.

— Это не Ноев ковчег, а дом умалишённых... — тихо сказала Ольга Романовна, сцепила пальцы за затылком, запрокинула голову. — Господи, как я устала... От грязи, от домкома, от хвостов, от споров, от неизвестности... От всего этого сумасшествия! Нужно запретить себе вспоминать прошлое и думать о будущем. Запретить думать, чувствовать... Надо просто выживать, делать что-то... Надо продержаться! Продержаться, пока кто-нибудь ни придёт нам на помощь. Ведь не может же всё это быть навсегда. Ведь это же кончится когда-нибудь. Надо ждать и что-то делать... — она поднялась с кресла, не касаясь его подлокотников, стала собирать тарелки. — Надо посуду мыть... Голова болит, голова... — простионала чуть слышно, подобно чеховской героине.

## Глава 7. Горькая победа

*28 июля 1918 года. Екатеринбург*

Стремительно освобождалась Сибирь от большевизма. Территория, неподвластная Совдепу, увеличивалась день ото дня: Новониколаевск, Томск, Омск, Барнаул, Курган, Иркутск, Челябинск, Тюмень... Фортуна сопутствовала белому войску. Даже мобилизация, объявленная сибирским правительством, столь пугавшая обывателей, была проведена в высшей степени осторожно и удачно, благодаря стараниям Гришина-Алмазова.

Правда, снабжения так и не удалось наладить. Войска были одеты кое-как, у многих не было даже сменной рубахи. Ругались офицеры:

— Наши интенданты — красные!

Интенданты в истории всех войн представляются ничем иным, как вражеским десантом в тылу сражающейся армии. Трудно найти кого-нибудь подлее этих тыловых крыс, заботящихся исключительно о том, чтобы вещи, которыми полны вверенные им склады, не попали столь нуждающейся в них армии. Интересно, специально ли выбирают людей такого, мягко говоря, особого склада на эти должности, или должность роковая настолько, что всякий занимающий её превращается в мерзавца? Сколько блестящих военных кампаний было испорчено интендантским произволом! В осаждённом Севастополе в Крымскую войну не могли дожждаться медикаментов, потому что интенданты продавали их... неприятелю. Ещё великий Суворов как-то в гневе сказал, что интенданта, занимающего свой пост определённое количество лет, можно смело

вешать. И надо бы — вешать. Может, хоть после этого получила бы обтрёпанная армия необходимые вещи.

Бранясь сквозь зубы, Алексей Юшин пытался прилатать оторвавшуюся подошву сапога. Хоть самому учись сапоги тачать и занимайся этим на привалах! Зудело давно не знавшее бани тело. И как не взяться вшам, коли даже рубашку уже второй месяц нет возможности сменить — до того износилась она, пропиталась потом, что едва ли не рассыпалась на лоскуты. Добро ещё лето на дворе: иногда водой окатиться можно или окунуться в реке — а зимой каково-то будет? Если не наладится снабжение, то не миновать болезней, а что может быть хуже в военное время? Правда, снабжение обещали наладить. Уповали на помощь союзников. В самом деле, приезжал на фронт какой-то щёгольски одетый союзный офицер (не разобрал Алёша из чьих, французов ли, англичан ли), смотрел на оборванных русских воинов, качал сочувственно головой, говорил что-то о героизме русских... Вот уж верно! Посмотрел бы Алексей, как стали бы воевать в таких условиях культурные европейцы — мгновенно бы стрекача дали! Союзному эмиссару, державшемуся с важностью Шефа, представляли лучших офицеров. Впервые пожалел Алёша, что оказался в их числе. Уж слишком противно было перед этим щёголем стоять навтыяжку!словно милостыню прося... Подайте, европейский барин, нам на обмундирование — сами пошить не можем! Стыдоба! Вышел из строя поручик Юшин, когда назвали его имя: сапог тряпицей перемотанный, рубашка расплывшаяся, с оторванным воротником, мундир залатанный, лицо в пыли и копоти — выйди он в таком облике на церковную паперть, сердобольные прихожане прослезились бы... Эмиссар, впрочем, тоже прослезился, пожал руку Алёше, произнёс на хорошем русском:

— Ничего, ничего, мы вам дадим белья...

Вспыхнул Алексей, словно огнём обожгли его эти слова, бросил гордо вибрирующим от стыда и унижения голосом:

— Покорно благодарю! Мне от вас ничего не надо. Вот, солдатам дайте, коли есть что.

Европеец чуть улыбнулся — Алёше показалось с толикой снисходительности — и проследовал дальше. А поручику ещё долго хотелось плевать при воспоминании об этом случае.

Сколько вёрст прошла армия, не считал Алексей. Докатились победительной волной до Урала. Двадцать пятого июля пал Екатеринбург. Но не радость принесла эта победа, а новое горе. За неделю до этого, в ночь с шестнадцатого на семнадцатое в этом городе был убит последний русский Император. Большевики объявили, что казнён был лишь сам Царь, а его семью перевезли в другое место, но следом прошёл слух, что убиты все... Совершённое злодеяние было столь велико, что даже люди, не симпатизировавшие Императору, осуждавшие его, были подавлены. Подавлен был и Алексей. Ещё вчера среди монархически настроенных офицеров витала радостная надежда: займём Екатеринбург, освободим Царя, и он встанет во главе освободительного движения! Эта идея казалась Алёше утопичной. Он не верил в возможность осуществления этого плана, но, поддаваясь общему настроению, тоже мечтал об освобождении Императора. А вышло всё совсем не так... И вместо ликования царила скорбь, вместо благодарственных молебнов пришлось править панихиды. Поседевшие в сражениях воины и безусые юноши не могли сдержать слёз. Многие отказывались верить страшному известию.

Ни на одной из служб Алексей не успел побывать. Вместе со своим отрядом он получил приказ добить скрывавшихся в окрестностях города большевиков. Выполняя его, подчинённые поручика Юшина захватили

в плен комиссарского вида «товарища» и его жену. Хотели было сразу поставить к стенке, но среди вещей, коих при них оказалось немало, Алёша сразу углядел предметы белья с вышитыми гладью Императорскими гербами и тончайшие платки с номерками и монограммой «А». Нетрудно было догадаться, что вещи эти принадлежали царской семье, что буква «А» являлась монограммой царицы Александры Фёдоровны.

— Откуда это у вас? — резко спросил Алексей.

Комиссар забормотал что-то неразборчивое, а жена его, короткая, мясистая баба, именуемая, согласно документам, Дорой Львовной Кац, бухнула:

— Нам товарищ Юровский подарил! А что? Между всеми распределяли, а мы что, хуже всех? Нам и так меньше других досталось, подушки другие расхватали, к примеру... — последний факт видимо огорчал её.

— Дора, замолчи! — прервал её муж.

— А что я такого сказала, Мотя? — визгливо огрызнулась Дора. — Ты всегда мне рот затыкаешь!

— Дура!

Алексею стало тошно. Тошно о того, что в России, в городе, носящем имя великой государыни Екатерины, русского Царя и его семью жестоко убили ничтожнейшие людишки, обыкновеннейшая сволочь, дети мелких лавочников, цирюльников и менял, выходцы из народа, составлявшего ничтожный процент от населения России, а теперь вдруг ставшего властью в русском государстве. И не только убили, но растащили все вещи убитых, не исключая платков, и разделили между собой: кому-то «по распределению» достались подушки, кому-то бельё... делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий... Какая гнусность! И визгливую эту бабу с оплывшим лицом ничуть не колеблет пролитая кровь, её огорчает лишь одно: ей не досталось царских подушек. Кому-то

другому «подарил» их товарищ Юровский. За это она в обиде на него, и завидует тем, кому «так повезло»! Сморкается Дора в тончайший платочек Императрицы с её монограммой, и гордится этим. Для неё и мужа её — это добыча. И оба они похожи на ворон, на мелких стервятников...

На допросе товарищ Кац ни от чего не отпирался, гордо повествуя, что он принимал участие в «казни кровожадного русского царя», что «возмездие совершилось». Он рассказывал об этом гордо, смакуя подробности, вдохновенно, нарочито развязно, желая, видимо, произвести впечатление на слушавших его. Алёша поймал себя на мысли, что если бы эта мразь не была ценным свидетелем свершённого преступления, то он застрелил бы его сам.

Черно было на душе поручика Юшина. И одна мысль не давала покоя: если бы Екатеринбург был взят раньше, то трагедии не случилось бы? Почему ничего не сделали прежде? Где были монархисты? Верные офицеры? Почему допустили, чтобы случилось такое? В наступившей круговерти всем было просто не до того. Одни сражались слишком далеко от Екатеринбурга, на Дону, на Волге, другие убиты или арестованы сами, третьи спасали своих близких... Осуждать за это? Нет, осуждать не мог Алёша. Ведь и сам он не был сильно обеспокоен судьбой Царя. Сочувствовал по-человечески, но и только. К тому же Царь — отрёкся... Но если бы знал поручик Юшин, какой кровавой и страшной будет развязка этой трагедии, то не был бы так равнодушен. А другие — много ли думали о развязке? О том, что убьют всю семью? Нет, все слишком заняты были вопросом собственного выживания и политических «ориентаций». Конечно, узнай люди о готовящемся злодеянии, так, может, и не допустили бы его. Но о нём не объявили заранее. Николая Второго не судили, как французского Людовика, о его казни не объявляли, его



не возводили на плаху... Почему? Уж не потому ли, что понимали, что народ не допустит свершиться этому? И сделали всё втихую, как ночные тати, и лишь постфактум объявили. Так кого же винить? Никто не виноват, но в то же время виноваты все. Виноваты в чём-то, чего и словами не объяснить. Не юридически, не по факту, а по душе. И себя чувствовал Алёша тоже как будто виноватым.

Три дня прошло после занятия Екатеринбурга. Бойцы получили долгожданную передышку. В первый свободный день за несколько недель, Алексей занялся приведением в порядок своего внешнего вида. Кое-как прилатав подошву и вычистив форму, он обдумывал, на что употребить оставшееся время, когда его окликнул сослуживец, с которым довольно близко сдружились они в последний месяц, поручик Арсений Митропольский. Поручик Митропольский прибыл в Сибирь из Первопрестольной, где родился и вырос. Потомственный дворянин, он, следуя по стопам отца и старшего брата, избрал военное поприще, сочетая его, также как и они, с увлечением литературой. Собственно, именно с литературы началась дружба с ним Алёши. Однажды он услышал, как поручик Митропольский читает стихи:

Отступить! — и замолчали пушки,  
Барабанщик-пулемет умолк.  
За черту пылавшей деревушки  
Отошел Фанагорийский полк.  
В это утро перебило лучших  
Офицеров. Командир сражен.  
И совсем молоденький поручик  
Наш, четвертый, принял батальон.  
А при батальоне было знамя,  
И молил поручик в грозный час,  
Чтобы Небо сжалилось над нами,

Чтобы Бог святыню нашу спас.  
Но уж слева дрогнули и справа, —  
Враг наваливался, как медведь,  
И защите знамени — со славой  
Оставалось только умереть.  
И тогда, — клянусь, немало взоров  
Тот навек запечатлело миг, —  
Сам генералиссимус Суворов  
У святого знамени возник.  
Был он худ, был с пудреной косицей,  
Со звездой был его мундир.  
Крикнул он: «За мной, фанаторийцы!  
С Богом, батальонный командир!»  
И обжег приказ его, как лава,  
Все сердца: святая тень зовет!  
Мчались слева, набегали справа,  
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперед!  
Ярости удара штыкового  
Враг не снес; мы ураганно шли,  
Только командира молодого  
Мертвым мы в деревню принесли...  
И у гроба — это вспомнит каждый  
Летописец жизни фронтовой, —  
Сам Суворов плакал: ночью дважды  
Часовые видели его.

Хотя Алексей был довольно равнодушен к поэзии, плохо понимая и усваивая её, но это стихотворение поразило его своей правдивостью, мужеством. Именно такой была война, именно такими — бои! И сам Алёша сколько раз шёл именно так в атаку, ударял в штыки! Оказалось, что автором стихотворения является сам Арсений, небольшой сборник которого даже был издан в Москве во время войны под странным для отличавшегося бесстрашием офицера псевдонимом

Несмелов. Алексей самолично переписал понравившиеся стихи убористым почерком на небольшом клочке бумаги, который для сохранности вложил в греческий словарь, который на этот раз прихватил с собой из дома и теперь листал на каждом привале, проговаривая всякую фразу, катая её во рту, как бы ощупывая языком, словно это был сладкий леденец. Сослуживцы посмеивались:

— Много есть у нас ориентаций: французская, германская, японская... А поручик Юшин оригинал! Он греческой ориентации придерживается! Намереваетесь в Грецию махнуть, поручик? На Святой Афон?

Алёша беззлобно огрызнулся на эти подковырки. К греческому языку была у него привязанность нежная, он много раз давал себе зарок выучить его в совершенстве, но вместо этого всё плотнее забывал и то, что успел усвоить, учась в семинарии.

Поручик Митропольский оказался отважным и грамотным офицером. Всю войну он провёл в окопах на австрийском фронте, получил четыре ордена. В апреле Семнадцатого был отчислен в резерв по ранению и возвратился в родную Москву, которой не узнал.

— Всё с ног на голову встало, — рассказывал Арсений. — Тыловые гарнизоны разгромили винные лавки, с фронта стеклись толпы дезертиров... Вакханалия всеобщая! Не Москва, а не поймёшь что: смесь бедлама и притона. И все — «товарищи». И всё позволено! Калеки фронтовые на Красную площадь выползли, безрукие, безногие, с одним требованием: «Здоровые — на войну!» А здоровые рядом пьяные болтались и в карты резались. Управа городская не пожелала для раненых отдать гостиницы. Роскошно, де, слишком для раненых! А для нужд Совета рабочих комиссаров две лучшие реквизировали, «Дрезден» с «Россией»! Небывалая мерзость! И в какой короткий срок все распоясались, заметьте!

Когда большевики попытались захватить власть, в Белокаменной восстали юнкера. Поручик Митропольский, не задумываясь, примкнул к ним. Несколько дней шли уличные бои, восставшие затворились в Кремле, откуда обстреливали прилежащие улицы. В ответ большевики начали обстрел Кремля. Артиллерия била по величайшей русской святыне, грозя разрушить её. «Товарищи» не остановились бы перед этим! Но не могли допустить этого восставшие, и после переговоров Кремль был сдан. Часть юнкеров отправилась в Сибирь, надеясь продолжить борьбу там. В Сибирь отправился и Арсений.

— Два раза уезжал из Москвы, и оба раза воевать... — с грустью говорил он. — Вернуться во второй раз — суждено ли?

О политических взглядах и «ориентациях» поручик Митропольский предпочитал умалчивать. Алексею, самому не любившему досужих разговоров о политике, это нравилось. Его раздражало то, что первое, что стали обыкновенно спрашивать о человеке, это не то, откуда родом он, на каком фронте воевал, какого нрава, а — какой ориентации? За французов ли? За японцев ли? Или за германцев? Сама постановка вопроса для русского человека звучит оскорбительно! Когда один из офицеров обратился с ним к Юшину, тот ответил холодно:

— Я — за Россию. У меня русская ориентация.

И какая ещё ориентация может быть у русского человека? Все эти «ориентации» и политиканство не доведут до добра. Слово «политика» у Алёши прочно ассоциировалось с некой клоакой, с грязью, с подлостью, и всех политиков он заранее оценивал превратно, как людей бессовестных и лживых. Своих взглядов Алексей не формулировал. Памятуя о том, что всякая власть от Бога, он готов был признавать ту

власть, которая, в конечно итоге, установится, но при этом не намерен был изменять своим мыслям ей в угоду. Что-то анархическое, перепутанное было в воззрениях Юшина, единой линии упорно не выстраивалось. И теперь воевал он не за что-то конкретное, а против произвола, творимого большевиками, против надругательства над святынями, против бесчеловечной жестокости... А поручик Митропольский, чувствовал Алёша, знал не только, против чего сражается, но и за что. Знал, но предпочитал не говорить об этом. Угадывал Алексей в этом смелом, но чуждом бахвальству и заносчивости тридцатилетнем поручике монархиста. Но монархиста умного, не выставляющего своих убеждений напоказ с тем, чтобы противопоставить себя другим, умножить раздраз, а предпочитающего до времени изображать политическую индифферентность.

Теперь Арсений явился в начищенных сапогах и, насколько возможно, приведённой в порядок форме. Подойдя к Алексею, он сказал негромко:

— Я сейчас иду к Ипатьевскому дому. Не хотите тоже пойти?..

— Зачем вам туда?

— Хочу... увидеть всё. Всё, понимаете, Юшин? Своими глазами. Что-то жжёт здесь... — поручик поднёс руку к груди. — Невыносимая тяжесть. Так пойдёте?

— Почему бы нет... — пожал плечами Алексей.

Искать Ипатьевский дом пришлось недолго. Дорогу к нему знали все в Екатеринбурге. Офицеры шли молча. Митропольский был сосредоточен, но губы его иногда чуть шевелились, будто бы произнося какие-то беззвучные слова. Миновали Вознесенский проспект. На углу его и одноимённого с ним переулка возвышался двухэтажный дом, довольно приличный в сравнении с соседними. Почва перед обшарпанным фасадом резко понижалась в направлении переулка, а потому первый этаж

находился ниже уровня земли, более походя на подвал. Обойдя дом, офицеры вошли в калитку и, пройдя по вымощенному каменными плитами двору, переступили порог дома. Никакой охраны в суматохе первых дней после взятия города установлено ещё не было, и никто не воспрепятствовал им обойти комнаты, в которых прошли последние дни царской семьи. Все они производили впечатление настоящего погрома. Очевидно, убийцы старались уничтожить все следы пребывания здесь своих жертв. Обрывки книг, ткани, куски обгоревших предметов — всё это беспорядочно валялось по полу. Видимо, то были остатки тех вещей, которые не успели изъять и распределить между собой палачи и их поделельники. Алёша хотел было нагнуться и подобрать полуобгоревшую вещицу с инициалами одной из Великих Княжон, но поручик Митропольский остановил его:

— Не прикасайтесь ни к чему здесь. Это всё должно будет изучить следствие. А мы лишь отдадим последний поклон...

В двух комнатах Алексей заметил нарисованные на стене знак *sauvastika*. Этот индийский знак в форме креста с равными частями, концы которых загнуты влево, был символом счастья. Верили ли обречённые узники в то, что оно ещё возможно? В то, что возможно спасение?

Чем дальше находился Юшин в роковом доме, тем тяжелее становилось ему. Ему казалось, что весь воздух здесь пропитан злом, пропитан ужасом совершенного преступления. На нижнем этаже атмосфера стала ещё удушливее. В небольшой комнате, куда вошли офицеры, было сумрачно. Свет проникал в неё через зарешеченное окно, находящееся на высоте человеческого роста. Но и при таком скудном освещении легко было разглядеть следы многочисленных пуль и ударов штыков на стенах и

полу. Заметны были и бурые разводы: убийцы явно старались отмыть кровь своих жертв...

— Здесь, — отрывисто сказал Арсений, обнажил голову и, осенившись крестным знаменьем, низко поклонился.

Алёша последовал его примеру. С минуты оба они стояли неподвижно, не произнося ни слова. Затем поручик Митропольский поправил рассыпавшиеся, непослушные волосы, снова надел фуражку и вышел из комнаты.

Оказавшись за пределами Ипатьевского дома, вновь увидев солнечный летний день, Алексей ощутил некоторое облегчение. Они неспешно шли по Вознесенскому проспекту. Арсений был задумчив, что-то шептал неслышно.

— Но куда же они дели тела? — вырвался у Юшина вопрос. — Как вы думаете, Митропольский, мог ли кто-нибудь уцелеть? Ведь они объявили, что только Царя...

— А вы верите — им?

— Нет... — покачал головой Алёша. — Но такая бессмысленная жестокость... Зачем? Зачем?

— А всё другое — зачем? — Арсений остановился напротив Юшина. — Убийства офицеров — зачем? Вы сами рассказывали мне о Киеве. Это — зачем? Всё — зачем? Они знают, зачем. Для них эта жестокость осмысленная! Вырубает под корень... Истребляют верхний слой народа, лишают головы, чтобы легче обратить в рабство. Практика германских племён, применяемая к завоёванным народам с древних времён. Чтобы уж ничто не возшло, ничто не восстало на них. И чтобы у народа не осталось святынь! Чтобы ни Веры, ни Царя, ни Отечества! Тогда брать можно голыми руками, тогда ничто не ворохнётся... Тогда — иго! — помолчав немного, Митропольский сказал вдруг: — Не должен был он отречься... Кротчайший Государь... Кротость великая добродетель, Юшин, но кротость монархов

приводит к бедствию их страны и народы. вспомните византийского Императора Маврикия. Помните его историю?

— Честно говоря, плохо, — признался Алексей.

— Маврикий был прекрасный человек и правитель. Его царствование было для Византии одним из самых светлых. Но случилась такая незадача: один корпус его армии, проявивший большое своеволие и возмущение, попал в плен к врагу. Маврикий так долго торговался и давал так мало выкупа, что варвары перерезали пленных. А их было несколько тысяч человек. Казалось бы, и что ж такого? Случаются вещи и хуже. А Маврикий не мог вынести тяжести пролитой крови подданных. Он смертельно испугался загробной кары за неё и обратился к Церкви, чтобы она молилась, чтобы кара постигла его ещё на земле. И Церковь стала молиться. Один отшельник известил Императора о своём видении, из которого следовало, что Бог принял его покаяние и допустит его к вечному блаженству, но царство его будет отнято у него с позором и скорбью. Так и случилось. Один негодяй поднял восстание. Маврикий с семьёй был схвачен. На его глазах были обезглавлены семеро его детей, и при каждом ударе топора он благодарил Бога. Последним был обезглавлен сам Император. Неправда ли, есть определённое сходство?

— Да... — вздохнул Алёша. — И всё же я не могу понять... Хорошо, его они считают виновным. Но она? Но дети?

Поручик Митропольский нахмурился, покачал головой, словно сам с собой споря:

— Послушайте, Юшин, какие стихи сочинились... — и начал читать негромко, с волнением и различной мукой в голосе:

— Мне не жаль нерусскую царицу.  
Сердце не срывается на бег



И не бьётся раненою птицей,  
Слёзы не вскипают из-под век.  
Равнодушно, не скорбя, взираю  
На страданья слабого царя.  
Из подвала свет свой разливает  
На Россию новая заря.  
Их кожанок скрип неотвратимый:  
«Мы сейчас вас будем убивать...»  
Можно в сердце...люб...а можно мимо —  
Дав надежду, сладко поиграть...  
Мне не жалко сгинувшей державы.  
Губы трогает холодный, горький смех...  
Лишь гвоздем в груди ненужно-ржавым:  
«Не детей...не их...какой ведь грех...»  
И возлюби!

— Страшные вещи вы говорите, — Алексей недоверчиво посмотрел на поручика. — Ведь вы так чувствовать не можете.

— Зато они, — Митропольский неопределённо повёл рукой, — могут. Но детей они не простят. Через детей — поймут.

Поручик говорил немного сумбурно, от волнения не досказывая мысли до конца, но Юшин догадался, что под словом «они», вероятно, имеется в виду народ.

— И, может быть, эта подвальная заря, такая кровавая и чудовищная сейчас, однажды станет светлой. По-новому светлой. И поймут. И возлюбят...

## Глава 8. Триумфальный день

*7-9 августа 1918 года. Казань*

Волна восстаний прокатилась по Волге. То был ответ всех слоёв русского народа на бушующий большевистский террор. В городах и сёлах шли бессудные расправы над офицерами и крестьянами, священниками и купцами, чиновниками и рабочими. В город Сарапул, где располагался штаб второй Красной армии, свозили заложников со всего края. Их держали в речных баржах, истязали и топили в Каме сотнями. В районе Казани орудовали две командирши, прозванные Красными Машками. О них было известно, что одна происходила из дворянской семьи, вторая же была проституткой в одном из казанских притонов. Обе отличались садистскими наклонностями. В деревнях орудовали вооружённые до зубов продотряды, отнимавшие у крестьян хлеб и скот. Народное возмущение подавлялось при помощи мадьяр, латышей и китайцев. Вероятно, плохо организованные и не связанные друг с другом восстания так и остались бы отдельными очагами, если бы не бунт чехословацкого корпуса. Лев Троцкий потребовал, чтобы чехи сдали оружие, и запретил пропускать их эшелоны во Владивосток. Чехи сдавать оружия не желали и, разгромив большевиков, взяли Самару. С того момента антибольшевистское движение на Волге начало приобретать размах. Отряд молодого, прежде никому не известного капитана Каппеля, сформированный по освобождению чехами Самары, в короткий срок отметился рядом блестящих дел: освобождены были Сызрань, Ставрополь и Симбирск, летучий отряд перекинулся было на другой берег Волги, но, не

встретив там своих, вынужден был отойти назад. Во многих городах против «своей» власти поднялись рабочие. В Колпине и Сормове восстания были потоплены в крови. Волнения начались на самых крупных ружейных заводах России — Ижевском и Воткинском...

Среди разрозненных белых отрядов всё большую известность набирала и дружина Петра Сергеевича Тягаева. Хотя деревню Касимово пришлось покинуть под натиском имевших значительный перевес сил красных, но отряд укрупнился, закалился в боях, и раз за разом наносил большевикам серьёзный урон. Повышению боевого духа партизан немало способствовал Лукьян Фокич. Дивился Пётр Сергеевич на старика. Не знал он ни усталости, ни уныния, врачевал хвори телесные и разлады душевные. В отряде называли его не иначе как кудесником. Никогда не верил полковник в целителей и знахарей, а теперь принужден был поверить: мучительные головные боли покинули его. Но не только врачеванием занимался дед Лукьян. Во время боя, если красные начинали теснить партизан, он появлялся перед рядами, держа большой медный старообрядческий крест, распевая молитвы, благословлял воинов и вместе с Тягаевым вёл их вперёд. И ни один из них не смел отступить тогда, веря в молитву кудесника. Кудесник шёл навстречу огню. Ни штыка, ни ружья не имел он, единственным оружием его был крест и молитва. И ни одна пуля не задевала его. На красных вид этого старика-богатыря производил неизгладимое впечатление. Партизаны же боготворили его и верили, что пока дед Лукьян с ними, «антихристово войско», как именовал он красных, не сможет их одолеть.

Доходившие сведения о вспыхивающих восстаниях, о выступлении чехов, об освобождении крупных волжских городов внушали Тягаеву надежду. Теперь не

одинок был его отряд! И не классовый, не политический характер носила борьба, а все слои общества, весь народ ополчился против красных самозванцев. Преодолела Россия смуту три столетия назад, а неужто теперь не сдюжит? Правда, неясно покуда, кому быть Пожарским, и уж совсем напряжённо с Мининскими, но верил Пётр Сергеевич, что и они явятся. Свою первую задачу видел Тягаев, чтобы выйти со своими людьми на соединение с действующей армией и перейти от партизанства к полномасштабным военным операциям. Одно смущало полковника: власть. Политическая власть в Самаре попала явно не в те руки. В руки негодяев, которые и довели Россию до её плачевного состояния — эсеровские руки. Эсерам доверять нельзя, эсеры предадут в любой момент ради спасения собственной шкуры или из ревности к своей власти. Эти люди способны погубить на корню благое дело. Но где — другие?.. Почему оказались не способны встать у руля? Место эсеров, по глубокому убеждению Тягаева, было на одном суку с Лениным и прочей сволочью, но он понимал, что воевать на два фронта невозможно, и придётся некоторое время терпеть представителей этой гнусной партии. Хотя это терпение дорого обойтись может... Предатели в тылу, хуже того, в политическом руководстве, опаснее для фронта, чем самый сильный враг. Иногда задумывался Пётр Сергеевич, не лучше ли попытаться добраться до Омска и продолжить борьбу там. Но многим ли лучше Омск Самары? Стоит ли игра свеч? Да и не хотел уходить с Волги полковник Тягаев. Здесь было сердце России. На другом берегу сражалась доблестная Добровольческая армия. И с ней всего необходимее было соединиться, ей нужно было идти навстречу, а не катиться в противоположную сторону. Но понимали ли это в Самаре? И понимали ли на Дону и Кубани?..

Пятого августа силы белых стянулись к Казани. Город был хорошо укреплен и имел многочисленный гарнизон, в помощь которому красное командование послало несколько свежих частей, включая испытанный в боях пятый латышский полк. Под Казань прибыл сам Троцкий, а с ним порядка двухсот членов Центрального исполнительного комитета. Поговаривали, что сам Ленин приезжал ненадолго в расположенный под Казанью Свяжск... По настоянию Троцкого советская власть заключила договор с Германией, благодаря которому с Германского и Украинского фронтов были сняты и переброшены на Волгу все войска в количестве ста пятидесяти тысяч. При этом император Вильгельм издал декрет, обязующий военнопленных помогать большевикам, как стороне, находящейся в войне с Союзниками.

Действовать нужно было быстро и решительно. Из Симбирска к Казани выдвинулась эскадра в количестве двадцати одного судна, на борту которых находились два батальона чехов и батальон подполковника Каппеля. На баржах разместили тяжёлую артиллерию: несколько шестидюймовых орудий и 42-линейных дальнобойных шнейдеровских пушек. Пройдя мимо казанских пристаней белые атаковали и обратили в бегство красную эскадру под командованием комиссара по морским делам Раскольников, после чего высадились на обоих берегах Волги. Каждая часть имела свою задачу: наступление велось сразу с нескольких сторон — чехи под командой полковника Швеца двигались на Казань с юга, Каппель — с востока, сербы во главе с отважным майором Благодичем — от пристаней. Общее руководство операцией осуществлял полковник Степанов.

Всю ночь с шестого на седьмое августа на улицах Казани шли бои. С наступлением темноты на город обрушилась гроза. Из разверзнувшихся хлябей хлынул

дождь, потоки воды резво бежали по улицам, и тонул в рёве бури гром битвы, и могучие раскаты грома сливались с рокотом орудий. Озарённые ослепительным сиянием молнии с одними ружьями в руках шли белые части грудью на пулемёты и броневые автомобили, с которых ухала артиллерия. На пристанях три сотни сербов ринулись в атаку на много превосходящие их силы красных и, отбив стрелявшие по ним в упор орудия, повернули их на убегавшего врага. С востока на плечах отступавших большевиков ворвались с криком «ура» в город части Каппеля. На улицах творилось что-то невообразимое. Метались в страхе и бешенстве красные комиссары и командиры, безуспешно пытаясь остановить своих бегущих бойцов, панически сдававших победителям квартал за кварталом. За всю свою долгую военную карьеру ничего подобного не видел полковник Тягаев, никогда не переживал подобных мгновений. К силам Народной армии он со своим отрядом успел примкнуть лишь тремя днями раньше, когда та уже двинулась на Казань, и теперь в рядах её праздновал славную победу. Противилась Самара этой операции, запрещала подполковнику Каппелю идти на Казань, боясь, как уверен был Пётр Сергеевич, растущего влияния молодого вождя, но тот не внял указаниям держащегося на штыках его армии правительства. И наградой за то стала эта, поистине, триумфальная ночь.

Бой затихал, промокший до нитки Тягаев собирал свой отряд, потерявший в бою нескольких бойцов. Совсем рядом заиграли «Марсельезу». Удивительное зрелище представилось взгляду полковника и бывших с ним людей. По улице шагал обезоруженный пятый латышский полк, краса и гордость красного командования, во главе с оркестром, конвоируемый... десятью молодцами-сербам.

Когда умолкли орудия, унялась и стихия, догрохотала где-то вдали, очищая небо для наступавшего рассвета. Освобождённый город, утопающий в свежести после дождевого омовения, оживал. Словно в Светлое Воскресение высыпали люди на улицы, приветствуя победителей. И пасхальная радость была на их лицах и в душах. Народную армию ждали в Казани. Местное подполье посылало людей к Каппелю и верило в его приход. В городе, где базировалась переведённая из Екатеринбурга Академия Генштаба, возглавляемая генералом Андогским, было значительное количество офицеров, и кадры эти должны были весьма усилить белые части. Горожане приветствовали марширующие по улицам отряды Народной армии, сербов и чехов. Белые повязки на рукавах были отличительным знаком их. Кое-кто дарил победителям цветы. Достался и Петру Сергеевичу душистый букет, подаренный какой-то юной барышней, стыдливо зардевшейся и скрывшейся в толпе. «И в воздух чепчики бросали...» — вспомнилась и тотчас исчезла из головы известная строчка.

К полудню всё было кончено. Светлый благовест, доносившийся со всех колоколен, разливался над городом, в церквях тысячи голосов пели «Христос Воскресе», и толпы праздничного народа заполнили улицы. Офицеров одаривали цветами и поцелуями, благодарили за освобождение. Казалось, что ничто теперь не может обратить скорой победы над большевиками.

Два часа спустя полковник Тягаев, получивший под командование роту, входил в здание военного училища, назначенное для сбора рядовых добровольцев. За время краткой передышки он успел преобразиться из мужицкого атамана вновь в офицера русской армии. Гладко выбритый, с аккуратно подстриженными усами и маленькой бородкой, одетый в свежий мундир, он шёл

твёрдой, решительной походкой, чеканя шаг. Для полного парада не хватало погон, отменённых в угоду «завоеваниям революции» и боевых наград, оставшихся в Петрограде. Но эти детали не могли сколь-нибудь омрачить настроения Петра Сергеевича. Об одном немного печалился полковник, что распадался его отряд. Некоторые мужики отстали ещё раньше, не желая отдаляться от родных мест, где оставались их близкие. Другие наряду со всеми добровольцами поступили в распоряжение подполковника Каппеля и были распределены по разным частям. Лишь двое, имевшие офицерские звания, оказались в роте Тягаева, рядовыми в которой были сплошь офицеры.

— Жаль, жаль, что ватага наша распушилась, — говорил дед Лукьян, качая седовласой головой, пока полковник приводил себя в надлежащий вид, чтобы принять вверенную роту. — Стало быть, Господь так судил.

— Ты-то, кудесник, куда теперь? — спросил Пётр Сергеевич.

— Так куда ж? Известно куда мы... — пожал плечами старик. — Куда ты, милой, туда и мы. Пойдём бить антихристово войско, Петра Сергеич, чтобы не паскудили они нашу матушку-Россию.

— Ну, спасибо тебе, дед, а то без тебя уже и не то было бы что-то, — тепло сказал Тягаев, радуясь решению старика. Не хотел расставаться с ним полковник, как с живым талисманом, с Ангелом-Хранителем.

— «Спасибо» слово неправильное. Православному человеку следует «спаси Христос» говорить. Понял ли?

— Понял, — кивнул Пётр Сергеевич.

— Добро, ежели понял, — ласково откликнулся старик.

Неразлучен с дедом остался и Донька, благодаря своей расторопности исполнявший при полковнике



обязанности ординарца. Сколько раз гнал его Тягаев из опасных мест, но бойкий мальчонка стремился к героизму, и Пётр Сергеевич махнул рукой.

Рота выстроилась на плацу. При появлении Тягаева фельдфебель в чине подполковника скомандовал:

— Господа офицеры!

Все вытянулись и замерли. Пётр Сергеевич прошёл вдоль строя, остановился, приложил руку к козырьку, сказал ровно:

— Спасибо, господа офицеры. Прошу стоять вольно, — умолкнув на секунду, заговорил вновь. — Я рад приветствовать вас, господа. Вы одни из первых, вставших на защиту нашей поруганной и терзаемой Родины. Для меня высокая честь командовать вами. Я буду краток, господа, поскольку уверен, что мы едины с вами и в гневе своём против восставшего хама, и в скорби о разорённой им России, и в горячем желании скорее освободить её. Среди вас нет рядовых бойцов, все вы отлично знаете, что такое война, а потому мне нечего объяснять вам, вы знаете всё не хуже меня. И всё же напомним, что звания и количество наград сегодня не имеют значения. Бог даст, недалёк день, когда авангард Германии, большевики, будут разгромлены, а мы встретимся уже не с наймитами, а с их хозяевами, пошедшими на низость, когда осознали, что в честном бою им не одолеть России. Тогда каждый из нас вновь займёт положенное по чину и заслугам место, а пока каждый из вас рядовой боец, обязанный исполнять беспрекословно приказы командования. На нашу долю выпала честь встать на защиту нашего Отечества, наших храмов, наших родных от озверевших бандитов, именующих себя рабоче-крестьянской властью. Я ни мгновенья не сомневаюсь, что каждый из вас достойно выполнит свой долг. Благодарю вас, господа офицеры!

Произнеся эту речь и отдав несколько распоряжений, Пётр Сергеевич покинул здание военного училища. В сердце закралась грусть от мысли, что даже если сбудутся радужные, хмельные после блестящей победы надежды, то трон может остаться пуст. Русского Царя нет более в живых. Нет семьи его. Нет Наследника. Все они злодейски умерщвлены. Известие это потрясло Тягаева. В то утро посланный по деревням лазутчик возвратился бледный и взволнованный, сообщил, как штык воткнул под сердце:

— Бают, что Царя убили!

Верить страшной вести не хотелось. Но вскоре она подтвердилась. Давно уже не было так черно на душе полковника Тягаева, как в тот день. Потрясены были и его партизаны. Особенно тем, что «антихристы» не пощадили детей.

— Ироды, как есть ироды, — говорил дед Лукьян. — Невинных детей побили...

Отводил Пётр Сергеевич душу с мудрым стариком. Мужики жалели Царя и детей, но не понимали трагедии крушения монархии. Лукьян же Фокич ощущал это как знамение надвигающегося царства антихриста.

— Нельзя без Царя, — говорил он. — Без Царя народ, что стадо без пастуха. Потому и сказано: отниму пастыря, и рассеются овцы.

— А коли худ пастух, дедушка? — спрашивали партизаны.

— А коли худ, так, стало быть, не заслужили лучшего. Тогда о грехах своих плакать надо и молиться, чтобы Господь вразумил пастуха, охранил стадо от волков. Царя Бог даёт. Волю его принимать надо. А выборные начальники? Они что?

— Так ить их народ выбирает!

— Народ-то грешен, а потому запутать его легче лёгкого, голова! Мудрых-то и крепких много ль начтёшь? То-то! Все эти ваши собрания да парламЕнты

— от лукавого они. Порядку от них не будет, а раздор только. А потому Царь нужен. Отец нужен. Плох ли, хорош ли, а отца судить не годится.

Не верил и Пётр Сергеевич в Думы и Учредительные собрания. Ещё Победоносцев предупреждал, что избирать станут не тех, кто достоин, а тех, кто громче орёт и наглее лезет вперёд. Не достоинство и честь, которые не умеют кричать о себе и себя славить, побеждают на выборах, а наглость и пронырливость, ложь и пустозвонство. И не тем увлечены отбивающие друг у друга голоса представители, как улучшить жизнь народа, а тем, чтобы удовлетворить личные амбиции. Без головы тело не может жить. А голова — Царь. Только где взять его теперь? Почти со страхом понимал Тягаев, что, по совести, не видит ни единого человека в Династии, учитывая их поведение после Февраля, который достоин бы был занять трон...

Вечером победительного седьмого августа Пётр Сергеевич отправился в Казанский городской театр, где организован был концерт в честь освободителей города. Давным-давно не был полковник Тягаев в театре. В юные годы театр был для него местом родным. Его отец в последние годы жизни употребил все силы на открытие в Первопрестольной нового театра, ставшего затем предметом исключительного попечения матери. Мать не пропускала ни одной премьеры «своего» театра и настаивала, чтобы дети сопровождали её. И в московский период своей жизни Пётр Тягаев честно посещал все спектакли, хорошо разбирался в тонкостях царства Мельпомены и легко мог слыть за завязанного театрала. Позже, перебравшись в столицу, с головой уйдя в службу, выкроить время на посещение театров удавалось нечасто, хотя время от времени такое случалось: редкие выходы доставляли удовольствие самому Петру Сергеевичу, а, главное, весьма радовали жену, считавшей их необходимыми

для поддержания своего положения в кругу столичной интеллигенции. Умна и строга была Лиза, но мнением этого круга дорожила и старалась следовать его неписаным правилам. Последний раз в театре был Тягаев ещё в Пятнадцатом году во время краткого отпуска. Летом Семнадцатого Лиза пыталась уговорить его пойти на какой-то спектакль, но Пётр Сергеевич отказался категорически — вовсе не то было настроение у него. Лиза отправилась с кем-то из знакомых, вернулась расстроенная, рассказала, что среди публики было много пьяных матросов, которые, разбуженные каким-либо громким звуком на сцене, тотчас принимались палить в воздух.

Казанский театр бурлил и был переполнен народом. Множество офицеров, нарядные и прекрасные дамы, некоторое количество штатских... Говорили громко, поздравляли друг друга, провозглашали тосты за победу... Собравшимся явно казалось, что они победили уже бесповоротно, словно забыли про огромные силы красных, стоящих на подступах к городу. Лишь первый шажок сделали, а пир таков, точно вошли в Кремль. Тягаев мысленно посетовал на свой мрачный характер. Даже радость победы не задерживалась в нём долго, скоро сменяясь приступом меланхолии. Пётр Сергеевич подумал, что не стоило вовсе приходить в этот театр, а лучше бы вернуться в расположение и лечь спать после двух суток боёв. Но уже объявили о начале концерта, и Тягаев счёл, что уходить неудобно.

Сперва слово взял кто-то из «отцов города». Говорилось о триумфе славянства, братство которого явило единство русских, чехов и сербов, о том, что благодарные жители Казани никогда не забудут своих освободителей и т. п. После играли гимны. Но русский гимн исполнен не был. Вместо него прозвучал Преображенский марш. Зато сыграли «Марсельезу», что

сильно покорило Тягаева. Сидевший рядом с ним чешский офицер заметил негромко:

— Я не понимаю, почему русские стыдятся своего гимна? Это неправильно. Национального гимна, герба, знамени стесняться нельзя. Ими нужно гордиться.

— Вы совершенно правы, — откликнулся Пётр Сергеевич. — Но уверяю вас, русские люди своего гимна не стыдятся. Его стыдятся политики, которые давно уже стали лишь полурусскими или нерусскими вовсе.

В это время вышедший на сцену конференсье, схожий видом с колобком, объявил:

— А сейчас перед вами выступит соловей, прилетевший на нашу землю из райских кущ, прекрасная, неповторимая...

У Тягаева дрогнуло сердце. Ещё не окончил конференсье своих велеречий, а полковник уже знал, что сейчас на сцену выйдет — она:

— ...королева русского романса Евдокия Креницына!

Пётр Сергеевич сделал над собой усилие, чтобы не приподняться, когда она вышла из-за кулис. Она! Нежная, как ландыш, стройная и тонкая, как стебелёк... Красавица с глазами лани! На ней было простое тёмное платье, и светлый, воздушный шарф, лёгкой дымкой обволакивающий плечи. Волосы были подобраны сзади. Ничего лишнего, всё скромно, но в этой скромности и простоте сколько прелести! Месяцы минули с той поры, как Пётр Сергеевич вынужден был бежать из поезда, в котором они ехали. Он запретил себе думать о ней, вспоминать то недолгое время, что она была рядом. А она продолжала жить в его сердце, жить тихо, не подавая вида, не требуя ничего и не терзая. Затаив дыхание, Тягаев смотрел на Евдокию Осиповну, огорчаясь, что она — не видит его! Не видит, не знает... Дорогая, незабвенная, посмотрите в зал вашими прекрасными очами, почувствуйте, что в нём бьётся сердце, которое вы покорили!

Криницына подошла к роялю и, когда раздались первые такты музыки, запела романс, которого прежде Петру Сергеевичу слышать не случалось.

— Между нами белая метель,  
В ней ищу лицо я дорогое.  
Мне суждён томительный удел  
Ждать тебя, не ведая покоя.

Растревожен сон моей души.  
Меж людей ищу тебя глазами.  
Ты ко мне, далёкий друг, спеши  
Через вёрсты, что лежат меж нами.

Для тебя дышу я и пою.  
Наш романс по-вьюжному жестокий.  
Ты услышь, любимый, песнь мою,  
Ты услышь мой голос одинокий.

Ты откликнись! Позови в края,  
Где весна поёт и рукоплещет.  
Ты приди, и я скажу: «Твоя!»  
Ты один судьбою мне обещан.

Ты приди, и я скажу: «Люблю!»  
И чело лобзаннями покрою,  
И тревоги в ласках утоплю,  
И пойду повсюду за тобою.

Не мог Пётр Сергеевич разглядеть лица Евдокии Осиповны, но мог поклясться, что в них стояли слёзы. Слёзы эти он слышал в трепетном её голосе. Ему хотелось подойти к ней, опуститься на колени, целовать её белые, хрупкие руки. Голос его потонул в громе оваций. Королеве романса несли букеты и

корзины цветов, а у полковника Тягаева не было даже их, и он оставался на месте. Рядом чешский офицер восклицал что-то восхищённо, аплодируя яростно.

Того, что произошло дальше, не ожидал никто. И за это готов был Тягаев добрую сотню раз земно поклониться этой удивительной женщине. Лишь немногие поняли, что случилось, когда раздались первые такты. А это были такты национального гимна! И стоя посреди сцены, подобно свече, затянула Евдокия Осиповна высоким, красивым голосом торжественно и проникновенно «Боже, Царя храни». По залу пронёсся удивлённый шёпот. Пётр Сергеевич поднялся с места и вытянулся во фронт. Таким же образом с разной степенью охоты поступили и другие офицеры. Кое-кто из штатских, впрочем, остался сидеть. Давным-давно не слышал Тягаев исполнения гимна, и теперь при звуках его у него наворачивались слёзы.

Креницыну провожали со сцены бурными аплодисментами. Ею не было сказано ни единого слова, но слов и не нужно было. Поклонилась до земли Евдокия Осиповна и скрылась за кулисами. Дольше оставаться в зале Пётр Сергеевич не мог. Не мог упустить возможность увидеть её, сказать ей какие-то важные слова, хотя они и никак не подбирались. Никогда бы не простил себе полковник, если бы не случилось этой встречи.

За кулисами оказалось многолюдно. Он попросил какого-то молодого человека проводить его к Креницыной, пояснив, что является её старинным знакомым, и желал бы выразить ей своё почтение. Юноша охотно выполнил просьбу, и через несколько минут Тягаев вошёл в гримёрную, которую занимала Евдокия Осиповна. Она сидела перед зеркалом, и когда он переступил порог, выдохнула счастливо:

— Это вы всё-таки! Я ждала вас!

— Ждали? — удивился Пётр Сергеевич, разом забыв все слова, которые хотел сказать.

— Да. Я видела вас. Там, в зале... Господи, вы живы! Я всё это время молилась только об этом. Мне больше ничего не надо...

Взяв маленькую руку Криницыной в свою, Тягаев поднёс её к губам, не сводя взгляда с дорогого лица, опустился на колени, произнёс, комкая от волнения слова:

— Евдокия Осиповна, я не знаю, что сказать. Вы здесь — это невозможное чудо! И то, как вы пели сегодня! И ваш патриотический поступок...

— Не говорите ничего. Я сегодня для вас пела. Я только вас видела...

В коридоре раздались шаги. Пётр Сергеевич быстро поднялся. В гримёрную вошли несколько офицеров. Отдав честь полковнику, они стали выражать своё восхищение «несравненной королевой». Уже знакомый Тягаеву чех улыбнулся:

— И вы здесь, господин полковник? Вы всех опередили!

— Госпожа Криницына однажды спасла мне жизнь, а я не успел поблагодарить её в тот раз, и не простил бы себе, если бы упустил сегодняшней случай исправить это, — ответил Пётр Сергеевич.

Когда офицеры ушли, Евдокия Осиповна сказала:

— Нам не дадут поговорить здесь. Сейчас придёт ещё кто-нибудь. Я не могу уехать теперь. После концерта будет сбор средств на нужды армии, и я должна дождаться его окончания.

— Что же делать?

— Я живу на квартире недалеко от здешнего Кремля. Вы приезжайте туда, когда все закончится. Я очень буду ждать вас!

На листке оберточной бумаги Криницына крупным, немного детским почерком написала адрес, и Пётр



Сергеевич ушёл, чувствуя в сердце незнакомое прежде томление. Ничего похожего не чувствовал он, даже когда делал предложение своей жене. Выйдя на улицу, Тягаев закурил. Верно, знать, толкуют в народе о седине в бороду. Что за наваждение? Он, сорокалетний мужчина, офицер, прошедший две войны, волнуется, как гимназист, при виде предмета своего обожания. И не о жене мысли его, не о дочери, а о ней, о женщине, о которой он не знает почти ничего, кроме того, что неодолимая сила влечёт его к ней, и нет во всём мире никого, её желаннее... Ещё недавно он осудил бы такую страсть, встретив её в ком-либо, как распущенность, а, вот, сам встретился с ней, и нет мочи одолеть. А надо ли одолевать? Быть может, уже завтра его, Тягаева, не будет на этом свете. И в этой жизни практически ничего не осталось у него, всё отнято, растоптано, перевёрнуто и искалечено. И самому погасить для себя последний этот лучик, от которого хоть немного светлее и теплее становится на душе? Лишить себя последней отрады? Нет, невозможно, не хватает воли на это...

— Полковник Тягаев? — появился откуда-то безусый офицер с татарскими раскосыми глазами.

— Да, это я...

— Корнет Баев! — шаркнул ногой, козырнул. — Вас срочно вызывают в штаб!

В штабе царил настоящая лихорадка. Спешно переправляли в Самару изъятый днём золотой запас Российской Империи, свезённый в Казань со всех главных банков России, распределяли имущество, взятое на интендантских складах. Всего много было в Казани, одного не доставало — патронов. Их опять предстояло брать с бою. А из Симбирска, совсем недавно освобождённого Каппелем, уже пришёл отчаянный призыв спасти город отседающих большевиков. Молодой советский командарм Тухачевский всеми силами обрушился на Симбирск, и

защитники его дрогнули. Чтобы отбить красных, вновь нужен был Каппель, и он, не успев перевести дух, вновь грузил свой летучий отряд на суда, вновь спешил на выручку, не соизмеряя сил. Маленький белый отряд против красной армады. Надолго ли хватит его, чтобы затыкать собой все бреши?.. Напряжённой была и обстановка под Казанью. У города Свияжск Первый чешский полк доблестного полковника Швеца уже вёл бой с латышской дивизией Вацетиса. Туда, под Свияжск, на помощь чехам решено было отправить ещё несколько частей. Полковник Тягаев получил приказ уже утром выдвигаться со своей ротой в указанном направлении. Привал оказался недолог...

Глубокой ночью, за несколько часов до рассвета Пётр Сергеевич подошёл к двери квартиры Криницыной. Он ещё не успел вдавить кнопку звонка, как она открылась.

— Я ваши шаги на лестнице услышала... Входите!

Евдокия Осиповна, по-видимому, сама возвратилась недавно. На ней было всё то же тёмное платье, хотя уже без шарфа. В комнате был накрыт стол.

— Я подумала, что вы, наверное, голодны... Правда, у меня совсем не было времени... — Криницына заметно волновалась, и от этого казалась ещё более хрупкой, трогательной.

— Мне ничего не нужно, дорогая Евдокий Осиповна, — отозвался Тягаев, садясь в углу дивана. — Через несколько часов мы выступаем на фронт...

— Как?.. — Криницына побледнела. — Уже через несколько часов? Так скоро?..

— Увы. Я очень счастлив, что эти часы я могу провести рядом с вами. Не хлопчите, не беспокойтесь ни о чём. Просто посидите рядом, поговорите со мной. Позвольте мне насмотреться на вас, — легко слетали с губ эти (откуда взявшиеся только?) слова, и само собой отступило недавние волнение.

Евдокия Осиповна села рядом, опустила свою тёплую ладонь на его руку.

— Вы жили в Казани всё это время? — спросил Пётр Сергеевич.

— Я не жила, — чуть улыбнулась Криницына. — Я ждала. Надеялась... Знаете, сколько раз на улицах, в зрительном зале мне мерещилось ваше лицо? И как больно было ошибиться! Я и сегодня, сидя в гримёрной, боялась, что обозналась, что мне помстились вы... Я никогда не думала, что буду рассказывать вам об этом. Но я так много видела за последнее время, что поняла: сказать что-то, быть может, грешно, но промолчать — преступление. Вдруг другого случая уже не представится? И слова останутся не сказанными? Вот, и говорю. Всё. Словно пьяная или помешанная. Вы простите.

— За что? Вы теперь для меня маяк в этом клокочущем море. Лишь бы вновь не потерять вас... Тот романс, что вы пели сегодня... Так пронзительно! Я прежде его не слышал.

— Вы и не могли слышать его. Его я написала. Тогда, в поезде... Как я хотела вернуть то время! Стук колёс, мелькающие за окном снега в чёрных проталинах, и ваш голос, читающий Гумилёва... Пётр Сергеевич, прочтите мне сейчас опять, как тогда, что-нибудь! Пожалуйста. Прочтите, а я запомню, и эта память останется со мной на всю жизнь, и её никто не в силах будет отнять, — не просьба, а мольба была в распахнутых глазах с удивительным разрезом, и, глядя в них, Тягаев стал читать негромко и глухо, со сдержанным чувством:

— Сегодня ты придёшь ко мне,  
Сегодня я пойму,  
Зачем так странно при луне  
Остаться одному.

Ты остановишься, бледна,  
И тихо сбросишь плащ.  
Не так ли полная луна  
Встаёт из тёмных чащ?

И, околдованный луной,  
Окованный тобой,  
Я буду счастлив тишиной  
И мраком, и судьбой.

Так зверь безрадостных лесов,  
Почуявший весну,  
Внимает шороху часов  
И смотрит на луну,

И тихо крадется в овраг  
Будить ночные сны,  
И согласует лёгкий шаг  
С движением луны.

Как он, и я хочу молчать,  
Тоскуя и любя,  
С тревогой древнею встречать  
Мою луну, тебя.

Проходит миг, ты не со мной,  
И снова день и мрак,  
Но, обожженная луной,  
Душа хранит твой знак.

Соединяющий тела  
Их разлучает вновь,  
Но, как луна, всегда светла  
Полночная любовь...

Луна была светла в ту ночь. Озаряя древний город, она со скучающим любопытством заглядывала в окна, грустя в своём вечном одиночестве. Стрелки часов с неудержимой скоростью скользили по циферблату, бестрепетно сокращая обидно короткое время свиданья. Раздался бой, и Дунечка вздрогнула и прошептала:

— Зачем, зачем оно так быстро идёт? Зачем вам уходить так скоро? Зачем воевать?.. Если бы хоть немного продлить... Я сегодня так счастлива, что и умереть не жалко!

— А что такое счастье, Евдокия Осиповна? — неожиданно спросил Пётр Сергеевич. Поднявшись, он подошёл к окну, из которого открывался вид на Кремль, остановился, слегка опустив голову. Прямо и статен был полковник, а чувствовался в нём надлом, сдерживаемая боль, прорывающаяся иногда в интонациях, во взгляде, в движениях. И так хотелось Дунечке эту боль всецело забрать себе, и своим теплом залечить раны от всех обид, которые пришлось перенести ему. Поднявшись, она подошла к Петру Сергеевичу, не зная, что ответить ему. Но он, кажется, и не ждал ответа, а заговорил сам, взволнованно и прерывисто:

— Я никогда не думал, счастлив ли я, что такое счастье. Я твёрдо знал, во имя чего я живу и во имя чего, если надо, пойду на смерть. Во имя России! Ничего святее этого слова для меня не было. Я знаю, что это кощунственно прозвучит, но Россия была моим божеством! Первой и единственной любовью! Верой! Религией! Моя жена... — Тягаев на мгновенье умолк, но вновь продолжил. — Она поклонница Достоевского. Наизусть знает его книги. Она сказала однажды, что у меня в этом проявляется, как она выразилась, симптомы шатовщины. Когда Россия выше, прежде Бога... Но это не совсем так. Не выше, не прежде. Для меня Бог и Россия было одно! Я России служил, как Богу. Через неё

— Ему! И это было... счастье! Потому что душа на месте была. Знаете, очень неприятно быть ограбленным, искалеченным... Неприятно, когда снимают пальто в тёмном переулке, когда вынимают бумажник, когда нож хирурга отнимает руку или ногу. Я лишился руки, лишился глаза. Но какой это пустяк! В тысячу раз страшнее, когда душу крадут! Да ещё изощрённо! Глумясь! День за днём! По кусочку! Резали, как шекспировский купец жаждал вырезать кусок сердца из трепещущей груди живого человека. И кто крадёт?! Тати! Ничтожества! Болтуны и самозванцы, которые капли крови своей не дали за Россию! Где они теперь?! Сбежали, а нас оставили захлёбываться кровью и грязью! — вибрирующий голос Петра Сергеевича сорвался. — Господи! Как щипцами раскалёнными выхватывали по кусочку души, плюя на кровоточащие раны... Слова-то, имени-то — Россия! — боялись! Подменили Революцией! Я Ленина ненавижу, но ещё больше ненавижу всех этих... Милюковых, Керенских и им подобных. Это они украли у меня душу. У всех нас души украли, оставив между огнём фронта и оцетинившимися штыками тылом, распорядились без нас нашими судьбами! Это они наводнили Россию мразью и предали тех, кто был ей верен до последнего, кто три года кормил вшей в окопах во имя её славы! Они украли мою Родину. Мою душу. И нет потери страшнее! И стыда нет горше, чем стыд за то, во что превратили её.

Дунечка опустила руку на плечо Петра Сергеевича, сказала сострадательно:

— Я прошу вас, пощадите себя! Не надрывайте так сердца, не надо! Ведь всё это не может быть навсегда... Всё ещё исправится! Успокойтесь, прошу вас...

— Не прерывайте меня, милая Евдокия Осиповна, — отозвался Тягаев. — Простите меня, что я говорю вам всё это. Я не должен был, я знаю. Но я не могу не

говорить... У меня теперь нет никого ближе вас. Я не могу сказать всего этого никому. Я обязан поддерживать боевой дух моих подчинённых. Я говорю им о победе, а сам уже изверился в неё. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, верят ли они мне. Или хотя бы себе? Своим надеждам? Один молодой офицер спросил меня недавно, за что мы воюем, если нашей России больше нет... Разные мерзавцы пытаются уверить всех, что мы воюем за свои прежние привилегии. Они думают, что желание личного благополучия может заставить людей принимать мученическую смерть на лопастях мельниц, в кипящей смоле, под ледяной водой на морозе... Послать бы всю эту труппу обер-негодяев перед нашими цепями под сплошной огонь! За что мы воюем? Всё за то же. За Родину. Что такое Родина? Жизнь. Слава и заветы предков, безмятежные дни нашего детства, родной дом, родные улицы, воздух, которым мы дышим, церкви, леса, каждое дерево, каждая травинка на лугу, будущее наших детей... Всё — Родина! И как бы ни рвали её с мясом из груди, а не вырвать! Иначе и вздохнуть нельзя. И знаете ли, Евдокия Осиповна, что странно: Россию прежнюю, во славе, я любил бесконечно и слепо, но нынешнюю, в скорби и муке люблю ещё сильнее. Любовью более глубокой, чистой, высокой, жгучей. Страдающе люблю. Мученически. Страдания, близость разлуки обостряют чувства. Я к отцу своему любовь почувствовал сильнее всего, когда он занемог, когда я понял, что скоро его не станет. И здесь то же... Те годы, когда он ещё был жив, когда я жил в Москве, они похожи на сказку. Столько света было там. Один свет! Вся Москва — свет! Я хочу, чтобы мои внуки тоже видели этот свет и любили Россию, не терзаясь стыдом за её настоящее, не сгорая от гнева и обиды. Чтобы они слышали звон колоколов, а не хрипы и стоны мучимых и убиваемых. Чтобы у них была Россия. Чтобы Россия была! Я только этим живу. И

за это любую смерть приму... — Тягаев провёл рукой по лицу, потрянул головой. — Вот, Евдокия Осиповна, наговорил я вам разного... Мне следовало бы ободрить вас, поддержать, а я только тоски нагнал на вас. Я, кажется, всё больше становлюсь ипохондриком.

— Вам нужно отдохнуть, Пётр Сергеевич, — сказала Дунечка. — Мне жутко думать, как вы завтра, а, вернее уже сегодня, отправитесь на фронт. Скоро утро, а вы так измучены. Вам бы поспать немного.

— Не беспокойтесь, — полковник чуть улыбнулся и, сняв очки, вновь опустился на диван. — Среди моих людей есть один старик. Настоящий чудесник. Он уже излечил меня от одного недуга, так что никакие хвори мне не страшны.

— Я очень рада это слышать. И всё же отдых вам необходим.

— Вы так заботитесь обо мне, а вам бы лучше прогнать меня.

— Почему?

— Потому что, чем дольше мы рядом, тем тяжелее разрывать эту связь, тем глубже мы привязываемся друг к другу. Евдокия Осиповна, я не хочу, чтобы вы были несчастны. Подумайте, что я могу дать вам? Вы молоды, хороши собой, талантливы, прекрасны душой... А я? Я калека с развивающейся ипохондрией, осуждённый рано или поздно быть выведенным «в расход», что было бы не самым скверным исходом. К тому же... я женат. Кем вы будете при мне? Походной женой? Эта унижительная роль не для вас.

Дунечка прижала руки груди, будто желая утишить так слишком волнующееся сердце, опустилась на край дивана, произнесла мягко:

— Мне всё равно, кем быть. Мне всё равно, что скажут обо мне. А у Бога я прощенья вымолю. Я ещё там, в поезде, решила свою судьбу. Быть с вами. Если только я вам нужна. Сможете ли вы сказать, глядя мне



в глаза, что я вам не нужна? Если сможете, то скажите прямо сейчас!

Вместо ответа Пётр Сергеевич протянул руку, привлёк Евдокию Осиповну к себе и поцеловал её:

— Что бы ни случилось впредь, знайте, дорогая, что вы мне очень нужны. Нужны всегда и везде. Я люблю вас, как никого и никогда не любил.

В ту ночь полковник Тягаев всё же уснул на два предрассветных часа. Трое суток без отдыха дали знать себя, и сон сморил его вдруг, мгновенно. Пётр Сергеевич задремал, склонив голову на плечо Дунечки, и она просидела неподвижно до рассвета, боясь шевельнуться и нарушить его покой. Рука её затекла, но она терпела. Ей казалось, что она выдержала бы любую муку, лишь бы этот бесконечно дорогой и единственный на всей земле человек был жив, здоров, и чтобы не терзали так жестоко его драконы сомнений и огорчений. Смотрела Дунечка на любимое лицо, даже во сне сохраняющее отпечаток тревог и нервозности, и хотелось ей прижаться теснее к Петру Сергеевичу, приласкать его, но она сдерживала этот порыв, охраняя его сон. Но, вот, первый робкий луч подрумянил горизонт, и часы отбили последний час короткой встречи...

— Берегите себя, милая Евдокия Осиповна. Оставайтесь такой же, светите путеводной звездой в нашем хаосе, и однажды я вернусь на этот свет, — сказал Тягаев на прощанье.

Когда Пётр Сергеевич ушёл, Дунечка заметалась по комнате, ломая руки. Ей казалось, что она не так вела себя в эту встречу, не то говорила, не нашла нужных слов. Но что и как нужно было говорить? Делать? За многие годы впервые чувствовала Евдокия Осиповна такое смятение. Когда ещё вновь придётся встретиться им? И придётся ли? Сжималось мучительно сердце, и одно желание было в нём: не расставаться никогда,

быть с ним. Быть и там — на фронте... Единственным, что немного успокаивало Дунечку, было то, что среди тех ненужностей, которые наговорила она, и необходимостей, которых не сказала, главное всё же было сказано ею. И это главное нашло взаимность.

Между тем, полковник Тягаев спешно отправился в училище. Когда рота была построена по тревоге, он объявил о выступлении и его цели. Офицеры обрадовались и ответили дружным «ура». Намять бока латышам не терпелось каждому.

— Рота вздвой! На плечо! Направо шагом марш!

По ещё сумрачным улицам рота, насчитывающая триста восемьдесят офицеров, шагала по улицам спящего города. Иногда в домах открывались окна, чьи-то руки крестили уходящих воинов, чьи-то голоса кричали вслед:

— Храни вас Бог!

На Волге роту дожидался буксир, чтобы перевезти её на другой берег. Поглядев на небольшую посудину, Панкрат, один из двух партизан, оказавшихся в роте Тягаева, покачал головой:

— Не вместимся мы в это корыто, Петр Сергеич.

— Так точно, на всех места не хватит, — подтвердил, зевая, капитан буксира. — Ежели только повзводно.

— Повзводно долго, милейший, — сухо ответил Тягаев. — А у нас каждая минута на счету. Пополуротно переправимся.

— Я протестую! Это слишком большой риск!

— Протестовать будете на митинге, а сейчас извольте исполнять мои приказания. Первая и вторая роты — грузитесь на буксир! — приказал полковник. Снова подкатило к сердцу раздражение. Что за нищета такая беспросветная? Взяли в Казани шестьсот пятьдесят миллионов золотых рублей, а ни патронов, ни судов путных, ни прочего, кровно необходимого армии,

нет?.. Почему же у красных чертей есть всё, а у нас, чего ни оглянись, днём с огнём не сыскать?

Две роты погрузились на буксир, и тот отчалил от берега. Тягаев следил, как перегруженное судёнышко медленно пересекает речную гладь.

— Не возьму я в толк, Пётр Сергеевич, — задумчиво произнёс Панкрат, — как это так вышло, что эти самые латыши супротив нас стали? Офицеры же вроде, не какая-нибудь...

— Да уж! — согласился один из офицеров. — Царское правительство этим сволочам средства на создание собственной армии выделило, а эта армия Троцкому теперь служит! Ну, ничего, они у нас скоро узнают, где раки зимуют! Скорее бы добраться до этих иуд!

Тягаев и сам хотел бы понять, отчего с такой готовностью и единодушием латыши поддержали большевиков. Желают независимости для своей малой родины? Банально продались? Чего стоит тогда их офицерская честь? Если многие красные командиры вышли из нижних чинов, и их мотивы были вполне ясны, то командир латышей Иаоаким Вацетис — совсем иное дело. Этот человек многие годы служил в царской армии, закончил Академию Генштаба, командовал полком в Великую войну, а теперь служит Троцкому? Какая низость... Хотя, рассуждая объективно, разве некоторые русские офицеры, включая отдельных генералов не поступили также? Один Брусилов чего стоил! Но Латышскую дивизию сформировали не из отдельных продавшихся офицеров. Латыши пошли на службу к большевикам единодушно. И не только в армию, но и в ЧК. Затаённая ненависть к России прорвалась?..

Вернувшийся буксир перевёз на другой берег оставшиеся два взвода. Пётр Сергеевич развернул карту. Рота находилась в районе Услона. По пути к

Свияжску нужно было отбить занятое крупной группировкой село. Тронулись вперёд походной колонной. Солнце уже взошло и палило со всей силой. Лениво бормотали утомлённые жарой деревья, подрагивала тронутая ласковым ветром трава, порхали безмятежно бабочки над пёстрыми полевыми цветами... Благодать! Вот, она Русская земля! Светлая-светлая, прекрасная. И что за безумие, что в такой дивный августовский день, под сияющим солнцем и лазурью небес, на русской земле, красующейся в цветистом убранстве, среди этой благодати вновь будет греметь стрельба, литься русская кровь... Когда в последний раз видел бои этот край? Уж не при Иване ли Грозном, более трёх веков назад? Ни один иноземный захватчик не дошёл бы сюда, не одолел бы русского простора. Никогда бы не видать германца этому краю. Но явились наёмники и выродки народа русского, и вся Россия стала полем брани, и весь воздух её пропитывается ядом взаимной ненависти...

Идти пришлось долго. Миновали поле, затем небольшой лес, из-за которого выглядывала мельница, застывшая в этот тихий день. В бинокль были видны копошащиеся рядом с ней фигуры. Это были красные. Моментально оценив обстановку, Пётр Сергеевич приказал двум взводам ударить во фланги, а основным силам — в лоб. Последние полковник повёл в бой лично.

Большевики, не ожидавшие удара, встретили атакующих беспорядочной стрельбой из винтовок. Тягаев распорядился до времени не стрелять, беречь патроны. Офицеры шли вперёд ровной цепью, держа винтовки на ремне. Из села выдвинулись густые чёрные цепи. Они быстро и твёрдо шагали вперёд.

— Матросы! — выдохнул Панкрат. — Ну, сейчас мы этим грозам революции врежем!

— Стой! — скомандовал Пётр Сергеевич. — Лечь и окопаться. Без приказа не стрелять.

— Да на кой окапываться? Примем в штыки эту сволочь...

— Вы не на митинге. Исполнять!

Офицеры окопались и залегли на позиции, не издавая ни звука. Чёрные цепи надвигались всё ближе. Но Тягаев ждал. Он не хотел дать врагу рассеяться, оставить ему возможность бежать. Врага следует уничтожать. Уже невооружённым глазом можно было разглядеть лица матросов, уже шаг их стал замедляться, и тогда Пётр Сергеевич скомандовал:

— Пли!

В тот же момент грянул залп, и противник лишился своей передовой цепи.

— Встать! В штыки! В атаку!

Услышав долгожданный приказ, офицеры, как один, поднялись и, молча, отчего вид атаки становился ещё более устрашающим, ринулись, сжимая приклады, на матросов. Почти беззвучен был этот недолгий бой. Лишь слышно было, как входит сталь в чью-то плоть, и стоны, и предсмертные хрипы... Не выдержав, матросы хлынули в село. Только тогда грянуло могучее «ура». Село было взято, уцелевшие большевики взяты в плен. Пройдя по усеянной чёрными тужурками улице, полковник Тягаев остановился перед несколькими пленными, произнёс холодно:

— Отвечайте коротко, откуда вы?

— Кронштадтские они, ваше высокоблагородие, — сказал Панкрат, зло посмотрев на матросов.

Кронштадт... Сразу вспомнились Петру Сергеевичу расправы над офицерами, бывшие там. Заживо изрубленные, утопленные люди, залитые кровью, как на бойнях, палубы... Вот, значит, с кем пришлось встретиться в бою.

— Мы морской батальон. Посланы сюда со станции Свяжск, чтобы уничтожить корниловцев, — ответил один из матросов.

— Мы известим ваше командование, что вам не удалось выполнить его приказание, когда оно таким же образом будет в наших руках. Где латыши?

— Их перебросили. На чехов...

Неподалёку, левее от села слышны были залпы артиллерии. Там, в районе Свяжска чехи сражались с дивизией Вацетиса.

— Нужно как можно скорее наладить связь с полковником Швецем, — решил Тягаев.

— С этими что делать, ваше высокоблагородие? — спросил Панкрат.

— Матросню расстрелять. К «грозе революции» снисхождения быть не может. Тех, что из местных мобилизованных сдались, отправить в Казань для пополнения наших частей.

К вечеру связь с чехами была налажена, и полковник Швец принял на себя командование всей группировкой. Операция по занятию станции Свяжск была назначена на утро следующего дня, до тех пор рота Тягаева получила отдых.

Хотя не высыпался Пётр Сергеевич уже которые сутки, а сон не шёл к нему и в эту ночь. При тусклом свете масляной лампы он изучал карту, делая пометки на ней, ещё и ещё раз возвращаясь к плану овладения Свяжском. Большие силы были сосредоточены там. И не матросня, не мобилизованные солдаты, а регулярная латышская армия, а к тому ещё отряд личного конвоя товарища Троцкого. Вот, до кого бы добраться! Вот, кого бы захватить! Вот, было б дело, так дело... Латышей необходимо отрезать от железной дороги, чтобы они не успели погрузиться на свои эшелоны и сбежать. Загнать в мешок и уничтожить. Поголовно. Достанет ли сил? После стычки с матросами потери были малочисленны, несмотря на то, что морской батальон насчитывал пятьсот человек, не считая мобилизованных. Мобилизованные, правда, не проявили

себя в бою, охотно сдаваясь в плен... Но во что обойдётся Свияжск? Хорошо бы прислали из Казани пополнение. При избытке в городе господ офицеров даже странно, что приходится обходиться столь малыми силами.

Закряхтел спавший на полатах дед Лукьян, проснулся, свесил босые ноги, протёр глаза, спросил с укором:

— Что ты, милой, всё полуночищаешь? Глаза, вон, совсем провалились уже, что у больного. Ну, как занеможешь? Кто ватагу нашу супротив антихристов поведёт?

— Занемогу — ты вылечишь, — отозвался Тягаев. — Или не сумеешь?

— Мы всегда сумеем.

— Стало быть, мне беспокоиться не о чем.

Старик слез с полатей, сел к столу, хлебнул холодной воды:

— Правду сказывают, что в Свияжске главный антихрист теперь?

— Троцкий? Как будто бы там.

— Эх, убежёт ведь поганый! — покачал головой кудесник. — А когда б нам его захватить, Петра Сергеич...

— И что бы ты с ним делать стал? — усмехнулся полковник.

— Перво-наперво кол осиновый вогнать... По-иному с нечистой силой никак нельзя. У нас в деревне колдуна забили насмерть, а потом колом его.

— Что же он натворил-то, ваш колдун?

— Глаз у него нехороший был. Всю скотину попортил. А там и до людей добрался. Книги у него в дому чёрные были. Их пожгли от греха, чтоб кто не соблазнился.

Тягаев не смог удержаться от улыбки. Дед Лукьян сразу посуровел:

— Не веришь ты, барин, как я погляжу, во всё это. Думаешь, что мы народ тёмный, малограмотный.

— Прости, дед. Но мне, в самом деле, трудно поверить во все эти черно книжия и черноглазия.

— Голова-то как? Не болит, милой?

— Н-нет, голова не болит... — вынужден был согласиться Пётр Сергеевич.

— То-то же. Тоже ведь не верил. А чёрный глаз, хочешь верь, а хочешь нет, есть. Таким чёрным глазом смотрел сатана на землю русскую, свирепел от лепоты её да света, да и испортил!

— А Бог?

— Что — Бог?

— Как же Бог попустил?

— Эх, Петра Сергеич... Умный ты человек, и воин славный, а вопросы задаёшь, что дитя неразумное. Ты многострадального Иова помнишь? Вот, Русь наша, как Иов. Попустил Бог испытание веры её. Коли выстоит, так и вся былая слава вернётся к ней, и преумножится.

— Что же делать-то надо, Фокич?

— Верить надо. И трудиться надо. Много трудиться. Царствие Божие нудится. И земное наше царствие, русское, тоже нудится. Те-то, бесы, обольстили народ, ложью соблазнили его, выдав её за правду. Так надо народу снова Правду-то вернуть, показать! За парламЕнты и прочую учредилку народ не пойдёт. Мертвечина это всё. Тлен. А за Правду Божию, как один человек, встанет. Вот, только донести эту Правду до душ надо! Чтобы воссияла она так, чтобы все узрели! Кривда Правдой побеждается, милой. А Правда только одна — Христова. А народ наш расхристался. Оттого и беснуется. Откуда Бог ушёл, туда бес придёт.

— Мудрёно ты говоришь, — покачал головой Тягаев. — Только что значит — Правду дать? Сделать, чтобы она засияла и всем стала видна? Такое лишь немногим избранным под силу. У кого особый дар есть.



Творческий дар. Поэтам, художникам... Пророкам и святым! А много ли их? Повсюду усобица идёт, ожесточение всеобщее. Какая там Правда Христова! Если нас брать, так у нас одна правда — смести эту красную орду с лица земли.

— А дальше?

— Не трави ты мне душу, дед, — Пётр Сергеевич поморщился. — Дальше даже думать не хочу. Если все эти жертвы, все муки для того только, чтобы к власти пришла какая-нибудь «учредилка», какие-нибудь эсеры и эсдеки, то напрасны они, и не стоит продолжать! Впору пулю в лоб пустить.

— Не придут они к власти, барин, не печалуйся.

— Почему ты так думаешь?

— Силы нет у них. Пустые они. Ничего святого, ничего настоящего. Правды нет. Когда погода сырая, так очень много плесени появляется. Плесень — штука гадкая и вредная. Но пригреет солнышко, и нет её.

— А у нас есть сила?

— Наша сила в Правде. В Христе. И в Царе. Когда верны этой правде будем, то и ничто нам не помеха. Разобьём орду антихристову, а там и покаемся.

— Покаемся?

— Непременно. Покаяние, Петра Сергеич, первое дело. Без него не быть Правде. Сколько нагрешили мы в лихую годину — подумать жутко! До каких бездн дошли! Попались на бесовское прельщение и родную землю адом сделали. Каяться в этом всенародно денно и ночью понадобится, как только врага одолеем. А там и другие грехи вспомнить следует. Как жили-то последние века? Худо жили, барин. Худо. И за Никона тоже каяться надо — сколько душ загубили тогда. Мы каяться разучились, вознеслись до небес в гордыне, плотью обросли, а душу-то ей задавили. А теперь отыгрывается. С небес в бездну свалились, всю черноту свою познали. И познав, как посмеём вновь восхвалять

себя? Так Бог смиряет. Так печётся он своей Руси, которой быть последнем пределом на пути грядущей ночи.

Была в словах деда Лукьяна сила. Он говорил спокойно, без драматических ноток, столь распространённых в подобного рода разговорах, но убеждённо и твёрдо, свято веря в истинность своих слов. Окончив свою проповедь, кудесник вновь полез на полати и, поворочавшись немного, затих. Пётр Сергеевич ещё раз взглянул на карту и, окончательно определив основные направления предстоящей операции, задремал, сидя за столом. В тревожном забытии ему виделась Евдокия Осиповна. Он старался разглядеть её лицо, но не мог, словно загорожено оно было мутным стеклом. Затем милые черты исчезли, и вместо них возникли грубые лица идущих в атаку матросов. Тягаев проснулся и, взглянув на часы, понял, что пора подниматься.

Через четверть часа вся рота была на ногах. На завтрак офицерам раздавали чай и хлеб. Связавшись по протянутому накануне телефону с полковником Швецем, Тягаев уточнил отдельные детали операции, а затем разъяснил построенной роте её задачу: овладеть близлежащим селом, обходным маневром выйти в тыл латышам, сломить их сопротивление на левом фланге и совместно с чехами, берущими на себя основной удар, взять Свияжск. Подробностей разъяснять не понадобилось. Рота, состоявшая из одних офицеров, иные из которых были едва ниже Тягаева чином, понимала всё с полуслова.

К селению подходили беззвучно. Заняли позиции и залегли в ожидании сигнала — залпов чешской батареи по селу. Дед Лукьян, вооружённый крестом, невозмутимо двинулся вдоль цепи, читая молитвы и благословляя воинов. В который раз уже видел полковник этот ритуал, а каждый раз не мог справиться

с волнением: ударит противник, и убьют чудного кудесника первым! Залёгший рядом Доська зачарованно следил за дедом, сжимая в руках винтовку. Маленький воин стремился во всём походить на него, и блестя отвагой чистые глаза, и румянцем заливались детски нежные щёки. Чуть слышно перешёптывались в цепях:

— Ну, старик! Ну, даёт! С таким никакой враг не страшен...

Громыкнуло чешское орудие, и, тотчас очнувшись, залаял пулемёт с красных позиций, загалдели винтовки. Свистели пули, а кудесник продолжал свой путь размеренным шагом, покуда не дошёл до конца линии, где и скрылся в окопе. А офицеры из окопов уже поднимались, шли в атаку во главе со своим командиром. Огонь винтовок сменился штыковым боем. Латыши бежали к селу, но были отрезаны от него. Бегущие бросали оружие, поднимали руки, просили пощады. Но ещё утром полковник Тягаев отдал приказ в плен латышей не брать, поскольку никакой пощады к иностранным наёмникам быть не может.

На пути к Свяжску оставалось одно маленькое поселение, защищаемое личным конвоем Троцкого. Приказав одному из взводов имитировать атаку, Пётр Сергеевич с двумя другими двинулся в обход. Расположенный неподалёку лес давал возможность незаметно выйти в тыл красным. План Тягаева оправдался. Латыши не ждали удара с тыла, развернувшись на две стороны, они пытались сопротивляться, но вскоре дрогнули и бросились бежать. Настигнутых добивали штыками на месте.

В двух верстах показалась станция Свяжск. Там, на путях, стоял на парах эшелон в пятнадцать-двадцать вагонов. К нему, к своей последней надежде на спасение, бежали пёстро одетые фигуры. Красные рейтузы с золотыми лампасами, синие тужурки с

серебряной окантовкой — только одна красная часть носила такую форму, собственный конвой военмора Троцкого. И это усиливало ненависть и желание сквитаться. Офицеры роты Тягаева гнались за латышами по пятам. Очевидно, поняв, что отступающие принесут противника на своих спинах, эшелон не стал ждать их и стал отходить от станции.

— Кавалерию! Кавалерию! — отчаянно крикнул кто-то.

«Полцарства за кавалерию!» — мог бы сказать полковник Тягаев. Но кавалерии не было. Два орудия, присланные чехами, били по станции беглым огнём, но напрасно. Уходил эшелон, набирая скорость, улепётывал, ускользал почти из рук... Остановились оставленные на произвол судьбы латыши, встречая смерть от русских штыков. Рассеялся белый дымок паровоза, скрылся эшелон вдали. А в эшелоне том был — Троцкий...

— Упустили антихриста! Убёг-таки! — горевал дед Лукьян, тяжело дыша и утирая со лба пот. — Как же так, Петра Сергеич? Эх...

Ничего не отвечал полковник, а лишь покусывал бледные губы и сверлил даль единственным глазом, воспалённым от бессонных ночей. Если бы один отряд кавалерийский! Если бы несколько орудий крупных! Если бы...

## Глава 9. По лезвию тонкому...

*Конец августа. Где-то на Дону...*

Пока жива боль, жив человек. По острой боли во всём теле понял Гребенников, что жизнь его ещё продолжается. Понял и, не спеша признаков жизни этой подавать, рассуждал, хорошо ли вышло, что он жив?

Надо же было столько месяцев на Дон пробираться, по лезвию тонкому скользить, добраться, наконец, чтобы сейчас же угодить в лапы «товарищей». Как ворона в суп угодили!

Из Петрограда бежал ротмистр в чудной компании старого боевого товарища, у которого скрывался перед тем две недели, штабс-капитана Ардальона Семагина и милейшего юноши, студента Ивана Борха. Ардальон Никитич считал более разумным уходить на север. Проще и безопаснее, и, если организуются там белые силы, то на Петроград наступать — всего ближе. Но Володя рвался на Дон. На Дону собирались лучшие силы. На Дону уже шла борьба. На Дону сражались лучшие командиры. На Дон уже давно стремился ротмистр. У него и план был составлен почти, как туда добраться, но пришлось спешно пересматривать его, когда на хвосте повисла петроградская ЧК, будь она неладна. На Юг спешил и Борх. Спешил к своей семье, жившей в Таганроге. Двое против одного составились, уговорились всё же на Дон идти.

Долгим и трудным был этот путь. Ехали по подложным документам, дважды арестовывались, неделями отсиживались по городам и весям, таились... Дорогой присоединились к ним ещё двое — казачьи офицеры братья Мозжегоровы. Казалось, уже совсем рукой подать оставалось до заветной цели. И —

расслабились. Не провели должным образом разведку и налетели на большевиков. Те аккуратно только что заняли крупную станицу, о которой известно было, что красных в ней нет, и где, по настоящему предложению Мозжегоровых, решено было передохнуть. Передохнули...

Бранил себя Гребенников самыми чёрными словами. Ведь сколько раз наставлял его старший друг и командир полковник Тягаев: последний шаг самый коварный, велик соблазн расслабиться на нём, а враг только того и ждёт. А Володе на последнем шаге вечно словно чёрт спину жёг. Вот, и в бою бывало: весь бой ведёшь себя умно и осторожно, а, увидев, что победа уже в руки даётся, как во хмелю становишься — ни своей головы не жаль, ни чужих. Однажды уже наказала судьба ротмистра за такую легкомысленность: был ранен серьёзно. Наказала, но не научила. Вот бы выговорил теперь Гребенникову Пётр Сергеевич! Как наяву увидел строгое лицо полковника, в минуты гнева бледное, с губами поджатыми.

Чёрт дёрнул влезть в эту станицу, прямиком в осиный улей! И, главное, зачем? Ну, поплутали бы ещё несколько дней, пока не добрались бы до своих — совсем рядом здесь вели они бои. Невтерпёж было! Водки выпить, поесть от души да с казачками помилиться...

Одно утешало Гребенникова: не позорно угодил он в плен. Не хмельным из бабьей постели вытащили его. А взяли в бою, в котором успел и он сплавить но тот свет нескольких «товарищей». Бой был краток. На подходе к станице угадал Ардальон Никитич засаду. Отступить было поздно, нырнули в близлежащий ров, ошетинились на все стороны винтовками (пулемёт бы!). Красные обложили со всех сторон, но подобраться быстро не могли. Удобную позицию выбрал штабс-капитан, защищённую хорошо от неприятельских пуль.

Но патроны закончились, и после короткой схватки, в которой сложили отчаянные головы братья Мозжегоровы (хоть им повезло), Гребенников оказался в плену.

Лёжа на земляном полу какого-то сарая, Володя прислушивался к своему телу. Из рассечённого шашкой правого плеча текла кровь. Это, кажется, была единственная рана, нанесённая оружием. Она повергла ротмистра на землю, а после «товарищи» оружием уже не пользовались, отдавая предпочтение сапогам. Сапоги эти запомнил Гребенников на всю жизнь. Особенно тот, который разбил ему лицо — во рту до сих пор кровавая каша была.

Не добили красные пленных сразу. И то был дурной знак. Стало быть, решили потерзать прежде, злобу выместить. Ох, и «свезло»... Прислушался Володя к доносившимся снаружи звукам: крики, плач женский. Нетрудно догадаться, какой ад царит теперь в станице.

Сплюнув сгусток крови, Гребенников приподнялся и обнаружил, что в импровизированной тюрьме он не один. Тут же были Семагин и Борх, старик-священник и ещё какой-то человек. Этот, последний, в одном окровавленном нижнем белье, неподвижно лежал на земле, тихо стоня. Руки у него были неестественно вывернуты, лицо всё покрыто шрамами и залито кровью, так что и черт его разобрать было невозможно, голова кое-как обёрнута какой-то тряпкой. Сидевший рядом священник, растрёпанный, в изорванной рясе, гладил его по плечу, отгонял кружившихся с жадным жужжанием мух и всхлипывал.

— Ба! Господин ротмистр, а мы уже думали, что вы Богу душу отдали, — усмехнулся Семагин разбитыми губами.

— Да и я не рассчитывал вас на этом свете встретить, — отозвался Володя. — Как полагаете, что нас ждёт теперь?

Ардальон Никитич кивнул на умирающего:

— Вот что. Эти сволочи перебили ему все суставы и бросили подыхать здесь... Вам отец Ферапонт расскажет. А с нас, может, шкуру сдирать живьём будут. Так что готовьтесь.

Борх всхлипнул:

— За что? Господи, за что?! Я не хочу умирать, не хочу, не хочу... — он вскочил, ударил кулаками в стену, затряс головой. — Что станет с матерью? С сёстрами?! У них же никого, кроме меня, нет... Господи, так не должно быть! Ну, почему? По-че-му???

— Да заткнитесь вы, господин студент, — зло бросил Семагин. — Нам только вашей истерики не хватало здесь! Вы же, чёрт побери вас, не барышня!

Борх притих, забился в угол, сотрясаемый нервной дрожью. Гребенников подумал, что ему лучше было бы остаться в Петрограде. Слишком рискованным и трудным было их предприятие для чуждого войны юноши-философа. В самом деле, за что погибать ему? Он даже не офицер, он, вероятно, и на фронт не пошёл бы... Совсем мальчишка ещё. А его будут рвать на части... А где-то в Таганроге его ждут мать и сёстры...

— Эх, господа, признаться, я об одном жалею в моей жизни, — сказал штабс-капитан.

— О чём же, позвольте полюбопытствовать?

— О женщине, которой я, дурак, не успел сказать одного единственного слова, которое обязан был сказать.

— Невеста?

— Не угадали.

— Стало быть, возлюбленная. Решительно, Ардальон Никитич, я вам завидую! Как её имя?

— Вы можете смеяться, но даже этого я не знаю.

— Как так?

— Вот так... Я ничего о ней не знаю. Помню только санитарный вагон, больничный запах, стоны раненых, а



среди всего этого её лицо. Был Пятнадцатый год. Осень. Я тогда получил хороший удар в живот, меня эвакуировали в тыл. Я был почти без сознания. Только проблески отдельные. И в этих проблесках — она. Ни имени её спросить, ни что-либо ещё я не успел. Очнулся уже в госпитале, а её там не было.

— И вы не попытались её найти?

— Пытался. Но безуспешно. Мало ли санитарных поездов и сестёр милосердия было на фронте? А может, она просто пригрезилась мне в бреду.

— Счастливый вы человек!

— Почему?

— Потому что счастлив человек, которому в бреду приходят такие видения! Решительно! Я был трижды ранен, и никогда не видел в горячке ничего, чтобы приятно было вспомнить!

Мог бы ещё добавить Володя, что сейчас, стоя на пороге смерти, не мог он извлечь из памяти ни единого образа, о котором бы можно было вздохнуть светло. Студента Борха ждали в Таганроге мать и сёстры. Семагин мечтал о женщине, с которой разминулся на фронтовых дорогах. Ротмистра Гребенникова не ждал никто и нигде. И «дамы сердца» не случилось ему встретить. Дам было много, но в сердце не входили они глубоко. Жил Володя с гусарским размахом, весело. Любил кутнуть, волочился за хорошенькими женщинами, у которых, несмотря на неказистую внешность, всегда имел успех, благодаря лёгкому, весёлому нраву и обаянию, бывал пьян неделями, играл в карты, отличаясь большой удачливостью... Что таиться, немало грехов числилось за Гребенниковым. И на дуэлях стрелялся он однажды, и дважды бывал в секундантах. Накануне войны едва не выгнали из полка за это. Спасибо Тягаеву — вступился, отстоял. А следом война грянула, а на ней доказал Володя, что не зря его в полку оставили. Воевал, как жил — задорно, отчаянно,

с бесшабашной удачью, одним словом, батырствовал. Не мог припомнить Гребенников ни одного дня, когда бы владели им уныние и тоска. Жизнь неизменно казалась ему солнечной. Жизнь любил он крепко, что не мешало ему рисковать ей по нужде и вовсе без оной. Может, от того и рисковал так легко, что терять некого и нечего, положа руку на сердце, было? Однажды, порядочно выпив, на спор играл в русскую рулетку. Да что однажды! Вся жизнь Володи такой русской рулеткой была! Скользил по лезвию тонкому — и не сорвался, не поранился ни единожды. Благоволила судьба к отчаянному. Полковник Тягаев рассказывал Гребенникову, что в молодости знал офицера, отличавшегося такой же бесшабашностью. Погиб тот в Японии со славой. А Володе — сбродом красным быть растерзанным? Нет, решительно, такая перспектива не по душе была ему. Привык Гребенников бороться до конца и теперь сдаваться не собирался.

— Господа, о чём вы говорите? — возмущённым тоном воскликнул Борх.

— А в чём дело? — прищурился Семагин.

— Видения! Женщины! Об этом ли надо сейчас?!

— А о чём бы вы предложили, мой молодой друг?

— Надо бежать!

— Прошу вас говорить тише, — попросил священник. — Человек умирает...

Умиравший офицер пришёл в сознание, процедил хрипло:

— Братцы, будьте людьми... Пристрелите...

— Рады бы, да нечем, — отозвался Володя, подползая ближе. — Как вас угораздило попасть сюда?

Офицер чуть повернул голову, покосился заплывшим глазом (второго различить нельзя было):

— Вы кто?

— Ротмистр Гребенников к вашим услугам.

— Свои, значит... — протянул умирающий. — Поручик Миловидов. Я и двое моих людей были посланы в разведку. Но нас постигла неудача...

— Разведка? Значит, армия близко?

— Близко, да...

Володя поднялся на ноги, почувствовав босыми стопами (сапоги проворные «товарищи» успели снять) приятный холод и с удовлетворением отметив, что кости ему всё-таки не переломали. Прильнул глазом к щели между досками сарая. Солнце уже садилось, а в станице всё стоял плач и стон.

— И будет там крики, и стон, и скрежет зубовой... Батюшка, это ад?

Старик поднял дряблое, мучнистое, влажное от слёз лицо:

— Нет, не ад... Ад ещё впереди...

— Обнадёживающе.

— Ад впереди — у них. У наших мучителей. А тех, кто потерпит от них, Господь утешит... — отец Ферапонт оторвал полу подрясника: — Господин ротмистр, давайте я вам плечо перевяжу, а то кровью истечёте.

— Спасибо, батюшка.

Старик перевязал Володе рану. Руки его немного дрожали.

— Нехристи, — шептал он с горечью. — Разорили церковь, свиней в алтарь пустили, над святыми иконами поглумились... Господи, Господи, басурмане такого не творили, а те ведь — русские!

Гребенников медленно прошёл вдоль стен, пытаюсь определить, насколько тверда земля.

— Что это вы делаете, ротмистр? — осведомился Семагин, шаря по карманам. — Ни понюшки табаку не осталось, чёрт побери...

— Я думаю, Ардальон Никитич, что Борх прав. Надо бежать, — шёпотом сказал Володя. — Только на

будущее, господин студент, извольте говорить о таких вещах тихо. Иначе нас услышат и изжарят досрочно.

— Простите, господин ротмистр.

— Хотите поработать кротом, Владимир Васильевич?

— А вы имеете что-то против? Если есть хоть один шанс из ста избежать нашей безрадостной участи, грех им не воспользоваться. Решительно!

— Так и дали вам «товарищи» убежать!

— Во всяком случае, можно схлопотать пулю при попытке к бегству. Согласитесь, что это предпочтительнее, чем поступить в разделку их мясникам.

— Трудно поспорить с этим! Нет, всё-таки мы имеем дело с исключительной сволочью! Я могу понять — расстрел. Но это средневековое зверство...

— Не комильфо вы хотите сказать? — пошутил Володя.

— Скотство!

— Решительно!

— Господа, давайте уже к делу! — нервно прошипел Борх.

— А чем будем рыть? Руками или носом?

— Господин штабс-капитан, у меня есть предложение лучше, — студент показал металлический обломок неопознанной утвари. — Это валялось в углу.

— Молодец студент! — одобрил Гребенников, беря найденное орудие.

— Погодите, — Семагин взял его из рук ротмистра. — Видите, как она погнута? Крайне неудобно будет рыть ею.

— Так что ж прикажете делать?

— Вот что, — одним усилием своих мускулистых рук штабс-капитан разогнул погнутую железку. — А теперь можно приступать.

— Ну и сила у вас, Ардальон Никитич! — восхитился Борх.

— Почти богатырь Добрыня, — согласился Володя, становясь на колени и принимаясь за работу. — Борх, станьте у двери и караульте, чтобы нас не застукали.

— Слушаю, господин ротмистр!

Земля оказалась податливой. Гребенников и Семагин рыли по очереди. Наступила ночь, и в сарае воцарился полный мрак.

— Как думаете, Ардальон Никитич, когда придут за нами? Я слышал, звери по ночам кровожаднее.

— Не болтайте, ротмистр. Копайте живее.

— Жаль будет, если опередят нас черти. Решительно!

— Жаль, что нет никакого оружия.

— Жаль!

— И табака!

— И еды!

— Табак — первее. Я без табака не могу. Хоть бы понюшку...

— Я бы лучше стопкой водки угостился. Решительно!

— Не будем травить друг другу душу.

— Не будем, согласен.

Рыли дальше, уже вдвоём: кто железкой, кто голыми руками, сдирая их в кровь.

— А как вы думаете, господин штабс-капитан, нас прежде допрашивать будут или сразу — «к Духонину в штаб»?

— Не всё ли вам равно?

— Они нас, возможно, тоже за разведку приняли, поэтому и не прикончили сразу.

— Плевать! Владимир Васильевич, что у вас за недержание языка, в самом деле?

— Между прочим, Ардальон Никитич, у нас есть один недостаток, гораздо более существенный, чем

табак!

— Какой же?

— Сапоги! Босиком бегать не слишком удобно.

Решительно!

— Я бы сейчас сапоги на табак сменял...

— А я бы за сапоги ужином и стопкой пожертвовал!

— Господа, тише! Караульные!

— Чёрт! — Гребенников плашмя повалился на вырытую яму, закрыв её своим телом.

— Говорят о чём-то...

— Расслышать бы!

— Не могу разобрать...

— Черти!

— Снова уходят к костру.

— Слава тебе, Господи!

Снова копали. В основном — Семагин, так как Володя из-за раненого плеча мог действовать лишь одной рукой.

— Насчёт сапог, вы, ротмистр, пожалуй, правы. Но скажите спасибо, что портки нам оставили.

— Низкий им поклон!

— Посмотрите, как вам кажется, довольно такого лаза будет?

— Это вам смотреть надо, Ардальон Никитич. Мы-то с Борхом — в чём душа держится. В любую щель просочимся. А вам, богатырь Добрыня, ход просторней нужен.

— Протиснусь как-нибудь. Копну ещё пяток раз и можно!

К офицерам подошёл, придерживаясь ладонью о стену, отец Ферапонт, протянул серебряный нательный крест:

— Господин поручик просит вас взять его крест. Он успел снять его и спрятать здесь в пыли, чтобы он извергам не достался. Если останетесь живы и будете в Москве, отыщите там его отца, директора музея

русского искусства Юрия Сергеевича Миловидова. Передайте последний поклон от его старшего сына и этот крест.

Гребенников надел крест на шею, поверх своего, подошёл к изувеченному офицеру:

— Я исполню вашу просьбу, господин поручик. Клянусь, — поклонился, отдавая честь умирающему. — Честь имею!

— Прощайте, господин ротмистр... — едва шевеля губами, отозвался Миловидов.

Отец Ферапонт снова опустился рядом с ним.

— Разве вы, батюшка, не пойдёте с нами?

— Нет. Куда мне? Я слишком стар и немощен для того, чтобы бежать. Благослови вас Бог! Я буду молиться, чтобы он вас помиловал. Когда выберетесь, бегите к речке. На другом берегу — наши...

— Идут! — испуганно вскрикнул Борх. — Господа, идут! Сюда! Господа, это за нами!

— Уходим! — взметнулся Гребенников. — Ардальон Никитич, вы первый! Борх, за ним!

Семагин исчез в вырытом лазе. За ним ринулся студент. Отец Ферапонт бросился к двери, загородив её собой. А дверь уже отворяли. Последнее, что видел ротмистр, ныряя следом за своими друзьями: несколько разгорячённых спиртным солдат и матросов в просвете двери и старец-священник, пытающийся преградить им дорогу и, вот, падающий на землю, сражённый ударом тяжёлого кулака. Матерная брань, гогот... А следом рёв (заметили побег) и несколько выстрелов. Царствие небесное вам, батюшка! Царствие небесное и вам, господин поручик!

Выстрелы услышал Гребенников уже снаружи. Услышал и понял, что побег не удался. Ночь была лунной, светлой. Совсем рядом извивалась под обрывистым берегом серебристой змеёй река. До неё добежать — всего несколько шагов было. А уже

настигали — преследователи. И ни пистолета, ни шашки, чтобы защититься!

— Пропали! — охнул Борх. — Мама, прости...

— Погодите, черти! — рыкнул Семагин.

Богатырь Добрыня! Схватил могучими руками корягу, на пути лежавшую, размахнулся, закружил, вперёд выставив, никого не подпуская. Грянуло несколько выстрелов. Захрипел штабс-капитан, в последний раз распрямился, швырнул смешное своё оружие, и ещё одну пулю получил — и мёртвым рухнул на землю.

А Гребенников, секундной этой задержкой воспользовавшись, рванул к берегу и с разбегу прыгнул вниз с отвесного склона, крикнув:

— Борх, за мной!

Но Борх не успел последовать за ротмистром...

Вода сомкнулась над головой Володи, посыпались в речную гладь всплёсками пули с берега. Под обрывистым берегом поросшая камышом заводь была, укрылся в ней ротмистр, едва дыша, с трудом веря, что уцелел. А, впрочем, рано было радоваться. Ждал Гребенников, полезут ли «товарищи» вниз, проверить, утоп ли он.

Нет, не полезли... Изрешетили воду и, бранясь, ушли. Не могли подумать, чтобы израненный, ослабевший человек мог, с такой высоты в воду прыгнув, ещё плыть под ней... И самому Володе трудно было в это поверить. Хотя был пловцом знатным, а всё же с одной почти не действующей рукой — проплывика. А проплыл! Знать, природное жизнелюбие и выносливость помогли. Худ был Володя, совсем не богатырь на вид, а жилист. Много выдержать мог.

Вода была по-осеннему холодной, и Гребенников быстро почувствовал, как стало сводить от холода ноги. Дольше ждать было нечего. Собравшись с остатками сил, ротмистр погрёб к другому берегу. По счастью,



речка была узкой. В обычное время, пересёк бы её Володя в считанные минуты, а теперь, как показалось, страшно долго плыл, иногда теряя силы, идя ко дну, глотая воду, отфыркиваясь, и отчаянно рвась дальше.

Оказавшись на другом берегу, ротмистр сделал несколько шагов к высившимся деревьям и бессильно рухнул на землю. Ему было уже всё равно, жить или умереть. Он не ел целые сутки. Он потерял много крови. Он был изранен и избит. От холода свело все мускулы, но не было сил даже застонать. На том берегу погибли все его друзья. Друзья, которым было что терять, что искать в этой жизни. А он, ничего не имевший, остался жив... Тело отказывалось повиноваться ему, и сознание погасло.

Когда Гребенников очнулся, то обнаружил себя лежащим на траве в лучах поднимающегося солнца. Над ним склонились двое казаков. Один из них, лет сорока, усмешливый, сказал другому, смуглому бородачу:

— Гляди-ка, кажись живой.

— Знамо дело, живой.

— А я, было, подумал, мёртвый.

— Лежал, что мёртвый.

— Ну, что там? — окликнул чей-то сильный, но довольно мягкий голос.

— Живой он, Николай Петрович!

«Свои!» — с облегчением подумал Володя и с трудом сел, прикусив губу от мгновенно пронзившей всё тело боли. Он готов был расцеловать этих двух казаков и их командира на радостях от счастливого спасения. А они смотрели на него подозрительно, недоверчиво. Их командир, капитан лет тридцати с лишком, соскочил с бурочалого коня, приблизился. Был он высок и ладен. Лицо, ещё молодое, правильное, казалось суровым, даже жёстким. На высоком лбу пролегла глубокая морщина. Гребенникову показалось,

что этого капитана он уже когда-то видел прежде, но никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах.

— Кто вы такой? — спросил тот. — Откуда вы здесь?

— Ротмистр Гребенников. Я и четверо моих друзей пробирались на Дон, чтобы поступить на службу в Добровольческую армию.

— Откуда?

— Из Петрограда. Вчера мы попали в засаду и оказались в плену у большевиков на том берегу. Мы попытались бежать. Мои друзья погибли, а мне удалось переплыть реку...

— Значит, вы с того берега? — в глазах капитана мелькнул интерес. — И что же там?

— Ад... — отрывисто ответил Володя. — Там, в плену, мы видели вашего разведчика.

— Кого именно?

— Поручика Миловидова.

— Он жив?

— Уже нет. Мы застали его умирающим. Ему переломали все суставы, видимо, долго истязали, а потом бросили умирать. Он просил передать свой крест своему отцу, если мы доберёмся до Москвы.

— Крест при вас?

Гребенников указал на грудь:

— Вот, он.

Капитан опустил голову:

— Значит, Миловидов погиб... Это большое несчастье. Я знал его и его семью. Для его отца это будет большим ударом.

— Что делать с ним, Николай Петрович? — спросил усмешливый казак. — В контрразведку?

— Сами разберёмся, — ответил капитан.

— Простите, господин капитан, могу я узнать ваше имя? — спросил Гребенников. — Мне откуда-то кажется знакомым ваше лицо.

— Николай Петрович Вигель.

— Вигель? — Володя оживился. — Ну, конечно же! Теперь вспомнил! Мы ведь с вами встречались, господин капитан!

— Где же?

— В Петрограде, за год до войны. Вы тогда месяц гостили у вашего сводного брата, Петра Сергеевича Тягаева. А я имел честь служить под его началом. Вы ещё проиграли мне некоторую сумму в преферанс. Припоминаете?

— Да-да, что-то было такое, — лицо Вигеля немного помягчело. — Данилыч, — обратился он к казаку, — вот, видишь, всё свои люди. А ты — «контрразведка». Везите в лазарет. Видишь, господин ротмистр едва живой. А я позже приеду. Вы, господин ротмистр, расскажете, что видели на том берегу. Мы уже дважды посылали разведку туда, и обе группы погибли. Может, хоть вы что-то проясните, чтобы нам не соваться туда вслепую и не положить излишне людей.

— Рад служить, господин капитан!

— Честь имею!

## Глава 10. Прощание с Первопрестольной

*Сентябрь 1918 года. Москва*

От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Верно говорят в народе. Мог ли предположить действительный статский советник Пётр Вигель, всю жизнь посвятивший борьбе с преступностью, что на старости лет его самого, бывшего следователя по особо важным делам, как преступника, арестуют и бросят в Бутырскую тюрьму? В кошмаре ночном не привиделось бы! А вот ведь — случилось. Все встало с ног на голову, и это назвалось у них — «революционной законностью». Террор, обыкновеннейший террор, а не законность никакая! И кем эта, прости Господи, «законность» стала осуществляться? А теми самыми субчиками, которых Пётр Андреевич отправлял в остроги, избавляя от них общество. А теперь — выпустили всех! Торжество воинствующей черни! Революция уголовников! Вся власть — каторжанам! Они теперь — «законность»! Накануне революции петербургская дактилоскопическая коллекция с фотографиями преступников и подозрительных лиц достигала двух миллионов снимков. И что же сделало либеральнейшее Временное правительство? Всю эту орду, знающую лишь разбойное ремесло, руководствуясь гуманистическими соображениями, безумно выпустили на волю, ничуть не беспокоившись в заботе об этих «жертвах царизма» о правах простых граждан, ставших их добычей! Воры и убийцы мгновенно осознали свои права, влились в новую жизнь в духе времени: объединились на съезде «уголовных деятелей» и

немалой частью пополнили ряды коммунистической партии и ЧеКи. Революцию чувствовали, как освобождение, а она была всего лишь разнузданием сил зла, узаконением уголовщины. Уголовники грабили людей и утверждали, что «грабят награбленное». Грабили уголовники, грабили «интеллигентные» революционеры, реквизируя чужие дома и собственность (Керенский не постеснялся для своих нужд реквизировать автомобиль из гаража Государя и вселиться в Зимний Дворец). Уголовщина стала нормой жизни, политика и преступность слилась воедино, и этот чудовищный симбиоз истреблял Россию. Таков был плод алканой демократии.

А каким ещё он мог быть? Сеющий ветер пожинает бурю. Либеральные горе-мудрецы начали с дарования свободы бандитам, с дарования им права голоса. Права голоса на выборах! И что же это за выборы, на которых голос убийцы равен голосу священника, а голос неграмотного, темного человека голосу университетского профессора? И кто победит на таких выборах? Либеральные безумцы! В их напичканные заимствованными с чужого плеча идеями головы не вмещалось элементарного понимания того, что в народе должен выработаться высочайший уровень сознательности, ответственности, самосознания, чтобы он мог достойно воспользоваться своим правом голоса. Давать же право голоса заведомым преступникам и вовсе верх государственной слепоты и безрассудства! Но они не думали о последствиях, о государстве, им нужна была демократия, во что бы ни стало, здесь и сейчас — одним росчерком пера ввести её!

«Временщики» дали уголовникам свободу, большевики, уголовными методами издавна пополнявшие партийную казну, узаконили их промысел. Сбылась мечта Бакунина, возлагавшего надежды на преступный мир в своих грёзах о революции. Сбылись

предостережения Достоевского, Лескова и других русских провидцев. То, что уже явно намечалось в Пятом году, расцвело теперь махровым цветом. Видел Вигель портретную галерею новых правителей: каторжанин на каторжанине, рожа на роже, любой антрополог бы подтвердил, что в каждом этом деятеле — явная врождённая склонность к преступлению. Прежде выжигали клейма на лицах преступников, а этим и выжигать не надо — посмотришь на них, и не ошибёшься — забубённые.

А этот «поезд свободы»! Ещё в марте Семнадцатого через всю Сибирь, через Самару и Москву мчался в Петроград поезд с освобождёнными каторжанами. Весь увешанный красными флагами, целыми полотнами кумача, весь в лозунгах и прокламациях, весь в дыме и хмелю, весь в сквернословии и революционных воплях нетрезвых, ошалелых глоток, он нёсся через всю Россию, знаменуя собой торжество Свободы и начало Новой Эры. Видел Пётр Андреевич этот поезд, когда шёл он через Москву. Действительно, символ новой эры. Эры торжества бандитов и свободы от закона. И звучал то там, то здесь гимн её: «Бога нет, царя не надо, мы урядника убьём, податей платить не будем и в солдаты не пойдём!» Когда кумачовый поезд шёл через Сибирь, то в одном из мест его остановки, каторжники вырезали семью машиниста товарного поезда, семь человек, включая четверых малолетних детей. Вырезали в пасхальную ночь. И от этой крови продолжили путь к крови новой, уже в масштабах всей страны. Расползались по всем просторам вырождающегося рода человеческого, растлевали окончательно народный дух, науськивали... И стали подлинной опорой революции, в которой наивные люди ещё могли видеть торжество справедливости. В Феврале на улицах убивали офицеров и городских, бесчинствовали выпущенные на свободу бандиты — и это именовалось «бескровной

революцией», «торжеством духа народного», «освобождением от векового рабства». Да это и было — освобождением. Освобождением изуверов, убийц, грабителей и разной мелкой гнили. Но какого освобождения ожидали интеллигенты? Знать? Обыватели? Освобождения от чего? Какой свободы не хватало им?! Газеты на все лады поносили власть, с думских трибун возводили чудовищные обвинения на Императрицу, расшатывали трон, и никому не затыкали рты, никого не арестовывали, не заточали в крепость! «Вековое рабство!» Какой ещё не хватало свободы?..

И хороша же была власть! Что допускала все эти провокационные речи и статьи! Сами себя подрывали. Что за немощь чёрная! Пальцем не шевельнули, чтобы защитить себя, чтобы эту разнузданность пресечь!

А ведь как давно началось всё это, и многие предчувствовали. Пётр Андреевич, год за годом уголовные преступления расследовавший, видел, как изменялись они, как менялись преступники, как преступность росла стремительно. В семидесятые годы, когда только начинал свою карьеру Вигель, преступления ещё были простыми (грабежи, разбой), и преступники были ещё неискушёнными, обычные разбойники, подчас весьма умные и ловкие. Но годы шли, и на смену этим бесхитростным ворах из московских ночлежек пришли преступники идейные. Преступники, творившие свои деяния не от нищеты и тяжёлой среды, а преследуя некие идеи, доказывавшие что-то себе и миру, лишённые всякого понятия о грехе, которое даже в матёрых ворах ещё бывало живо. Новый тип преступников вышел не из притонов и ночлежек, не с Хитровки и Сухаревки, а из светских салонов, из интеллигентных и аристократических семей, из образованного сословия. Преступления их бывали изощрённы и жестоки. Циничны до крайности. Убивали с лёгкостью потрясающей. Двое студентов (из

интеллигентных, состоятельных семей) жестоко убили женщину, чтобы продать её серёжки, потому что им не хватало денег на игру! Молодой человек, из служащих, убил своего друга, тело расчленил, часть успел выбросить, а голова залежалась у него на квартире, где её и обнаружили. И никакого ужаса перед содеянным! Ни малейшего раскаяния! А сколько открывалось притонов! И что творилось в них! Кокаин, алкоголь, разврат, перед которым ничтожным становился Содом. И этому придавались даже дети! Гимназисты и гимназистки! И всё это — на глазах у власти. И всему этому — задавали тон модные поэты и философы. В интеллигентских салонах вертели столы и общались с духами «плотски», устраивали оргии. Газеты пестрели рассказами о всевозможных извращениях, печатали стенограммы судов над проститутками, убившими своих любовников, развратниками, изуверами и прочими человеческими отбросами. Они становились героями газетных полос, общество с жадностью читало о них, больное общество! И их — не осуждали! Им ещё и находили оправдание! Их находили «интересными». И в погоне за «интересностью» ничего не было легче для ничтожных людей, как пасть пониже, как превзойти других в развращённости. Газеты! Сколько яда лилось в души с их мерзейших страниц. Всё самое низменное и гнилое, что было в обществе, выплёскивалось на них, словно их авторы вместо чернил пользовались сточными водами. Канализационный дух проникал всюду. Трупный яд... Барышни, которые раньше прятали под подушками «Кларисс», «Ричардсонов», стали прятать — Ницше. А тот — что проповедовал? Христианство — «побасенка о чудотворцах и спасителях», «ложь, истекающая из дурных инстинктов больных и глубоко порочных натур», священник — «паразит опаснейшего свойства, настоящий ядовитый паук жизни!» Цинизм и



бесстыдство, как самое высокое, чего может достичь человек! Человека-дикаря с «ликующей нижней частью живота»! «Нет ничего великого в том, в чём отсутствует великое преступление»! «В каждом из нас сидит варвар и дикий зверь»! Дать свободу этому зверю! Дать свободу демону! Стать орудием его! И это читали, как откровение! Лев Толстой ужаснулся: страшно то время, у которого такие пророки, страшно, когда злой сумасшедший завладевает умами и душами стольких людей! «Если бесовщина начинает владеть умами, то полиция бессильна...» — говаривал старый начальник Петра Андреевича.

И всё это росло как снежный ком. Преступность в какие-то два десятилетия выросла в разы, захлестнула, в первую очередь, столицы и крупные города, а затем стала проникать и в глубь. И на это смотрели широко раскрытыми глазами. Обсуждали, воспевали, придумывали теории, одна другой безумнее. Куда могло прийти такое общество?.. Только к господству тех, кого защищали — каторжников, уголовников, самых «интересных» людей. К господству того, кому сознательно или неосознанно поклонялись — беса. И — пришли. Встретили в истерической радости, а теперь скорчились под жезлом железным.

Оставались, правда, в обществе и силы охранительные. Верные Богу, Царю и Отечеству. И что же? Ни на кого не выливалось столько помоев, сколько на них! Не было слова более бранного, произносимого с брезгливой гримасой, чем «чёрная сотня». «Чёрная сотня» — печать общественного презрения. «Чёрна сотня» — метка на зачумлённом доме. «Чёрная сотня» — если тебя заподозрили в сочувствии ей, то готовься, что «порядочные люди» не подадут тебе руки. «Чёрная сотня» — как только не издевались над ней либеральные и социалистические лживые перья, рисуя членов её ограниченным, грязными, пьяными и

озлобленными животными. А членом «Чёрной сотни» был — Менделеев. И митрополит Антоний (Храповицкий). И сколько ещё людей умнейших, честнейших, даровитейших! Людей, с которыми не стоял рядом ни один из утративших почву интеллигентов, тем более, борзописцев.

В 1908-м году создан был Всероссийский Национальный Союз, заявлявший своей целью содействовать господству русской народности в пределах Империи, укреплению сознания народного единства, устройству русской бытовой самопомощи, развитию русской культуры и упрочению русской государственности на началах самодержавной власти Царя в единении с законодательным народным представительством. Одним из виднейших деятелей его был известный журналист Михаил Меньшиков, год за годом гласом вопиющего в пустыне пытавшийся обратить внимание общества на надвигающуюся катастрофу, с беспощадной резкостью указывавший в своих статьях на нависшие над Россией и русским народом угрозы. В своей статье, посвящённой началу работы Союза, Меньшиков, говоря о целях его, вновь и вновь повторял то, о чём писал неоднократно, пытаюсь пробудить до уснувшего национального самосознания русских людей: «Мы, русские, нуждаемся в общечеловеческом опыте и принимаем всё, что цивилизация даёт бесспорно полезного. Но Россия в данный момент её развития совершенно не нуждается в услугах инородцев, особенно таких, которых фальсификаторская репутация установлена прочно. Россия — для русских и русские — для России. Довольно великой стране быть гостеприимным телом для паразитов. Довольно быть жертвой и материалом для укрепления своих врагов. Времена подошли тяжёлые: извне и изнутри тысячелетний народ наш стоит как легкодоступная добыча. Если есть у русских людей

Отечество, если есть память о славном прошлом, если есть гордое чувство жизни — пора им соединиться!»

Пётр Андреевич вступил в Союз в первых рядах. Он уже давно убедился в том, что единственный способ выхождения из духовного кризиса, поразившего Россию на рубеже веков и грозившего самыми плачевными последствиями, это укрепление русского национального самосознания. Самосознания этого частично была лишена власть, бюрократия и часть аристократии, и большой процент интеллигенции, в каком-то исступлении содравшей с себя национальное лицо, враждебной всему национальному, стыдившейся самого слова «русский», да к тому ещё сильно разбавленной инородцами, как-то незаметно ставшими главенствовать в ней, задавать тон. Государство, народ, у коего размыты две главных основы бытия — религиозная и национальная, долго не выстоит. Следовательно, о них и надо было печься первее всего. А пеклись мало. Нерадиво. Уже отгремел Пятый год, а всё равно не научились нечему, не поняли...

Один был человек в России, который понял всё, но не только понял, а ещё и умел действовать решительно и точно, солнце среди мужей государственных — Столыпин. Он не отдельные углы многогранника видел, а — целое. И действовал разом во всех направлениях, укрепляя Россию, заботясь, в первую очередь, о благополучии русского народа. Он обуздал революцию, привёл страну к миру и законности, заселял пустующие земли Сибири и Дальнего Востока, укреплял влияние русского большинства в западных губерниях, где дотолё властвовали, благодаря знатному происхождению, инородцы, создал прочный фундамент для окончательного разрешения больного земельного вопроса, наконец, дав крестьянам землю в собственность, в считанные годы на невиданную прежде высоту поднял русское хозяйство: ничего не

упускали дальновидные его очи, всюду дотягивалась отечески-заботливая рука. Его речи превосходили самых ярких думских ораторов, потому что ораторы преследовали цель показать себя, гнались за красивым словом, говорили — для слова, для позы, чтобы казаться, а ему не нужно было казаться, его слово продиктовано было знанием и делом, его цель была не стяжать себе популярность, а укрепить Россию настолько, чтобы уже никакая революция не могла сокрушить её. Силой подавляя революцию, революционеров, вводя военно-полевые суды для них, он одновременно проводил безотлагательные меры, призванные уничтожить почву, которая питала их, разрешить все те перезревшие проблемы, нерешённость которых использовали политические авантюристы, чтобы возбудить народные волнения.

Столыпиным Вигель восхищался открыто, буквально преклоняясь перед этим человеком. А что же общество? Общество — ненавидело. Общество — травило. Ненавидела камарилья, завистливая и тупоумная. Ненавидели либералы, лишаемые лучших своих козырей, тормозившие, как могли, все неотложные и полезнейшие для России решения в Думе потому только, что они исходили не от них, не им несли славу. Революционеры открыто заявляли, что Столыпин должен быть убит, иначе революции не будет, и организовывали одно покушение за другим. Как одинокое дерево, привлекающее все молнии, возвышался Столыпин трагической в своём одиночестве фигурой, как гранитный утёс выдерживал все удары, продолжал своё служение, не отклоняясь ни на йоту от взятого курса. Под конец отреклись от него даже верные вначале октябристы Гучкова. В Думе верны премьеру остались лишь националисты.

Обстоятельства убийства Столыпина Вигель, пользуясь старыми связями, выяснял лично. И

обстоятельства эти удручали. Казалось, все стороны были заинтересованы, чтобы прозвучал роковой выстрел... В Киеве премьеру не выделили даже охраны, он вынужден был нанимать извозчика, убийцу вооружило и пропустило в театр Охранное отделение... А Царь великодушно простил виновных в трагедии чинов полиции, хотя вина их была бесспорна и велика. Это государево «прощение» косвенных убийц потрясло Петра Андреевича. Этого «прощения», этого непонимания величины утраты, которую понесла Россия с гибелью Столыпина, не мог Вигель простить Государю. Даже памятник погибшему за него премьеру поставили на народные пожертвования, и ни Государь, никто из родственников его, ни представители Двора, власти не пожелали быть на его открытии. И прежде не жаловал Пётр Андреевич Царя (то ли дело был покойный его отец!), а после этого стал дурного о нём мнения. Правда, своего отношения никогда не выражал Вигель публично. Будучи монархистом, он не считал для себя возможным отзываться плохо о Монархе. К тому же слишком ясно понимал Пётр Андреевич, что критика направленная на Николая, с частью которой нельзя было не согласиться, бьёт не только по нему лично, но по самой Монархии (и это было всего опаснее, и со стороны Государя и его родственников главным проступком было то, что своими необдуманно шагами они сами роняли всё ниже престиж Царской власти, давая пищу её врагам), что, в случае взрыва, рухнет не один Император, а весь многовековой институт Самодержавия. А это было недопустимо.

Три столпа было у России: Православие, Самодержавие, Народность. Да только когда выдвинул граф Уваров свою знаменитую триаду, она уже доживала последние дни. Церковь была сокрушена. Сокрушена Самодержавием, побоявшимся, что она, независимая, будет иметь слишком большое влияние.

Роковая ошибка! Вместо единения с Церковью, государство подчинило её себе. А Церковь подчинённая, в самом деле, утратила своё прежнее влияние на народ. Стала всё больше превращаться в бюрократический аппарат, который в условиях духовного кризиса и богоискательства отталкивал от себя ищущие души. Много лгали господа борзописцы на Церковь, но и не вовсе без огня был дым. Сельское духовенство в немалой части было невежественно. Правящие иерархи более увлечены были внешней, обрядовой стороной Православия, нежели глубинной, духовной его составляющей.

Самодержавие сокрушило Церковь, а народ — Самодержавие... И от народа непростительно отделилась власть, погрязнув в бюрократизме, поставив надо всем чиновника. Вытребовали после Пятого Думу. А она-то меньше всего нужна была. Чужеродная ветвь к нашему дереву. Ничего кроме смуты не было от неё во все годы крикливого его существования. А нужно было — земство. Ничего не было бы прочнее единённости самодержавной власти с земствами. В Думе народа нет, в Думе — ораторы, политиканы. А в земствах — народ, люди, на земле работающие, подлинные нужды ведающие. Земство помогло бы всему: и укреплению национального самосознания, и развитию организованности, предприимчивости, активности русских людей, которых так не достаёт им, и потому становятся они лёгкой добычей инородцев, и решению многих мелких местных проблем, до которых у власти просто не могут дойти руки. Иные консерваторы утверждали, будто бы самодержавие плохо соотносится с земствами, но это блистательно опроверг Лев Тихомиров. Вот, кто, быть может, лучше всех понимал Россию. Бывший народник, отрёкшийся от увлечений молодости, и ставший монархистом и консерватором, он по полочкам разложил все достоинства и недостатки

российского государственного устройства, указал без нервов и криков все опасности и бреши, прописал рецепты, как устранить их. И среди них главный — земства! Земства, как вернейшая опора трона, как залог живого развития народного. Никаких парламентов, а Земский Собор, как было в старину (слово-то какое хорошее, родное — Собор, единение народное), на котором бы истинные представители народа могли говорить с Царём о своих нуждах, советовать. Всю важность земств понимал Столыпин, развивал их. Но после него забросили опять. Ещё несколько лет продержались на им накопленном наследстве и покатались, покатались стремительно, и уже некому было удержать над пропастью — крахнули в неё, и костей не собрать.

Единственную надежду увидел Вигель после падения трона в Церкви. Если её первую сокрушили, так не с неё ли возродиться? И неслучайно явлена была в революционные дни Державная икона Богородицы с царским скипетром в руке — вся православная Москва стекалась в Хамовники поклониться ей. И неслучайно с первых пор революционных Церковь, видя в ней угрозу главную, стали травить. Новый обер-прокурор Синода, полоумный Владимир Львов провозгласил себя «центром религиозного и общественного движения», потребовал, чтобы секретари духовных консисторий следили за архиереями и доносили на них. Отщепенцы в рясах сплотились вокруг его газеты «Московский церковный голос». В этом органе протоиерей Введенский требовал перевести службы на русский язык, епископ Бельский — отметить Первомай, священник Смирнов сбросить рясу, так как она обособляет духовенство в особую касту, отчуждает его от народа. «Снимите её, — проповедовал новоявленный Иуда, — оденьтесь, как все, и то же общество примет вас как своего; вы уже не станете посмешищем, а

будете просто и даже с почтительным оттенком: «священник-гражданин». Но таких «священников-граждан», по счастью, было немного. Большая же часть духовенства и верующих, лишившись Царя, ясно ощутила нужду в Пастыре, в Предстоятеле. Престол царский рухнул, настала пора воссоздать престол патриарший.

Пятнадцатого августа 1917-го года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Москве открылся Освящённый Церковный собор, на котором присутствовало двести семьдесят семь священников и двести девяносто девять мирян, в числе которых был и Пётр Вигель. Долгие споры велись о том, стоит ли вообще возродить патриаршество. Многие высказывали сомнения, другие настаивали, что в наступившее окаянное время только Патриарх сможет объединить православный народ. Священник Востоков говорил:

— Нам известно, что прежние патриархи были печальниками за народ, вразумителями, а когда нужно, и бесстрашными обличителями народа и всех имущих власть. Дайте же и вы народу церковного отца, который страдал бы за народ, вразумлял его, а для тёмных сил, которые уводят народ от Христа и Церкви, хотя бы они сидели на правительственных местах, был грозным обличителем.

В прениях миновал август, сентябрь... Октябрь окрасил улицы Москвы кровью. Собор заседал, а на улицах Первопрестольной гремела канонада. Соборяне умоляли противоборствующие стороны о прекращении братоубийства, но их не слышали. Третьего ноября большевики взяли Кремль, стрельба прекратилась, двумя днями спустя в Храме Христа Спасителя избирали Патриарха. Божиего избранника из трёх намеченных кандидатов должно было определить по жребию. Затворник Зосимовой пустыни старец иеромонах



Алексий после долгих молитв извлёк из освящённого ковчежца имя митрополита Московского и Коломенского Тихона...

А бесовщина всё более завладевала умами и душами. Ленин сыпал омерзительными афоризмами, которые подхватывали его приспешники. «Всякий боженька есть труположество!» «Религия — род духовной сивухи!» «Всякая религиозная идея есть самая гнусная зараза!» Какая переключка с Ницше... Демон освобождённый празднует победу. Ещё Временное правительство изъяло из обязательных школьных предметов Закон Божий, подбирались к церковным землям, но у господ «временщиков», бесхребетных и слабосильных, не было подлинного размаха. А у большевиков был, и какой! Над куполом Иверской часовни, где некогда венчался Пётр Андреевич с первой своей женой, на месте иконы Спасителя водрузили лозунг: «Религия есть опиум для народа». А следом и декрет поспел. «О свободе совести». А вернее было бы назвать «О свободе от совести». Этот декрет как нужен был! Ясно же, что не может быть человек свободен полностью, покуда сохраняется в нём такой буржуазный анахронизм, как совесть. Совесть сковывает человека, а, значит, долой совесть! А, главное, по декрету этому разом лишили Церковь всей её собственности: от земель до икон. Всё теперь становилось «государственным». Кто провозгласит право на бесчестье, за тем пойдёт народ, — когда ещё предсказал Достоевский. И вот, провозгласили официально, законодательным порядком. Состряпал эту очередную гнусность юрист Рейснер. «Доселе Русь была святой, а теперь хотят сделать её поганою», — откликнулся Собор, и во всех церквях читалось послание Святейшего с анафемой большевикам.

Но и среди этого богоборчества сколько же верных ещё оставалось! Во всех городах шли крестные ходы против декрета. Против них выдвигали броневики и пулемёты, арестовывали священников и мирян, проливалась невинная кровь, и всё же сильнее страха оказывалась вера, и в этом был залог того, что не всё ещё потеряно. Холодным февральским днём Восемнадцатого удерживала жена Петра Андреевича от участия в крестном ходе, боясь за здоровье его, давно подорванное. Но не мог Вигель остаться дома, когда со всей Москвы сотни тысяч людей с иконами и хоругвями, с пением стекались к Красной площади. Никогда за всю свою долгую жизнь не видел Пётр Андреевич такого скопления верующих, которых в этот час уже не разделяли политические распри и иные казавшиеся мелкими теперь раздоры. Вторил Вигель пасхальному тропарю, смотрел на лица людей. Суровые лица мужчин, заплаканные — женщин, а при этом сколько света в каждом, сколько живой веры, несмотря на все угрозы и лишения, заставляющей вставать на защиту святынь. Люди ничтожные, люди трусливые видят свободу в избавлении от совести. А истинная свобода человека в том, чтобы следовать ей. В полдень докатились до Красной площади все крестные ходы, запрудили соседние улицы, и на Лобном месте Патриарх Тихон служил молебен. И против такой единой силы не посмели выступить засевшие в Кремле большевики, ошестившиеся штыками китайцев — ленинского конвоя. Когда бы силу эту сохранить, когда бы вся Россия поднялась так, и разве устояла бы каторжная власть?

Но никак не могла Россия обрести единства перед лицом врага. Политические распри оказывались сильнее. В Москве продолжали действовать политические объединения. Образовался Торгово-промышленный союз и Правый центр. Последний был

задуман, как междупартийное объединение, в котором участвовали все антибольшевистские течения, от монархистов до кадетов. Видную роль играл в нём генерал Гурко, перебравшийся в Первопрестольную из Петрограда. Но не устояло и это общество. Крайне-правые, придерживавшиеся прогерманской ориентации, вступили в прямые переговоры с немцами, остальные не могли примириться с этим, в итоге центр раскололся. Крайних Пётр Андреевич не любил всегда. К какому бы лагерю они не принадлежали. Именно крайние, не желая уступать ни в чём, разрывали Россию в разные стороны, как бешеные кони, раздирающие обречённого на четвертование. Раскалывали любое объединение, вносили раздор по вопросам второстепенным, отвлекая внимание от главных, увеличивали бездумно смуту и сумятицу в мыслях. Не симпатизировал Вигель союзникам, не ждал от них добра, но и не с немцами же было, уподобляясь большевикам, заключать договорённости! К тому же, что и на них — какая надежда? Все преследуют свои интересы, а Россия — кому нужна? Россию только сами русские спасти могут. А русские расходятся в разные стороны из-за надуманных «ориентаций»: кто за немцев, кто за французов...

Взамен Правого центра создали центр Национальный. Приняли надпартийную программу, стали налаживать связь с антибольшевистскими силами в Сибири и на Юге. В Национальном центре принимали участие люди самых разных политических убеждений. Выделялась фигура идеолога земства, одного из отцов-основателей Союза 17 октября Дмитрий Шипова. Весомую роль играли кадеты, являвшиеся связующим звеном между Национальным центром и более левым Союзом возрождения. Петра Андреевича участвовать в работе центра пригласил князь Павел Долгоруков.

Павел Дмитриевич был человеком редких качеств. И всегда удивлялся Вигель, как такой человек может быть членом партии Милюкова? По уму, по душевным качествам, по внутреннему благородству даже близко не приближался кадетский лидер к князю. Что такое был Милюков? Достаточно бесталанный человек, которому не хватило способностей, чтобы стать серьёзным историком, политикан, заботящийся более всего о собственной популярности, не брезгающий шулерскими методами и ложью для достижения своих корыстных целей, пустозвон, речи которого всегда были лишены глубины и знаний, но напичканы с потолка взятыми данными и громкими словами... Никак иначе не мог оценивать его Вигель и презирал всей душой. И ещё больше стал презирать после того, как Милюков пренебрёг даже собственной партией, своими соратниками. Столько времени клявшийся в верности союзникам, оказавшись за бортом, он резко сменил ориентацию на прогерманскую, а когда партия не поддержала его, откололся с небольшой группой сторонников, продолжая, при этом, называть себя лидером кадетской партии. Этого отступничества не мог простить ему даже князь Долгоруков, всегда защищавший Милюкова, не позволявший дурно отзываться о нём в своём присутствии.

Павел Дмитриевич считался совестью кадетской партии. Её рыцарем. Наличие таких людей в ней только и примиряли Вигеля с её существованием. Князь не был политиком, тем более, политиканом. Будучи человеком высокой души и кристальной честности, он был искренен и независим во всех своих поступках. Не было никакого барства, никакой надменности в нём, а чувствовалось глубочайшее благородство, подлинный аристократизм. Не являясь членом Думы, Павел Дмитриевич был избавлен от необходимости произносить речи, искажённые партийными догматами,

всю свою жизнь он посвятил работе в земском движении. Имея придворное звание камергера и княжеский титул, был Павел Дмитриевич человеком скромным и душевным, при этом нечуждым практической жилки, которая помогла ему развить хозяйство в своих имениях. С началом войны князь, председатель Общества мира в Москве, убеждённый пацифист, отправился на фронт в качестве начальника санитарного отряда Всероссийского союза городов. На Галицийском фронте, в третьей армии генерала Радко-Дмитриева он не раз подвергал свою жизнь опасности, работал в пяти верстах от линии фронта в городе Тарнове, где велись зимой 1914/15 года одни из самых тяжёлых и кровопролитных боёв Великой войны. Во дни юнкерского восстания в Москве вспоминал князь войну, прислушиваясь к гудящей на улицах канонаде: «Совсем как под Тарновым!» После революции ездил Павел Дмитриевич по фронтам в качестве делегата Государственной Думы, без страха обходил окопы, ужасался развалу армии... Успел побывать и в заключении, оказавшись среди арестованных в конце ноября в Петрограде членов Учредительного Собрания. Не предъявляли им никаких конкретных обвинений, а просто объявили «врагами народа» и заключили в Петропавловскую крепость. «Революционная законность»! И как бывает обычно, из кадетской партии не были арестованы ни Милюков, ни Родичев, ни защитник евреев Винавер, а благородный князь Павел Дмитриевич, и искренний, совестливый, все беды народа сердцем чувствовавший, простым сельским врачом некогда в народ пошедший и лечивший крестьян за пятикопеечный гонорар, Шингарёв, и учёный европейского уровня, профессор государственно права, смертельно больной Кокошкин... Двух последних жестоко убили в тюремной больнице. На суде над убийцами князь выступил с речью, в

которой снимал с них вину за преступления, как с бессмысленных исполнителей, возлагая её на подлинных виновников — тех, кто натравил, кто кинул растлительный клич.

После трёх месяцев заточения Павел Дмитриевич был освобождён. Вернувшись в Москву, с неугасаемой верой и энергией погрузился он в политическую работу, преследуя цель объединить разрозненные общественные силы и совместно бороться с большевиками. Меньше всего думал князь о своей личной судьбе, как под Тарновом забывая о своей безопасности. Но многого ли мог добиться одинокий подвижник? Одиночки могут светить другим, служить примером, но изменить ход истории не в их власти.

Не мог не откликнуться Вигель на призыв такого человека. Да к тому и сам всего более желал единения общественных сил. И работа политическая не чужда была ему: как-никак был же депутатом Московской Думы. Включился Пётр Андреевич в деятельность центра, но развить её не успел, оказавшись в «гостеприимных стенах» Бутырской тюрьмы.

Приходилось прежде бывать Вигелю в этих стенах. Да только совсем в другом качестве. Он приходил сюда допрашивать подсудимых. А теперь сам оказался на их месте. Пожалуй, и хуже, учитывая пресловутую «революционную законность».

В камере, кроме Петра Андреевича, было ещё несколько человек (прежде никогда не бывало по стольку в этих казематах). Внимание Вигеля привлёк пожилой священник с тонким, красивым лицом, обрамлённым длинной, почти не тронутой сединой бородой. Смутно знакомым показалось это лицо бывшему следователю. И ещё не успел напрячь память, как священник приветственно кивнул:

— Спаси вас Христос, Пётр Андреевич. Не узнали?

— Признаться, запомнил...

— Архимандрит Андрей. В миру Родион Александрович Олицкий.

Ахнул Вигель. Вот, с кем привёл Бог свидеться! Родион Александрович доводился близким родственником князю Владимиру Олицкому, с которым Пётр Андреевич был дружен. Когда был он ещё совсем юношей, случилось Вигелю спасти ему жизнь. Сочтя своё чудесное спасение знаком, религиозный молодой человек ушёл от мира, чем немало огорчил свою матушку, рассчитывавшую, что сын унаследует рачительно налаженное ею хозяйство, и посвятил себя Богу. С той поры Пётр Андреевич не видел его.

— Удивительно, батюшка, что спустя столько лет вы меня узнали.

— Как не узнать! Вы не так сильно переменились.

— А как же вы в Москве?

— Приехал по делам епархии. Зашёл к одному доброму человеку, а его как раз арестовывать пришли. Заодно и меня.

— И за что же?

— А вас за что? — чуть улыбнулся отец Андрей.

В самом деле, глупее вопроса задать было нельзя. За что арестовывали в Совдепии? За что арестовали самого Вигеля? Даже обвинений не предъявили никаких.

Предъявления обвинения ждал Пётр Андреевич, готовился отвечать, но никто ничего не предъявлял ему, никто не допрашивал. Неделя тянулась за неделей, менялись сокамерники, а о Вигеле никто вспоминал. Заперли в каменном мешке и позабыли. Мало ли сидит народу! Заключение коротали время за разговорами. Особенно словоохотливы были бывший предводитель дворянства какого-то уезда, пожилой господин апоплексического телосложения, молодой офицер, чахоточный земец, поклонник Толстого, крестьянин с хитрым, подслеповатым лицом и фабричный рабочий,

большевик, убеждённый, что угодил в тюрьму по навету, что в его деле скоро разберутся и опустят. Особенно горячий спор завязался дождливым июльским днём. Предводитель, лёжа под самым потолком, затянул привычный мотив:

— Всё захватили жида... Лиха стерва! Давно у них глаз на народ русский загорелся, давно захотели подмять под себя! А наши увальни зёнками хлопали, рты раззявили: бедные они разнесчастные, притеснили их, черта у них... Черта! В каждой банке, в каждой газете жид сидел! Черта! Ах, им только равноправия надо! Чёрта с два! Им равноправия не надо было! Им своё право над остальными нужно было! Жидам поверили, а... Да как жиду верить можно? Он же, шельма, три раза поцелует, а потом продаст, как Иуда Христа! Им бы только душу русскую вымотать, подлым рабом русского человека обратить... Барин-то мужика жалел! А жид чтоб пожалел — не бывало такого и не будет! Очки втирают: социализм, коммунизм, интернационализм... Их как чумы бояться надо было! Разумей, Еремей, что под их сладким словом кроется! А теперь посадили себе жида на выю, кровью харкаем... И не жди пощады!

— Точно, Алексей Кириллович, — согласился офицер. — Большевик может и рад пожалеть, да нечем.

— А ну, ты! Нечего на большевиков бочку катить! Ишь жалельщики выискались! Баре, мать вашу! Наша власть вам покажет!

— И тебе, друг ситный, с нами заодно, — усмехнулся Вигель, мёрзло кутаясь в старое пальто.

— Меня по ошибке заарестовали! Скоро разберутся и опустят! А тебя, крючкотвор, с вещами по городу!

— Премного обязан! Только с вещами отправимся совместно, будьте благонадёжны.

— Не спорьте вы с этим краснюком, Пётр Андреевич, — сказал Алексей Кириллович. — Пусть



радуется, что можно теперь грабить и убивать безнаказанно! Недолго ему осталось! И всем им недолго осталось! Жиды им кузькину мать покажут! Это тебе не Царь-батюшка!

— Да что вы всё о жидах? — недоумённо спросил крестьянин. — Русских сто сорок миллионов, а вы всё какой-то кучки жидов боитесь.

— Дурак ты, братец, как есть дурак! Если выйдешь отсюда, так увидишь... Придёт нужда такая, какой не видывали, и бесчестье народу небывалое. Эх, вы! Жаль мне тебя и таких, как ты простаков. Хотели вы по наивности, может, и хорошего, да руками-то вашими злодейство сотворили. Разумей, Еремей! Ты думаешь, может, русский народ теперь решать что-то будет? Чёрта с два! Сволочь решать будет! Шпана! А вы у неё под каблуком крючиться до смертных колик! Добро бы ещё русские революцию сделали, а то... Увидишь, как они возьмутся, всю кровь вытянут! Дворян они вашими руками разорили, а следом за вас возьмутся. Мёртвым завидовать станете, помяни моё слово. У них вместо души палка, а вместо Бога — жид Маркс! Как фараоны египетские на трупах рабов пирамиды строили, так и они на ваших трупах свои крепости будут строить! вспомните тогда Царя-батюшку. И Столыпина вспомните!

Приподнялся Пётр Андреевич, услышав дорогое имя. Редко он участвовал в спорах, даже и не вслушивался в них, а тут стал слушать со вниманием, до поры не вмешиваясь.

— Нашли кого вспомнить! — буркнул толстовец из угла, блеснув круглыми очками. — Столыпина!

— А что вам Столыпин сделал? За что вы его, разбойные морды, убили?! За то, что он Россию спас, от анархии нас избавил, вас спас от того, во что вы теперь брошены?! За то, что мужикам землю дал и разрешил каждому стараться и приобретать?!

— Во-первых, я никого не убивал! Попрошу без оскорблений!

— Вы не убивали! Вы только оправдывали убийц, идейно питали их!

— А Столыпин? Он военно-полевые суды ввёл! Сколько людей перевешал! Это же нарушение судебных законов!

— А его-то по какому суду убили? По полемому или по нормальному?! — взорвался Алексей Кириллович, садясь на нарах. В голосе его звучала ярость, доходившая до слёз. — Три жида собрались в подполье, сочинили приговор! Кто их уполномочил?! Народ?! Или вы?! Вешал он, видите ли! А надо было целоваться с ними! С хорошими, добрыми людьми, которые, подумаешь, какая мелочь, министров взрывали бомбами! Эх вы! Сами работать не хотели и другим не давали, шаромыжники! У них на чужое добро разгорелись глаза! Столыпин же от этих воров и убийц ваши шкуры защищал! Своей жизни не жалея! А вы?! В пакостных газетёнках ещё и после гибели шельмовали его! Вот, получите теперь большевика на шею! Больше он вам нравится?! Уж он с вами расцелуется! Вешал, видите ли... Мало вешал! Мало! Мало!

— Я большевиков не оправдываю. Но и военно-полевые суды, и другие беззакония царского правительства я оправдывать не собираюсь. Может быть, если бы не они, то большевики не пришли бы к власти. Если бы общество строилось на началах гуманности, как учил Толстой, то...

— Как я вас ненавижу! — простонал офицер. Он вскочил на ноги, худой, юный, ещё совсем мальчик, с мальчишески тонкой шеей и подрагивающим от негодования подбородком.

— За что? — удивился толстовец, ещё дальше задвигаясь в свой угол.

— За что?! За всё! За то, что из-за вас погибла Россия! И за вас погиб мой брат! Из-за вас я кинут в это кровавое месиво! У вас есть сын? Нет? Я по летам мог бы быть вашим сыном. Я то поколение, о благе которого вы заботились, чью судьбу решали с такой смелостью! А кто вам дал право решать мою судьбу?! Вы исковеркали мою жизнь! Жизнь моего поколения! Вы! Ваш Толстой с его проклятыми идеями! Ваши прогрессисты и чёрт знает кто ещё! Я проклинаяю вас, слышите?! — голос молодого человека сорвался на фальцет, его трясло. — И единственное за что я благодарен большевикам, что они и вас в комнату душ отправят! Жаль, ваш Толстой не дожил до наших дней! Глядишь, хлебал бы здесь помой вместе с нами!

— Я очень сочувствую вам, — ровно отозвался толстовец, протирая очки. — Если я виноват перед вами, простите меня. Если бы я мог своей жизнью вернуть вам утраченное, я отдал бы её, поверьте. Вы можете ненавидеть меня, можете оскорблять. Можете убить, если от этого вам станет легче. Но об одном я прошу вас настоятельно: не оскорбляйте в моём присутствии имени человека, которого я почитаю, которого любил, как родного отца, которого считаю своим учителем.

— Учитель! — Алексей Кириллович хмыкнул. — То-то и горе, что такие учителя пошли. Из-за него, кощунника, Россия развалилась!

— Крепки же основы у государства, которое под силу развалить одному единственному писателю! — толстовец неожиданно подался вперёд, и в сумраке стало возможно различать черты лица его, выдающие принадлежность к «богоизбранному народу». Лицо это, правда, отличалось выражением кротости и даже блаженности. Вигелю подумалось, что у толстовского всепрощающего «Христа» должно было быть непременно такое лицо.

— Любые основы можно расшатать, если их десятилетиями расшатывать! Чем вы занимались с вашим Толстым! Чего удумали — Христово учение исправлять! Кто ему право дал?! Кем возомнил себя! Развратили народ!

— Это Толстой, по-вашему, народ развратил? Крестьяне-толстовцы, для вашего сведения, в отличие от других, православными называющихся, водки никогда не употребляют, табака не курят, а рачительно работают, не пьянствуя неделями в честь православных праздников!

Но Алексей Кириллович уже не слушал тихого, по-женски мягкого голоса своего оппонента, а, оседлав любимого конька, гнул своё:

— А теперь жид на жиде сел верхом, а русских дурней запрягли и погоняют! Хапнули Россию, христопродавцы! Ленины! Троцкие! Сволочи...

— Тьфу ты, мать-перемать! — взорвался рабочий. — Я буду требовать, чтобы меня в другую камеру перевели! Контрреволюция одна! — он явно хотел сказать гораздо больше, но, будучи в явном меньшинстве, предпочёл не ввязываться в спор, забрался на нары и отвернулся к стене, промычав зло: — Всех бы вас в комнату душ снарядить...

— В самом деле, тов... господа... — начал крестьянин. — Вы не могли бы сменить тему ваших бесед?

— А чем вам наши беседы не по нутру? — осведомился офицер, уже успокоившийся после недавней вспышки ярости.

— А тем, что не знаю, как вы, а я точно ни в чём контрреволюционном не замешан. А вы здесь говорите такое, что за одно то, что я вас слушаю, мне можно эту самую контрреволюцию пришить.

— Надеетесь выйти на свободу?

— Мне непременно выйти надо. У меня семейство. Детишек шестеро. Их кормить надо.

— Дадут тебе жида кормить их, жди от собаки кулебяки!

— А мудрёная нам задача предстоит, если нам всё-таки удастся из нашей темницы вырваться, — заметил офицер. — Как дальше-то жить? Всё равно ведь придётся от тюрьмы до тюрьмы кочевать. Стать мудрее змеи и кротче голубя? Подчиниться им? Так ведь не выйдет... Что вы думаете, отец Андрей?

Отец Андрей погладил бороду, ответил не сразу:

— Когда-то римский Император Валент сильно разгневался на Василия Великого за высокоумие и нежелание подчиняться власти в вопросах веры. На упрёки его Святитель отвечал: «Не сего требует мой Царь (Бог); не могу поклониться твари, будучи сам Божия тварь и имея повеление быть богом». Тогда Валент удивился: «Разве ты не боишься властей?» — «Нет, не боюсь». — «Даже если бы потерпел всё, что в моей воле?» — «А что в твоей воле?» — «Отобрание имущества, изгнание, истязание, смерть!» — «Угрожай чем-нибудь иным, а эти угрозы нас не трогают». Ещё больше удивился Император: «Почему тебя не трогают эти угрозы?» Святитель ответил на это: «Не боится отобрания имущества тот, кто ничего не имеет. Не боится изгнания тот, кто не связан ни с каким местом, ибо всюду Божие место, а я везде лишь странник и пришелец. Не боится истязания тела тот, кто знает, что и тело его принадлежит лишь Богу. Смерть же благодетельна, поскольку скорее пошлёт меня к Богу, для Которого я живу и тружусь, для Которого большею частью себя самого я уже умер и к Которому давно стремлюсь»... Ничего не нужно бояться, помните, что без Божией воли с головы нашей не падёт и волоса. Можно много претерпеть, со многим смириться, но не

может быть компромиссов в деле Божиим. Тому и следуйте, если Богу будет угодно спасти вас.

Этот разговор имел место двадцать седьмого августа. А на другой день разнеслось известие: в Москве стреляли в Ленина!

— Сволочь контрреволюционная! На нашего Ильича покушать удумали! Да мы вас в бараний рог! — ревел рабочий, потрясая тяжёлыми, как гири, кулаками перед лицами односидельцев.

— Мы бы не промахнулись! — бросил офицер.

— Ошибаетесь, милейший, — покачал головой Вигель. — Мы бы не только промахнулись, мы бы просто и не решились такой попытки предпринять.

— Зато теперь нас точно всем скопом в комнату душ препроводят, — заметил Алексей Кириллович. — Свяжут попарно колючей проволокой, и пулю в затылок. И в анатомический театр, либо в землю без креста, как собаку...

Прав оказался старый уездный предводитель. Новые потоки арестованных заполнили Бутырку. Тысячами свозили их сюда со всей Первопрестольной, и камеры делались похожи на бочки с селёдкой. И сотнями вывозили отсюда каждую ночь — «в комнату душ». С наступлением ночи никто не мог уже сомкнуть глаз, с трепетом слыша, как лязгают засовы, как гонят по коридору обречённых, раздаются крики их, вздрагивая при звуках автомобильных гудков, и всякий миг ожидая своей очереди. Отец Андрей исповедал всех сокамерников, кроме большевика и толстовца. На шестой день около трёх часов ночи дверь камеры с грохотом отворилась, выводной надзиратель перечислил несколько фамилий, среди которых почтенного предводителя, отца Андрея, толстовца и рабочего, скомандовал звонко:

— С вещами по городу!

Бледные люди стали собирать немногочисленные вещи, прощаться с остающимися и выходить. Архимандрит благословил всех и вышел последним с лицом спокойным и ясным. Одного из обречённых не досчитались. В камеру вошли двое чекистов, со знанием дела заглянули под койки, ухватили за ноги свою жертву, вытянули. Это был тот самый фабричный, уверенный в своём скором освобождении. Он изо всех сил отбивался, крича отчаянно, захлёбываясь слезами:

— Братва, да вы что?! Да я ж свой! Вы посмотрите! Я рабочий класс! Я в партии состою... Меня по ошибке взяли! Это ошибка! Братцы, я не хочу умирать! За что?! Я сам эту контру стрелять готов! Хотите?! Хоть сейчас готов! Только оружие дайте! Помилуйте, братцы! Я ж сво-о-о-ой!

— До чего же трусливая мразь... — тихо прошипел офицер и сплюнул.

— А ну, пошёл! — рыкнул надзиратель, вытолкнув «своего» из камеры и захлопнул дверь.

Ещё долго в коридоре слышны были крики, шаги многих ног, голоса уводимых на смерть. Затем снаружи послышалось урчание мотора, а потом всё стихло.

— Теперь очередь за нами, господа, — сказал кто-то.

Вигель неподвижно смотрел в потолок. Ему до кома в горле жаль было отца Андрея. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть...» Последние времена наступили? Смотрел Пётр Андреевич, а не ужасаться не мог. Предчувствовал он с давних времён надвигающуюся беду, но не представлял, что дойдёт да такой кровавой, необузданной вакханалии. И надеялся, что в его век не настанет роковых дней, что он-то, в годы свои, краха не застанет, до гибели России не доживёт. А оказался век его длиннее... Ах, лучше бы было преставиться тогда, несколько лет назад. Срама этого не увидел бы хотя...

Мучительно давило сердце, так что трудно было дышать. Массировал Вигель рукой грудь. Что-то прежде будет: пуля в затылок, или сердце само остановится? Уже невозможно лежать стало. Сел. Сидел в темноте, перед собой глядя, вслушиваясь в мертвенную тишину, всегда наступавшую после того, как уводили очередных жертв, и отмирало желание говорить хоть что-нибудь, и каждый явственно ощущал холодок смерти, приблизившейся вплотную...

Прошло десять дней. Так же лязгали по ночам двери, так же топали ноги уводимых, так же слышались их голоса, крики, плач... Но вот, днём вызвал надзиратель:

— Вигель, на выход!

Удивился Пётр Андреевич. Днём — и на выход? Уже днём расправы вершить стали? Ночей перестало хватать? Поднялся тяжело, пожал руку офицеру, кивнул всем оставляемым, вышел.

Уверен был Вигель, что поведут его на расстрел, а его — отпустили...

Не мог разгадать Пётр Андреевич этой загадки. Чья рука поворожила всесильная? Что за странный пасьянс раскладывали палачи? Какая система у них, что своего же, рабочего расстреляли, а бывшего следователя, депутата Московской Думы, монархиста — отпустили? Почему дали осечку? Шёл Вигель по дорогим сердцу улицам, кои не чаял больше увидеть, каждому дому, каждому дереву, каждому камню мостовой радуясь (ведь родное всё — с детства!), не верил своему избавлению. Три месяца провёл он в заключении, лето миновало, и встречала его осень, уже раззолотившая листву. Москва запустела за это время ещё больше. Людей было мало, а грязи на мостовых добавилось. А всё-таки была это Москва, любушка, несравненная... И на каждый храм рука сама собой крестилась, и слёзы выступали на глаза, и сердце заходило. Вот, и Малая



Дмитровка. Дом родной. Поднялся по лестнице, постучал. Открыла дверь жена. Открыла и обмерла, не веря своим глазам. Уже не ждала, уже, после выстрела в Ленина, не надеялась...

Много новостей ждало Вигеля дома. Из них самая худшая: за лето многих коллег и друзей по Национальному союзу арестовали. После покушения на Ильича, на новом витке террора взяли ближайшего друга Сабурова, и вряд ли удалось уцелеть ему в беспощадных жерновах сатанинской мельницы... Володя Олицкий цел и невредим был, но озлён, желчен, как никогда прежде. Сообщение о гибели родственника, принял спокойно: в юности ближе родных братьев были они, а последние десятилетия почти не виделись, редко сносились письменно. Хорошими новостями не баловала жизнь, но всё ж и не без них: профессор Миловидов, который весной едва ли не при смерти был, немного поправился, поступил на службу — смотрителем в родной свой музей, теперь государственной собственностью объявленный. Не мог милейший Юрий Сергеевич оставить своего музея, забота о нём только и заставила его снова встать на ноги. Жалование было назначено ему нищенское, но хоть что-то — всё лучше, чем ничего.

А дом — обеднел. На стенах уныло смотрелись пустоты там, где ещё недавно висели картины великих мастеров. А Олюшка — в платье изношенном, похудевшая, усталая — сколько разом легло на её хрупкие плечи! И всегда-то была она тоненькой, хрупкой — притронуться страшно, а сейчас, кажется, дуновения ветра достанет, чтобы унести. Но бодрилась, держалась, и преклонялся Пётр Андреевич перед мужеством жены. Как выносит она всё это?..

Через несколько дней после освобождения Вигель получил записку от князя Долгорукова. Павел Дмитриевич просил о встрече. Назначил прийти на

Никитский бульвар. Пётр Андреевич явился в назначенный час и сразу увидел князя. Тот сидел на скамейке без всякой маскировки (лишь бороду окладистую подкоротил несколько — под хохла), читал развёрнутую во всю ширь простыню «Известий».

— Здравствуйте, Павел Дмитриевич. Я вижу, вы не скрываетесь?

— Разве вы не видите, я скрываюсь за газетой, — улыбнулся князь, протягивая руку. — С чудесным вас освобождением, Пётр Андреевич! Счастлив вас видеть вновь!

Вигель сел. Долгоруков отложил газету и, повернувшись к собеседнику, заговорил вполголоса:

— Каковы ваши планы теперь, Пётр Андреевич?

— Признаться, я ещё не успел ничего сообразить. Сидя в Бутырке, я уже похоронил себя. И тем сложнее ориентироваться в нашем бедламе. А вы что же?

— У меня один план, — единственный глаз князя заблестел. — Нужно продолжать борьбу. Во что бы то ни стало! В Москве это становится невозможно. Многие наши люди арестованы, другие уехали. Я решил пробираться на Юг. В Добровольческую армию. Надеюсь, смогу быть полезен там. Я хотел и вам предложить ехать со мной.

Предложение это было неожиданным. Заметив растерянность Вигеля, князь продолжал:

— Пётр Андреевич, вам оставаться в Москве чрезвычайно опасно. При вашей известности! С вашей репутацией! Это чудо, что вас отпустили. Но второго чуда может и не быть. В покое вас не оставят, можете быть уверены. Вы сейчас живёте дома?

— Разумеется... Где же ещё...

— Это неосмотрительно. Я уже давным-давно не бываю дома. Кочую по друзьям. Нужна конспирация, осторожность!

— Павел Дмитриевич, мне ведь уже под семьдесят...  
Подаваться в бега в мои годы...

— А кончить свои дни в тюрьме лучше? К тому же без всякой пользы? Я понимаю, Пётр Андреевич, что моё предложение для вас неожиданно. Я не прошу дать мне ответа сию минуту. Подумайте, посоветуйтесь с Ольгой Романовной. Время ещё есть, но его очень мало.

— Подождите, князь... — Вигель нервно затеребил мочку уха. — Как же вы собираетесь пробираться на Юг? Ведь для этого нужно специальное разрешение, из Москвы никого не выпускают.

— Здесь всё продумано. Поддельный паспорт можно выправить через полицейский участок за тысячу двести рублей. Вполне по-божески по нашим временам. С разрешением на выезд и того проще. Мой приятель и однопартиец Ледницкий состоит во главе польского ликвидационного комитета. Он уже многим помог. Доберёмся до Украины, а оттуда — на Дон.

Всё продумано было у этого рыцаря без меча и щита, и мыслями своими стремился он уже на Дон, и юношеским вдохновением, жаром полнилась чистая душа пятидесятидвухлетнего князя.

— В Сибири уже теснят большевиков. На Юге также одерживаются победы. Большевики — в клещах. Только бы соединиться нам всем, и сжать эти клещи. Бороться всем, забыв всякие разногласия. И до победного конца, или до последнего вздоха! — вдохновлённый, Павел Дмитриевич несколько повысил голос, но тотчас спохватился, вновь взял газету и, уже поднимаясь, добавил: — Подумайте, Пётр Андреевич. Послезавтра я вас буду ждать на этом же месте, в этот же час. До встречи!

Проводив лёгкую фигуру князя взглядом, Вигель тоже поднялся со скамейки, задумчиво побрёл по бульвару. Решение уже было принято им: не уезжать, не покидать любимой Москвы и Олюшки, остаться дома

— и как Бог даст. В этой уверенности возвращался он домой, но на углу Малой Дмитровки перехватил его Скорняков:

— Вам нельзя дальше идти. Там вас ищут.

И не нужно было спрашивать, кто ищет, где, почто. Всё ясно, как день...

— Так куда же мне?

— Идёмте к зазнобе моей. У ней комната. Схоронитесь там покуда! — и уже ухватил сильной рукой под локоть, потянул за собой.

Когда-то мчались по московским улицам извозчики, ездили трамваи, ползли лениво конки, а теперь приходилось везде ходить пешком. До жилища скорняковской зазнобы шли целый час. Запыхался Пётр Андреевич, гудели ноги — за время заключения успел он совсем от ходьбы отвыкнуть.

Хозяйка оказалась на службе, но у Тимофея были ключи. Переведя дух и напившись воды, рассказал ему Вигель о том, какое получил предложение. Скорняков поскрёб макушку, оценил:

— Дельно. Соглашайтесь обязательно. Ведь тут ни за грош пропадёте.

— Соглашайтесь... — Пётр Андреевич качнул головой. — Я в Москве всю жизнь прожил, куда мне бежать на старости лет? Мне, может, завтра с Господом Богом уже разговаривать предстоит, а я бегать должен... И как я оставлю Ольгу Романовну?

— Ну, об Ольге-то Романовне мы как-нибудь позаботимся. Чай, не оскотинились, чтобы на произвол судьбы бросить. А вы лишь угрозой ей будете. Глядишь, кончится эта круговерть, и она к вам переберётся, или вы возвратаетесь, — широкое, скуластое лицо Скорнякова выражало совершенную уверенность, что именно так всё и будет. — Вот, я сбегая, саму Ольгу Романовну спрошу на этот предмет. И вам всё доложу. И её мнение, и, вообще, обстановку.

Олюшка присоединилась к мнению Тимофея, благословила на отъезд... И через день с камнем на сердце вновь явился Вигель на Никитский бульвар, дал своё согласие и деньги на покупку паспорта. Ещё две недели таился Пётр Андреевич по различным комнатам и квартирам, исправно находимым проворным Скорняковым, а в последний вечер решился прийти домой. Перед этим побывал он на Даниловом кладбище, где были похоронены его первая жена, его учитель, Николай Степанович Немировский, с сестрой, отец с матерью — все самые близкие и родные люди. Поклонился дорогим могилам, простился с ними, порадовавшись, что им не пришлось дожить до торжества «революционной законности», поставил в церкви свечи в память о каждом из них, и во здравие всех дорогих и любимых...

Дома ждали его. Простился скоро с Олицкими и Миловидовым, а после остался вдвоём с женой. Ещё накануне она собрала ему вещи в дорогу, теперь в углу стоял узел со всем необходимым. Постукивал маятник старинных часов, смотрели родные лица со старых фотографий, развешенных и расставленных повсюду в этой комнате, бывшей когда-то кабинетом, а ставшим теперь комнатой Ольги и Илюши. На этих фотографиях были все: старый Немировский с неизменно ласковыми глазами, друзья, уже сошедшие в могилу и ещё живущие, сын Николай, дети и внуки Ольги, её сёстры... И сама она, ещё юная, воздушная... И, вот, постарше... Везде серьёзная... И такая беззащитная... Всегда относился к ней Вигель, как к ребёнку. Не мог иначе. Его фотографии тоже были здесь. Одна — с Олюшкой, свадебная. Засмотрелся. Словно вся жизнь перед глазами. Счастливая жизнь! И как быстро промелькнула — как мгновение одно. И, вот, уже он — старик. Наполовину седой, борода — так и вовсе белая почти. Ещё несколько сохранилась стать прежняя, но годы и

беды последнего времени и её надламывают. Дыхание перехватывало: всё так родно, так любимо было в этой комнате, в этом доме. Прирос он к каждому предмету, с каждым — какое-то тёплое воспоминание связано. И бросить?.. Всёго ужаснее — библиотеку! Ножом по сердцу! Стыдно сказать: когда сын на фронт уходил, не так тяжело было разлучаться, чем с библиотекой. Собирал её Вигель с юношеских лет, всем торговцам запомнившись, на необходимом экономя. Были тут тома старинные, прошлых веков издания. Со знанием дела выбирал книги Пётр Андреевич. И сам переплетал, очень любя это занятие — нервы сами собой успокаивались. И ни одной непрочитанной книги. И с такой любовью библиотека составлялась — десятилетиями. Гордость! И её оставить?.. Легче руку отрубить было... Накрывала душу смертная тоска.

— Олюшка, а, может, я всё-таки останусь? Куда ж мне из Москвы? А если не вернусь?

— Нет, надо ехать, Петруша. Если тебя снова арестуют, я не выдержу. А так — хотя бы надежда... — держалась Ольга, а глаза блестели влажно, и голос колебался.

— Если бы ты могла поехать со мной!

— И оставить дом? Оставить всё? И Илюшу? Нет, невозможно. Я должна оставаться. Даст Бог, всё закончится, и ты вернёшься, и Петя, и Николенька... И хоть что-то сохранится, хоть что-то удастся спасти. И легче будет выбраться тебе без меня.

Она старалась говорить рассудительно. Она всегда старалась рассудку следовать. Такая хрупкая, и такая сильная.

— Когда ты согласилась выйти за меня замуж, я уверен был, что уж теперь никакая сила разлучить нас не сможет, что теперь мы вместе до смертного часа будем.

— Значит, судьба такая, Петруша. Ничего, перетерпим и это, переможем. Ты же сам говорил, что судьба нам — вместе быть...

— Так мне предсказано было, — чуть улыбнулся Вигель, вспомнив милую старушку Кумарину, сорок лет назад предсказавшую ему судьбу.

— Ты тогда не поверил. Но всё же сбылось. Значит, так тому и быть. И мы снова будем вместе. Только потерпеть надо... — не выдержала Ольга, слёзы покатались по её бледному, худому лицу, она склонила голову на плечо Петра Андреевича, прошептала: — Завтра провожать тебя поеду.

— Олюшка, стоит ли?

— Стоит, обязательно стоит...

Ранним утром, наняв извозчика, поехали в Новодевичий. Вигель таки настоял, чтобы жена не провожала его на вокзал. Прощались у монастыря. На этом месте когда-то впервые встретились они. Здесь часто гуляли. Здесь признался Пётр Андреевич Ольге в любви. И не было в Москве места любимее и дороже. Всё оно наполнено было счастьем той поры, хранило его в себе, сберегало. Осенью особенно красив был Новодевичий. Когда бело-красные стены его укутывали золотые кружева листвы, и по зеркальной глади пруда, в которой отражалось это царственное великолепие, скользили опавшие листья, и небо становилось прозрачным, высоким, и стремилась к нему пасхальной свечой колокольня... Остро-остро почувствовал Вигель, что в последний раз видит эту сказочную красоту и, повинувшись этому чувству, земно поклонился монастырю, коснувшись кончиками пальцев травы, прощаясь. Хотелось ещё и встать на колени перед женой, как в счастливую пору, ещё раз признаться ей в любви. Но не встал: уж слишком дико бы выглядело это в глазах хмурого извозчика и сумрачных прохожих. Поцеловал только, попросил:

— Ты береги себя, Олюшка. Я люблю тебя, как тогда, сорок лет назад.

— Мы ещё вернёмся сюда. Ещё будем стоять здесь, на нашем месте, смотреть на пруд, слушать звон колоколов... Светлый благовест... Так будет, Петруша, — тихо отозвалась Ольга.

— Конечно, будет, — согласился Вигель, и ещё острее стало чувство, что — никогда не будет.

Родился Пётр Андреевич в Москве, и вся жизнь его прошла здесь, никогда не покидал он Первопрестольную дольше, чем на месяц. Москва была домом, о котором начинал он тосковать уже после недельной разлуки. И знал всякий уголок её. И людей московских как-то иначе ощущал, чем всех иных. Были они — как большая семья. И рассчитывал Вигель и умереть в Москве, и последнее пристанище в ней обрести — на кладбище Даниловом, рядом со своими. А теперь где-то придётся?..

На Брянский вокзал приехал Пётр Андреевич один. Князь уже ждал его, бодрый, оживлённый, уверенный, что отъезд этот временный, готовый к борьбе. Деньги он предусмотрительно вложил в золотые десятирублёвки, которые спрятал в спичечный коробок. Обо всём позаботился Павел Дмитриевич — не уставал удивляться Вигель тому, как сочеталась в нём душевная чистота с большой практичностью. Вокзал был запружен народом. Украинский теплушечный поезд был забит до отказа украинцами, бежавшими с мест боёв при наступлении немцев, а теперь за счёт Совдепии возвращавшимися восвояси, втиснуться в него казалось невозможным. Подумал Вигель, что отъезд не состоится, и даже облегчение от этой мысли почувствовал. Но сердобольная распорядительница сжалилась над двумя пожилыми пассажирами и помогла им всё-таки пробраться в теплушку.



Отошёл набитый, похожий на перекормленную змею, поезд от перрона, уползая прочь из Москвы. Павел Дмитриевич вздохнул с облегчением:

— Слава Богу, первый этап нашего с вами предприятия прошёл успешно. Приободритесь, дорогой Пётр Андреевич! Вот, увидите, скоро мы возвратимся в нашу любезную Москву! И уже не тайком, не под чужими именами, а, как к себе домой! Как и должно! Возвратимся победителями!

Ах, если бы так!

— Ваши бы слова да Богу в уши, Павел Дмитриевич...

## Глава 11. Русская голгофа

*20 сентября 1918 года. Валдай*

«Дорогой мой и никем не заменимый Миша, только один Бог знает все мои душевные боли, упреки совести. На коленях молю тебя, прости и ты меня за все мои несправедливые слова и обиды. Но ты все же знаешь сам, как искренно я тебя люблю, преданно, и если невыдержана, то это нужда и непосильный труд, а сил немного. Молю тебя, береги себя, знай, что все благополучно, ты знаешь, мы ни в чем не виноваты, ты не участвовал ни в чем, и мы все повиновались требованиям нового правительства и были во всем солидарны. Взят ты не один заложником, Бог не без милости. Я сделала и делаю все для твоего блага и спасения...»

Слёзы наворачивались от этого полного любви и заботы письма. Сколько нежности, сколько предупредительности — и как она знала, что сказать, как ободрить, поддержать в этот час! А ведь не всегда жили дружно. Всякое выпадало. Бывало, что и ссорились, и он роптал на неё... Видел перед собою два ангельских женских характера, тёщи и горничной Поли, и вздыхал, почему его Манюша не обладает таким? Сколь много мягких, очаровательных женских душ на свете! Почему же рядом — не такая? И вспоминалась в часы размолвок та, из дальних лет, единственная, которая была ангелом. Кузина Анюта, унаследовавшая, вопреки Шопенгауэру, характер не от отца своего (грубого и жестокого), а от матери, столь же доброй и спокойной. Детская любовь... Он полюбил её тринадцати лет, когда ей исполнилось только семь. Встретились семнадцать лет спустя, молодые,

совершенно свободные, и сердечно сблизилась сразу же. Но этому роману без начала суждён был трагический финал. Аня умерла, в одну неделю пожранная тифом. И только тогда, по глубокой печали, которую пережил, он почувствовал, что любил несколько серьезнее, чем двоюродный брат. Незабвенная... Должно быть она умерла так рано, ужаснувшись того, что могло быть... Не раз думалось, как могла бы сложиться жизнь, останься Аня жива. Но иначе распорядилось Провидение, назначив ему в его плавании по бушующему житейскому морю другую спутницу. Манюшу. И теперь она, бедная, столько горя натерпевшаяся из-за него, в каком страхе и отчаянии пребывает! И сколько жара душевного в дорогом письме её, сколько преданности и самопожертвования: «Куда ты, туда и я, я тебя не оставляю, ты мой неразрывно. Помни, жизнь без тебя для меня кончилась. Без тебя жить я не буду и не могу. Господи, вернись ты, мы будем оба работать, поднимать семью нашу и тебе вернее не будет друга, как я. Родной мой, милый и любимый, храни тебя Ангел Господень, молись и ты. У нас все мысли около тебя и дети только о тебе и говорят. Приехала Мама. О ней и говорить не надо. Горю и печали ее нет предела. Она молится о тебе и благословляет. Яша жив и здоров. У тебя ничего не нашли предосудительного только какая-то вырезанная тобою же статья «Нового Времени», но это конечно старая, как я и сказала в штабе, что ведь все жили раньше иначе. Если тебя будут судить в Новгороде, то этому не придавай значения, т. к. тут есть причина, благоприятная для тебя — я поеду с тобою. Мама с детьми. Если статья была после революции, то Слава Богу, т. к. ты писал и одобрял переворот и находил, что все старое сгнило. Пора было создавать новое, целое, здоровое.

Прости, что до сих пор не сумела устроить свидание, но это нелегко, родной мой, но я не один раз у твоих окон стояла.

Милый, родной, дорогой наш Миша, папа наш и кормилец. Без тебя мы осиротели, мы точно потеряли цель жизни. Вернись, мы тебе устроим жизнь полную ласки и внимания. Молю тебя, принимай капли от сердца, что я послала. Это Мамины, по рецепту Гизе. Буду просить пропуск и завтра. Помни, я около тебя. Обнимаю тебя, крепко, как люблю, помни и верь, я люблю тебя и любила и умру верной тебе, рядом с тобою.

Милый мой, милый, родной прости меня и вернись. Будь духом спокоен, т. к. ты ни в чем не виноват. Христос храни тебя.

Твоя Манюша».

И совестно стало, что мог думать о других. О другой. Пусть даже отвлечённо, пусть даже в раздражении после очередной ссоры. И ссоры эти — как глупы и малозначны были! И не ей виниться за них, не ей, столько тягот перенесшей и переносящей. Если что и было не так в их жизни, то лишь его вина в том. И с душой разбережённой, увлажнённой, поспешил ответить. Бумаги и чернил трудно было допроситься, и их не доставало больше хлеба, вместо которого приходилось жевать похожий на грязь жмых. Писал убористо на газетном клочке: «...прости меня за все огорчения, какие я вольно и невольно нанес тебе в жизни. Любил тебя и жалел и глубоко уважал многие твои достоинства. Милым и дорогим детям своим завещаю всю жизнь свою беречь маму и подчиняться ей беспрекословно. Завещаю им быть честными и добрыми, никого не обижать и трудиться, как трудились мы с тобой. Пусть не забывают Бога и не изменяют совести своей. Пусть и меня вспоминают хоть немного, как я их любил и помнил. Скажи им, что они меня поддерживали

милотой своей под конец тяжелой жизни и что я хотел бы еще немного полюбоваться ими, но что делать... С имуществом моим поступай, как со своим, советуясь с милой бабушкой и добрыми твоими сестрами. Попроси их от моего имени поддержать тебя и несчастных наших детей.

Целую тебя крепко, милая и дорогая, расставаясь с тобой, примиренный и любящий. О вас, милые, будет последняя мысль моя, вспоминайте и вы меня изредка. Хотел бы, чтобы, если настанут лучшие времена, кто-нибудь выбрал бы лучшие мои статьи, рассортировал бы их и издал. Целую крепко Яшу, Ольгу Александровну и Лидию Ивановну. Всем друзьям привет. Пусть, кто лишь немного ценит меня, поможет вам. Сама знай и передай детям, что если суждено мне умереть, то совершенно невинным. Живите вы так же чисто, но будьте осторожными с людьми, как учил Христос. Милая Манюшка, прости меня, ради Бога, что неволью заставил пережить тебя тяжелые страдания, которые ты теперь переживаешь. Прошу прощения и у милых моих детей. Родные мои, прощайте. Еще не вполне потеряна надежда, что мы увидимся, но если не даст мне Господь этого великого счастья, то что же делать. Будь мужественна и всю любовь твою обрати на детей. Из дневников и писем моих все сожги, что не нужно знать детям. Прошу тебя об этом очень. Письма О.А. верни ей, с Л.И. — ей, с тобой оставь детям. Ну, еще раз крепко целую тебя и обнимаю от всего сердца и ангелочков наших благословляю...»

Хоть бы нашлись добрые души, кто бы поддержал их! Как должно быть нестерпимо тяжело и страшно Манюше... Осталась она с шестью детьми на руках. Младшие — совсем несмышлёныши ещё. А ещё ждала Манюша седьмого. Очень она хотела родить ещё одного малыша. Говорила, что нет для женщины большей радости, чем крохе такой давать грудь. Чуть подросли

младшие, так и затосковала без этого. Как теперь одна выдюжит?

Увёз Михаил Осипович семью на Валдай, надеясь спасти от ужасов революции и гражданской войны. Хотели вначале ехать на юг, в Азов, но, слава Богу, передумали. Потом узнали, какая резня была учинена там большевиками. Поехали бы, и как раз в неё угодили. А здесь, на Валдае, спервоначалу тихо было. Жили мирно в загодя купленном имении на Образцовой горе, служил Меньшиков в конторе — оклад ничтожный, но и то подспорье. Кроме этого оклада и дома ничего не осталось у Михаила Осиповича. Имущество в Царском и на юге конфисковали, счета в банках заморозили. Писать стало невозможно из-за беспощадной совдеповской цензуры, закрывшей все издания, кроме своих. Всё заработанное за многие годы труда исчезло, как дым, как испарина, поднимающаяся от талого снега. И на смену ещё недавно обеспеченной жизни пришла, скаля голодные зубы — нищета. Вот оно — торжество свободы! Есть нечто, упускаемое из виду самыми искренними друзьями свободы. Принимая необузданность за геройство, они склонны думать, что свобода — окончательная цель и что для нее все средства хороши. Но это грубейшая из ошибок. По самой природе своей свобода должна служить и жертвовать собой, и вне этой службы и благородной жертвы свобода — или бессмыслица, или предлог к катастрофе... Что такое свобода, если она не служит цивилизации? Ей остается разрушить последнюю... Это и произошло в России. Свобода вылилась в первобытное бытие, голодное, полное болезней, бесправное, основанное на преобладании звериных инстинктов. Но это лишь первая ступень, лишь самое начало. Вслед за свободой настанет черёд самой безумной химеры из трёх. Из древней Троицы революции очередь обожания за Равенством. Во имя Равенства растаптывается и

Свобода, и Братство. Стремление к Равенству есть просто-напросто взрыв самого тяжелого человеческого порока — зависти. Зная хорошо, что для подавляющего большинства народного конкуренция с более развитыми и даровитыми классами невозможна, демок выбрасывает конкуренцию из машины общества. Будет ли без этой могучей пружины общество работать, об этом пока не интересуются. Во всяком случае, работоспособность общества от этого неизбежно и сильно понизится...

Валдай недолго оставался тихой гаванью. Скоро и этот райский уголок окутал своим смрадом революционный угар. Однажды Михаил Осипович чудом избег гибели. На имение, в которое приехал он по делам, ночью напали крестьяне под предводительством большевиков. Всё в этом имении устроено было помещиками. Помещики открывали школы и больницы для крестьян, помещики улучшали их быт, помещики строили и устраивали всё необходимое, заботясь о недостатке и благополучии своих мужиков... И помещиков с матерной бранью поднимали с постелей, гнали на улицу, грозили сжечь живьём. И сожгли бы, если бы не мудрость самих помещиков, мирно отдавших всё и покинувших родовое гнездо, и мудрость старых крестьян, пришедших среди прочих с тем, чтобы удержать молодёжь от озорства.

Кто были эти помещики? Все оставшиеся культурные люди России? Сам Меньшиков? Отдалённые потомки Авеля... Последние пастухи человеческих стад... Старший брат, земледелец Каин, воззавидовал острой, доходящей до раскаленной ненависти завистью опрятному быту буржуев, их образованию и таланту, Исаакиевскому Собору и Зимнему дворцу. Все это не по рылу копошащемся в земле и дикому, как земля, первочеловеку. Прирожденному цинику захотелось крови стойка и эпикурейца. И дорвётся! И насытится! И

Бог не защитит... Бог ограничился тем, что сказал нравоучительную сентенцию: «Грех лежит у порога, но ты господствуй над ним». Однако побуждений и сил справиться с грехом Он, Всемогущий, не дал Каину, а дал почему-то греху побуждения и силы властвовать над человеком. И затем, когда праведный Авель повалился с раздробленным черепом, Господь высказал порицание убийце — не более, оградив его от самосуда родственников. Авель, может быть, сделал бы лучше вместо того, чтобы приносить жертвы, дым которых шел к небесам, — запасся бы хорошей дубиной против воплощенного дьявола, которого Господь послал ему вместо старшего брата. И несказанно в Библии, чтобы Авель воскрес и получил какое-то вознаграждение: что с возу жизни упало... Поваленное грозой дерево не поднимается. Взамен убитого аристократа Господь создал буржуя — Сифа, но каинисты возобладали и довели человечество до извращения плоти, до потопа. То, что совершается теперь, всегда было и всегда будет, только кажется трагически-жгучим, ибо касается нашей кожи. Всякая социальная и личная несправедливость от каинизма. Народ эту свою черту выразил не только в современной пугачевщине (или в старых бунтах), но и в таких явлениях, как феодальная тирания и опричнина Грозного.

Прислушивался Михаил Осипович к разгулу стихии. Какой материал для оперы будущего! Одновременно убийство Духонина и интронизация патриарха Московского! События напоминают предсмертный бред. Умиравшая Россия сразу припоминает все страстное, чем жила: и смуту, и вольницу, и тиранию, и пугачевщину, и патриаршество, и самозванство. И в этом бреду сгорали лучшие сыновья её, сгорало всё, рачительно накопленное веками... Эту трагедию предрекал Меньшиков. Народ, утративший национальное ядро и национальную веру, погибает...



Вера в Бога есть уверенность в высшем благе. Потеря этой веры есть величайшее из несчастий, какое может постигнуть народ. Уже одно колебание ведет к несчастью, тотчас возвращает нас в объятия безнадежного язычества, в царство зла... Эта вера в иные моменты колебалась и в самом Михаиле Осиповиче. Колебалась при виде того, как летит в пропасть Россия, подобно стаду, в которое вселились бесы. Ведь всё это беззаконие, всё самое отвратительное, низкое и жестокое сделали не татары, не японцы, не немцы, а собственное Отечество в лице современного народа-богоносца...

Целебен был воздух Валдая. Здесь, в одиночестве, отрешённый от любимого дела, Меньшиков более, чем когда-либо, ощущал возможность великой и подлинной веры.

Между тем, Россия рассыпалась на глазах. Хоть и предвидел Михаил Осипович, один из немногих, такой исход, а от этого нелегче было. Предпочёл бы тысячу раз ошибиться! А теперь уже иного выхода не было для России, нежели как обратиться в первозданный хаос с тем, чтобы из него родилось нечто новое, раз старое безнадежно сгнило и оказалось нежизнеспособно. Цель человеческого рода не в том, чтобы рассыпаться в стихию, ничем не обузданную, не управляемую никакими законами. Цель — не ветер, не ураган, не буря, хотя и бури закономерны. Цель — мир на земле и благоволение, тот прекрасный уклад жизни, который называется цивилизацией. Цель в том, чтобы каждый человек чувствовал себя по всей стране, всему земному шару столь же безопасным, как у себя в постели, чтобы всюду за тысячи верст он встречал к себе то же уважение, что за своим семейным очагом, ту же благожелательность, готовность каждую секунду прийти на помощь. Цель — искренне братство людей, созданных братьями... Вместо этого целью

провозгласили разрушение, а братство утопили в крови. На Валдае летом вспыхнуло восстание, были убитые и раненые, среди последних — благочестивый архимандрит, которого большевики взяли в заложники. Доходили слухи о потопленных в крови восстаниях в Новгороде и Ярославле. Слухи, слухи... Газет не стало. Письма доходили туго. Но и из крупиц картина вырисовывалась ясная. И созерцая её, вновь и вновь искал Михаил Осипович причины этой невиданной трагедии. Вновь и вновь называл их, поверяя дневнику и своим корреспондентам. Все беды наши — русских людей — те, что слишком много десятилетий (и веков) мы провели во взаимной ненависти, раздражении, точно в клоповнике или осинном гнезде... Все ужасы, которые переживает наш образованный класс, есть казнь Божия рабу ленивому и лукавому. Числились образованными, а на самом деле не имели разума, который должен вытекать из образования. Забыли, что просвещенность есть *noblesse qui oblige* (Благородство, которое обязывает (фр.)). Не было бы ужасов, если бы все просвещенные люди в свое время поняли и осуществили великое призвание разума: убеждать, приводить к истине. Древность оставила нам в наследие потомственных пропагандистов — священников, дворян. За пропаганду чего-то высокого они и имели преимущества, но преимуществами пользовались, а проповедь забросили, разучились ей. От того массы народные пошатнулись в нравственной своей культуре.

Выживать становилось всё тяжелее. Трудно было сводить концы с концами. По счастью, матушка Манюши, женщина характера ангельского, перебралась на Валдай, чтобы приглядывать за малолетними внуками. Вместе с нею занимался Михаил Осипович обучением детей, разделив поровну предметы. Дети овладевали иностранными языками, узнавали родную

историю и литературу, постигали азы различных наук. Великая ответственность и ни с чем несравнимое счастье — учить своих детей, видеть, как впитывают они то, что ты вкладываешь в них. И нет сомнений, что семена эти, тобой в их души зароненные, не выветрятся и дадут плод, даже когда тебя уже не будет. Дети были малы, и далеко не всё могли понять, далеко не всё можно было передать им. Но всё, что можно, и сверх того Меньшиков передать спешил, спешил, чувствуя, что недолго ему оставаться с ними (а как бы хотелось — подольше!), старался успеть заронить в их души основы, которые бы они, возрастая без отцовского пригляда, не забыли, сберегли на всю жизнь. Манюша хлопотала о пропитании семьи, стряпала, хозяйничала. А цены всё стремительнее летели вверх. И, вот, кроме всевозможных притеснений со стороны новой власти нависала угроза ещё большая — угроза голода. Ждать помощи было не от кого. Все ещё остававшиеся в живых друзья находились в положении не лучшем. Оставалось уповать лишь на Господа Бога. Сам себя заговаривал Михаил Осипович от уныния, время от времени овладевающего сердцем: Помни, что уныние есть недоверие к Богу, т. е. к своим безмерным силам, скрытым в тебе. Уныние есть нравственная измена себе. Помни, что до момента гибели уныние есть не только нечестие, но и ошибка. Тебе плохо известны настоящие условия и еще хуже будущие. То, что ты существуешь и мог бы быть блаженным, если бы не отравлял себя страхом за будущее, показывает, что до сих пор не известная тебе формула твоей жизни слагалась из сравнительно благоприятных данных. Почему страшиться, что впредь будет иначе? Впереди, как назад, как сейчас: будет хорошее, будет дурное. И — помогало...

А всё же одной надежды на Бога было мало. Нужно было предпринимать что-то. Не для себя, но ради

детей, у которых он был единственным кормильцем. Люди, тонущие, спасаются кверху, и во множестве малых опасностей это правильный прием. Но радикальный способ спасения — книзу, в смерть. Это не игра словами: страшна ведь не смерть, а умирание, сознание гибели. Анестезировать себя навсегда, вот — все. Беднеющие люди спасаются кверху, в богатство — необыкновенно трудная вещь. Вернее спастись в нищету... О, если бы быть одному! Взял бы котомку и пошел побираться Христа ради. Но разве не большим было бы несчастьем остаться одному, без самых дорогих и милых, которые только и согревают душу своим теплом в окаянные годы? Ради них готов был Меньшиков оставить полюбившийся сердцу Валдай, райский уголок, который ближе других был к небу, к Богу. Тяжко было покидать его, но необходимость этого шага становилась всё очевиднее. Ездил в Москву. Там — сулили работу. Работа эта дала бы возможность прокормить детей, поставить их на ноги. И, переступая через себя, почти решился Михаил Осипович окунуться в ненавистную суету, перебраться в Первопрестольную... А из Саратовской губернии писали, будто бы там, в уездном городке, легче прокормиться бедным людям. А хоть бы и туда! Уездный город лучше Москвы, тише. И уже серьёзно обсуждали возможность переезда туда с Манюшей.

Но — не случилось.

Всё произошло ранним субботним утром. Встали, как обычно, в семь утра. Собирались садиться завтракать. Михаил Осипович завершал утренний туалет. Внезапно прибежала десятилетняя дочь, Лида, сказала встревожено:

— Папа, к тебе солдаты!

Михаил Осипович вытер лицо и, повесив полотенце, повернулся навстречу нежданым визитёрам. Четверо солдат вошли в комнату.

— Вы товарищ Меньшиков?

— Да.

— Товарищ Меньшиков, мы должны у вас сделать обыск.

— Пожалуйста.

На лице Манюши отразился испуг. Перепугана была и Лида. На шум прибежали остальные дети, а следом за ними пришла и бабушка. Солдаты методично принялись за дело, рылись в комод, перебирая всякую мелочь. Увидав авторский значок, старший солдат заявил:

— Это монархический значок!

У самого разоблачителя точно такой же значок висел на груди. Манюша заметила это и выговорила:

— А у вас что это болтается, скажите, пожалуйста.

— Это? Это тоже монархический значок.

— Ну, вот видите. Вы его еще носите, а у нас он только лежит в комод.

Перерыв все шкафы, перевернув вверх дном буквально весь дом, «товарищи», наконец обнаружили «оружие» — старенький кортик, который Михаил Осипович берёт в память о годах юности, прошедших в морских походах.

— Почему кортик не был сдан своевременно?

Показал им квитанцию о своевременной сдаче оружия и разрешение на хранение кортика. Не унялись. Что же нужно было найти им! Хоть любую мелочь, чтобы уцепиться! Вытряхнули из чемодана все старые дневники, письма, вырезки из «Нового времени». Раскидав всё это и ничего не найдя, наконец, объявили главную цель своего прихода:

— Товарищ Меньшиков, мы должны вас арестовать.

— Как?! — вскрикнула Манюша, бледнея. — За что? Что он сделал? Ведь вы ничего не нашли! Разве можно так ни с того, ни с сего уводить из дома мирного обывателя, ни в чем подозрительным не уличенного? Так нельзя! — говорила она с отчаянием, вглядываясь

полными слёз глазами в бесчувственные лица солдат, надеясь убедить их...

Перепуганные дети стали плакать, умолять «гостей» не уводить их папу. Сердце разрывалось от этой картины! Попытался Михаил Осипович успокоить своих — но безрезультатно. Бедная Манюша бросилась перед солдатами на колени, содрогаясь и захлёбываясь от рыданий:

— Пожалуйста, не губите! Не уводите моего мужа! Не отнимайте у детей отца! Оставьте его с нами! Ведь он ни в чём не виноват! Оставьте...

Старший солдат лишь поморщился, бросил презрительно:

— Вы культурная дама и так поступаете.

— При чем тут культура! — вскрикнула Манюша. — У детей хотят отнять отца, у меня — мужа! Человек сидел у себя дома, безропотно перенося всё. Ни в каких заговорах или попытках восстановить старое не участвовал, учил своих детей. Никого он не трогал, никого не проклинал, подчинялся всем декретам, приспособлялся к новой жизни, и вот ни за что уводят куда-то, обижают его и нас!

Видя безысходное горе матери, её искажённое отчаянием лицо, с прилипшими к мокрым от слёз щекам, растрепавшимися волосами, дети заплакали ещё сильнее.

— Прекратите! — велел солдат, хмурясь. — Ничего не сделают с вашим отцом! Допросят и отпустят на все четыре стороны! Товарищ Меньшиков, собирайтесь!

— Разрешите хотя бы одеться и выпить стакан чаю.

— Только быстрее!

Одевшись и выпив чай, Михаил Осипович простился по очереди с женой и всеми детьми, перецеловал их заплаканные лица, успокаивал, как мог, обещая скоро вернуться и не веря в то, перекрестил напоследок каждого, выйдя из родного дома, в последний раз

обернулся, взглянул на него, на стоявших на крыльце родных и, окружённый стражей, отправился в тюрьму...

Тюрьма — большое испытание для каждого человека. Камера — каменный мешок, железные решетки, железные двери всегда на замке, выпускают только в отхожее место да на прогулку, когда хорошая погода. Одно было хорошо — повезло с сокамерниками. Ими были местные купцы, заключённые с тем, чтобы вытрясти из них последние накопления, огромную контрибуцию в качестве платы за свободу. Шесть человек в маленькой комнате. Духота, отсутствие тишины даже ночью. Никакой возможности спать. Зато товарищи по несчастью, люди добрые и предупредительные, делились своей провизией, которой, правда, совестно было пользоваться. Но ещё невозможнее было просить своих. Ведь у них всякий кусок хлеба на счету. А Манюша старалась принести ещё и суп, и что-нибудь вкусное. Умолял её носить меньше, не обделять детей. Кусочка хлеба и бутылки молока более чем достаточно. Но Манюша всё же стремилась принести больше, побаловать... От пайка тюремного легко было умереть от истощения. Порция хлеба до полуфунта в день... А хлеб этот два пуда жмыхов на пуд ржи (рожь, вероятно, воруют), похожий на грязь. И ещё щи. Скверные, без соли. Купцы приплачивали за прибавку мяса по пять рублей в день. Тоскливо было думать о том, что будет, когда эти почтенные и порядочные люди, по два раза на дню читающие акафист Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу, сообщая молящиеся, вежливые и опрятные, выплатят выкуп и покинут узилище. Придется проситься или в одиночное заключение, или посадят в компанию с ворами, убийцами. Тут не оберешься оскорблений, воровства, вшей. С такими страшно ночевать даже одну ночь...

Не столько смерти боялся Михаил Осипович, сколько окончательной потери и без того подорванного лишениями и годами здоровья. Спать приходилось на полу холодной, неотапливаемой, грязной каморки. Пыль и грязь, отсутствие свежего воздуха, плохое питание — того и гляди схватишь чахотку. А схватишь её — и куда дальше? Своим уже не помощник, не работник, не кормилец. Лишнее бремя. Размышляя об этом, решил обратиться к врагу. К Горькому. Всё-таки сам сидел. И болел чахоткой. И на власть имеет влияние. Может быть, не откажет в помощи?

Попросил Манюшу присылать детей в прилегающий к тюрьме сад. Хотелось хотя бы издали повидать их. Они пришли. Печальная Лида, младшие, ещё не понимающие горя, резвые, двое самых меньших оставались дома. Благословлял их, посылал воздушные поцелуи и не мог наглядеться. Хоть бы раз ещё обнять! Пришла и сама Манюша. Стояла, смотрела, плакала, делала знаки, и он отвечал ей. Свидания, которого так добивалась она, не разрешили. И это безмолвное общение было всё, что осталось им, но и без слов, одними глазами и жестами — сколько сказано было! Столько и во всю жизнь не скажешь... В немом разговоре прошло сорок минут. Подал знак им, чтобы уходили. И они ушли, удручённые, притихшие... Перечёл их дорогие письма. «Как нам скучно без тебя. Мама все плачет. Как ты спал, хорошо ли? Кушал ли ты? Нам так без тебя скучно, что мы обедаем и пьем чай в кухне. Мы все здоровы и молимся о тебе. Дорогой папочка, нам очень жаль тебя...» — Лида. И от Гриши ещё: «Приходи скорее, милый папочка, мы так скучаем без тебя. Целую тебя крепко, крепко, крепко».

Милые, они верили, что папа вернётся, они ждали. А сам Михаил Осипович уже понял, что вернуться ему не суждено. И прямо сказал комиссар Давидсон, юноша интеллигентный с глазами печальными:



— Можете быть покойны. Вы свободы не получите!

— Это месть?

— Да, месть за ваши статьи. Я вам никогда не прощу.

Накануне надзиратель сказал, что никакая передача «гражданину Меньшикову» не разрешается. Должно быть, осудили без всякого допроса... Члены суда и руководители местной ЧК, Якобсон, Давидсон, Гильфонт и Губа, даже не скрывали, что арест и суд Михаила Осиповича — месть за его старые обличительные статьи против евреев. Называли их погромными, говорили, будто он принадлежал к Союзу русского народа... Обвинения сплошь лживые, но они искали не правды, а мести. Еврей-следователь лишил Меньшикова права прогулки и сказал, что «пощады не будет», что его погромные статьи в руках суда и будут предъявлены ему на суде. И ясно стало, как день, что подведут под расстрел. Смерть мало пугала Михаила Осиповича. Весь последний год, усыхая и слабея от голода и скорбей, он предчувствовал близость её, готовился к ней. И лишь мысль о судьбе родных разрывала сердце, мучила бессонными ночами. Накануне «суда», понимая, что конец близок, написал им последнее письмо, письмо-завещание: «Дело мое плохо. Евреи, очевидно, решили погубить меня, и я доживаю последние мои часы. Ты не волнуйся, дорогая Манюша, перетерпи скорбь и после моей смерти мужественно защищай семью от гибели сама, как умеешь. Ищи помощи у добрых людей. Расскажи детям, что я умер невинною жертвою еврейской мести. Горячо целую их заочно и благословляю на все доброе. Попроси родных твоих помочь тебе. Пусть дети, когда вырастут, читают мои книги. Пусть будут честными и добрыми людьми. Пусть вспоминают меня и верят, что я любил их, как свою жизнь. Простите меня, Христа ради, что я был слишком беспечен и не уберег себя и вас. Сегодня от вас нет

весточки, и я беспокоюсь, нет ли нового обыска у вас или каких-нибудь насилий. Суд, вероятно, будет сегодня, а завтра меня не будет в живых — разве «Чудо Архистратига Михаила» (6 сент.) спасет. Молюсь моему Богу о спасении, но не надеюсь на него.

Боже, как хотелось бы мне лично обнять вас и перецеловать. Ну, что делать. Стало быть, не судьба, дорогие мои, дожить остаток дней мирно и тихо, как мечтал я все время, отдав себя одной заботе — воспитанию детей. Умирал бы спокойно, если бы знал, что вы счастливы, но почему-то Бог излил на меня ярость свою, и я гибну в сознании, что я оставляю вас всех в тяжком и беспомощном положении. Ну, да никто как Бог и, может быть, Он спасет вас раньше, чем вы думаете. Лишь бы самим не подавать повода к худшему. Еще раз прошу тебя, дорогая Маня, простить мне за все огорчения и обиды, вольные и невольные, как я от всего сердца прощаю тебе все, а за твою любовь и ласку и тяжкую заботу бесконечно благодарю...

Запомните — умираю жертвой еврейской мести не за какие-либо преступления, а лишь за обличение еврейского народа, за что они истребляли и своих пророков. Жаль, что не удалось еще пожить и полюбоваться на вас. Сейчас звонят к вечерне. Последний звон мой в моей жизни. Слышите ли вы его? Слышите ли вы меня, мои любимые. Если есть за гробом жизнь, она вся будет наполнена мыслью о вас. Целую тебя, дорогая Маня, возвращаю кольцо обручальное и последние мои гостинцы для вас», — приложил к письму несколько кусочков сахара и леденцов, снял с пальца кольцо и, поцеловав его, приложил также. Этот пакет должен был передать Манюше сын купца Савина.

Настало двадцатое сентября. Седьмой день заключения. Пятница. В середине дня стража вызвала Михаила Осиповича из камеры и повела в здание

Штаба, где должен был проходить «суд». В зале присутствовало несколько солдат и обывателей. Не было ни вопросов, ни адвоката, ничего, что могло бы напоминать суд настоящий. Комиссар Губа, молодой еврей с тонкими чертами смуглого лица зачитал приговор. Расстрел. Меньшиков выслушал его спокойно. Он был готов к этому вердикту.

— Что вы имеете сказать?

Кому — сказать? Вам и вашим подручным, поклявшимся «не простить»? Вам давным-давно сказано всё. И добавить — нечего. Ничего не ответил Михаил Осипович. Заложил руки за спину и, вновь в окружении стражи, покинул зал, чтобы отправиться в свой последний путь.

Через каких-то две недели должно было стукнуть ему пятьдесят девять лет. Немалый жизненный путь лежал за плечами. Немало сделано было на нём. И, если взглядеться, то не вёл ли он весь — к этому дню? К этому финалу? Мог ли сложиться иначе?

Михаил Осипович Меньшиков появился на свет в Псковской губернии, в городе Новоржеве. Детство его прошло в крестьянской избе, хотя родители не имели никакого отношения к крестьянам: отец, сын сельского священника носил самый низший чин в Империи — коллежского регистратора, мать происходила из дворянского рода, совершенно, однако, разорившегося. Жили бедно, едва сводя концы с концами. Из-под родительского крова по протекции дальнего родственника юный Миша отправился в Кронштадт, в морское техническое училище. Море звало его, о море с его необъятным, неохватным пространством он мечтал в тесной избе, но, кроме моря, начинало пробуждаться и ещё одно влечение — тяга к перу. И в Кронштадте будущий моряк вместе с несколькими единомышленниками впервые приобщился к журнальному делу, наладив выпуск ученического

журнала. Впрочем, тогда ещё не думалось, что не море, а именно журналистика станет главным делом его жизни.

Флоту было отдано Михаилом Осиповичем почти двадцать лет жизни, в которые он ходил в дальние плавания штурманом и инженером-гидрографом. И флоту были посвящены его первые статьи, ставшие появляться в печати в начале Семидесятых. Одна за другой вышли книги «По портам Европы», «Руководство к чтению морских карт русских и иностранных», «Лоции Абоских и восточной части Аландских шхер»... Новое призвание овладевало им всё отчётливее, и, дослужившись до чина штабс-капитана, Меньшиков вышел в отставку и стал постоянным корреспондентом петербургской «Недели», а затем секретарем и ведущим литературным критиком и публицистом этой газеты и ее приложений.

Его острые статьи имели большой успех у читателей. Большой талант «Морячка», как прозвал его Чехов, признавали и в литературных кругах.

— Я зол на вас за то, что вы не верите в свой талант. Даже письмо ваше художественно. Пишите — ибо это и есть ваша доля на земле! — горячо наставлял Меньшикова трогательно заботливый, прозрачный от болезни Яков Надсон. Этот совсем молодой человек, поэт, обожаемый публикой, стремительно угасал от пожирающей его чахотки. «Пишите — ибо это и есть ваша доля на земле!» — этот завет почившего друга Михаил Осипович исполнил.

Он писал, не зная усталости и творческого простоя. Писал обо всех проблемах русской жизни. Не было недели, в которую из-под его пера не вышло бы нескольких крупных статей. Статьи, опубликованные в «Неделе», выходили потом отдельными книгами. Вначале влиял на Меньшикова Толстой. Сильно поразили его нравственные идеи графа. И следуя им в

тех ранних статьях Михаил Осипович склонен был к морализаторству. Лев Николаевич называл их превосходными, и дорог был отзыв его: «Я давно знаю Вас и люблю Ваши писания». И не менее дорог — Лескова: «Я высоко ценю Вашу дружбу, люблю Вас».

Но самые крепкие узы связали Меньшикова с Чеховым. Удивительным человеком был Антон Павлович. Так чудно сочетался в нём глубокий ум, лёгкий, тонкий юмор, высокая подлинная интеллигентность, природная, а не играемая, как у иных. Поглотила и его во цвете лет ненасытная чахотка, и утраты этой никак, никем восполнить нельзя было. Так и осталась — брешь.

— Вы интересный человек и статьи ваши наводят на тысячу мыслей, и является желание написать вам и побеседовать с вами... Если бы я издавал журнал, то непременно пригласил бы вас в сотрудники и был бы огорчен, если бы вы отказали мне... — говорил Чехов.

Сам Антон Павлович издавать журнала так и не стал. Но вместе с братом Александром стал активнейшим сотрудником суворинского «Нового времени». Уговорили и Михаила Осиповича влиться в их дружный коллектив. «Неделя» к тому времени была закрыта, и Меньшиков предложение принял.

«Новое время» в ту пору безраздельно господствовало над умами. Эту газету читали от Балтики до Камчатки, ни одно издание не могло сравниться с ней ни тиражами, ни влиянием. Кроме Чеховых и Меньшикова, в ней подвизались многие замечательные авторы, включая Розанова. «Новому времени» отдал Михаил Осипович семнадцать лет жизни, став ведущим публицистом издания. Его «Письма к ближним» с рассуждениями о самых разных, самых больных вопросах русской жизни стали эпохой в истории русской журналистики.

Во все времена публика особенно чтит поэтов. Но может быть и публицистика не менее крылатой, чем поэтические строфы, может и она звенеть подобно лире. Что есть Публицистика? Десятая муза, которая каждое утро входит к вам запросто, пьет с вами кофе и беседует оживленно о том, что делается на свете, и является незаменимым руководственным компасом для общества. Что как не публицистика лучше поможет обществу выработать свои идеалы, понять свой путь? Ветхозаветные пророки были не поэтами, а именно публицистами, первыми в истории! И к заданной ими недостижимой высоте должен стремиться всякий публицист.

Все жанры важны и прекрасны, но в наступающем Двадцатом веке важнее всех — Публицистика. Лишь она с её мощью призвана влиять на умы людей, формировать общественное мнение. При стремительно увеличивающемся количестве газет и журналов слово печати становилось важнее слова правительства, важнее слова священника. Общество внимало газетам, газеты становились ристалищем, где сталкивались противоположные идеи. Освещать жизнь невозможно без посредства печати, а не освещая жизни, нельзя создавать истинное сознание общества. Гаснет свеча веры, гаснет мужество, а с ними гаснет и простое понимание действительности. Воцаряется тьма и трусость, свойственная тьме. А за трусостью следует самоизмена. Одна беда: большая часть газет и журналов жизни не освещали, а вносили в неё ещё больше смрада и морока. Подавляющая часть изданий была нерусской, враждебной русским интересам, и заправляли там — инородцы. И если бы это преобладание обусловлено было хотя бы настоящим талантом! Ничуть не бывало. В том-то и беда, что инородцы берут вовсе не талантом. Они проталкиваются менее благородными, но более

стойкими качествами — пронырливостью, цепкостью, страшной поддержкой друг друга и бойкотом всего русского. В том-то и беда, что чужая посредственность вытесняет гений ослабевшего племени, и низкое чужое в их лице владычествует над своим высоким. И доминирование это устанавливалось не только в печати, в финансах, но и повсеместно. Но печать ли не была важнее многих иных сфер? Потому важнее, что её змеиный яд отравлял мозги и души. И за них шло сражение. И тем выше должен был быть дар публициста, чтобы взять в этом сражении верх. Настоящий публицист всегда являлся и является выразителем души общества, а если он артист слова, то через него толпа постигает смысл времени, какой самому читателю не всегда постижим и ясен. Публицистика призвана не погрязнуть в мелких дрязгах, но выразить национальное «я» русского народа, преступно и опасно забытое, сформулировать национальное общественное мнение, пробудить его. Публицистика должна стать собственным голосом нации, выраженным литературно.

В своих «Письмах к ближним», выходявших год за годом, читавшихся во всех уголках России, Михаил Осипович сам сделался голосом нации, голосом вопиющего в пустыни. Обличал с беспощадностью библейских пророков пороки своего народа и племён пришлых, пороки власти и пороки общества, взывал отчаянно: Думайте о государстве! Думайте о господстве России!.. Думать о государстве — значит думать о господстве своего племени, о его хозяйских правах, о державных преимуществах в черте русской земли.

Год за годом, наживая всё новых врагов, бил Меньшиков в один и тот же набат, видя близящуюся пропасть. И все статьи его были — звоном вечеревого колокола, скликавшего народ соединиться перед лицом надвигающейся опасности. Блаженный Августин,

защищая христиан от обвинения в разрушении Римской империи, писал: «Что касается до чувства патриотизма, то разве оно не было разрушено вашими собственными императорами? Обращая в римских граждан галлов и египтян, африканцев и гуннов, испанцев и сирийцев, как они могли ожидать, что такого рода разноплемённая толпа будет верна интересам Рима, который преследовал их? Патриотизм зависит от сосредоточения, он не выносит разъединения». Всё это повторялось в России. Слово «русский» стало окончательно прилагательным. Русский еврей, русский армянин, русский поляк... А самих русских отодвинули в сторону. Самого русского имени стали стыдиться. Стыдиться не только в интеллигентских салонах, но и во власти. Вымылось национальное начало и из образованного общества, и из властной бюрократии. Что говорить, если пресловутое «ведомство странных дел» целиком в нерусских руках оказалось! Да ещё назначали туда сплошь братьев жён да мужей сестёр, племянников да кузенов, ни имевших никаких данных для своих должностей. А проштрафился кто из них, так его на другое место — с повышением! Можно ли удивляться после этого той феноменальной бездарности, которой стала отличаться русская дипломатия? А финансы! Финансы все в инородческих руках. А ещё не с ума ли сбрели, когда изрядную сумму казённых денег вложили в немецкие банки как раз незадолго до войны? — и пошли они на оружие против России. Даже землю, исконно русскую, пользуясь продажностью чиновников, захватывали бойкие инородцы. В Государственную Думу от русских областей выбирали их же! Да ведь для всякого русского заповедью должно быть: не должна русская рука проводить в парламент инородца! И становились русские уже не господствующим племенем, а



сторожами при племенах иных, ставшими господствовать на их земле.

Русские утратили царственное чувство собственности в отношении своей исторической и национальной славы. Вместо неё, в небрежении заброшенной, навязывали народу всевозможные общечеловеческие и демократические ценности. Довели Россию до того, что стала она бояться себя, своих размеров, своего лица, своего места в мире. Великан стал бояться оскорбить своим ростом лилипутов, стал пытаться натянуть на себя их одежды. Отречение от самих себя, забвение славы предков, трусость перед чужим мнением — всё это с каждым годом ослабляло русский организм, грозило России упадком.

Чувство победы и одоления, чувство господства на своей земле годилось вовсе не для кровавых только битв. Отвага нужна для всякого честного труда. Все самое дорогое, что есть в борьбе с природой, все блистательное в науке, искусствах, мудрости и вере народной — все движется именно героизмом сердца. Всякий прогресс, всякое открытие сродни откровению, и всякое совершенство есть победа. Только народ, привыкший к битвам, насыщенный инстинктом торжества над препятствиями, способен на что-нибудь великое. Если нет в народе чувства господства, нет и гения. Падает благородная гордость — и человек становится из повелителя рабом... Мы в плену у рабских, недостойных, морально-ничтожных влияний, и именно отсюда наша нищета и непостижимая у богатырского народа слабость.

Этой губительной расслабленности, угасанию национального самосознания, нравственной деградации народа противостоял Меньшиков. Каждому русскому сердцу возглашал: Так жить слишком трудно, как мы живём — в унынии и бесславии. Так жить нельзя. Все, в

ком жива Россия, в ком жива родная история, в чьих жилах льётся кровь создателей великого государства, мучеников за него и страстотерпцев, все любящие Отечество своё и готовые отдать за него жизнь свою — пусть спешат, пока не поздно! Пусть не откладывают тревоги на будущее — положение России грозно сейчас. — Что можем мы? — бессильно вздыхают рассеянные, растерянные русские люди, из которых каждый чувствует себя одиноким. Отвечу: мы можем соединиться. Это единственное средство почувствовать нашу соборную силу и поднять упавший дух. «Копитесь, русские люди!» — писала бедная царица Марфа в эпоху Смуты. Собирайтесь и собирайте дух свой — и едва ли на земле найдётся сила, которая могла бы сломить проснувшийся дух народный!

В 1908-м году Михаил Осипович стал идеологом Всероссийского Национального Союза, созданного при поддержке правительства в лице его председателя Столыпина. В Союз вошли умеренно-правые элементы образованного русского общества: национально настроенные профессора, военные в отставке, чиновники, публицисты, священнослужители. Членами Всероссийского Национального союза были многие известные ученые, такие как профессора Павел Николаевич Ардашев, Петр Яковлевич Армашевский, Петр Евгеньевич Казанский, Павел Иванович Ковалевский, Платон Андреевич Кулаковский, Николай Осипович Куплеваский, Иван Алексеевич Сикорский и другие.

По уставу союза, целями его были:

— борьба за единство и нераздельность Российской Империи;

— ограждение во всех ее частях господства русской народности;

— укрепление сознания русского народного единства и упрочение русской государственности на

началах самодержавной власти царя в единении с законодательным народным представительством.

Главную задачу Всероссийского Национального союза Меньшиков видел в том, чтобы национализировать парламент, а через него — и всю страну. В своих статьях он выразил существо русского национализма:

...Мы, русские, нуждаемся в общечеловеческом опыте и принимаем всё, что цивилизация даёт безусловно полезного. Но Россия в данный момент её развития совершенно не нуждается в услугах инородцев, особенно таких, которых фальсификаторская репутация установлена прочно. Россия — для русских и русские — для России. Довольно великой стране быть гостеприимным телом для паразитов. Довольно быть жертвой и материалом для укрепления своих врагов. Времена подошли тяжёлые: извне и изнутри тысячелетний народ наш стоит как легкодоступная для всех добыча. Если есть у русских людей Отечество, если есть память о славном прошлом, если есть гордое чувство жизни — пора им соединиться...

...Нельзя любить и нельзя гордиться тем, что считаешь дурным. Стало быть, национализм предполагает полноту хороших качеств или тех, что кажутся хорошими. Национализм есть то редкое состояние, когда народ примиряется с самим собой, входит в полное согласие, в равновесие своего духа и в гармоническое удовлетворение самим собой...

...Национализм есть всемерное отстаивание величия России в настоящем всеми средствами современной нам эпохи. Чтобы там ни говорили, национальной партии непременно принадлежала бы власть, если бы партия эта имела мужества быть собой...

А мужества не хватало. Сановники опасались связывать свои имена с национальным движением.

Общественные деятели смиряли свои взгляды страха ради либерального. Серьёзные трудности были с финансированием. Члены партии ограничивались трехрублёвыми взносами, которых никак не могло хватить на нормальную деятельность. Предложение Михаила Осиповича ввести более широкое самообложение было встречено холодно. Правда, наиболее вовлечённые в политическую борьбу несли на себе материальную тяжесть этой борьбы, но не годилось же, чтобы законодательные палаты были доступны лишь богачам. Нужен капитал партии, который выдвигал бы к верхам не состояния, а таланты.

Несмотря на большое уважение к Столыпину, проводившему национальную политику и всемерно отстаивающему интересы русского народа, Меньшиков категорически отверг возможность партии пользоваться материальной помощью правительства, хотя деньги требовались на издание печатного органа Национального Союза. Ни одна из уважающих себя партий не может служить правительству, хотя все порядочные партии должны поддерживать правительство в его полезных стране действиях. Единственно, от кого национальная партия может признать свою зависимость, это от нации, и только народно-общественная поддержка могла бы быть принята с благодарностью. Эту поддержку следует искать, как ищут золото в земле. Служа своей национальности, являясь рабочим органом её, партия имеет право не только просить, но и требовать средств для своей работы. А средств — не было. Поддержка оказывалась явно недостаточной. Денег на издание газеты так и не удавалось найти. И ясно было одно: ещё много-много нужно работы, чтобы собрать растерянную национальную силу и сосредоточить её до неугасимого горения...

Враги обвиняли Союз и его главного идеолога во всех смертных грехах: в шовинизме, в ненависти к другим народам, в желании поразить их в правах. Целые книги писались в ответ на выступления Меншикова, захлёбывалась ядом инородческая печать, приходили письма с угрозами. Михаил Осипович парировал все нападки:

...Что касается ругательных писем, то они, как и гнусные статьи в инородческой печати, мне доставляют удовлетворение стрелка, попавшего в цель. Именно в тех случаях, когда вы попадаете в яблоко, начинается шум: выскакивает заяц и бьет в барабан или начинает играть шарманка. По количеству подметных писем и грязных статей публицист, защищающий интересы Родины, может убедиться, насколько действительна его работа. В таком серьезном и страшном деле, как политическая борьба, обращать внимание на раздраженные укоры врагов было бы так же странно, как солдату ждать из неприятельских окопов конфеты вместо пуль...

...Русские патриоты проповедуют не ненависть, а лишь осторожность в отношении инородцев...

...Я уже много раз писал, что вполне считаю справедливым, чтобы каждый вполне определившийся народ, как, например, финны, поляки, армяне и т. д., имели на своих исторических территориях все права, какие сами пожелают, вплоть хотя бы до полного их отделения. Но совсем другое дело, если они захватывают хозяйские права на нашей исторической территории. Тут я кричу, сколько у меня есть сил, — долой пришельцев!..

...Инородцы вопят, что национализм русский — «черносотенство», «человеконенавистничество» и т. п. Всё это низкая ложь. Национальное движение есть порыв русских людей к свободе и единодушию; не ненавистью оно вызвано, а необходимостью

самозащиты. Национальное движение не только не чуждо самым святым идеалам цивилизации, но оно именно стремится к ним — только без фактических услуг наших внутренних чужеземцев. Националисты хотят видеть Россию свободной, просвещённой, сильной, справедливой, но думают, что это совершенно невозможно, прежде чем Россия не сделается русской и хоть сколько-нибудь единой...

...Враги русского национализма лгут, будто цель нашей партии — обидеть инородцев, искоренить их. Конечно, это жалкая клевета. Не нападать на чужие народности мы обираемся, а лишь защищать свою. На известном расстоянии все народы — братья и дорогие соседи. Желая мира, мы не хотели бы слишком наглого залезания милых братьев в наше Отечество и хозяйничанья их в нашем государстве. Мы не восстаём против приезда к нам и даже против сожительства некоторого процента инородцев, давая им охотно среди себя почти все права гражданства. Мы восстаём лишь против массового их нашествия, против заповенения ими важнейших наших государственных и культурных позиций. Мы протестуем против идущего завоевания России нерусскими племенами, против постепенного отнятия у нас земли, веры и власти. Мирному наплыву чуждых рас мы хотели бы дать отпор, сосредоточив для этого всю энергию нашего когда-то победоносного народа...

В сентябре 1911-го года в Киеве был убит Столыпин. Самая крупная фигура политической России убрана... Мордка Богров, украшение еврейской адвокатуры, заявил, что только страх вызвать еврейский погром остановил его от покушения на жизнь Монарха. Убивая же первого министра, очевидно, он не боялся за такие последствия: он знал, что русское правительство ни за что не допустит погромов, и он не ошибся. Но если всё так, то 1 сентября устанавливается прямой террор

евреев над русскими министрами. Министров нельзя выбрасывать из сословия, как русских адвокатов, нельзя лишать их практики и куска хлеба. Министров нельзя бойкотировать, как русских писателей, врачей, актёров, музыкантов, нельзя их слишком уж нагло оплёвывать в печати и обволакивать их репутацию грязной клеветой. Ну что ж, у евреев остаётся ещё одно средство против неугодных им министров, почти безнаказанное: именно то, что они применили к несчастному П.А. Столыпину. Его убрали, и посмотрите, какая благоприятная для евреев сложилась атмосфера, какого могучего защитника своих интересов они приобрели, и как сразу национальная волна пошла на убыль. Разве это не террор над нашей государственностью? Великий народ наш не замечает, до какого унижения дошёл он!

После гибели Столыпина наметившийся национальный подъём пошёл на спад, разрушительные силы преобладали всё больше, а атмосфера становилась всё более затхлой. Наследство убитого реформатора ещё создавало фундамент для потенциального развития в нужном направлении, но этой пашни некому было возделывать. Начиналось гниение. И наружный блеск, и патриотический подъём первых месяцев войны не мог обмануть Меншикова, и подобно ветхозаветным публицистам он прозирал: России, как и огромному большинству ее соседей, вероятнее всего, придется пережить процесс, какой Иегова применил к развращенным евреям, вышедшим из плена. Никто из вышедших из Египта не вошел в обетованный Ханаан. Развращенное и порочное поколение сплошь вымерло. В новую жизнь вступило свежее, восстановленное в первобытных условиях пустыни, менее грешное поколение...

Но и сознавая это, до самого Семнадцатого года, когда закрыли «Новое время», продолжал Михаил

Осипович свою борьбу, одиноким воином выстаивая несокрушимо под градом стрел. Эта борьба, ставшая существом жизни, обречена была оборваться вдруг, на высокой точке. И эту точку не пуле ли было поставить? Прямым был путь, как стрела. Шёл, неизгибно и неуклонно — во имя национальной России — к валдайскому эпилогу.

Вечевой колокол осуждён был замолчать, чтобы набатный звон его уже никогда не пробудил бы от позора и беспамятства обезумевший и предавший самого себя новому игу русский народ.

Орава красноармейцев с гиками и смехом выкатилась из здания Штаба. Михаил Осипович шёл между ними, ветер трепал полы его старого, изношенного пиджака. Он озирался по сторонам, ища знакомого или хотя бы просто сочувственного человеческого лица. И вдруг увидел — своих... Его дети, гулявшие вместе с няней, укрылись здесь под навесом от надвигающегося дождя, первые капли которого уже разбились о землю. Они были так близко, что Меньшиков рванулся к ним, невзирая на стражу, подхватил на руки маленькую Танечку, расцеловал её, перекрестил. Наклонился и к тянувшейся к нему Машеньке, но тут последовал грубый окрик:

— Шагай вперёд! И без проволочек!

Михаил Осипович обернулся, произнёс гордо:

— Это — мои дети, — вновь взглянув на детей, прибавил: — Прощайте, дети! — и вернувшись к недовольной страже, продолжил путь.

Шли знакомым переулком к берегу озера. Меньшиков любил гулять здесь, созерцать тёмно-синее зеркало Валдая и белые стены Иверского монастыря за ним. Всё дышало здесь покоем и благолепием, всё пронизано было присутствием Бога.

А теперь — покоя не было. Ветер гнул деревья, нещадно обрывая их золотистое убранство. Ещё с утра



нахмарилось небывалое здешнее небо, а теперь разрыдалось отчаянным ливнем, и забушевало, загудело озеро. Волны его так швыряли привязанные к берегу лодки, что, казалось, вот-вот сорвут их и унесут, и ввергнут в пучину. Гневался Валдай и в гневе был похож на кипящий кубок, клокочущий, гремящий.

Красноармейцы матерились, проклиная разгулявшуюся стихию. Участвовать в расстреле они отказались, заявив, что в палачи не нанимались. Послали за чекистами. Михаил Осипович повернулся к страже спиной, опустил на колени и, глядя на Иверский монастырь, стал молиться.

Наконец, явились чекисты во главе с Давидсоном. Этот безусый юноша ещё на допросе сказал с ненавистью:

— Я сочту за великое счастье пустить вам пулю в лоб.

Пришёл исполнить мечту... А комиссар Губа привёл в подмогу двух сыновей, мальчиков тринадцати и четырнадцати лет. И им тоже дали оружие, с младых ногтей приучая к кровавому ремеслу.

Меньшиков обернулся к палачам, выпрямился. Посмотрел с мукой на детей, которые прибежали сюда следом за ним... И дети, и няня промокли насквозь, дрожали от холода и рыданий. Бедные, бедные, что будет с ними?..

— Стать спиной!

В глаза смотреть не желают? Конечно, в спину поподлому — это им больше подходит. Это в их традиции...

Первый залп дали для устрашения. Только кисть руки оцарапали, вырвали кусок мяса. И расстрелять не могут, не поглумившись, не потянув своего удовольствия... Оглянулся, взглянул через плечо.

— Пли!

Новый залп. И страшная, жгучая, разрывающая боль — под сердцем, и чуть повыше желудка. Михаил Осипович упал на землю, судорожно хватая её рукой. И в тот же миг подскочил к нему торжествующий Давидсон, выхватил револьвер и приставил дуло к виску умирающего. Настал миг его «великого счастья». Заволакивало тьмой глаза, а в ушах слышались, мешаясь — негодующий рёв Валдая, ругань солдат и горький плач детей, на глазах которых убивали их отца... Милые, родные, берегите себя и стойте крепко в правде, не уклоняясь, не изменяя Богу и России, не впадая в уныние... Помните всегда, что не раз великая Империя наша приближалась к краю гибели, но спасало ее не богатство, которого не было, не вооружение, которым мы всегда хромали, а железное мужество ее сынов, не щадивших ни сил, ни жизни, лишь бы жила Россия...

## Глава 12. Николай Петрович Вигель

*Ноябрь 1918 года. Под Ставрополем*

Последние недели выдалась поистине ледяными, и не раз вспомнил Вигель за время их промозглые ночи Первого Кубанского похода. Лили, не переставая, дожди. Дороги развезло, в лужах, достигавших размеров небольших прудов, то там, то здесь можно было увидеть трупы убитых людей и лошадей. Не хватало времени вовремя убрать их. Так и смотрели из мутной жижи остекленевшие глаза с немым укором...

В эту ночь Николаю не спалось. Рана, полученная им накануне, не особо досаждала ему, даже решил он, что совсем незачем было ему ложиться в лазарет. Хотя куда ещё с пулей в ноге? Хочешь, не хочешь, а придётся отлёживаться. И плёвая рана, а в бой не пустит. Но надеялся Вигель, что через неделю сможет вернуться в строй. К тому же не так плохо было недельку отдохнуть в лазарете.

Прежде что был лазарет при первой Конной дивизии? Небольшая санитарная летучка с доктором, несколько сестёр и почти никаких средств. Элементарных медикаментов не было, бинтов — тоже. Для перевязок использовали подручные материалы — тряпьё. Но не то стал лазарет теперь. Всё изменилось, когда дело взяла в свои руки Ольга Михайловна. Ольга Михайловна закупила необходимые лекарства и бинты, наладила работу летучки, неусыпно сама следила за всем. И ни один вопрос уже не решался без неё. Чуть что — шли спрашивать мнения Ольги Михайловны. Тяжёлую ношу взяла на себя эта молодая, красивая,

благородная женщина, и как будто легко понесла её, энергичная, приветливая со всеми, словно не ведающая усталости...

Ольга Михайловна Врангель решила разделить судьбу своего мужа. За ним, как и прежде, в Великую Войну, на которой была она сестрой милосердия, последовала баронесса на фронт и здесь принялась за организацию важнейшего в условиях постоянных боёв дела — лазарета. В своей самоотверженности, в умении наладить то, что казалось навсегда разваленным, и во многом другом Ольга Михайловна была очень похожа на самого генерала. И он, получив под командование дивизию, в короткий срок сумел снабдить её автомобилем, несколькими телефонами и телефонной проволокой, обеспечив тем самым связь с боевыми участками, наладил работу летучей почты. Пётр Николаевич ничего не пускал на самотёк, всё без исключения проверял сам — ничто не укрывалось от его взгляда. Дивизия, дотоле не имевшая единого руководства, обрела в нём редкого командира, что не замедлило сказаться на её организации и боевых успехах.

Генерал Врангель появился на Кубани в последних числах августа. Уже завершён был Второй Кубанский, взят Екатеринодар, от которого в безнадежье отступали несколько месяцев назад. Кубанская столица стала столицей всей Добровольческой армии, там отныне размещался штаб её. Следом от большевиков были очищены почти вся Черноморская губерния, большая часть Кубанской области, часть Ставропольщины, Донская же армия наступала в Саратовской и Воронежской губерниях.

Первая Конная дивизия на момент возглавления её Врангелем насчитывала шесть кавалерийских полков, три артиллерийские батареи и отряд пехоты — всего порядка тысячи двухсот человек. Ситуация с оружием

была привычно критической. В день артиллерийские батареи получали по один-два снаряда, дневная норма патронов выходила по одному на человека. И этой невеликой силе противостояла группировка красных в пятнадцать тысяч человек при тридцати орудиях и неограниченном количестве припасов.

Бои шли в районе Майкопа. Слаженности действий явно не хватало, и это немало раздражало капитана Вигеля, временно исполнявшего обязанности командира артиллерийской батареи. А к тому подступала к сердцу тоска при взгляде на богатый, зажиточный край, так бездарно разоряемый усобной войной. Какие великолепные пшеничные поля были здесь, тяжёлым золотом налитые колосья уже ожидали уборочной, а пахари рубились и гибли в проклятой сече, которой не видно было конца. А перерубят всех? Кто станет возделывать эту щедрую землю, обилия которой хватило бы на целую Европу? И кому будут нужны прекрасные, благоухающие сады, рачительными хозяевами возвращенные? Без этих рачительных хозяев земля — сирота. В этой бы земной благодати жить в мире и покое, в благоденствии...

Солнечным сентябрьским днём дивизия вела бои под хорошо укреплённой станицей Михайловской. Кавалерия была развёрнута для атаки, артиллерия молчала за неимением снарядов. Вигель и другие офицеры залегли на позиции, выбранной на вершине скифского могильного кургана, каких немало было в южно-русском крае. Просвистывали над головами неприятельские пули, а отвечать было нечем, и это доводило до тихого бешенства. Неожиданно рысью подъехала группа всадников, впереди — высокий, худощавый, молодой генерал в мундире цвета хаки. Он соскочил с коня, быстро поднялся наверх. Офицеры поднялись.

— Вольно, господа! — скомандовал генерал.

Много бравых военачальников видел Вигель, но такой выправки, такого гвардейского лоска прежде не встречал.

— Господин капитан, доложите обстановку.

Николай доложил, откровенно обрисовав всю трудность положения. Прежнему командиру, старику-генералу Абросимову, и докладывать напрасный труд был. Он на позициях и не бывал. А Врангель — дело иное. О Петре Николаевиче много слышал капитан от своего сводного брата, полковника Тягаева, близко знавшего барона во время учёбы в Академии Генштаба. С его появлением проснулась надежда, что теперь — дело пойдёт.

А казаки ворчали:

— Снова армейского назначили. Что у нас, своих офицеров мало?

Не слёту всё пошло гладко. Ставка требовала, во что бы то ни стало, взять Михайловку. Первая атака Врангеля захлебнулась из-за громадного превосходства сил противника. Такой сильный огонь был редкостью даже в Великую войну. Казаки начали отступать. Пётр Николаевич вскочил в седло и, выхватив шашку, помчался им наперерез под градом пуль. Однако лишь небольшая группа казаков последовала за ним. Бой казался проигранным, но уже ночью разведка донесла, что красные готовятся к отступлению и взрывают мосты. Так была освобождена станица Михайловская...

Каждый день Врангель объезжал полки и эскадроны, лично осматривал позиции и изучал местность.

— Где это видано, чтобы генерал, командир дивизии сам производил разведку! — делился своим удивлением с Вигелем знакомый казак.

Такое не видано было в обычной войне. Но разве обычной была война, которую приходилось вести? Николай вспоминал, как во дни Ледяного похода в

самые сложные моменты генерал Корнилов, Главнокомандующий, лично вёл в атаку Добровольцев. Что-то было в этом от древних, рыцарских, из истории известных славных битв, в которых верховные вожди (и сами короли) шли впереди своего воинства. А барон Врангель с его внешностью скандинавского рыцаря как нельзя больше соответствовал этому образу.

Много новшеств завёл генерал, возглавив дивизию. Регулярными стали совещания с молодыми офицерами. При большой доблести многим из них не хватало опыта. После каждой операции Пётр Николаевич собирал их у себя, подробно разбирал действия, указывал ошибки, но в то же время со вниманием выслушивал мнения своих подчинённых, обсуждал их предложения, соглашался с некоторыми из них. Это была серьёзная наука для молодых командиров. Вигель часто бывал на таких совещаниях. Личность Врангеля всё более импонировала ему. Спокойная уверенность в себе, лишённая мелочного самолюбия, решимость и рассудительность в действиях, благородство — всё это привлекало к генералу. И некоторые офицеры уже с гордостью именовали себя — Врангелевцами. Строгий и требовательный военачальник, гвардейский офицер, аристократ до мозга костей, он отличался ко всему прочему истинным либерализмом. Не политическим, разрушительным и порождающим анархию, а внутренним: терпимостью к чужому мнению, умением слушать и слышать людей, даже если они были много младше чином. При этом к нарушениям дисциплины генерал был нетерпим. Он пресекал на корню бесчинства в отношении населения, к которому склонны были отдельные командиры. Грабежи и мародёрства были запрещены под угрозой расстрела. Не допускал Врангель и бессудных расправ над пленными, во всём стараясь соблюдать законность.

Последнее — ох, как непросто было! По мере продвижения армии и занятия новых пространств, становились известны чудовищные факты большевистского террора. Расправы были массовыми и принимали зачастую изуверский характер: людей живыми сжигали в топках заводов, поездов, пароходов, четвертовали, сдирали кожу, вдоволь наизмывавшись, топили, сбрасывая с палуб кораблей, травили голодными свиньями, расстреливали подростков, стариков и женщин, глумились над трупами, запрещали родственникам убирать их с улиц под угрозой расстрела, раненых офицеров добивали даже большевистские «сёстры милосердия»... После освобождения Таганрогского округа тела бесчисленного множества убитых были вырыты из братских могил, дабы составить акт и похоронить их похристиански. Большинство трупов были обезображены до неузнаваемости, обезумевшие от горя родственники пытались найти своих мертвецов. Видавшие виды доктора и следователи не могли сдержать ужаса. В Таганроге же в доменной печи металлургического завода были сожжены заживо пятьдесят юнкеров и офицеров. В Новочеркасске и Ростове офицерам рубили головы. В Севастополе в феврале убили до двух тысяч человек... В Евпатории офицеров со связанными руками выстроили на борту и сбросили в море. С берега эту расправу видели родные убитых, их жёны и дети. Такой участи чудом избежал генерал Врангель.

Не было такой средневековой пытки, которую не возродили бы большевики. Зверства эти не укладывались в сознании. И тем труднее было требовать от Добровольцев, чтобы они сохраняли чистоту риз, чтобы они не отвечали бессудной жестокостью, опьянев от горького пойла мести, которой требовали их сердца. Лишь редкая железная рука могла удерживать неизбежно нарастающее



ожесточение и распущенность. Генерал Врангель обладал именно такой рукой.

Город за городом занимали Добровольцы. В конце октября первая Конная разгромила армавирскую группу красных товарища «Демоса», взяв три тысячи пленных. А уже через месяц бои шли на окраинах Ставрополя...

Положение под Ставрополем было тяжёлым. Дивизия несла большие потери. Боеприпасов не хватало, поэтому о пешей атаке думать не приходилось, кавалерийская же атака на укрепленный город была бессмысленной. Дождавшись ночи, Врангель сосредоточил в лесу четыре полка. На рассвете, едва только красные двинулись на север, он стремительным маневром обрушился на них, охватив одновременно с фланга и тыла. На плечах красных генерал Бабиев ворвался в предместье города. Подлинный казачий герой, красавец, Николай Гаврилович показывал чудеса храбрости и был душой любого дела. Закончив Великую войну в чине есаула и будучи награждён за доблесть Георгиевским крестом, он, возвращаясь домой, был остановлен и жестоко искалечен красными. Лишившись правой руки, Бабиев научился лихо рубить врагов левой, держа поводья лошади зубами. Его стремительные марши и молниеносные атаки становились легендами.

Следом за Николаем Гавриловичем во главе резервного эскадрона в предместье вошёл и Врангель. Здесь разразился кровопролитный и яростный бой. Большевики укрепились в стенах старинного монастыря, осыпая огнём белые части, среди которых особенно страдали Корниловцы. Выхватив шашку, Пётр Николаевич лично повёл сотни в атаку. С громогласным «ура» пронёсшись под пулями, они смяли противника и прорвались к монастырю. Большевики, отстреливаясь, бежали. Падали раненые и убитые люди, бились в агонии лошади, бились пули о древние стены, оставляя

на них отметины. Кое-где схватка перешла врукопашную.

— Отвести коней за монастырскую ограду! — раздался громкий голос Врангеля, перекрывающий гомон длящегося боя.

В этот момент врата обители отворились, и из них вышел статный иеромонах с крестом и несколько монахинь. Казаки тотчас обнажили головы, и священник окропил их святой водой. Монахини стали спокойно обходить раненых, приносимых к стенам монастыря, угощая их хлебом и горячим чаем. Следом за иеромонахом и сёстрами вышла сама мать-игуменья. Как и их, её не пугал смертоносный огонь. Не обращая внимания на него, она подошла к Петру Николаевичу, приклонившему колени, и благословила его иконой.

Очистив предместье, белые вошли в город. «Товарищи» засели в домах и отчаянно сопротивлялись. На какое-то время части Бабиева были вытеснены из Ставрополя, но, получив подкрепление, вновь вступили в него.

Было около четырёх утра. Солнце ещё не думало подниматься, и в полной темноте, в тумане, среди липкой сырости и холода на городских улицах неумолчно гремела стрельба, сверкали шашки, кричали люди. В этой свалке приходилось с боем овладевать каждым домом, и примечал капитан Вигель, что сильнее и организованнее становятся красные. Это были уже не те банды, с которыми приходилось сталкиваться в Ледяном походе, а банды, всё более приобретающие черты регулярной армии.

Но вот, стычки стали тише и реже. Батарея Вигеля получила возможность передохнуть. Позади занимаемой ею позиции находился большой дом. Вошли в него, надеясь согреться. В тот же миг офицеров окружила толпа грязных, оборванных, страшных людей. Они кричали, бормотали что-то неразборчивое,

хохотали и плакали, иные пускались в пляс, яростно жестикулировали. Отовсюду тянулись к вошедшим худые, грязные руки, отовсюду смотрели полные безумия глаза. Пол был покрыт липкой, зловонной жижей и вшами, столь многочисленными, что казалось, словно бы это отвратительный, шевелящийся ковёр. Это был городской бедлам, из которого бежали все врачи и санитары, бросив своих несчастных подопечных.

Какая-то женщина бросилась к Николаю, повисла у него на плечах, зашептала тревожно:

— Забери меня отсюда, миленький, забери! Я же жена твоя! Я Маша! Я твоя Маша! Зачем ты бросил меня здесь? Они злые! Злые! Злые! Забери! Миленький, забери!

Капитан насилу оторвал от себя её цепкие руки, выбежал на улицу вместе со своими товарищами. Дверь наглухо закрыли, но было слышно, как десятки ног и рук бьют в неё, как кричат безумные люди, как молит несчастная сумасшедшая забрать её из этого кошмара...

Николай перекрестился и закурил. Много видел он жутких картин на войне, но эта — едва ли не из самых жутких была. Вспомнилась сцена, виденная несколькими месяцами раньше. При входе в один из городов перед марширующими белыми частями бежала полураздетая, оборванная, растрёпанная женщина. Она кружилась в неистовой пляске, то плакала отчаянно, то начинала истерически смеяться. Позже стало известно, что на её глазах большевики жестоко убили её мужа, а сама она была подвергнута насилию. Рассудок несчастной после этого помутился, и её водворили в бедлам, хотя милосерднее было бы положить конец её мукам...

Кто знает, может быть, и умалишённая Маша, молившая забрать её, пережила подобный ужас?

Курили офицеры, молчали, поражённые страшным зрелищем. Пробирал до костей мороз, но лучше было мёрзнуть, чем ещё раз встретиться глазами с обитателями дома скорби.

Подумалось Вигелю, что сама Россия, изувеченная и поруганная, стала похожа на несчастную, обезумевшую вдову, кружащую в неистовой пляске, помутнённым рассудком не отличающая своих от чужих. Вдова обещанная, безумная... Мать осиротевшая... Храм осквернённый... Но храм и осквернённый храмом останется. И Россия, поруганная и растерзанная, всё равно — Россия. И не сбежать от неё, не сбросить рук её со своих плеч, как только что сбросил руки умалишённой. Потому что это — руки матери. Руки невесты. Руки, которых нет дороже... Велика земля, а Россия — одна. Родина — одна. И смертельным отваром, зельем подлым опоенная, растлённая она — Родина. Временами казалось Николаю, что он ненавидит её. Её, из царицы в полоумную вдову, на которую больно и стыдно взирать, превратившуюся. Но, ненавидя, начинал ещё сильнее и мучительнее любить.

Город был освобождён. Люди, крестясь и плача, встречали белые части. Совали казакам деньги, папиросы и хлеб. Какая-то женщина бросилась навстречу генералу Врангелю и, ухватившись рукой за стремя его лошади, пыталась поцеловать ему руку.

В последние дни в городе шли массовые пытки и расстрелы. В результате конфликта в верхах красной армии был расстрелян главнокомандующий её фронтом, бывший фельдшер Сорокин. Дабы сохранить в Ставрополе порядок и не допустить новых бессудных расправ, Врангель принял на себя всю полноту военной и гражданской власти, потребовал сдачи населением оружия и выдачи скрывающихся большевиков.

Избежать эксцессов, конечно, не удалось. И расправы всё же имели место. В одном случае черкесы,

вырезавшие семьдесят раненых красноармейцев, успели бежать, в другом — казаки, расстреливавшие арестованных, были задержаны.

Чины штаба назначенного Деникиным губернатором полковника Глазенапа подавали дурной пример. Его личный адъютант и ещё двое штабных офицеров были арестованы по приказу Врангеля за непристойное поведение в пьяном виде.

Ничто так не разлагало армию, как пагубное пристрастие к алкоголю, коим страдали даже некоторые начальники. Что уж говорить о младших по званию! В одной из кофеен Ставрополя Николай застал сильно хмельного ротмистра Гребенникова. Не удержался от укора:

— И вы туда же, Владимир Васильевич! Разве вы не знаете, каково отношение командующего к подобной распущенности?

Ротмистр посмотрел на Вигеля мутно, ухмыльнулся:

— А... это вы, капитан... Туда же, туда же... Мы все — туда же... На дно бутылки! — глянув одним глазом в горлышко пустой бутылки, он отшвырнул её в сторону и откупорил следующую. — Садитесь, Николай Петрович! Дёрнем с вами за что-нибудь хорошее. Как вы насчёт того?

— Благодарю, пить с вами я не буду.

— То есть, простите, пить не будете, или со мной не будете?

— Не всё ли равно?

— Совсем не всё равно. Решительно. В первом случае, это просто странность. Во втором — личное мне оскорбление! Почему вы не хотите со мной пить?

— Потому что в нашем аду и без того слишком сложно сохранить трезвый рассудок, чтобы ещё заливать его вином.

— Всё-то правильно у вас, всё-то по полочкам! — поморщился Гребенников, осушая стакан. — Сразу

видать судейского! Вы, небось, и сейчас все параграфы римского права помните.

— Представьте себе, помню.

— Нет, вы не человек... Вы чёрт знает что такое... Решительно! У вас всё механизм один! Система одна! А любой механизм бесчеловечен... Как вы можете так... — ротмистр развёл руками, не находя подходящего слова. — Когда дышать нельзя! Неужели вам не тошно, Вигель?

— Тошно, господин ротмистр. Очень тошно. Потому что пришла красная, грязная свинья и с хрюканьем, с мерзким визгом затоптала, изгадила и слопала всё, что мне было свято. Но это не значит, что я должен уподобиться ей в её скотстве и терять человеческий облик, как это делаете вы. Менее тошно мне от этого не станет. А вернее, станет ещё тошнее.

— Так я, по-вашему, облик человеческий теряю? Враньё! Просто если на наш ад, как вы выразились, смотреть и не напиться, то только застрелиться останется! А я не хочу стреляться! — ротмистр вдруг поднялся, вышел нетвёрдой поступью из-за стола и вдруг на потеху присутствующим пошёл в пляс с зычным распевом: — Что ж вы головы повесили, соколики?

Николай мрачно наблюдал за этим представлением. Хорошо же этому пьянице. Утопит беду свою в вине, и назавтра снова весел. Да и какая беда у такого гуляки? Пьяная мерехлюндия и только. Хоть впору сухой закон вводить в армии и на территориях ею занятых.

— Не кручиньтесь, не печальтесь, всё исправится!

Не кручиньтесь, не печальтесь, всё забудется!

— Эк распирает его, сердечного!

— Лихо пляшет!

— Артист!

Посмеивались, но одобряли в кофейной публике Гребенникова. А сидели здесь, большей частью, казаки.

Да несколько горожан, робеющих.

Закончил ротмистр неожиданным куплетом:

— Ну, быстрее несите кони! Ну, летите — всё на слом!

Жён других найдём мы много, а России не найдём!

Жён других найдём мы много, а России не найдём!

Бухнулся на колени под аплодисменты и хохот, встал, подошёл к столу, утолил жажду, ещё пьянее воззрился на Вигеля:

— Вы, капитан, наверное, в глубине души весь мир ненавидите!

— Почему это вы решили?

— А такие правильные люди, как вы, всегда к этому склонность имеют. Решительно!

— Нарываетесь, милейший.

— Нарываюсь, ваша правда! А что же делать ещё, коли душа горит? Надо же заливать чем-то пожар! Вином и кровью!

— Думаю, вам уже довольно пить, Владимир Васильевич. Не позорьте армию. Прощайте.

— Стойте, стойте! — Гребенников встал на пути у Вигеля. — Скажите, Николай Петрович, вам приходилось когда-нибудь играть в русскую рулетку? Хотите попробовать?

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Для игр со смертью, господин ротмистр, есть фронт. Это — во-первых. А во-вторых, в условиях острого дефицита патронов считаю недопустимым их напрасный расход.

— Сухарь вы! — бросил Гребенников.

— Честь имею! — Николай повернулся и тут же услышал позади себя возглас:

— А я, с вашего позволения, сыграю!

Вигель молниеносно оглянулся и успел выхватить у ротмистра уже поднесённый к виску револьвер прежде,

чем он успел нажать на курок. При этом он сильно толкнул Гребенникова, и тот, едва стоявший на ногах, повалился на пол. «Публика» ожидала продолжения, но его не последовало: слишком пьян был ротмистр. Николай поспешил уйти. Душу разъедала досада на Гребенникова и стыд за вышедшую безобразную стычку.

На другой день части первого Конного корпуса, командиром которого только что был назначен Врангель, начали активные действия за пределами Ставрополя, очищая от большевиков его окрестности. Здесь-то в ходе одного из боёв и получил Вигель ранение, заставившее его пополнить число пациентов лазарета.

Последнее время часто находили на Николая приступы бессонницы. В дни упорных, изматывающих боёв они отступали, но стоило образоваться передышке — возобновлялись вновь. И в эту холодную ноябрьскую ночь не мог уснуть капитан. Сидел у костра, курил папиросы одну за другой. Вдруг из зыбкой мглы выделилась невысокая фигура. Раненый солдат подошёл к костру, козырнул:

— Здравия желаю, Николай Петрович. Не признали, чай?

Присмотрелся Вигель и по цыганским глазам угадал:

— Филька, ты, что ли?

— Вестимо, я, ваше благородие.

Кого не ждал увидеть здесь капитан, так это денщика покойного полковника Северьянова.

— Ты какими судьбами здесь? Ты же наотрез воевать отказывался?

Филька опустил к костру, вздохнул:

— А кто нашего брата спрашивает? Сперва большевики пришли, призвали нас...

— И ты пошёл?



— У них не пойдёшь! Зараз к стенке. А с тобой и семейство. А за семейство-то, ваше благородие, чёрту с копытом пойдёшь служить.

— А у нас как оказался?

— Так того... В плен сдался при первой возможности, взмолился слёзно: не губите, мол, христианскую душу, не по своей воле я у красных подвизался, готов искупить вину честной службой. Поверили мне...

— Да, потрепала тебя судьба.

— А кого она пожалела? — Филька вздохнул. — Юрия-то Константиновича, слышал я, убили?

— Погиб Юрий Константинович. Я при последних минутах его был.

— Горе-то... Какой был человек! Я таких не встречал других! А жена его жива ли? Я её не видал, да Юрий Константинович уж очень часто об ней вспоминал, уж больно любил её, прямо души не чаял.

— Она жива, — коротко отозвался Вигель, не желая продолжать этого разговора.

— Ну, дай ей Господь... — Филька помолчал. — Я, Николай Петрович, вас поспрошать хотел, если позволите, как вы человек грамотный.

— О чём это?

— Да... Немалое дело, позвольте вам доложить. На селе беспокойство большое. Хотят мужики знать доподлинно, что вы, белогвардейцы в смысле, насчёт земли решили? Придётся нам отдавать её аль нет? И за что вы боретесь? Мужики о вас понимания слабого, а потому сумлеваются.

— Цель наша простая, — ответил Вигель. — Сбросить власть комиссаров и установить по всей России закон и порядок, которые обеспечили бы каждому гражданину свободную жизнь и труд. Когда всё поуспокоится, будет созван собор от всего народа, и этот собор изберёт ту власть, которую пожелает. Он же

будет решать, как быть с землёй. А пока генерал Деникин распорядился, чтобы вся помещичья земля, которую сейчас обрабатывают крестьяне, оставалась у них, но чтобы каждый третий сноп они отдавали помещику.

Филька покачал головой:

— Красиво вы говорите, ваше благородие, да больно туманно.

— Разве не понятно?

— Вы, Николай Петрович, барин. Человек образованный. Вам, знамо дело, понятно. А нам... Сколько этого самого собора ждать-то придётся? И чего он решит? Един Бог знает! Небось, выберут опять тех, что горластее. А от горластых, ваше благородие, толку в хозяйстве нет. Кто много глотку дерёт, тот работник ледащий. Настоящий работник трудится молчаливо. Что ваши горлопаны нарешают-то? Я вам, Николай Петрович, так скажу: неправильно вы с землёй решили. У вас самого поместье-то было?

— Нет.

— То-то и видно, что вы деревни не знаете. Вот, я вам историйку расскажу. Было недалече от нашей деревни поместье крупное. При большевиках мужички, знамо дело, разорили его. Прогнали их, вернулся барин. Мужички перепугались, вышли ему навстречу, иконки стали отдавать, что из его дома взяли, берегли, де, для тебя, кормилец, хлеб-соль несут. А он как раскричится! Багровый весь стал! Вы, сукины дети, дом мой разграбили! Не надо мне ваших иудских хлеба-соли! Блюдо отшвырнул, иконки взял, их, говорит, святить заново надо, как вы их своими руками опоганили. Выдать потребовал всех зачинщиков. Мужички что ж? Сказали, нет зачинщиков, всем миром шли на усадьбу. Так он черкесов на них напустил, всех перепороть велел! А те, лютые, так драли — не приведи Господь! Даже баб не пожалели. Потом барин уехал и аренду на

мужичков наложил, подать большую и штраф платить велел. Те жаловаться хотят, а некому. Никакой управы не сыщешь!

— Так не нужно было усадьбу барскую разорять, — пожал плечами Вигель.

— Это вестимо, ваше благородие. Да ведь и так же — нельзя. Ну, замутился народ, согрешил. Что ж его теперь, казнить за это? Многие и не со зла ведь это, а по стадному чувству. Простить бы! А так — только ещё больше злобы.

— А при большевиках лучше было?

— Не лучше, — мотнул головой Филька. — Голодные мухи, они всегда злее жалят. Не то что скотине или хлебу, скамейке своей перестали хозяевами быть. Но зато они говорили, что теперь земля навсегда наша. Ну, а вы? Всех лошадей у мужиков позабирали с вашей подводной повинностью. А в поле пахать на чём? Скот забираете тоже... И ничего в будущем не сулите доброго. Вот, молодые и идут к большевикам.

— И ты их оправдываешь?

— Понимаю, Николай Петрович. Большая беда выходит оттого, что понимать других все отучились.

— Что других! Себя-то смутно понимают.

— Вот! А без понимания — как? Без понимания только с вилами друг на друга ходить. Вы бы попытались на место мужичков встать...

— А мужички твои, Филька, на наше место становиться пробовали? Что нам, безлошадным большевиков гнать? На голодный паёк армию посадить? Вы дальше околицы своей ничего не видите. А за ней — вся Россия, между прочим.

— А вы за всей Россией живых людей замечать перестаёте.

— Так чего ж ты от большевиков сбежал?

— С большевиками мне не по пути. С барином хоть как-то сладить можно, а с ними никак. Барин перепорол

да хоть жизнь оставил, а они бы и того лишили. Я бы, Николай Петрович, ни на одну сторону не встал. Но так не выходит. Приходится из двух зол меньшее выбирать.

— Спасибо и на том.

— Вы меня за правду-матку мою не обессудьте. Данкешот за разговор, ваше благородие, как герман проклятый говорит.

Ушёл Филька, растворился во мраке. Вигель хмуро смотрел на огонь. Вот она — народная опора белой освободительной армии. Крепкая опора, ничего не скажешь. Назавтра посулят этим мужичкам большевики, и побегут опять за ними. Но и то правда, что что-то же надо сулить и самим. Большевики хоть «завтраками» кормят. А белое командование и с тем не спешит. Объявили бы, что помещичья земля навсегда за крестьянами закрепляется. То-то была бы поддержка тогда! Эту мысль, однако, Николай немедленно раскритиковал. Узаконить грабёж поместий? Разорение усадеб? Расхищение чужой собственности? Хорошее дело! Юридическое мышление Вигеля не могло примириться с подобным. Мысленно капитан продолжал спорить с Филькой, находя всё новые и новые доводы в доказательство своей правоты.

Этот мысленный спор прервали выстрелы, раздавшиеся на окраине села, в котором на ночь остановился лазарет.

— Красные! Красные! — раздались крики.

В окнах загорелись огни. Раненые, кто мог держать в руках оружие, выскочили на улицу. Спешно выгоняли повозки, запрягали лошадей, выносили и грузили раненых. В полумраке промелькнула фигура Ольги Михайловны, отдававшей распоряжения сёстрам. Каждая из этих сестёр носила с собой ампулу с ядом, чтобы принять его во избежание плена, ужасы которого были хорошо известны. Часто-часто засвистели пули. Неожиданный налёт красных грозил большим

несчастьем, так как быстро эвакуировать лазарет впотьмах, в суматохе было делом невозможным. Спасти положение могла лишь скорая сторонняя помощь. Поняв это, Вигель вскочил на лошадь и галопом помчался вон из села. На околице он едва не столкнулся с красными. Несколько выстрелов громыхнули ему вслед, но погони, по счастью, не последовало.

До ближайшей станицы, где располагался штаб Врангеля, было подать рукой. Николай Петрович влетел в неё, пронёсшись мимо не успевших раскрыть рта караульных и, оказавшись, на центральной площади выстрелил в воздух. Со всех сторон набежали казаки. Многие обнажили шашки, приняв капитана за большевика.

— Назад! Это свой! — раздался голос ротмистра Гребенникова.

На шум из хаты, занимаемой штабом, вышел сам генерал Врангель в бурке и папаче с мягким проломом.

— В чём дело? — раздался его зычный голос.

— Ваше превосходительство, красные атаквали лазарет! — крикнул Вигель.

Немедленно была отдана команда «по коням». Врангель вскочил в седло и во главе немногочисленного отряда, состоявшего из его конвоя и оказавшихся под рукой офицеров, ринулся к месту боя.

Сквозь ночную мглу отряд с быстротой молнии достиг села, на улицах которого уже шла рукопашная. Генерал выхватил шашку и, рубя красных направо и налево, вихрем ворвался в него.

Красные вели беспорядочную стрельбу. Одна из пуль сразила лошадь Николая. Захрипев, она стала оседать на землю, и Вигель едва успел вынуть ноги из стремян и сгруппироваться при падении. В тот же миг он увидел занесённую над собой шашку, но удара не последовало: кто-то вовремя подоспевший на выручку разрубил нападавшего от плеча до подмышки. Это был

ротмистр Гребенников. На него наскочили ещё трое, и всех их он уложил рядом с первым, виртуозно работая сияющим в отблесках костров клинком. Покончив с этим делом, ротмистр спешился, протянул Вигелю руку:

— Вы целы, Николай Петрович?

— Благодаря вам, Владимир Васильевич.

— Садитесь на мою лошадь! — предложил Гребенников, любовно поглаживая по шее своего каракового гривача. — Ведь у вас, кажется, ранена нога?

— Спасибо!

— Не за что!

Гребенников взял осёдланного Вигелем коня под уздцы и повёл вперёд. Большевики спешно отступали, но пули ещё свистели часто, и местами казаки добивали не успевших бежать врагов. Посреди всего этого Николай увидел Врангеля. Верховом на лошади, разгорячённый схваткой, он подъехал к крыльцу, на котором стояла Ольга Михайловна, и, остановившись, заговорил эмоционально, по-французски, видимо, чтобы не поняли бывшие поблизости казаки. За гулом боя расслышать всего монолога барона было нельзя, но по обрывкам фраз, Вигель понял, что суть его сводилась к тому, что у командующего корпусом хватает дел и без того, чтобы волноваться за судьбу своей жены. Неожиданно Ольга Михайловна рассмеялась. Это окончательно вывело Петра Николаевича из себя. В гневе хлестнув лошадь, он умчался прочь, скрывшись во тьме. Стали переносить погруженных было в повозки раненых. Ольга Михайловна засуетилась и, сбегав с крыльца, стала давать указания кого и куда нести.

— Всё-таки каков наш генерал! — с уважением произнёс Гребенников. — Любо-дорого посмотреть. Всегда восхищался им. Ещё с Великой... Я и на юг стремился попасть, надеясь найти его здесь.

— Возьмите ваш револьвер, Владимир Васильевич, — Вигель протянул ротмистру его оружие. — Я не успел вам возвратить. Там не хватает двух патронов. Выпустил сегодня.

— О! Благодарю, — Гребенников спрятал оружие в карман. — А я-то не мог вспомнить, вы ли взяли его, или я сам потерял. Вы уж извините меня, Николай Петрович, за давнишнее. Право слово, совестно. Решительно. Я, правда, не помню, что наговорил вам, но припоминаю, что хватил лишнего. Я, когда пьян, сущий чёрт делаюсь. Наутро, бывало, расскажут мне, что я во хмелю вытворял, а я и не помню, и верю с трудом.

Вигель чувствовал, как с каждой минутой нарастает боль в раненой ноге, а сапог наполняется кровью. От бешеной скачки разошлась рана, и теперь о скором возвращении на фронт приходилось забыть.

— Я тоже был излишне разок в тот вечер. Так что и вы не держите зла. Кстати, позвольте высказать вам комплимент: вы мастерски владеете клинком.

— Что уж! — Гребенников улыбнулся, и на лице его отразилась гордость. — Вообще, если без скромности, то в полку я по этой части лучшим считался. Стреляю я постольку-поскольку, а, вот, шашка — дело иного рода, — ротмистр извлёк клинок, любовно погладил его. — Когда она у меня в руке, так будто бы я с ней родился, будто она моей руки — продолжение. В бою бывало я один на десятерых шёл. И так душа моя пела тогда! Это настоящие бои были, не чета сегодняшнему. Решительно!

Мимо прошли два казака, тащившие на носилках не подающего признаков жизни человека. Николаю показалось, что это Филька. Он тронул поводья и приблизился, чтобы разглядеть лучше. Это точно был денщик Северьянова.

— Ранен? — спросил Вигель одного из казаков.

— Никак нет. Зарубили, сволочи. И сестру с собой увели, и раненых нескольких.

Николай перекрестился.

— Знакомый? — спросил Гребенников.

— Денщик моего покойного друга. Час тому назад мы разговаривали с ним.

— Да, смерть — наглая стерва. Приходит, не предупредив и не постучав. Как тать ночной. Я, вот, что сказать хотел, капитан. Вы бы забрали у меня крест тот. Поручика Миловидова.

— Зачем?

Ротмистр пожал плечами:

— Так ведь вы его знали. Семью его знаете. Сами из Москвы родом. А я? Где я, а где Москва?

— Мы с вами, Владимир Васильевич, от Москвы на равном расстоянии. И один нам с вами туда путь.

— Но может, всё-таки возьмёте? Я поручику поклялся, что волю его выполню, а меня последнее время предчувствие гложет, что не выполнить мне этой клятвы, не дойти до Москвы. А как-то нет охоты клятвопреступником быть. Решительно.

— Хорошо, давайте крест, — согласился Вигель. — Только ведь и я до Москвы могу не дойти.

— Не мы с вами, так другой кто дойдёт, — Гребенников протянул Николаю крест. Он вдруг улыбнулся лукаво и спросил: — А что, господин капитан, хоть мировую-то вы не откажетесь со мной выпить?

— Не откажусь!

— Когда и где?

— Когда мир настанет, в Москве!



## Глава 13. Крест власти

*18 ноября 1918 года. Омск*

«Вследствии чрезвычайных событий, прервавших деятельность Временного Всероссийского Правительства, Совет министров, с согласия наличных членов Временного Всероссийского Правительства, постановил принять на себя полноту верховной государственной власти.

Постановление Совета министров от 18 ноября 1918 г. Ввиду тяжкого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках, Совет министров постановил передать временно осуществление верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименование Верховного Правителя».

Это краткое сообщение было передано по телеграфу во все концы Сибири. Прочитав её, Борис Васильевич Кромин не мог сдержать удовлетворения. С каким нетерпением ждал он этого дня! И вот — свершилось! Сформировавшаяся по итогам сентябрьского совещания в Уфе Директория рухнула, не просуществовав и двух месяцев. Да и странно бы было не рухнуть ей! Все посты в новом правительстве поделили между собой люди, чьи имена ничего не говорили не только России, но даже Сибири. Поделили, исходя, в основном, из узкопартийных интересов между своими, эсерами. Даже крупный знаток Дальнего Востока, пользовавшийся там большим авторитетом, генерал Хорват не был включен в Директорию. Верховным главнокомандующим избрали генерала Болдырева, человека, достойного этой должности. Но и здесь допустили бестактность! Записали заместителем

Болдырева создателя Добровольческой армии генерала Алексеева, даже не снесясь по этому поводу с самим Алексеевым. Нельзя было не подивиться такому решению. Особенно тому, как мог допустить его сам Болдырев. Хороший военачальник, не прославившийся, однако, ничем, «назначил» своим заместителем старого, заслуженного генерала от Инфантерии, бывшего начальником Штаба при самом Императоре, имя которого было на устах у всей России. Смеху подобно! Правда, генерал Алексеев предпочёл «не заметить» допущенной глупости и прислал Директории «искреннее поздравление».

Падение Директории казалось неизбежным, идея диктатуры носилась в воздухе. Но кто бы мог подумать, что рухнет она от столь пустякового случая. На банкете в честь приезда в Омск французского генерала Жанена русские офицеры, подвыпив, потребовали исполнить после Марсельезы национальный гимн, который эсеры презрительно именовали «монархической молитвой». Требовать исполнения русского гимна — разумеется, серьёзное преступление! Но к нему добавлялось и другое: офицеры, выступившие с этим требованием, были известны как ярые противники Директории. Их решено было арестовать. Вместо этого они сами арестовали двух директоров вкупе с управляющим делами и заперли на ночь в одну из казарм. За арестованных никто не вступился, и переворот стал свершившимся фактом.

Быстро собравшись, Борис Васильевич вышел из дома и, остановив пролётку, приказал ехать в резиденцию правительства. Он должен был срочно увидеться с Адмиралом. Кромин прибыл в Сибирь в начале сентября, добравшись морским путём из Гельсингфорса до Владивостока, а оттуда в Омск. Не мог понять Борис Васильевич, отчего именно этот город избрало сибирское правительство своей столицей. Его

достоинством считалось отдалённость от линии фронта, но недостатков, по мнению Кромина, было больше. Омск никогда не был сердцем Сибири. Её интеллектуальным центром. Здесь, преимущественно, обитали люди торговые, причём далеко не самого высокого уровня. Омск показался Борису Васильевичу мещанским городом. Здесь не было ни общества, ни чиновничества, ни интеллигенции, не считая нескольких умников из бывших политкаторжан и ссыльных. Правда, с приданием ему столичных функций в Омск потекли люди разных слоёв. Поток беженцев и искателей места в краткий срок переполнил тихий город, увеличив его население в разы. Снять угол в Омске стало задачей сложнейшей и весьма дорогой. Кромин, впрочем, устроился довольно недурно, сняв просторную комнату у милой старушки-хозяйки, взявшей на себя попечение обо всех бытовых нуждах капитана.

А вскоре в Омск прибыл Колчак. Не было человека, к которому бы Кромин питал сколько-нибудь сравнимое уважение. Впервые судьба свела их несколько лет назад на Черноморском флоте. Но ещё раньше Борис Васильевич, как и многие моряки, хорошо знал имя Колчака и почитал его. Этим именем определялась история Балтийского флота в Великой войне. Это Колчак вместе с адмиралом Эссеном, под началом которого он служил в должности флаг-капитана, разработал план защиты Финского залива от вторжения неприятеля. Основную часть этого плана составляла система минных заграждений. Непревзойдённый мастер ведения минной войны, Александр Васильевич впоследствии сумел заставить немцев в корне изменить собственные планы относительно Российского флота, который они вначале недооценивали. Он работал больше всех, был душою и мозгом оперативного отдела штаба. И в дружеских беседах в каюте Николая

Оттовича Эссена, где часто собирались офицеры его штаба, голос Колчака звучал наиболее веско, с его мнением больше всего считались, он пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Офицеры Балтийского флота гордились им и восхищались. Александр Васильевич ставил себе всегда продуманные цели, правильно оценивал обстановку и умел настоять на выполнении раз поставленных заданий. Он был правою рукою адмирала Эссена, его ближайшим и деятельнейшим помощником.

В августовские дни Четырнадцатого года на Балтийском флоте ожидали приказа из столицы об установке минных заграждений, но его всё не было. Адмирал Эссен волновался, опасаясь, что немцы прорвутся в Финский залив. Колчак решил, что нужно ставить минное поле на свой страх и риск, невзирая на возможные последствия. Когда подняли сигнал «начать постановку заграждений», и флот вышел в море дабы прикрывать эту работу, из морского штаба пришла телеграмма-«молния»: «Ставьте минные заграждения». Через несколько часов была получена телеграмма с объявлением войны. Позже командование Балтийского флота сумело расширить первоначальный план: защитить Рижский залив, развить деятельность в Ботническом и продвинуться ещё дальше на запад. Эти операции были крайне рискованными, поскольку русские тихоходные крейсера легко могли быть уничтожены превосходящими силами противника. Колчак, как флаг-капитан оперативной части, руководил всеми операциями флота и лично участвовал в выполнении их. Когда командующий флотом ходил в море, Колчак всегда был с ним, когда же операции производились под командованием других флагманов, Колчак ходил в море, чтобы помочь своим советом и знанием обстановки. Он считал, что для того, чтобы составлять оперативные планы, необходимо лично

участвовать в их выполнении иначе планы могут не соответствовать обстановке. Однажды крейсер «Россия», на котором находился Колчак, должен был в новогоднюю ночь установить новые мины. Когда до назначенного места оставалось около пятидесяти миль, радиотелеграфисты засекали переговоры между вражескими судами, находившимися совсем рядом. Адмирал счёл дальнейшее продвижение слишком рискованным, и крейсер повернул обратно. Один из офицеров доложил об этом Колчаку, спавшему в своей каюте. Александр Васильевич тотчас взбежал на командный мостик и убедил адмирала, что выполнение операции нужно продолжать хотя бы ценой собственной жизни. Мины были установлены, и крейсер благополучно вернулся в Финский залив.

В начале 1915-го года Александр Васильевич, вступивший в командование четырьмя эскадренными миноносцами, проводил операцию по установке их в районе Данцига. Для прикрытия миноносцев в море вышла бригада крейсеров, но ночью флагманский крейсер получил пробоину, и продолжать поход стало невозможно. Тогда Колчак, несмотря на высокий риск, испросил разрешения продолжить операцию без прикрытия. Он выполнил её блестяще, на установленных минах подорвались несколько крейсеров, миноносцев и транспортных судов Германии, командующий флотом которой, в итоге, запретил своим кораблям выходить в Балтийское море, пока не будут разработаны средства борьбы с русскими минами.

Летом того же года во время наступления на Ригу немцы попытались завладеть Рижским заливом. Балтийский флот имел мало судов, способных противостоять неприятельским, но, по плану Колчака, было организовано минное заграждение входа в залив из Балтийского моря. Потеряв несколько миноносцев и крейсеров, немцы сочли за лучшее уйти из залива, и,

таким образом, их сухопутные войска не получили поддержки с моря, и Рига была спасена. После смерти адмирала Эссена Александр Васильевич получил в командование минную дивизию и стал начальником над силами, защищавшими Рижский залив. Под его руководством проводились совместные с армией операции, было произведено несколько высадок десанта на побережье залива, занятое немцами, произведено ряд нападений на германские суда. Военные потери Германии на Балтике превосходили русские в три с половиной раза по боевым кораблям и более чем в пять — по торговым. Такая пропорция напоминала самые славные страницы истории русского флота, победительную эпоху Ушакова...

Когда весной 1916-го года стало известно, что новым командующим Черноморским флотом назначен адмирал Колчак, кавторанг Кромин, с самого начала войны служивший на флагмане «Императрица Мария», заложенном в 1913-м году по программе Колчака и являвшемся самым сильным кораблём эскадры, торжествовал. Дух захватывало от мысли, какие великие дела свершит флот под таким началом, какие грандиозные победы ждут его! Свою славу, успевшую стать легендарной, Колчак умножил уже в первый день по прибытии в Севастополь. Тотчас по вступлении адмирала в командование флотом, было получено известие разведки о том, что германский крейсер «Бреслау» вышел из Босфора в Чёрное море в неизвестном направлении. Александр Васильевич хотел немедленно выйти с флотом в море для встречи «Бреслау», но оказалось, что выход флота в море в ночное время не организован, а к тому ещё выходные фарватеры не протралены и протраление их займёт шесть часов времени, поэтому если начать траление на рассвете в три часа, то флот может выйти в море в девять часов утра. Именно из-за этого, несмотря на

прекрасно организованную секретную агентуру, флот никогда не мог выйти вовремя в море для встречи противника, и тот успевал делать набеги на русские берега. Адмирал тотчас же дал указания начальнику охраны Севастопольских рейдов организовать ночной выход флота в море с тем, чтобы эта новая организация уже действовала через двое суток.

Уже наутро Колчак вывел флот в море и настиг врага, «Императрица Мария» дал по «Бреслау» залп, который накрыл его. Хотя крейсер, благодаря своей быстроходности, ушёл от погони, в будущем он уже не отваживался выходить в море и нападать на российское побережье. Впечатлял вид адмирала в боевой обстановке. Он не ведал усталости и был всецело сосредоточен на своём деле, временами походя на охотника, учувшего добычу. Он мог не спать несколько суток и оставаться при том спокойным, весёлым и бодрым. Его невысокая фигура дышала неукротимой, бьющей через край энергией, а умное, подвижное лицо озарялось вдохновением, глаза горели. У Черноморского флота появился молодой и энергичный вождь, завоевавший уважение не только офицеров, но и матросов. И не было сомнений, что с ним победа обеспечена всегда. Само имя его было синонимом победы.

Вступив в должность, адмирал сразу занялся разработкой системы минных заграждений Босфора и Варны. На Чёрном море миноносцы не были обучены установке мин, самих мин было в пять раз меньше необходимого количества, а начальник минной бригады вовсе заявил, что считает идею минных заграждений бессмысленной, вредной и рискованной. Тем не менее, Колчак заказал девять тысяч мин на южно-русских заводах и пригласил лучшего специалиста по проектированию заграждений. За три месяца было установлено более двух тысяч мин, на которых немцы

потеряли шесть подводных лодок и крейсер «Гебен». Всё время командования Колчака ни одно немецкое судно не выходило в море, благодаря чему Турция перестала получать уголь, а плавание российских пароходов совершалась в полной безопасности, как в мирное время. Русский флот, как и прежде, господствовал на Чёрном море.

Потери Черноморского флота за то же время уступали немецким, но всё же великий удар был нанесён ему действиями диверсантов. Седьмого октября 1916-го года взорвался и затонул флагманский корабль «Императрица Мария». Погибло триста человек. Адмирал, знавший на родном корабле каждый винтик, находясь в самом пекле, лично руководил его затоплением, чтобы спасти от огня рейд и город. Гибель флагмана он переживал, как смерть самого близкого человека. В те дни на него нельзя было смотреть без боли. Тяжело переживал гибель корабля и Кромин. Краса и гордость флота — и не уберегли! И где искать этого хитроумного диверсанта? Выдвигалась версия о самовозгорании пороха, но Колчак отверг её. Адмирал был убеждён в том, что взрыв «Императрицы Марии» был диверсией, и это ещё сильнее терзало его.

При Колчаке Борис Васильевич Кромин исполнял должность флаг-офицера при штабе флота. Совместная работа сблизила их, и служебные отношения перешли в дружеские, не переходя, впрочем, в какое-либо панибратство, сохраняя положенную субординацией дистанцию. Адмирал разрабатывал план операции в Босфоре, назначенную на Семнадцатый год и являвшуюся главной его целью. Некоторое участие в этом принимал и Борис Васильевич. И грезились уже, как победоносная русская эскадра подойдёт к берегам Константинополя, и свершится то, к чему стремилась Россия столько веков, то, о чём мечтала Императрица Екатерина и князь Потёмкин, со времён которых вел



свою славную историю Черноморский флот, который и должен был воплотить великую государственную мечту, то, о чём грезили славянофилы, Достоевский и Тютчев — Константинополь должен был стать русским. Снова российский герб должен был украсить «врата Цареграда». Всего один шаг оставался до исполнения этого золотого сна. И мучительно было по сей день думать Кромину, сколь малого не достало для того, чтобы сделать его явью. В одном шаге от заветной цели остановили Россию. Остановили Флот. И кто же?.. И почему?..

Борис Васильевич, в противоположность некоторым своим друзьям, склонен был в большой степени возлагать вину за случившееся на Государя. Можно винить революционеров, думцев, мерзавцев-министров, но неизменна истина: рыба гниёт с головы. Если государство расползается в считанные недели, как гнилая рыба, то не может не нести за этот ответственности тот, кто возглавлял его. Кому дано много, с того много и спрашивается. Николаю Второму было дано много. От отца ему досталось крепкое, сильное государство, динамично развивающееся, но он довёл его до коллапса Пятого года. Что ж, тогдашнее можно извинить молодостью и неопытностью Государя. Слишком рано, слишком внезапно пришлось ему встать у кормила власти. Не думал великий его отец, что уйдёт так рано, не успел подготовить сына к тяжёлой ноше. В конце концов, Пятый год пошёл России на пользу. Были проведены некоторые давно назревшие реформы, началась модернизация армии и флота, за что так ратовал Колчак, и явился, наконец, подлинный государственный деятель, твёрдой рукой выведший потрёпанный корабль России из шторма. Идти бы и идти славному этому кораблю по проложенному дальновидным капитаном курсом, но не стало капитана, и всё смешалось... И выяснилось, что ничему не научили

Государя собственные промахи, и он повторял их, с фатальной неизбежностью приближая новый коллапс, из которого уже некому было вывести России. Как можно было отдать управление государством неуравновешенной женщине, попавшей под влияние похабного «старца» и прочей нечисти, ненавидимой обществом и народом? Как можно было потакать безумной чехарде министров, которая была устроена ею (и в этой чехарде — хоть раз бы мелькнула фигура достойная!)? Как можно было довести дело до крайности, перейти эту крайность, а затем отречься от престола таким образом, что рухнула вся многовековая русская монархия?! Уму непостижимо! Непростительно! Придворная камарилья предала Царя, но кто виноват, что именно таким было его окружение? Ведь оно не навязано было ему, ведь он (и она!) выбирал, назначал! Так как же возможно утверждать, что Государь не несёт вины? Глава государства не может не нести ответственности за то, что в нём происходит. И если он жертва, то, в первую очередь, жертва собственных ошибок. Столь жёсткая оценка Императора привела к тому, что февральский переворот Кромин оценил вначале скорее положительно. Представлялось тогда, что большего развала, чем тот, который устроили поставленные Государыней министры, быть просто не может. Что новые люди, трезвомыслящие и деятельные, как, к примеру, Гучков, сумеют навести порядок и привести Россию к победе. Какая наивная надежда была!

В те февральские дни адмирала не было в Севастополе. Он уехал с докладом в Батум к Великому Князю Николаю Николаевичу. О происходящем в столице первым сообщило немецкое радио, вещавшее из Константинополя на ломаном русском языке. Рассказывалось о погромах, страшных, кровопролитных боях на улицах Петрограда. Офицеры пришли в

большое волнение. Никто не знал, насколько можно доверять вражеской информации, но все ясно чувствовали, что происходят какие-то очень серьёзные события, последствия которых предугадать нельзя.

Колчак срочно вернулся в Севастополь и перво-наперво издал приказ, в котором говорилось, что вражеское радио вещает, очевидно, не для того, чтобы сделать что-нибудь полезное для русского флота, а потому все командиры должны верить только своему командующему, который, в свою очередь, обещает немедленно оповещать их о том, что будет ему известно. Адмирал просил не придавать никакого значения слухам, в случае каких-либо сомнений обращаться непосредственно к нему за разъяснениями. Такой быстрой и решительной мерой Александр Васильевич нейтрализовал вражескую пропаганду.

Вскоре адмирал вызвал Кромина к себе и протянул ему только что переданную телеграмму:

— Прочтите, Борис Васильевич.

Это была телеграмма от генерала Алексеева, в которой запрашивалась поддержка командующих фронтов отречения Императора. Под предложением подписались уже практически все они.

— Вы поддержите это обращение? — спросил Кромин, возвращая телеграмму.

Адмирал сидел за столом, сложив руки треугольником так, что ладони, сомкнутые кончиками пальцев, скрывали большую часть лица, и лишь глаза тяжело смотрели исподлобья. Александр Васильевич помедлил с ответом, а затем произнёс твёрдо своим глуховатым голосом:

— Я служу Родине, а не какому-либо политическому строю... Россия, вне всяких сомнений, больше, выше и важнее политического строя, важнее Династии, и ей мы должны служить при любом исходе. Но я принимал присягу и нарушить её требованием отречения я не

могу. Пусть делают, что считают нужным. Но без моего участия. В этом я им не помощник.

— Что вы думаете обо всём этом, Александр Васильевич?

— Думаю, что нас ждут нелёгкие времена. Нам придётся приложить все силы, чтобы оградить флот от вредных влияний. Сейчас это главная задача. Война продолжается, враг только и ждёт момента, чтобы ударить в образовавшуюся брешь. Но этой брешу образоваться не должно! — глаза адмирала блеснули, он резко поднялся, заходил по каюте. — Придётся лавировать, Борис Васильевич. Будем надеяться, что шторм уляжется и не нанесёт нашему кораблю непоправимых повреждений, не потопит его в пучине...

Известие об отречении Императора и его брата и формировании Временного правительства Колчак разослал на все суда с приказом командам собраться на своём флагманском корабле «Георгий Победоносец». Здесь он выступил перед ними с речью:

— В настоящее время прежняя власть перестала существовать, Династия, по-видимому, кончила своё существование, наступает новая эпоха. Но каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства перед нашей Родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени.

Тем не менее, вредные настроения всё же проникали в матросскую среду. Кровавые события произошли на Балтийском флоте: матросами были жестоко убиты адмирал Непенин и многие офицеры. Эта весть поразила Колчака. На Черноморском флоте опасные выступления начались с опубликования

Приказа № 1 Петроградского Совета. Однако уважение к адмиралу во флоте было слишком сильно, его авторитет не смогла подорвать даже революция. Не заискивая перед матросами, но и не злоупотребляя своей властью, он вёл свою линию, при этом лавируя между различными тенденциями, не давая поднимающимся валами выступлениям затопить ведомое им судно, именуемое Черноморским флотом.

Четвертого марта в Севастополе начался митинг. Собравшиеся потребовали прибытия на него Колчака. Адмирал прибыл на автомобиле, моряки и солдаты встретили его восторженно, несли на руках, слушали с полным вниманием и доверием.

— Покуда война не закончена, я требую, чтобы вы выполняли свою боевую работу так же, как выполняли раньше, чтобы в этом отношении всеми, начиная с командного состава и кончая самым младшим матросом, мне была оказана помощь, чтобы у меня была уверенность, что каждое моё приказание, относящееся до боевых действий флота, будет немедленно выполнено, — говорил Александр Васильевич.

Речь сопровождалась бурными аплодисментами и имела большой успех. Удивительное это было зрелище! На фронте в те дни почести воздавали лишь тем командирам, которые, держа нос по ветру, братались с солдатом. На Балтийском флоте мягкого и либерального Непенина толпа линчевала. На флоте Черноморском матросы славил адмирала, решительно требовавшего от них полного повиновения «как раньше», не делавшего ни единого реверанса новым порядкам и властям.

По окончании митинга Кромин восторженно говорил:

— Я поздравляю вас, Александр Васильевич! Вы сумели удержать флот от развала, удержать команду в

повиновении! Этого никто кроме вас не смог бы сделать!

— Бросьте, — устало покачал головой Колчак. — Надолго ли это? Все эти политиканские новшества похожи на торосы. Между ними изо всех сил приходится торить путь, но нет никакой гарантии, что однажды они, сгрудившись, не затрут-таки пробивающееся сквозь них судно.

— Я полагаю, что беспорядок скоро уляжется. Как и все шторма... Переходный период всегда сопровождается разбродом.

— Хотелось бы мне верить в это, — адмирал вздохнул. — Боюсь, Борис Васильевич, что этот шторм серьёзнее, чем он вам представляется. Но я намерен бороться с ним до последней возможности, — голос Колчак зазвучал уверенно и энергично. — Необходимо ослабить враждебную агитацию. Для этого необходимо занять возбуждённые массы делом, направить их кипящую энергию в нужное русло.

— Таким делом мог стать поход на Босфор, — живо откликнулся Кромин.

— Верно! Вот и надо муссировать в массах вопрос о походе на Босфор! Важен, конечно, не сам Босфор, но это часть общего развёрнутого плана борьбы с большевиками во флоте. Война даёт нам возможность взять массы в руки. Для этого надо, во что бы то ни стало, добиться перехода флота к наступательным действиям... А там, что бы ни случилось, всё будет хорошо, — адмирал говорил горячо, вдохновляясь идеей. — Если будет успех, авторитет командования возрастет, власть укрепитя. Если наступление кончится неудачей, мы обвиним в этом большевиков! Возникнет угроза нападения неприятеля на наши берега, и страх перед этим даст возможность командованию собрать силы, которые сумеют подавить всё, что теперь разлагает армию. Но во всех вопросах

инициатива должна быть у нас! Мои офицеры должны быть впереди и вести за собой массы. Первым шагом нашим должна быть пропаганда похода на Босфор.

Эта пропаганда заняла массы на неделю, но затем их внимание переключилось на другое: были найдены останки лейтенанта Шмидта и жертв восстаний Пятого и Двенадцатого годов. Колчак, откликаясь на чаяния масс, не желая спровоцировать конфликт по столь маловажному поводу, распорядился поднять весь флот и Севастополь на торжественные похороны, присутствовал на них сам со всеми офицерами, одетыми в парадную форму.

В этот период, пытаясь спасти флот от разложения, Александр Васильевич научился быть дипломатом. Адмирал наладил отношения с образовавшимися комитетами, своим приказом назначил время выборов в них лиц, среди которых были и офицеры, поддерживал с ними самое тесное взаимодействие. Председатель местного Центрального военного исполнительного комитета, меньшевик, «потёмкинец» и политкаторжанин Конторович поддерживал авторитет адмирала и укреплял его влияние. Александр Васильевич нашёл верный тон не только для общения с матросами, но и с рабочими. В этом помог юношеский опыт. Отец адмирала, Василий Иванович, герой обороны Крыма, знаменитого Малахова кургана, возвратившись из французского плена окончил институт горных инженеров, работал на Златоустовском заводе на Урале, изучая металлургическое и оружейное дело, после чего, став приемщиком от военного ведомства, служил на Обуховском сталелитейном заводе, выйдя в отставку в чине генерал-майора, продолжал работать там же инженером. Фактически выросший на Обуховском заводе, Колчак имел массу технических знаний. В годы учёбы в свободное время Александр Васильевич проходил курс заводской техники, изучал

слесарное дело, которому его обучали рабочие. С ними он сошёлся довольно близко. Эта среда пробудила в Колчаке интерес к социальным и политическим вопросам, но на изучение их просто не хватало времени, к тому же и в семье никогда не говорили на эти темы. Давний опыт общения с рабочими очень помог адмиралу в революционные дни. Встречаясь с представителями бастующих заводов, он производил на них впечатление тем, как хорошо разбирается в их деле, знает его изнутри. Севастопольские рабочие заявили Колчаку, что будут поддерживать его и будут работать столько, сколько потребуется для военных надобностей флота. Александр Васильевич со своей стороны шёл им навстречу во всех тех вопросах, которые мог разрешить. Вопросы эти адмирал лично обсуждал с председателем Совета Рабочих Депутатов Васильевым. На всевозможных собраниях проявил он и недюжинный ораторский талант. Но вынужденное и затянувшееся лавирование тяготило и утомляло прямого по натуре Колчака.

— Я не создан быть демагогом, — говорил он, — хотя легко бы мог им сделаться. Я солдат, привыкший получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в отношении организованной и приведённой в механическое состояние силы. Чем больше я занимаюсь политикой, тем большим отвращением проникаюсь к ней, ибо моя политика — повинование власти, которая может повелевать мною. Но власти — нет! Приходится заниматься политикой и руководить дезорганизованной истеричной толпой, чтобы привести её в нормальное состояние и подавить инстинкты и стремление к первобытной анархии...

Всего более пугало адмирала в нарастающей политической истерии, то, как тёмная стихия, всё более затягивая русское общество, обращает «войну до победного конца» в призрак. Несмотря на то, что его



флот оставался верен ему, принимал восторженно его выступления, Колчак понимал, что всё это некрепко и нетвёрдо и может измениться мгновенно:

— На почве дикости и полуграмотности плоды получились поистине изумительные. Очевидность всё-таки сильнее, и лозунги «война до победы» и даже «проливы и Константинополь»... Но ужас в том, что это неискренно. Все говорят о войне, а думают и желают всё бросить, уйти к себе и заняться использованием создавшегося положения в своих целях и выгодах — вот настроение масс... Труссы! — это слово адмирал произносил с особым презрением. — Знаете, дорогой Борис Васильевич, в чём главная беда? Даже не в том, что революция произошла, а в том, что революцию сделали трусы!

— Помилуйте, — пытался спорить Кромин, — разве трусы могут сделать революцию? Разве можно отнести к трусам Гучкова?

— Гучков не трус. Но он не может противостоять трусости всех остальных. Он допустил появление этого бесподобного приказа под номером один! Труссы — придворные, которые бежали при первой угрозе. Труссы — министры, не смеющие препятствовать гнусностям Петросовета. Труссы — офицеры, забывающие о чести и долге, пытаясь стать «своими» для тех, кто никогда не забудет, что они чужие, что они враги. Трусость пронизывает всё. Дисциплина разрушена, а без дисциплины человек прежде всего трус и неспособен к войне. Лозунг «война до победного конца» несовместим с тем ворохом свобод, которые обрушили на народ политические хулиганы. Несоответствие лежит в глубоко невоенном характере масс. Они пропитаны отвлечёнными, безжизненными идеями социальных учений. Отцы социализма, я думаю, давно уже перевернулись в гробах при виде применения их теорий в нашей жизни... К чему призывают солдата? Матроса?

Защищать свободы! А для них свобода — покинуть фронт, предаться лёгкой и пьяной жизни. Свобода трусости. А свобода трусости способствует бегству с фронта, а не победоносному движению вперёд, умножает дезертиров, а не героев. Они провозгласили свободу трусости, Борис Васильевич. И если этому не положить конец, то она разрушит всё, и войну мы проиграем.

В апреле Колчак побывал в Петрограде, куда адмирала вызвал Гучков, намеревавшийся поставить его во главе развалившегося Балтийского флота. Александр Васильевич от новой должности отказался и, удручённый всем увиденным и услышанным в столице, возвратился в Севастополь. По возвращении он выступил перед пленумом совета флота, армии и рабочих, проходившем в цирке Труцци, самом большом здании города. Набатом звучала речь адмирала, безмолвно слушал её зал, а впервые возникло у Кромина ощущение надвигающейся бездны. Спокоен был голос Колчака, спокойным выглядело лицо его, но разрывали душу слетавшие с его уст слова, безжалостно рисовавшее создавшееся положение в истинном его виде:

— Я буду говорить об очень тяжёлых и печальных вещах, и я долго думал, говорить ли о них совершенно откровенно, так как многих слабых людей это сообщение могло бы привести в состояние, близкое к отчаянию, к представлению, что всё потеряно и выхода из создавшегося положения нет. Но я не буду считаться с ними — я буду говорить для сильных и твердых людей, способных хладнокровно и спокойно смотреть в глаза надвигающейся катастрофе, обдумать и взвесить её значение, а затем делом или поступками её предотвратить. Армия и флот гибнут, Балтийский флот, как вооружённая единица, перестал существовать, в армии в любом месте противник может прорвать фронт

и начать наступление на Петроград и Москву. Россия стоит перед торжествующим врагом, открытая для его вторжения. Фронт разваливается, и шкурнические интересы торжествуют. Явление дезорганизации комсостава, крайняя трудность и даже невозможность военной работы, удаление и вынужденный уход многих опытных начальников и офицеров, лучшие из которых ищут места в армиях наших союзников для выполнения долга перед Родиной, с одной стороны, и явления сношения с неприятелем и дезертирство, с другой, создают грозные перспективы в будущем. Если мы не оставим партийные споры, Россия погибнет! Суждения обитателей, собравшихся в горящем доме, о вопросах порядка следующего дня приходится признать несколько академическими. Наш Черноморский флот — одна из немногих частей, сохранивших боеспособность; на него обращены взоры всей России. Черноморский флот должен спасти Родину! Разрыв между солдатом и офицером ведёт к вторжению неприятеля на русскую землю; враг пройдёт огнём и мечом по нашим родным полям и лесам! Если дух армии изменится в лучшую сторону, если мы сумеем создать в ближайшие дни дисциплину, восстановить организацию и дать возможность комсоставу заняться оперативной работой, мы выйдем из предстоящих испытаний достойным образом. Если же мы будем продолжать идти по тому пути, на который наша армия и флот вступили, то нас ждёт поражение со всеми проистекающими из этого последствиями. Если мы сейчас бросим своё участие в войне, то вооружим против себя ещё и союзников, счёт которых будет чрезвычайно тяжёлым. Наша зависимость будет уже не от одной Германии, а, может быть, от целого ряда государств. Чем же расплачиваться придётся нам? Ни для кого не секрет, что мы находимся в самом бедственном положении, и придётся расплачиваться

натурой, — территорией и нашими природными богатствами. И вот, наступает, в конце концов, призрак раздела нашего; мы потеряем свою политическую самостоятельность, потеряем свои окраины, в конце концов, обратимся в так называемую «Московию» — центральное государство, которое заставляют делать то, что им угодно, но то, что обуславливало нашу политическую самостоятельность, — всё будет у нас отнято. Какой же выход из этого положения, в котором мы находимся, которое определяется словами «Отечество в опасности»? Первая забота — это восстановление духа и боевой мощи тех частей армии и флота, которые её утратили, — это путь дисциплины и организации, а для этого надо прекратить немедленно доморощенные реформы, основанные на самоуверенности невежества. Сейчас нет времени и возможности что-либо создавать, надо принять формы дисциплины и организации внутренней жизни, уже существующие у наших союзников: я не вижу другого пути для приведения нашей вооружённой силы из «мнимого состояния в подлинное состояние бытия». Это есть единственно правильное разрешение вопроса.

Речь Колчака была встречена бурными овациями, после неё его вынесли на руках. В те же дни ЦВИК провёл голосование о желательности или нежелательности приезда в Крым Ленина. Из четырёхсот девяти делегатов лишь двадцать высказалось в поддержку этого приезда, после чего ЦВИК разослал по всем приморским городам телеграмму с распоряжением ни в коем случае не допускать приезда Ленина.

Выступление Колчака имело столь сильное влияние, что ЦВИК решил послать делегацию Черноморского флота с целью агитации за сохранение боеспособности войск и продолжение войны. Делегация включала в себе четыреста шестьдесят человек. Они разъехались

по фронтам, выступали в действующих частях, а часто, пытаясь воодушевить солдат, сами шли в бой и погибали. Многие, таким образом, в Севастополь уже не вернулись. В те дни газеты как никогда много писали о Колчаке, одну из его речей растиражировали и распространили по стране, его слава росла с каждым днём, его имя приобретало всё большую известность, а, между тем, утрата наиболее дееспособных и патриотично настроенных моряков, оказавшихся в черноморской делегации, не замедлила сказаться на положении флота...

Ещё ранее Колчак заявил, что считает возможным руководить флотом до тех пор, пока не произойдёт одно из трёх обстоятельств: 1. отказ какого-либо корабля выйти в море или исполнить боевое приказание; 2. смещение подчинёнными с должности кого-либо из начальников без санкции командующего; 3. арест подчинёнными своего начальника. В мае эти обстоятельства стали реальностью. Всё началось с того, что миноносец «Жаркий» отказался выйти на боевое задание, и его пришлось вывести из состава действующих сил. При этом, впрочем, когда адмиралу понадобились добровольцы для крайне опасной операции по установке новых мин вследствие полученной информации о новых немецких подлодках, таковых оказалось столько, что они превысили необходимое количество. Задание было выполнено, несмотря на то, что в ходе него возникла перестрелка с вражескими катерами, и многие получили ранения. Таков был контраст той поры. Вскоре после инцидента с «Жарким» совет, из которого к тому моменту ушли многие члены, с которыми взаимодействовал Колчак, потребовал от адмирала ареста одного из командиров. Александр Васильевич ответил, что санкцию даст только после официального расследования, и тогда арест был произведён самовольно. Колчак обратился к

правительству с просьбой об отставке, но Керенский, ставший к тому времени военным и морским министром, её не принял.

Тем не менее, оставаться на посту адмиралу пришлось недолго. Развал флота продолжался. Судостроительные заводы почти не работали, Колчака более не приглашали на проводимые собрания, среди матросов явились неизвестно откуда взявшиеся провокаторы, которые стали распускать слухи о мнимом офицерском заговоре. Арестовать этих агитаторов не было сил. Их речи имели большое разлагающее влияние на матросов, солдат и рабочих. Влияние офицеров быстро падало.

Целый поток клеветы был обрушен на адмирала. На одном из митингов присланные ораторы представили его крупным помещиком, имеющим владения на территории Пруссии, а потому лично заинтересованным в продолжении войны. Александр Васильевич потребовал слова и заявил:

— С самого начала войны, кроме чемоданов, которые я имею и которые моя жена успела захватить с собой из Либавы, я не имею даже движимого имущества, которое всё погибло в Либаве. Я жил там на казённой квартире вместе со своей семьёй. В первые дни был обстрел Либавы, и моя жена, с некоторыми другими жёнами офицеров, бежала из Либавского порта, бросивши всё. Впоследствии это всё было разграблено ввиду хаоса, который произошёл в порту. С 1914-го года я живу только тем, что у меня в чемоданах и каюте. В таком же положении моя семья. И если кто-то обнаружит у меня какое-нибудь имение или недвижимое имущество, или капиталы, я охотно передам их ему, потому что их не существует в природе!

Речь возымела действие, разговоры о мнимых имениях Колчака прекратились. Но положения это не

спасло. В начале июня заседание совета постановило отстранить Колчака от должности, разоружить всех офицеров и произвести обыски в их квартирах. Так повела себя команда, о которой в течение одиннадцати месяцев командующий не мог сказать ничего дурного, с которой всё это время не было никаких серьёзных стычек, среди которой до сих пор не было ни единого крупного проступка, преступления, ни одной смертной казни или ссылки на каторжные работы. Когда явившаяся делегация потребовала сдать оружие, адмирал взял свою саблю, полученную за оборону Порт-Артура, поцеловал её и бросил за борт:

— Море мне её дало, морю и отдам.

После этого Александр Васильевич дал телеграмму Керенскому, указав, что ни при каких обстоятельствах не станет больше командовать флотом, передал командование контр-адмиралу Лукину и отправился к себе на квартиру. Вскоре туда явились представители Комитета и провели обыск. Вечером стало известно о возможном аресте, и Колчак поспешил вернуться на корабль, чтобы арест не произошёл на глазах жены и сына. Ночью пришла телеграмма от Керенского, в которой адмиралу было приказано немедленно явиться в Петроград для доклада. Как раз в то время в Севастополь прибыла американская военная миссия адмирала Гленона для изучения постановки минного дела и методов борьбы с подводными лодками. Колчак сообщил, что принять миссии не может, и она, ознакомившись с положением вещей, немедленно уехала. Тогда же Севастополь покинул и Александр Васильевич.

Черноморский флот без своего адмирала потерял душу. Его энергией, его волей, его авторитетом и умом двигалось всё здесь в последние месяцы, на нём одном держалась боеспособность Черноморской эскадры, он один, поставив на карту всё, титаническими усилиями

сдерживал нарастающий шторм, принимая на себя все удары его валов. С его уходом флот стал разваливаться, и капитан Кромин воочию убедился в справедливости самых мрачных опасений Александра Васильевича. Как только стало известно об отстранении Колчака от должности, немцы сразу активизировали свою деятельность на Чёрном море. Впервые крейсер «Бреслау» отважился приблизиться к российским берегам, учинил разгром укреплений у устьев Дуная, высадил десант, захватил пленных и вернулся на свою базу, пользуясь неуправляемостью русских кораблей. На флоте офицеры вели агитацию за возвращение Колчака, но адмирал не считал для себя возможным продолжать командование. Несколько месяцев спустя окончательно разложившийся флот оставил и Борис Васильевич.

Сотрудничать с большевиками капитан Кромин счёл бесчестьем. Он готов был бороться с ними, но не знал, в чьих рядах, под чьим началом. Смутные сведения доходили о Добровольческой армии, и не спешил Борис Васильевич пробираться на Дон, внутренне чувствуя, что будет там не у места. Вождём видел Кромин лишь одного человека: адмирала Колчака. Того Колчака, который в окаянные месяцы показал себя не только как честный патриот и выдающийся командир, но блестящий оратор и мудрый политик, умеющий, когда надо, найти общий язык даже с рабочими. Именно такая яркая личность необходима была во главе дела. Но Александр Васильевич находился далеко. По приглашению американцев он покинул Россию, дабы продолжать войну с её врагом под флагом её союзников.

Когда прошёл слух о том, что Колчак в Харбине, на Дальнем Востоке ведёт какую-то работу, Борис Васильевич немедленно покинул Гельсингфорс и отправился туда. Не могло быть, чтобы такой человек,



как Колчак, остался в стороне от борьбы, чтобы столь выдающаяся фигура не заняла достойного места. Таким образом определился и путь капитана Кромина.

В сентябре он, наконец, встретился с Александром Васильевичем. Но встреча вместо ожидаемой радости принесла некоторое разочарование. Сильно изменился Колчак за тот год, который минул с его отъезда из Севастополя. Куда исчез прежний бодрый и неутомимый морской волк, отличавшийся такой энергией, весёлостью, буквально озарявший своим присутствием любое общество? Исхудавший, с потемневшим и измождённым лицом, адмирал был мрачен, подавлен. В нём явственно обнаружился внутренний надлом, исчезла та искра, которая горела так ярко ещё недавно. Слишком тяжёлым оказался для Александра Васильевича удар, слишком болезненно воспринял он крушение флота, поражение России в войне. Для него это было личной трагедией, крахом всей жизни, отданной служению Флоту и России. Он ещё продолжал бороться по инерции, но невидимый внутренний двигатель уже был сломан, и эта сломленность сквозила в заострившихся чертах лица, во взгляде тёмных, усталых глаз. Это был не тот Колчак, которого ждал увидеть Кромин. И всё же это был Колчак, и трагическая перемена в нём, хоть и наполнило сердце Бориса Васильевича горечью, но не поколебала его преданности.

Адмирал был видимо рад встрече со старым другом, но затаённая тоска не покидала его. Он сидел в кресле, немного непривычно смотрясь в английском мундире вместо морского кителя, задумчиво крутил в руках привезённый из Японии старинный, остро наточенный самурайский меч, любясь зловещими отблесками стали.

— Всё чаще вспоминаю я, Александр Васильевич, Севастополь. Эскадру нашу. Мне дни те по ночам

снятся. Походы, корабли... Наша погоня за «Бреслау». Какое прекрасное было время!

— Да, было... — безразличным тоном проронил Колчак. Воспоминания прежнего, кажется, ничуть не волновали его. Проведя пальцем по лезвию меча, адмирал сказал: — Вы, Борис Васильевич, кажется, не соглашались со мной тогда — насчёт торжества трусов?

— Признаю, я был наивен.

— Мы проиграли войну благодаря стихийной трусости чисто животного свойства, охватившей массы, с первого дня революции освободились от дисциплины и провозгласили трусость истинно революционной добродетелью. Война — удел сильных людей и здоровых наций. В войне силы последних не истощаются, а обновляются. В основе гуманности, пацифизма, братства рас лежит простейшая животная трусость, страх боли, страдания и смерти. А страх всегда порождает поражение. Побеждает бесстрашие и дисциплина. Народ, превратившийся в толпу трусов, перестаёт быть нацией, становится неспособен к войне, к победе. «Товарищ» — это синоним труса прежде всего, и армия, обратившись в товарищей, разбежалась или демократически «демобилизовалась». Вот, сущность нашей проигранной войны.

— Я бы мог с вами не согласиться в некоторых аспектах.

— Попробуйте.

— Французы при Бонапарте никак не были трусами, но бесконечные войны истощили их силы.

— Их силы истощили не войны, а то сродное с нашим безумие, которое войнам предшествовало. Французам всегда не хватало дисциплины... И это разрушительно сказывается на их стране.

— А англичане?

— У англичан в этом смысле преимущество. Правда, от этого моё положение кондотьера в их армии не стало

для меня менее унижительным. Никогда не думал, что ради чести Отечества мне, русскому офицеру, придётся идти в кондотьеры, — слово «кондотьер» адмирал произносил с видимой болью, словно нарочно разворачивая свою рану, безжалостно посыпая её солью. — А самое главное, что и это оказалось напрасным. Американцы пригласили меня, как консультанта, для осуществления операции в проливах, но отказались от неё. К русским, Борис Васильевич, там относятся скверно, и моё пребывание там было мне тяжело. Я хотел вернуться, но получил известие о захвате власти Центрохамом... И что, скажите, должен был делать я, как один из высших руководителей русской армии? Мира, заключённого Центрохамом, я не признаю и не признаю никогда. И я стал кондотьером... Поступил на службу Англии. В армию, а не во флот, чтобы не доставлять неудобств. А Англия сочла, что моё место здесь. На Дальнем Востоке, в Сибири. Наш посланник в Пекине при встрече заявил мне, что здесь необходимо создавать вооружённую силу против большевиков, и, вот, я здесь.

— Я уверен, что Сибирь станет мощной и надёжной гаванью для освободительного движения, — сказал Кромин. — И первые успехи армии порука тому. Сибирь менее других территорий заражена большевизмом, в ней здоровых сил много.

— Есть кое-что, что меня смущает.

— Что же?

— Вы, Борис Васильевич, проезжая по Дальнему Востоку, не взяли на себя труд близко ознакомиться с положением вещей?

— Нет. Ведь ехал я как лицо частное, без каких-либо полномочий.

— А у меня как раз были все необходимые полномочия и, вот, что я вам скажу: основная угроза нашим создаваемым вооружённым силам состоит во

всеобщей распущенности офицерства и солдат, которые потеряли, в сущности говоря, всякую меру понятия о чести, о долге, о каких бы то ни было обязательствах! — адмирал раздражённо взмахнул рукой и заходил по комнате. Его до того спокойный голос стал взволнованным. — Никто ни с кем решительно не желает считаться — каждый считается только со своим мнением!

— Это болезнь общества, Александр Васильевич. Все слышат только себя, самих себя оглушают собственными голосами. Коли ни Царя, ни диктатора, так каждый сам себе диктатор и царь, и Бог.

— То-то и оно, — голос адмирала вновь сделался ровным. — В Харбине я не встречал двух людей, которые хорошо бы высказывались друг о друге. На меня это произвело ужасное впечатление. Атмосфера такого глубокого развала, что совершенно невозможно что-нибудь создавать. Множество партизанских отрядов действуют по своему произволу, нет ни малейших законов, никакой дисциплины. Что можно строить на таком фундаменте?

— Но в Омске разные силы всё же сумели прийти к некому консенсусу, — заметил Кромин.

— Надолго ли?

— И Сибирская армия не лишена дисциплины. Это не атаманщина...

— Вы, дорогой Борис Васильевич, как всегда, надеетесь на лучший исход? — по тонким губам адмирала скользнула едва заметная печальная улыбка.

— Если не надеяться на лучшее, то ведь и руки опускаются, и делать ничего невозможно, — ответил Кромин. — Каковы ваши намерения теперь, Александр Васильевич?

— Намерения? Думаю пробраться на Дон. В распоряжение генералов Алексеева и Деникина.

Такой расклад Кромину не понравился категорически. Ехать на Дон, обладающий избытком признанных вождей, когда в Сибири при огромном количестве ресурсов не хватает грамотных начальников, лидеров, могущих сплотить вокруг себя армию и общество! Идти под начало Деникина — Колчаку! Немыслимо! Воля к власти у адмирала явно отсутствовала. Это было скверно, так как такая воля лидеру необходима. Тогда, на бушующем Черноморском флоте, с каким подъёмом шёл Колчак навстречу всем бурям, как боролся, как отстаивал флот, а теперь стал пассивен, разочарован... Он не хочет власти, не хочет бороться за неё, не хочет быть лидером, а хочет лишь исполнить до конца долг. Под чужим началом. Безвдохновенно и обречённо. Иначе должен был быть настроен лидер, но иного лидера не было. Едва очутившись в Сибири, Борис Васильевич понял, что сибирской армии не хватает знамени, Имени, звук которого заставлял бы сердца биться чаще. И нет имени более подходящего, нежели Колчак.

— Вы не должны оставлять Сибирь, — твёрдо заявил Кромин. — Вы здесь нужнее. Ваш опыт нужнее здесь.

— Я уже слышал это.

— От кого?

— От генерала Болдырева. Он тоже настаивает, чтобы я остался. Мне предложен пост морского министра.

— Вот видите! Соглашайтесь! — горячо посоветовал Борис Васильевич. — Белое Движение Сибири страдает от отсутствия общего руководства. Единоначалия.

— Клоните к необходимости диктатуры?

— Да. Я сторонник диктатуры. Это необходимость жизненная для переходного времени. Потом можно будет красоту наводить: собрания, советы, Думы — что будет признано полезным. А сейчас — только

диктатура. Диктатор должен железной рукой навести порядок.

— Недавно я имел беседу с генералом Гайдой. Он тоже говорил мне о диктатуре. И недвусмысленно намекнул, что видит в этой роли себя.

— Невозможно! — категорически отклонил Кромин. — Гайда — чех, а большая часть армии — русские. Русским нужен русский диктатор.

— Приблизительно это я ему и ответил, — Александр Васильевич несколько оживился. — Но диктатуре нужно прежде всего крупное военное имя, которому бы армия верила, которое она знала бы, и только в таких условиях это возможно.

— Разумеется!

— И кого же вы видите в этой роли?

— Вас! — откровенно ответил капитан.

— А моего согласия вам не требуется?

— А разве вы откажетесь?

Сверкнул изумительной красоты клинок в сильных руках адмирала, повисло на несколько мгновений молчание. Затем Колчак произнёс медленно:

— Я к власти не стремлюсь. У меня армии нет, я человек приезжий, и не считаю для себя возможным принимать участие в таком предприятии, которое не имеет под собой почвы. Я имею ввиду переворот. Достаточно их уже было. Я останусь в Омске, коли все так на этом настаивают и убеждены, что здесь от меня пользы больше. И буду выполнять указание законного правительства.

Кромин понял, что продолжать этот разговор лучше не стоит. На первый раз было довольно и того, что адмирал остаётся в Сибири и принимает предложенный ему директорией пост. Хотя настроение Колчака крайне не нравилось Борису Васильевичу, он счёл, что это не повод отказываться от вожделенной идеи — сделать его диктатором. В конце концов, настроения

переменчивы, штормам морским подобны, настроения адмирала, человека достаточно импульсивного и горячего, в особенности. Трагические события, вероятно, расшатали его нервы (да разве только его?), подавили волю, но это поправится в случае, если армии будет сопутствовать успех. Главное — начать. Главное — поставить дело. Для этого адмиралу нужны верные люди. И капитан Кромин один из них. И уж он-то не отступится от своего, он не остановится. Перепады настроения, «шторма» Борису Васильевичу были чужды. Он не боялся никакой работы и, находясь в Омске без какой-либо должности, напряжённо прощупывал политическую почву, встречался с представителями различных партий, офицерами. Идею о необходимости диктатуры поддерживали многие, и большинство видели в роли диктатора именно Колчака. Но сам Колчак не видел себя в этой роли. Приняв пост морского и военного министра, он с раздражением наблюдал за политической вознёй. Затянувшийся правительственный кризис тяготил его. Он стремился к делу, но дело тонуло в говорильне, шла не борьба с большевиками, а борьба за кабинет, за места в кабинете. Человек военный до мозга костей, Александр Васильевич затворился на своей квартире, не посещал заседания правительства, когда же его приглашали на них, угрюмо отмалчивался.

А Кромин и его соратники продолжали действовать. Переворот становился неизбежен. Многие офицеры обращались напрямую к Колчаку с просьбой принять власть, но каждый раз встречали отказ. Не оставлял и Кромин попыток переубедить адмирала:

— Вы нужны России. Это не может быть случайностью, что вы оказались в Омске в этот критический момент. Вы должны согласиться. Во имя России!

Заклинания именем России колебали Александра Васильевича, но он всё ещё сопротивлялся:

— Диктатору нужна армия! У меня нет армии! И более того, я, военный министр, не имею сколь-нибудь достаточного понятия об её положении. А вы хотите, чтобы я принял власть! Возглавил переворот! Нет и ещё раз нет.

Взвесив всё, заговорщики решили, что впутывать адмирала, зная его щепетильность в вопросах чести в переворот, не стоит. Переворот несложно было сделать и самим, а постфактум совместно уговорить Колчака не отказываться от власти. Во имя России. Решили и другую задачу: организовали поездку Александра Васильевича на фронт. Виктор Николаевич Пепеляев, старший брат молодого сибирского генерала, полагал, что, увидев фронт, под влиянием организованных ему встреч, адмирал не уклонится принять на себя роль диктатора. Виктор Николаевич был мозгом заговора. Этот человек был, пожалуй, одним из самых энергичных, решительных и незаурядных политических деятелей в Сибири. Вся крупная фигура его, манера держать себя, зычный голос производили впечатление силы и твёрдости. Пепеляев начинал свой путь простым учителем истории в Бийске, затем был избран в Думу. Во время войны работал на фронте в лично сформированном питательном отряде. В первые дни революции именно его отправили в озверевший Кронштадт для восстановления там гражданской и военной власти — и Виктор Николаевич не уклонился от этой опасной миссии. После выполнения её он добровольцем отправился на фронт, там встречался с Корниловым. В Сибирь Пепеляев был командирован московским национальным центром, активном членом которого он являлся. Виктор Николаевич был непримиримым противником «Комуча». Итоги уфимского совещания он оценивал скептически, считая



невозможным создать прочную власть путём компромисса с полубольшевиками. И считая так, прилагал все силы для создания новой власти, власти единой и прочной. Таковой виделась только диктатура во главе с Колчаком.

Организуя адмиралу поездку на фронт, заговорщики преследовали двойную цель. Эта поездка должна была стать проверкой. Нужно было посмотреть, как воспримут в войсках Колчака. Нужно было, чтобы вид воюющей армии укрепил его самого. В Екатеринбурге адмиралу была устроена торжественная встреча, оттуда он отбыл на фронт, где встречался с генералами Голицыным, Дитерихсом, Пепеляевым, Сыровым. Войска встречали Александра Васильевича восторженно, но расчёт Пепеляева-старшего не оправдался. Вернувшись в Омск, адмирал подал рапорт об отставке.

— Я здесь уже около месяца военным министром и до сих пор не знаю своего положения и своих прав, — говорил он. — Вместо чисто деловой работы, здесь идёт политическая борьба, в которой я принимать участия не хочу, потому что считаю её вредной для ведения войны, и в силу этого я не считаю возможным в такой атмосфере и обстановке работать даже на той должности, которую я принял. Как только генерал Болдырев прибудет в Омск, я тотчас сложу с себя полномочия.

Об этом решении Колчак заявил семнадцатого ноября. Повернуть запущенного процесса вспять уже было нельзя. Но Кромина снова царапнуло мучительное сомнение: прав ли он, так отчаянно добиваясь возведения адмирала в диктаторы против его воли? Не медвежью ли услугу оказывает ему и всему делу? Вспомнился вечер накануне отъезда Александра Васильевича на фронт. На правительственном банкете собрались представители правительства,

командования, союзных миссий, корреспонденты газет, дамы... Адмирал сидел в углу стола. Так вышло, что места вокруг него пустовали, и казалось, будто бы все покинули его. Одинок просидел он весь вечер, не обращая внимания, с каким повышенным интересом следили за ним многие присутствующие. Чёрные, пронизательные глаза озарялись по временам ласковым, горячим блеском. Этот лучистый блеск придавал лицу Александра Васильевича неповторимое обаяние. Когда длинные, тяжёлые веки его опускались, лицо делалось непроницаемым, скорбным, трагичным. И его щемящая одинокость среди многолюдного общества в этот вечер усиливало впечатление трагичности фигуры адмирала. Он был один в бушующих волнах житейского моря, бороздить которые оказалось неизмеримо тяжелее, нежели волны океана. На него одного обращены были все взгляды, возлагались надежды. На него одного решено было без его согласия возложить всю тяжесть власти, и никто из решивших не подумал, посилен ли будет ему такой груз? Власть навязывали ему насильно в слепой уверенности, что этот морской рыцарь одолеет любые шторма. Навязывали и... будто бы заранее покинули, оставив один на один со всем этим страшным грузом. В тот вечер впервые испугался Борис Васильевич, что совершил ошибку. Испугался за адмирала, на чьи плечи должна была вот-вот лечь власть. Выдержит ли тяжесть её этот уже теперь надломленный испытаниями человек? Имел ли право он, капитан Кромин, на такое самоуправство? Конечно, он был лишь одним из участников заговора, но разве это снимает ответственность?..

А отступать было уже поздно. Один из министров Сибирского Правительства поднял тост:

— Предлагаю выпить за наше блестящее прошлое и, надеюсь, ближайшее будущее — адмирала Колчака!

Не ведал произносивший, что выступил в роли пророка...

Утром восемнадцатого ноября совет министров, потрясённый ночным арестом своих коллег, собрался на совещание с тем, чтобы решить, кому вручить власть. По одному голосу отдано было за генералов Болдырева и Хорвата. Колчак вновь отказался от предложенной ему власти, его попросили удалиться, и в его отсутствие приняли решение, что именно ему надлежит стать диктатором. Александр Васильевич был поставлен перед фактом и уклониться не посмел. Казалось бы, всё свершилось так, как замышляли заговорщики, но что-то мешало Кромину радоваться, какая-то заноза сидела в сердце, и не было средств извлечь её.

Адмирала Борис Васильевич застал в настроении возбуждённом, но безрадостном.

— Примите поздравления, Александр Васильевич... — неуверенно начал капитан, но осёкся, поймав на себе пристальный взор Колчака.

— Благодарю. Хотя вам и известно, как я отношусь к той власти, которую вынужден оказался принять. Я не искал её и к ней не стремился. Но любя Россию, я не посмел отказаться от неё.

— Вы ведь сами всегда были ярким сторонником твёрдой руки. Объективно, в Сибири нет руки более твёрдой, чем ваша. Вы наше знамя! Теперь, когда вы Верховный Правитель...

— Вот ещё звание, которое бесконечно раздражает меня! — вспыхнул адмирал. — Зачем это? Я Верховный Главнокомандующий вооружёнными силами Сибири, а Правителя Россия изберёт себе сама.

— Я нахожу, что титул Правителя уместен более. Вы не только командующий армией. Все отрасли гражданские также подчинены вам. Вы правитель России!

— Россия не избирала меня правителем. А только Сибирь, — заметил Колчак. — Мне глубоко неприятна вся эта ваша политика, Борис Васильевич. Я понимаю, что вокруг ведётся какая-то игра, в которой я ничего не смыслю. Вопросы политические пусть решают те, кому это положено. Моя же первая и главная забота — армия.

— Я не сомневаюсь, что под вашим началом она продолжит победительное шествие своё. На Черноморском флоте мы все знали, что, если во главе стоит Колчак, то победа неизбежна, — с чувством произнёс Кромин.

— Здесь не флот, — резонно откликнулся Колчак. — Мы переживаем тяжелейший момент. Россия разорена на части, хозяйство разрушено. Армии нет. Идёт тройная распря, ослабляющая собрание страны. И длится усобица, в братоубийственной бойне гибнет несчётное множество полезных сил, которые могли бы принести Родине громадную пользу. Армия... Нам не во что одеть нашу армию. Солдаты идут в бой в шинелях, пошитых из мешковины! Это — армия?!

— Союзники обещали оказать помощь нам.

— Союзники? — тонкие губы адмирала скривились. — Союзники преследуют свои цели, и надежды на них у меня нет. И вообще, Борис Васильевич, я убеждён, что Россию можно спасти только русскими силами. Самое лучшее, если бы они совсем не приезжали, ведь это какой-то новый интернационал. Мы говорим, что у большевиков воюют китайцы, мадьяры и прочий сброд. А нам не забудут англичан, французов и японцев. И крыть нам будет нечем... Положим, очень уж бедны мы стали, без иностранного снабжения не обойтись, ну а это значит попасть к ним в зависимость... Кабала! Горе в том, что русские не в состоянии встать на национальную платформу. Нельзя ставить интересы партийные выше

долга национального. В этом отношении одинаково виноваты оба направления — левое и правое. Каждая политическая борьба, пока не становится на национальную почву, на программу обновления России, является вредной...

Александр Васильевич Колчак, как и большинство офицеров, не жаловал политику и политиков. При этом, в отличие от многих, он ещё задолго до революционных потрясений был знаком с некоторыми из них. Тяжело переживая поражение России в войне с Японией, Колчак принялся разрабатывать пути возрождения и реорганизации флота. Его воля, его идеи и талант организатора сделали его одной из ключевых фигур в этом деле. К его мнению прислушивались не только сверстники, но и адмиральский эшелон. Долгое время Колчак был председателем Петербургского военно-морского кружка, организованного его единомышленниками. Этот кружок впоследствии был переведён в Морской Генштаб, и там Александр Васильевич выступил со своим ключевым докладом «Какой нужен Русский флот», в котором говорил: «России нужна реальная морская сила, на которую могла бы опереться независимая политика, которая в необходимом случае получает подтверждение в виде успешной войны. Эта реальная сила лежит в линейном флоте, и только в нём, по крайней мере, в настоящее время мы не можем говорить о чём-либо другом». В качестве эксперта Колчак неоднократно выступал на заседаниях комиссии по обороне в Государственной думе. В жарких прениях он убедительно доказывал необходимость предлагаемых им мер, добивался, чтобы дорогому для него делу, жизненно необходимому для России, был дан ход. Там Александр Васильевич познакомился с Александром Ивановичем Гучковым, с большой чуткостью относившимся к проблемам армии и горячо поддержавшим программу возрождения флота,

включавшую в себя строительство новых мощных кораблей, реорганизацию управления военно-морскими силами, освоение новых методов ведения боевых действий. Александр Васильевич был вдохновителем, двигателем этой гигантской работы, неутомимым и бесконечно преданным ей. Со своими соратниками он составил прогноз, в котором ещё задолго до войны с Германией, предсказал её и даже почти точно определил срок её начала. В преддверье этой войны флот нужно было реформировать срочно, чтобы не случилось новой Цусимы. Это ясно было Колчаку и его единомышленникам, но политикам ясно не было. Новый морской министр Воеводский приостановил и начал перекраивать уже запущенную программу возрождения флота, за которую столько времени сражался Колчак. Потрясённый и крайне удручённый этим фактом, Александр Васильевич отошёл от дела, погрузившись в науку. Но вскоре Воеводского сменил Григорович, возобновивший реализацию программы и попросивший Колчака приехать в столицу и продолжить работу по претворению её в жизнь. После этого судостроительная программа отныне не встречала преград, и по ней спускались на воду мощные, маневренные, хорошо вооружённые корабли, линкоры, крейсера, подводные лодки... Рождался новый российский флот, в считанные годы он достиг такой мощи, что немецкие суда не смели приближаться к русскими берегам, а опыт русских моряков приезжали перенимать даже союзники. Великой славой покрыл себя Флот на Балтике и Чёрном море, и как бы ещё умножилась она, состоись операция в проливах... Но вновь вмешались политики, и на этот раз вмешательство их обернулось непоправимой катастрофой.

Но именно в политику толкали его преданные сторонники, в политику, которую он ненавидел, не понимал, которая отнимала великое множество сил, не

принося удовлетворения, а лишь опустошая душу. Это началось ещё в Петрограде, где адмирал находился некоторое время по оставлении Черноморского флота. Газеты запестрели заголовками «Вся власть — Колчаку», «Адмирал Колчак — спаситель России» и т. п. Его имя наряду с именем генерала Корнилова называли в качестве кандидата в диктаторы. Сколько общественных деятелей и офицеров ещё с тех пор вынашивали эту идею! Но и тогда, как теперь в Сибири, Колчак отказывался от этой роли. Отказывался, ясно видя, что дело не поставлено, что организации нет, что есть лишь туман, благие пожелания и слова. Впрочем, на предложение объединить деятельность нескольких патриотических организаций и возглавить единое движение, имеющее целью подавление большевиков, адмирал ответил согласием. Обратился к Александру Васильевичу и председатель союза офицеров подполковник Новосильцев. Колчак пытался добиться от него, что, собственно, сделано, и каковы планы. Он готов был включиться в работу, но в том случае, если дело серьёзное, а не легкомысленная авантюра. Новосильцев признался, что серьёзного пока ничего не готово. В это время к нему обратилась американская миссия, вместе с которой, по стечению обстоятельств, Александр Васильевич возвращался из Севастополя. Адмирал Гленон сообщил, что его правительство интересуется постановкой минного дела и борьбой с подводными лодками, а также имеет намерение вести активные действия в районе Дарданелл. Колчак колебался, принять ли предложение американцев. Новосильцев посоветовал от него не отказываться. На другой день Александр Васильевич получил письмо Керенского с приказом немедленно отбыть в Америку. Очень уж боялся Александр Фёдорович нахождения в столице столь популярной фигуры, очень уж дрожал над своей властью...

Колчак принял предложение Гленона. Многие офицеры и политические деятели уговаривали его остаться в России, но адмирал остался непреклонен. На прощальном вечере он говорил собравшимся у него офицерам:

— Я считаю, что единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно; я считаю, что это будет единственная служба Родине, которую я буду нести, принимая участие в войне, которую я считаю самым важным, самым существенным делом из всего того, что происходит, что революция пошла по пути, который приведёт её к гибели, но я не политический деятель, я солдат, и поэтому считаю нужным продолжать свою службу, чисто военную. Раз я не могу в России принимать участия в этой борьбе, я буду продолжать её за границей.

В тот вечер фронтовая делегация Союза офицеров армии и флота преподнесла ему саблю с надписью: «Рыцарю чести от Союза офицеров армии и флота»...

Но, вот, сбылись чаяния годовой давности, и роль диктатора навязана ему. Иначе как крест, воспринять эту власть Александр Васильевич не мог. Его делом была война, а не политика. Душа рвалась к морю. Там легко твёрдо стоять на ногах даже в шторм, а здесь вечная качка, которой не преодолеть. Душа рвалась туда, где шли бои, где армия сражалась с врагом, на поле брани. Там настоящее дело, там не до политики. А судьба решила иначе, судьба запирала его в Омске с тем, чтобы заниматься самым ненавистным делом. Какая бездарная трата сил! Но как отказаться? Что если и в самом деле, именно ему выпал жребий очистить Россию от большевиков? Уклониться — не трусостью ли было бы? Нельзя бежать от креста, крест надо принять и нести. И исполнять долг перед Родиной до последнего



вздоха. Великая работа предстояла впереди. А как, с какой стороны взяться за неё? И на кого опереться?

Адмирал тяжело посмотрел на Кромина. Тот стоял перед ним, кряжистый, широколицый, с унтерской щёткой усов, смотрел преданно, готовый хоть теперь взяться за любое дело. Знал Александр Васильевич его и в бою, и в работе, знал, что капитан дела не испугается, не увильнёт. Но какое именно дело поручить ему, всю жизнь, как и сам Колчак, отдавшему морю? Оставить куда в Омске, при себе. Хоть один человек, с которым знакомы давно, которому точно можно доверять... Адмирал взглянул на часы, обратился к Кромину:

— Идёмте, Борис Васильевич. Меня уже ждут...

Правителя, действительно, ждали. Ждали офицеры, представители общественности и союзных миссий, корреспонденты. В их присутствии адмирал принял присягу. Сосредоточенным было сухое, с резкими чертами лицо, сурово смотрели чёрные глаза, громко и чётко звучал мужественный голос:

— Обещаюсь и клянусь перед Всемогущим Богом, Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом быть верным и неизменно преданным Российскому Государству как своему Отечеству.

Обещаюсь и клянусь служить ему по долгу Верховного Правителя, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью и памятуя единственно о возрождении и преуспейнии государства Российского.

Обещаюсь и клянусь воспринятую мною от Совета министров Верховную Власть осуществлять согласно с законами Государства до установления образа правления, свободно выраженной волей народа.

В заключении данной мной клятвы осеняю себя крестным знамением и целую слова и Крест спасителя моего. Аминь.

## Глава 14. Во стане своём чужаки...

*Начало декабря. Омск*

Рано сходит сумрак на ноябрьско-декабрьском пограничье. Не успеет глаз белому свету обрадоваться, а, вот, уж снова темнота. Длинные и холодные ночи зимние. В Сибири — особенно.

Час тому назад прибыл Пётр Сергеевич в Омск, уже сумрачно было, а пока в незнакомом городе отыскивал учрежденья нужные, так и окончательно стемнело. Вечер настал, и люд чиновный разбежался по домам, на месте никого не оказалось, дежурный зевнул равнодушно: «Завтра приходите». У люда чиновного рабочий день нормированный, по часам расписанный, у всего тыла — так. А на фронт они смотрят, позёвывая... Собрать бы всю ораву эту и...

Вышел Тягаев на улицу, в полушубке худом мороз пробирал, укутал шею с головой башлыком, ссутулил никогда прежде не сгибавшиеся плечи, пошёл по запылённому снегом тротуару, шаркая растоптанными, большими не по размеру валенками. Счастье ещё, что такие добыть удалось — купил у мужичка какого-то — а то бы, в сапогах по снегу продираясь, оставил бы ноги свои в уральских предгорьях...

А навстречу валила толпа. Не город, а муравейник... Толпа была нарядная, весёлая... А среди них офицеров — немерено. Валенки на них хорошие, шубы. На кой они здесь им? Им обморожение во время многочасовых лежаний в заснеженных окопах не грозит. Мразь тыловая...

Гуще становилась ночь, и распахивали двери многочисленные рестораны, дома свиданий и иные заведения. Пили, гуляли, веселились отчаянно. Бездумно. Прожигали жизнь... Господа офицеры... Погоны бы срывать с таких! Терялся Пётр Сергеевич при виде этого невообразимого разгула, не мог понять, как всё это может быть, как смеют?.. Остановил первого встречного прохожего:

— Скажите, сегодня в городе какой-нибудь праздник?

— Да что вы! Здесь всякую ночь так!

Всякую ночь... Красных бы на эту ораву... То же самое было и в Казани. Там обескровленные офицерские части из последней мочи бились на подступах к городу, с каждым днём тая, а подкреплений не шло. И не мог понять Пётр Сергеевич, почему? Ведь собственными глазами видел он множество офицеров на улицах Казани. Где же они? Ответ был получен вскоре. Вернулся из города бывший там на излечении после ранения Панкрат, вне себя от возмущения рассказал:

— Представьте, господин полковник, что там творится! Мы здесь кровью умываемся, а в Казани каждый кабак офицерами забит!

— Это не офицеры. Это... шкурники!

— Все нашли себе должностёнки в городе, чтобы на фронт не идти. Одни формируют какую-то гвардейскую часть, другие при штабе, третьим, видите ли, рядовыми идти никак невозможно! Четвёртые нас «учредиловцами» и эсерам бранят!

«Учредиловцы»! Эсеры! Это его, полковника Тягаева, монархиста, кроют такими словами тыловые шкурники! Призвал Каппель казанское офицерство вступить в Народную армию. Одиночки откликнулись. Некоторые по неприязни к Комучу поспешили в Омск. Полковник Нечаев самовольно вывел из Казани и

направил к Омску большую кавалерийскую часть (когда кавалерии так не хватало!). Владимир Оскарович послал ему телеграмму с приказанием вернуться. Нечаев вернулся, но часть свою отправил в Омск, заявив, что его люди не доверяют Самаре... А Народная армия — таяла... Большевики осаждали Симбирск. Метался Капель со своим летучим отрядом по Волге между Симбирском и Казанью, не успевая окончить одной операции, мчался спасти положение другого фронта, разрывался, затыкал собой все бреши разъятого Волжского фронта — но не могло ведь так продолжаться вечно! Нужна была подпитка, свежие силы. А Казань — гуляла! Шкурники губили дело.

И вот в Омске — то же. Валила разгульная толпа, растекаясь по увеселительным заведениям, невзначай толкала тяжело бредущего полковника, чужого на этом гибельном празднике. Пётр Сергеевич остановился. Мёл редкий снег, снежинки каплями стекали по худому лицу, туманили стёкла очков, почти лишая зрения. Полковник глубоко вздохнул, продолжил путь, уже не глядя по сторонам, а только — под ноги, не желая ничего и никого видеть.

Тыл! Что за несчастье вечное? Тыл должен быть опорой армии, её подпиткой. У нас тыл — источник всех бед, второй фронт, не менее опасный, чем большевики. Лучшие силы истреблялись на фронте, а шкурники вели лёгкую и весёлую жизнь за их спинами. Доколе же?!

Тогда, под Казанью, Панкрат говорил с ожесточением:

— Сколько же можно цацкаться с ними, Пётр Сергеевич?! Объявить мобилизацию и всё! Красные объявили, и сразу три тысячи господ офицеров пожаловали! А не явитесь — так «в расход», чтобы не повадно было! Судить, как предателей, военно-полевым судом! И тогда бы у нас полк был! Два полка! А не наши

редеющие роты! Почему мы должны гибнуть, когда вся эта сволочь пьянствует по кабакам?! Это справедливо?!

У Панкрата голова ещё бинтами перевязана была, вернулся он к своим из госпиталя, не долечившись, и праведный гнев разрывал его. Дослужился Панкрат в Великую до прапорщицкого чина, но с Тягаевым после стольких недель партизанства, когда из одного котелка хлебали, отношения вне службы были выше субординации. Высказывал Панкрат полковнику всё, что на сердце лежало, и тот выслушивал и отвечал с тою же откровенностью. Разделял Пётр Сергеевич панкратово возмущение, но свою, не меньшую в душе, горячность сдерживал. Отвечал со вздохом, не утверждая, а больше спрашивая, рассуждая:

— Всё так. Но если мы станем перенимать методику краснюков, то какая разница будет между нами и ими?..

— Плевать! — вскрикнул Панкрат. — Пускай никакой не будет! Лишь бы уничтожить эту рвань и восстановить Россию!

— Лучший способ отомстить врагу — не быть на него похожим, господин прапорщик. Перенимание таких методов — штука опасная. Только начни, и все их пороки станут нашими. Сегодня проведём мобилизацию с расстрелами, завтра пойдём хлеб по амбарам реквизируют... Опускаться очень легко. Только первый шаг по наклонной сделай. К тому же при наших условиях. А как потом обратно?

— А если блюсти чистоту и благородство, так чистых и благородных перебьют, как самое меньшинство, а сволочь с обеих сторон останется.

— Нет, не останется, — покачал головой Тягаев. — Сметя меньшинство, шкурников тоже не оставят. Как потенциальных врагов, как иной класс. Их уничтожат следом. Прямо в кабаках и тёплых постелях. Только они не желают этого понимать.

— Был бы очень рад этому! Я вам честно скажу, господин полковник, смотрел я на эту жирующую ораву и думал, что записался бы нарочно на денёк-другой в большевики, чтобы её пострелять!

Мобилизация объявлена не была. Обстановка на фронте ухудшалась с каждым днём. Терзался Пётр Сергеевич: что же они там, в Самаре, не понимают?! Нельзя оставлять Казани. Казань — важнейший стратегический узел, её сохранить надо любой ценой! И от Волги нельзя отступать! Наоборот — нужно через Волгу переходить, и на соединение с Деникиным. А уж тогда, всею мощью — на Москву! Ведь куда яснее? Нет, не понимают. Пути ясны, да очи слепы. А большевики — поняли! Значение Казани — поняли! Покуда в Самаре болтали на митингах и заседаниях, сменявших друг друга, красные заняли переправу через Волгу, укрепили свои позиции против Казани окопами, проволочными заграждениями и мощной артиллерией, перебрасывали всё новые и новые свежие силы, Троцкому удалось вклиниться между Симбирском и Казанью... А в Самаре, следуя традициям Временного правительства, заседали...

Помощи ждали отовсюду: от Союзников и Омска, от Оренбурга и местного населения. А ниоткуда помощь не шла. Омск только формировал свои силы и, вероятно, рад был, что силы большевиков оттягивает Волжский фронт, тем самым давая время для организации Сибирской армии. Оставался в стороне и Оренбург, несмотря на то, что Дутов заявил о своей поддержке Самаре. Берёг атаман своих казаков, не втравливал... Или втайне рад был даже, что «учредивовцы» закопались?.. Население не выступало против, но и не спешило с поддержкой. И не удивлялся Тягаев, памятуя, как даже отважные его партизаны поспешили по своим деревням при первой возможности. Не хотели

крестьяне воевать. Ни за красных, ни за белых. Растилкавал дед Лукъян:

— Не знаешь ты, барин, брата нашего. Мужик — он ведь себе на уме. Ему знать надо, за что он воет. Ты за честь сражаешься, за Россию. Но так то понятия благородные. А мужику что-то дать надо, что потрогать можно, понять. Вот, пообещали бы земличку в собственность, и ту, что барская без хозяина осталась — то ж. За это мужик пошёл бы. А так... А так смотрит он, как паны меж собой воют да свой чуб бережёт. А то приедет агитатор, прости Господи! Эдакими словами щеголяет, что и понять мудрено! Ты по-простому скажи, доходчиво! Умные слова они, может, образованному обществу понятны, а брат наш их не ведает.

Но «земличку» Самара не обещала. Никаких законов по земле не было ею издано. И не видел крестьянин своей выгоды от чуждой «учредилки», не ждал добра от неё, и не спешил пособлять. Да к тому и уборочная шла вовсю — до того ли? Как-нибудь господа сами разберутся, а здесь бы урожай собрать, хозяйство не запустить.

Ложились неудачи одна к другой — куда ни кинь. Смотрел Тягаев на действия большевиков, и ныло сердце — вот, так бы и нам воевать! Кажется, нашлись специалисты у красных, мудро повели руководство. Любопытно знать, кто такие? Хотя о чём речь: мало ли офицеров подались к ним на службу! Иуды... Слажено действовали красные, не распылясь, не мечась. Их тактика была — стальной кулак. И кулаку этому противопоставлялись растопыренные пальцы. Ни стратегии единой, ни цели ясной — каждый сам по себе! Даже руководителя одного — нет. Поставили главнокомандующим чешского генерала Чечека. А что говорило его имя русскому населению? Ничего. Никакого авторитета. Правительства тоже, считай, нет. Лучше бы совсем не было, меньше б вреда... Правильно

говорил старик-кудесник, седовласой головой покачивая: с эсерами водиться, что в крапиву садиться... Изменники искони. Заседали в Самаре господа «учредилловцы», управлять ничем не способные, говорили речи, а дела не было. Не умели эти политические лилипуты поставить дела на твёрдую и серьёзную почву, умели только болтать и пробалтывали всё бездарно. Ни единого лозунга достойного выдвинуть не смогли, такая пустота и расплывчатость, что совершенно неясно, почему бы населению за ними идти, во имя чего — ни одного слова, к русскому сердцу ложащегося. А большевики времени не теряли. Большевики агитировали. Весьма активно — в самой Казани. Мутили народ, особенно пользуясь тем, что вывезенный золотой запас переведен на депозит Комуча. Мол, только затем и брали Казань, чтобы золотом разжиться. И ничем не отвечало слепо-глухое правительство. Подавить — никаких сил не было. Ответить, изобличить — тоже не умели. Отдали, как и прежде, формирование общественного мнения в руки врагов. Что за роковая бездарность!

Население сохраняло нейтралитет, не веря Самаре. А горстка Добровольцев изнемогала под натиском в разы превосходящих сил противника. Провалилась задуманная Каппелем операция под Свияжском. Провалилась потому, что сербы, деморализованные гибелью своего отважного командира майора Благодича, отступили из Нижнего Услона, оголив фланг Народной армии. В который раз вынужден был Владимир Оскарович отказаться от продуманной операции, чтобы броситься на выручку другим частям — на это раз сербским.

В ту пору явилась на Волге одиозная личность — собственной персоной Борис Викторович Савинков. Летом он с полковником Перхуровым поднял восстание против большевиков в Ярославле. Восстание было



жестоко подавлено, большевистская артиллерия наполовину разрушила древний русский город, много народа погибло. Перхуров был расстрелян, а бывшему террористу удалось бежать из плена. Теперь он выпросил разрешения находиться при отряде Каппеля. Петру Сергеевичу трудно было понять, зачем такому мерзавцу позволяют находиться при армии, но и небезынтересно было присмотреться к этому легендарному субъекту. Был Савинков невысок, сутуловат, при ходьбе нагибался вперёд, и оттого фигура приобретала некоторую схожесть с обезьяной. Лицо хитрое, неприятное, с небольшими, бегающими глазами, покатый лоб, редкие тёмные волосы... Крыса... Когда случалось Борису Викторовичу оказаться поблизости, Тягаев ощущал чувство брезгливости, как от вида какого-нибудь гнусного насекомого.

У Свяжска взяли пленных. Расстреливать их запрещалось, должно было отправлять в штаб Каппеля, а оттуда — в Самару для допроса и суда. Выполнялось это требование, несмотря на недовольство некоторых офицеров, неукоснительно. Случалось, что некоторых просто отпускали, как, например, шестнадцатилетнего красноармейца с красным и мокрым от слёз лицом. Покривился тогда бывший террорист:

— Что вы с ними цацкаетесь? Расстрелять эту сволочь, да и дело с концом. Ведь попадись мы к этим молодчикам, они бы с нас ремнями кожу содрали. Я только что бежал от них и видел, что они делали с пленными...

Не настрелялся ещё Борис Викторович. Не навзрывался. Чем недоволен он? И все эсеры — чем недовольны? Разве не за это боролись столько лет браунингом и динамитом, убивая лучших государственных деятелей и невинных людей, случайно оказывавшихся подле намеченных жертв? Взрывая русское государство? Чихали бы вы господа на

проливаемую теперь кровь, когда бы проливали её вы, а не большевики, оказавшиеся проворнее и сильнее вас, выхватившие у вас то, за что вы так рьяно боролись, чего вы-то и добились — победу! Власть! И на Россию — чихать. И на справедливость. А обидно только, что не вы всем этим заправляете, что вас подвинули, с вами — не посчитались, списали, как отжившую свой век политическую рухлядь.

Подмывало все эти гневные слова бросить в лицо Савинкову. Но и мараться не хотелось. Много чести. А к тому эсеров много было при Народной армии. Фортунатов, Лебедев, член самарского военного штаба... И все — начальство! Лебедев этот, плетшийся позади всех, чем-то разжалобил старушку-крестьянку. Подала ему краюху хлеба:

— На-ка, родимый, чай, изголодались за день-то денской, покушай!

Оголодало вырвал он хлеб из протянутых старушечьих рук, побежал вперёд, догнал Савинкова:

— Борис Викторович, смотрите-ка, народ-то за нас!

Фыркнул бывший террорист, отозвался резко:

— А ты думаешь, что баба разбирается, белый ты или красный?

Нельзя было отказать Борису Викторовичу в здравомыслии, понимал он обстановку лучше многих, смотрел на положение критично и мрачно. Прекраснодушные иллюзии Фортунатова и Лебедева ничуть не владели им. Этот «печальный демон, дух изгнанья» хорошо знал цену видимой поддержке населения. Вспыхивает она вначале горячо, но скоро остывает. А сердобольные русские бабы уж точно жалеют не по политическим соображениям, а по христиански — всех. И старушка эта, глядя на голодных Добровольцев или красноармейцев плакала, сострадавая и тем, и другим, вспоминая, быть может, собственных сыновей... Народ — странное существо. Народ не за

белых и не за красных, народ — вне течений, сам по себе. Народ — за правду. Вот, только правда может легко померещиться ему и в искусной лжи. Народ не с нами и не с ними. А кто с нами? И кто — мы?..

Троцкий наводил в красной армии железную дисциплину, не щадя ни рядовых бойцов, ни командиров, коих по профнепригодности расстрелял враз двадцать человек. Дисциплина в рядах белых становилась всё более шаткой. Численность боеспособных частей сокращалась, и наступил момент, когда не осталось ни единого резерва. В это время в Казани восстали рабочие Прохоровской слободы и Алафузовских заводов. Хотя это выступление удалось подавить, но сил на сопротивление уже не осталось. Помощь не шла, и началось отступление...

За два дня до оставления Казани Самара заявила, что город сдан не будет. Этому уже никто не верил. Десятого сентября после тридцати четырёх суток сплошных боёв Казань была оставлена. А уже через день пал Симбирск. Волжский фронт перестал существовать.

Картина оставления Казани до сих пор стояла перед глазами полковника Тягаева. Тридцать тысяч человек беженцев уходили с армией, боясь расправ большевиков. А многие — оставались... Перед глазами стояли душераздирающие сцены. Вот, отец-доброволец уходит в поход, за ним бегут пятеро ребятшек, цепляются за него:

— Тятя!

По очереди тятя хватает их, целует, говорит что-то торопливо, прощается с рыдающей женой...

Провожает старуха-мать сына-кадета, крестит дрожащей рукой, благословляет и знает, уверена почти, что никогда больше не увидит нежного, безусого лица, не обнимет чадо своё.

Лица, лица... В лицах отчаяние, страх, мука... Безумие. Безумие и в глазах чехов, изнемогших в боях. Люди останавливают офицеров, кричат, требуют, умоляют не оставлять города... Какая-то молодая женщина остановила и Тягаева. Лицо её было искажено, глаза, расширившиеся, смотрели требовательно, осуждающе, жгли. Голосом срывающимся закричала:

— Да как же вы смеете?! Защитники наши! Бежите, да?! Бежите?! Вы бежите, а нам что делать?! Ну, отвечайте же! Что нам делать?! Ждать, когда нас истерзают и убьют?! Как вы смеете нас бросать им на расправу?! Вы трусы! Трусы! Трусы! Зачем вы, вообще, пришли?! Мы вам поверили, а вы уходите! Оставляете нас! Чтобы они за вас нам мстили?! Да лучше бы вас вовсе здесь не бывало! Трусы! Трусы! — она зарыдала отчаянно, ударила сжатыми кулачками полковника в грудь. Он отстранил её:

— Простите... — ушёл. А лицо пылало, и нестерпимо больно было от незаслуженных её упрёков. Трусами были шкурники, сидевшие по кабакам и погубившие всё. Так почему же обвинения в трусости должен выслушивать он, месяц не покидавший позиций, не знавший отдыха и сна, чтобы отстоять этот город?! За что?.. Душила обида Петра Сергеевича, в который раз рушилось то, чем жил он, гибли последние робкие надежды, которые явились месяц назад... Тогда эти улицы тоже были запружены народом, но лица были счастливы, и совсем другие слова слышали Добровольцы... А Евдокия Осиповна? Что с нею? Успела ли она покинуть город?..

Почти три месяца минуло с оставления Казани, а и теперь жгло Тягаева брошенное обезумевшей незнакомкой слово. «Трусы!» Саднило оно со всеми накопившимися разочарованиями и обидами, и хотелось

Петру Сергеевичу найти, наконец, свою смерть, чтобы не видеть нового позора.

Волга оставалась красным. Волга, которую нельзя было оставлять! Выпадало связующее звено между белыми фронтами, и как восстановить теперь?..

Тяжёлым выдалось отступление. Чехи ещё раньше устали от бесконечных боёв, их части стали отходить с фронта. Прозвучало из уст вождей их циничное: «Мы не вмешиваемся в русские дела, наша политика — рельсы». По железной дороге тянулись их эшелоны на восток. И куда только делось недавнее славянское единство? Лишь полковник Швец со своим полком боролся до последнего. Этот рыцарь не покидал фронта, он всегда был на самых опасных участках. Гроза латышей Вацетиса, Швец русские дела понимал, как свои, борьба за них была для него делом чести, и отступление чехов воспринял он как предательство общего дела, как поступок постыдный. Когда его полк отказался подчиниться ему и потребовал отвода в тыл, этот последний чешский герой обратился с воззванием к своим подчинённым, надеясь пробудить их былую доблесть и честь, он увещевал их, грозил, но безрезультатно. Этого Швец перенести не мог, как не мог перенести Каледин измены своих казаков. И закончил чешский витязь по-каледински — после очередного отказа полка подчиниться поднялся в свой вагон и застрелился. И так же как не разбудил Дона и Кубани выстрел Каледина, так же не подействовал на чехов выстрел Швеца. Его похоронили с почестями, с пространными речами, славящими героя, со слезами... Похоронили, и облегченно продолжили начатое — никто больше не взывал отчаянно к их чести, к очерстевшим сердцам. Лучшие уходили, а заменить их было некому.

Покинутая всеми Народная армия торила себе путь на Восток сквозь красное море. Отбиваться приходилось сразу по всем направлениям. Враг наседал

слева, справа и сзади, и лишь выдающееся искусство полковника Каппеля каждый раз спасало изнурённые части. Каким-то редким чутьём обладал этот молодой офицер, просчитывал наперёд все ходы противники, опережал, застигал его врасплох. Пётр Сергеевич принадлежал к другому поколению военных, более десяти лет разделяло его и Каппеля, и чин в армии Императорской был у Владимира Оскаровича лишь капитанский, но это никак не влияло на отношение Тягаева, не раздражало честолюбия его, не будило зависти. Каппель стал вождём Волжан заслуженно, благодаря исключительным личным качествам и полководческому таланту, и оспаривать это первенство могли либо глупцы, либо люди бессовестные, озабоченные личным продвижением больше, нежели судьбой дела. Для Петра Сергеевича дело стояло на первом месте. Обладая в достаточной степени честолюбием, он в то же время никогда не питал неприязни к тем, чьи способности превосходили в чём-либо его собственные. А вмешивание личных амбиций в общее дело считал просто преступным. Посему свою подчинённость Каппелю Тягаев воспринимал, как должное.

Трудным было положение Волжан и их вождя не только из-за постоянного нахождения в окружении. Самара давно не доверяла Каппелю, подозревая в нём скрытого монархиста, а потому тормозила действия его, ставила палки в колёса. Омск же не доверял ему из-за связи с Комучом, подозревая в нём эсера. Вот, и вертись меж двух жерновов! Попробуй-ка! А был Владимир Оскарович патриотом горячим, искренним, для России готовым отдать всё. За время отступления успел Пётр Сергеевич теснее узнать его, и поражён был и глубиной любви к Родине этого человека, и военными дарованиями его, и ясным умом, и твёрдым, спокойным характером. Несколько месяцев мечась по всей Волге,

ведя бои на все стороны, разрываясь и не зная роздыху, он сохранил совершенное уважение к праву, не уступая ни в чём требованиям усобного времени. Никаких бессудных расправ, никаких реквизиций. За взятые у крестьян продукты, подводы и вещи — непременно платить. Не считал Каппель, что усобица может списать произвол, и следил бдительно за соблюдением законности даже в самых невозможных условиях. Такую щепетильность редко кому сохранить дано было в таких обстоятельствах! А уж тем более — вождю молодому, вдруг превознесённому и прославленному. Крепкое ядро внутреннее надо было иметь, чтобы не сорваться. А оно и было. Бог и Россия. Россия и Бог. И полная отдача всех сил, всего существа своего — России. Без остатка.

А было Владимиру Оскаровичу лишь немногим за тридцать. И на Великой войне, пройдя её всю, не прославился он. А здесь, на Волге — раскрылся. Был он, подобно Денису Давыдову (и тоже ведь — из гусар!), гением партизанской войны. Воевал не по системе, и тем брал. Всегда неожиданны были удары его, всегда стремительны, и малыми силами одолевал полчища красные. Этому бы умнице людей и оружия поболее, и руки развязать — один бы, кажется, до Москвы дошёл, чудеса творя.

Внешне — на первый взгляд, ничего примечательного. Невысок, подтянут, лицо простое, светлой, чуть вьющейся бородой обрамлённое. Вот только глаза — ясные, синие, с блеском стальным, и во взгляде их столько силы, что завораживают они. Говорил Каппель голосом глухим, спокойным, никакой нервозности, аффектации, но слова его звучали веско и убедительно. На одном из привалов разговорились однажды. Сидел Владимир Оскарович у костра, мрачный, усталый, глядя на огонь немигающим, неподвижным взглядом, говорил раздумчиво:

— Мы, военные, оказались совершенно застигнутыми врасплох революцией. О ней мы почти ничего не знали, и сейчас нам приходится учиться тяжёлыми уроками.

— Хорошо бы, чтобы эти уроки не пропали для нас даром, — откликнулся Тягаев, помешивая угли длинной палкой. — Чтобы мы усвоили их прежде, чем станет поздно. Покуда этого не наблюдается.

— Гражданская война — это не то, что война с внешним врагом, — продолжал развивать свою мысль Каппель. — В ней не все методы и приёмы, о которых нам говорили в учебниках, хороши. Эту войну нужно понять. Её нужно вести особенно осторожно, ибо один ошибочный шаг если не погубит, то сильно повредит делу.

— Сколько их уже сделано!

— Особенно осторожно нужно относиться к населению, ибо оно всё, хоть и пассивно, участвует в войне. А в Гражданской войне победит тот, на чьей стороне будут симпатии населения.

— Или тот, кто сильнее запугает его, задавит тяжёлым сапогом, — предположил Пётр Сергеевич. — Большевики объявляют мобилизацию, берут заложников, тиранят, и их армия растёт. Мы пытаемся соблюдать законность, беречь население, и оно не желает шевельнуть пальцем, чтобы нам помочь. Я понимаю, что мы не можем перенимать их методы. Это было бы бесчестьем и преступлением. Но тогда — тупик...

— Народ должен быть заинтересован в нашей победе, — живо отозвался Каппель. — Не нужно ни на одну минуту забывать, что революция совершилась, — это факт. Народ ждёт от неё многого. И народу нужно что-то, какую-то часть дать, чтобы уцелеть самим. Возьмите, к примеру, крестьян. Победить легче тому, кто поймёт, как революция отразилась на их



психологии. И раз это будет понято, то будет и победа. Раз мы честно любим Родину, нам нужно забыть о том, кто из нас и кем был до революции. Я, как и вы, как многие, хотел бы, чтобы образом правления у нас была монархия; но в данный момент о монархии думать преждевременно. Мы сейчас видим, что наша Родина испытывает страдания, и наша задача — облегчить эти страдания. Россия — суть тяжело больной человек. А больного нужно лечить, а не спорить о цвете его наряда, чем у нас многие предпочитают заниматься.

Трезвы были суждения молодого полковника. Глубоко понимал он и механизмы ведения гражданской войны, и психологию населения. Когда бы больше таких здравомысленных людей было в России! И их бы — на главные посты, им бы карты в руки! А вот, вынужден был Владимир Оскарович, всеми оставленный, со своим истаявшим отрядом, отбиваться от большевиков в уральских предгорьях, продираться в Сибирь уже не на пределе сил, а давно этот предел перешагнув.

А тут ещё зима пришла прежде срока, ледяная и беспощадная, по сотни человек в день стала косить обмороженными. Ни сапог, ни вещей тёплых не раздобыть. Бомбардировали Омск телеграммами с отчаянными просьбами прислать обмундирование, спасти гибнущих от лютой стужи Волжан, столько времени удерживающих на себе огромные силы большевиков, не давая им перекинуться на неокрепшие сибирские части. Но Омск — молчал... Для Омска Волжане были чужими. «Учредиловцами».

Несколько дней назад Каппель пригласил Тягаева к себе:

— Пётр Сергеевич, дальше так длиться не может. Ещё немного, и мы потеряем всю нашу группу обмороженными. Нужно ехать в Омск и разбираться на месте, выбить у них тёплые вещи. Я хотел бы, чтобы поехали вы.

— Я готов, — кивнул Тягаев. Мысль о необходимости вести сражение с интендантами не слишком радовала его, но полковник понимал, что он, с его опытом, офицерским стажем и заслугами в Великую войну, наиболее подходящая кандидатура для подобной командировки. Необходимость же её была очевидной.

И вот — Омск... Ничего кроме горечи вид сибирской столицы не вызывал. Подавленным возвращался Пётр Сергеевич в свою теплушку, обнадёженный лишь тем, что, как сказал ему один из встреченных офицеров, склады от вещей ломаются.

В теплушке спал, укрывшись тулупом, в ожидании полковника Донька, поехавший с ним. При появлении Тягаева он вскочил, засуетился, поставил чайник, заговорил ломающимся мальчишеским голосом:

— Наконец-то, господин полковник! Ну что? Есть что-нибудь?

— Сегодня опоздал. Завтра утром пойду снова.

— Вы замёрзли, небось. Сейчас я чайку вскипячу, ужин сготовлю. Вы отдохайте!

Пётр Сергеевич сел, закурил трубку (хоть табака путного купил себе в городе, а то которую неделю — мука). Совсем рядом пировал безумный Омск, а за много вёрст отсюда, среди снега, в лютую стужу торит себе путь брошенная всеми армия. В шинелях, в сапогах рвущихся, когда, как воздух, нужны полушубки и валенки. Без медикаментов и провианта. Мяса бойцы не видели неделями... Только дивиться можно, откуда хватает сил им — идти дальше, сражаться, выживать? Человеческим силам такого не вынести. Телу — не вынести. Так только дух выстаивать способен. Дух, питаемый верой и любовью. Безбожные доктринёры пытаются свести всё в человеке к материи, к телу. Посмотрели бы эти господа на воинов, борющихся на все стороны фронта, с врагом, с тылом, с морозами, зажатых в тиски — их ли подвиг зависит от

материальной стороны? Они ли подчинены ей? Взглянули бы в лица их, в глаза... Повернулся бы язык трактовать о материализме? Должно быть, повернулся. Нашли бы и в подвиге самоотверженном материальный интерес — «за собственность и привилегии воюют». Ничтожные, гнилые насквозь существа, всё измеряющие своей карликовой, фальшивой меркой... И они целый мир учат!

— Скорее бы уже нам вещи получить и вертаться, — говорил Доська. — Как там дед? Побаиваюсь я за него.

— Дед молодцом, — уверенно отозвался Тягаев. — Ему же ни пуля, ни хворь не страшна.

— Так-то оно так, а всё же... — Доська налил полковнику чай, подал свою нехитрую стряпню.

— Вот, и дед твой с нами, с крестом и молитвой, а мы всё равно отступаем, и победа бежит от нас. Почему так?

— Да рази одного деда на всю армию достанет?

— Да, маловато...

Поужинали скоро, и Пётр Сергеевич лёг. Лёг и Доська. Привязался полковник к этому расторопному и бойкому пареньку, впервые пожалел, что не родили они с Лизой сына. Почему так вышло? Слишком заняты были собой? Своими делами? Он — службой, она — наукой? Даже единственную дочь всё больше Ирина Лавровна воспитывала. Может, это и называется — «семейная жизнь не удалась»? Ах, когда бы прежде задуматься, отвлечься от службы, посмотреть кругом! Был бы сын — отцу опора и отрада, продолжение его. Поздно же спохватился... Посмотрел полковник на задумавшегося о чём-то Доську, спросил:

— А хотел бы ты служить в настоящей армии? Стать офицером? Ты парень способный. Поступил бы в кадетский корпус, в училище — бравый бы вояка из тебя получился.

— Какие сейчас корпуса? — пожал плечами Донька. — Сейчас не до учёбы, сейчас воевать надо.

— А если бы мир наступил? Пошёл бы ты по военной стезе?

Донька задумался, покачал русой головой:

— Не-а, не пошёл бы. Когда мы победим, то мы с дедом в нашу деревню возвернёмся, дом, ежели нет его, заново отстроим, хозяйство опять наладим. Будем жить, как раньше. Мы раньше хорошо жили...

— Ну, а учиться не хотел бы?

— А меня дед грамоте выучил.

— Так ведь наук разных много...

— Не знаю, господин полковник. Я не думал об этом. Победим, тогда подумаю. Скажите, Пётр Сергеевич, а правду говорят, будто «учредилка» вас в генералы произвести хотела, а передумала?

— Кто говорит?

— Разные... Говорят ещё, что приказ о вашем производстве потерялся.

— И добро, коли так.

— Почему, господин полковник?

— Потому что отказаться от этого чина значило бы пойти на обострение отношений с этой публикой, что нежелательно, а принять... Меня в полковники Государь Император произвёл. Я в этом чине и остаться хочу, а от товарищей эсеров мне чинов не надо, потому что их я ненавижу наряду с большевиками... К тому же в нашей армии и без того переизбыток генералов и старших офицеров, и это крайне затрудняет управление.

Абсолютно искренне не желал Пётр Сергеевич себе никаких чинов. И раздражало его то, как стали разбрасываться ими. Завели практику производства через чин, через два — вчерашние поручики в генералах щеголяют. Добро ещё, когда речь идёт об офицерах столь выдающихся способностей, как Каппель. Но Каппель — один. Каппель — исключение. А

так — полное смещение выходит! Мало того, что армии не хватает рядовых, да ещё юноши-генералы возносятся с такой скоростью, что старые заслуженные офицеры оказываются в совершенно неловком и ложном положении. Да и развращает эта погоня за званиями и наградами. Не должна мутиться корыстью и честолюбием святая борьба. Прежний главнокомандующий сибирскими войсками, генерал Гришин-Алмазов, кажется, понимал это, не вводил ни наград, ни прежних знаков отличий. Но Гришина сместили под предлогом его резких (справедливых!) высказываний в адрес союзников. А пришедший на его место Иванов-Ринов тотчас перечеркнул ту мудрую политику своего предшественника... Уверен был Тягаев, что те, кто искренне и самоотверженно служат России, о чинах думать не станут. Как не думали о них Волжане, с которыми сроднился он.

Этой ночью сон опять не мог окутать беспокойное сознание. Ни на мгновение не прекращалась мучительная работа мозга, изводящая. Мозг работал даже во время сна, рождая перед взором фантастические картины, и просыпался полковник от этого ещё более истомлённым, чем засыпал. Снова и снова всплывали из памяти обрывки боёв: Ляоян, Румыния, волжские леса, Казань, Предуралье...

Как собака на цепи тяжёлой,  
Тявкает за лесом пулемёт,  
И жужжат шрапнели, словно пчёлы,  
Собирая ярко-красный мёд.

Обрывки стихотворений вмешивались в дремотный бред осколками сознания. Как же изматывали эти бессонные ночи, эта ни на миг не погасающая память, не знающий счастливого забытья мозг...

А «ура» вдали, как будто пенье  
Трудный день окончивших жнецов...

Так было под Свияжском... В первые дни после победы... Горячее солнце, густой воздух, цепи идущие в атаку, кровь на русской равнине...

И воистину светло и свято  
Дело величавое войны,  
Серафимы, ясны и крылаты,  
За плечами воинов видны.  
Тружеников, медленно идущих  
На полях, омоченных в крови,  
Подвиг сеющих и славу жнущих,  
Ныне, Господи, благослови.

Лиц не разглядеть... Лиц воинов, идущих на смерть за Россию... Имена их, Господи, ты веси... А кто ещё — вспомнит? Ни имён, ни лиц... Канули, как не было их... За Россию. А Россия не забудет ли их подвиг? Из Казани вместе с армией, в её ряды встав, уходили мальчишки — юнкера, кадеты, студенты, гимназисты... Сколько их погибло! Сколько замёрзло в жестокую стужу! За Россию. Безымянные герои, даже могил не осталось их... Россия, вспомнишь ли?.. Слезами и кровью их искупленная, очнёшься ли? Возродишься ли?

Их сердца горят перед Тобою,  
Восковыми свечками горят.  
Но тому, о Господи, и силы  
И победы царской час даруй,  
Кто поверженному скажет: — Милый,  
Вот, прими мой братский поцелуй!

Проснулся Пётр Сергеевич затемно и, не откладывая, поспешил в главное интендантство. Долго не хотели принимать там волжского полковника, смотрели на него недоверчиво, тянули волюнку, задавая всевозможные вопросы. Наконец, удалось добиться приёма у главного интенданта. Им оказался дородный человек лет пятидесяти, с лицом невероятно гладким и младенчески розовым. Невозмутимо покручивая толстый чёрный ус, он говорил медленно, словно пережёвывая что-то:

— Видите ли, глубокоуважаемый Пётр Сергеевич, я не могу вам помочь...

— То есть как? Я слышал, что вещей на складах много.

— Вещи есть, — снисходительная улыбка. — Но они ещё не распределены по частям. А вашей Волжской группы у нас вовсе не числится на учёте.

У Тягаева на мгновение потемнело в глазах. С трудом сдерживая гнев, он опёрся рукой на стол, за которым сидел розоволицый бюрократ, навис над ним, процедил:

— Да вы понимаете, что там, на Урале, лучшие сыновья России погибают каждый день только потому, что не имеют тёплых вещей?! Вы понимаете, что окружённые со всех сторон большевиками, мы должны вести ещё и битву с холодом?!

— Я всё понимаю, — насупился интендант. — Но я следую правилам, которые не мной установлены. Через неделю у меня будет доклад Верховному правителю, и я выясню у него этот вопрос. Подождите.

— Подождать?! Неделю?! — Тягаев в бешенстве хватил кулаком по столу. — Это вы здесь можете ждать и неделю, и месяц, и год, сидя в тёплом кабинете, обедая в дорогих ресторациях! Тыл сидит по кабакам за нашей спиной! Мы защищаем вашу сытую и спокойную жизнь, а вы велите нам ждать?!

— Послушайте, я просил бы вас...

— Вы не знаете, что такое голодать неделями! Что такое сутками находиться на морозе в рваной шинели и худых сапогах! Ваши ноги не чернели от обморожения, а кожа лица не лопалась от ледяного ветра! И вы велите нам ждать?! Вы оставляете без ответа наши телеграммы о помощи! Вы обрекаете нас на смерть! Чем вы лучше большевиков?! Вы хуже их!

— Я понимаю ваше раздражение, но прошу воздержаться от оскорблений. Я дворянин!

— Вы... Вы... Вы подлец! — Тягаева душили слёзы гнева. — Можете вызвать меня на дуэль, если хватит смелости!

Из кабинета интенданта Пётр Сергеевич выбежал, как ошпаренный. Всё внутри его клокотало, а бессильная ярость не находила выхода. Крысы тыловые, бюрократы... Их бы в ту мерзлоту, чтобы холёная кожа их пошла трещинами, а руки и ноги перестали гнуться... Это не люди! Это мертвечина! Бесчувственная, лишённая совести, готовая погубить всё в угоду букве и личной корысти...

Сбегая по лестнице, полковник едва не сшиб с ног поднимавшегося вверх офицера. Он не услышал даже, как тот окликнул его по имени, быстро пошёл по улице, жадно глотая холодный воздух, осыпая проклятьями негодяя-интенданта. Вдруг кто-то схватил его за плечо:

— Да стой же ты, чёрт возьми тебя!

Тягаев обернулся, застыл в изумлении. Неужели? Быть не может! Откуда — здесь?..

— Борис?!

— А то кто же! Здоров же ты, брат, бегать. Насилу догнал тебя. Кричу, кричу, а ты не слышишь.

Это точно был Борис Кромин. Собственной персоной. Стоял, чуть улыбаясь в усы. Вот так встреча! Наудачу!

— Ты какими судьбами здесь? Давно ли?



— Четвёртый месяц. Где же мне быть, как не рядом с моим адмиралом?

— Так ты?..

— Числюсь советником. А ты..?

— Я из Волжской армии приехал по поручению Каппеля.

— Ишь куда тебя занесло!

— Борис, мне нужна помощь! Наша группа гибнет на Урале, не имея тёплых вещей, а ваши интенданты...

— Говорят, что не могут выделить?

— Этот мерзавец велел мне ждать неделю до его встречи с адмиралом!

— И что ты ему ответил?

— Всё, что думал на его счёт!

— Можешь не сомневаться, что после этого он и через неделю ни шевельнёт и пальцем. Тебе, друг мой, всегда вредила горячность.

— Посмотрел бы я на тебя в моей шкуре! — взорвался Тягаев.

— Спокойно, спокойно, — Кромин примирительно поднял руку. — Я всё улажу. Получишь вещи сегодня вечером. В крайнем случае, завтра утром.

— Это точно? — просветлел Пётр Сергеевич.

— Абсолютно. Мне в отличие от господина интенданта не нужно ждать аудиенции неделю. Я могу обращаться к адмиралу в любое время. Но думаю, что этого и не понадобится. Достаточно будет пригрозить таким обращением.

— Невероятная удача, что ты здесь, Боря.

— Что удача, согласен. Но ничего невероятного я в ней не вижу. Где ты остановился?

— В теплушке, в которой приехал сюда.

— Отобедаешь у меня сегодня?

— Не откажусь.

— Прекрасно. Подожди меня немного. Я улажу твоё дело, а после поедем ко мне. Посидим, как в старое,

доброе время. Расскажу последние новости тебе. О, брат, мне есть, что тебе рассказать!

И поспешил Кромин назад в интендантство. Пошёл вперевалку, походкой немного на медведя смахивая, а в полушубке и валенках выглядя ещё грузнее, чем обыкновенно. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Свезло же встретить в этом уже было возненавиденном городе старого друга! Приметил Пётр Сергеевич, что появилась в нём что-то новое, чего прежде не было. Вид человека, посвящённого в государственные дела, знающего больше, чем другие, но не говорящего об этом. Кромин — государственный человек? Почему бы и нет? Борис, в отличие от Тягаева, всегда отличался политичностью. Он бы на мерзавца-интенданта орать не стал, уговаривал бы его, укатывал, подминал под себя, и глядишь, даже выторговал бы что-нибудь. А Пётр Сергеевич дипломатии такой не умел вести. Горяч был, жёсток в оценках, прямолинеен и принципиален. А тем более, сейчас не в состоянии был полковник вилять и крутиться. Нервы расшатались предельно, и уже малого достанет, чтобы вызвать бурную реакцию, а не то, что это подлое «пождидите»...

Кромин возвратился через полчаса, держа в руках подписанный наряд на получение тёплых вещей.

— Ну, брат, и навёл же ты шороху там. Интендант наш так рассвирепился! Я, говорит, дворянин, а он мне «подлеца» отвесил! Сумасшедший, говорит!

— Его бы на моё место... Сволочь.

— Чёрт с ним! Забудь! — Борис хлопнул Тягаева по плечу. — Вечером вещички по этому наряду будут погружены в твою теплушку, а ночью отправишься к своим. Доволен?

— Более чем, — отозвался Пётр Сергеевич. — Не знаю, что бы без тебя делал.

— Так-с, — Кромин подхватил друга под руку, — теперь едем ко мне. До вечера время есть, а нам

потолковать нужно. Вот ведь как закрутилось всё, а...

Разговор продолжался уже в пролётке.

— Я живу здесь недалеко, — говорил Борис. — В Омске столько народа, что угол найти — задача наисложнейшая.

— Большую часть этого народа следовало бы незамедлительно вытащить из кабаков и послать на фронт. И все эти заведения закрыть до окончания войны. Видел я ночью тыловую жизнь. Затошнило...

Лицо Кромина омрачилось:

— Не сыпь соль на рану. Сам вижу, что неладно. А что делать? Тут тонко подойти нужно...

— Пока вы тонко будете подходить...

— Ладно! Не будем об этом сейчас... Ты, стало быть, в подчинении Каппеля теперь? И что он?

— В каком смысле?

— Во всех смыслах. У нас о нём чего только не судачат. Одни превозносят, другие наоборот — считают выскочкой. Многие, по-моему, просто завидуют. А, вообще, подозрительно относится большинство. Кому верить? Как докладывать мне Верховному?

— Доложи, что в России нужно поискать людей, более преданных ей, более честных и самоотверженных, чем полковник Каппель. Если и найдутся, то единицы. И командиров, равных ему по таланту, я немногих знаю.

— Так-с... Очень хорошо. Я, признаться, так и полагал, что клеветают.

— Клеветают шкурники, из-за которых нам приходится сегодня отступать. Если они теперь сидят у вас при штабе, гоните поганой метлой. Они любое дело угробят.

Кромин промолчал.

— Скажи, Борис, ты о моих ничего не слышал? — спросил Тягаев.

— Нет... Нет... Связи с Москвой и Петроградом нет у меня... Но сам знаешь, отсутствие новостей — это уже хорошая новость.

Почему-то показалось Петру Сергеевичу, что что-то не договорил ему старый друг. А тот уже оживился снова, произнёс таинственно:

— Есть у меня, Петя, для тебя сюрприз один...

— Ты знаешь, что я сюрпризов не люблю.

— Знаю, но не могу отказать себе в удовольствии... Тебе он понравится! Только придётся мне тебя покинуть на часок... Заодно сам получу вещи со склада, а то ты ещё кого-нибудь на дуэль вызовешь...

Квартира, занимаемая Кроминым, была невелика, но ухожена. Явно чувствовалось присутствие женской руки, но самой женщины видно не было.

— Хозяйка моя уехала на неделю в Курган, к больной кузине, кажется, — сказал Борис. — А я целыми днями отсутствую, так что в доме шаром покати... Но ты располагайся. Отдыхай, пользуйся всем. Да! Ванна в твоём распоряжении! Ты же, поди, уже и забыл, что это такое. Бельё бери, мыло... Короче, чувствуй себя, как дома!

— Спасибо, — Пётр Сергеевич снял свой ветхий полушубок, повесил его на крючок.

Кромин покачал головой:

— Постарел ты, брат. Седина уже во всю голову... Да, не пощадила нас жизнь... Кажется, вчера только у тебя на квартире сидели, прощальный наш ужин... А вечность прошла. Ведь я не чаял тебя живым увидеть. Ты не болен ли? Исхудал так, что на Кощея похож, ей-богу.

— Зато ты, по-моему, раздобрел, — чуть улыбнулся Тягаев.

— Есть маленько. Да и как не раздобреть? Прежде я всё по морям ходил, всё в движении был. А тут! — Борис махнул рукой. — Сначала в Гельсингфорсе несколько

месяцев сидел на квартире безвылазно, бездействием маялся. Ещё Эмилия пилила... Верно говорят, Петя, не дай Бог злую жену. Вырвался от неё — словно ветер парус наполнил. Полетел! И вот, я здесь. А здесь всё то же — кабинетная работа, сидение на одном месте... Однако же, заговорились, — спохватился он. — Располагайся здесь. А я скоро буду.

Нет, не изменился Кромин. Слегка раздобрел, немного добавилось сознания своего привластного положения, а в остальном — тот же. Та же размеренность и плавность в движениях, в речи, на мягкие волны похожей, та же солидность и основательность. Глянул полковник на своё отражение в висевшем на стене зеркале, поморщился: действительно, краше в гроб кладут — щёки до черноты провалились, под глазами мешки, седина, ещё недавно только пробивающаяся, теперь обильная... Зубы шататься стали от недоедания, кровь из дёсен сочилась. Далеко ли до цинги?

Осматривать жилище Кромина полковник не стал, а прошёл сразу в ванную. Ванная! Горячая вода! Это — сон какой-то. И смыть с себя всю грязь — не счастье ли? Не блаженство ли? Мыло... Чистое бельё... Какой-то другой мир. Не разнежиться бы — ночью уже назад, к своим, в тиски... Но в эти, перехваченные у жизни несколько часов, ощутить себя снова человеком! Кто знает, может, и в последний раз?

Вымывшись, Тягаев почувствовал себя бодрее, хотя при этом клонило в сон, расслабленное тело, столько времени державшееся в жёстких условиях, просило теперь отдыха. Но на отдых времени уже не было. Даже на то, чтобы мундир вычистить не было его. Ныло тело, молило дать передышку ему. Тело — предатель духа. Дашь поблажку ему, и сразу требует оно ещё и ещё. И так трудно вновь укрощать его.

Кромин не преувеличил, сказав, что в доме у него «шаром покати». Но нашёлся штофик водки и остатки паштета. Выпив рюмку, Пётр Сергеевич почувствовал себя уже совсем хорошо и, обосновавшись в кресле, стал от нечего делать листать лежавшие на столе газеты. Газеты сообщали о победах на фронте, о решениях правительства... А, вот, ещё с прошлой недели номер. Беседа Верховного правителя с представителями прессы от двадцать восьмого ноября...

«Я был свидетелем того, как губительно сказался старый режим на России, не сумев в тяжкие дни испытаний дать ей возможность устоять от разгрома... Государства наших дней могут жить и развиваться только на прочном демократическом основании...»

Тягаев поморщился. Реверанс в сторону прогрессивной общественности? Дань моде? Или — искренно?.. Как же надоела эта политика!

А вот это — кажется, лучше уже?

«Я всегда являлся сторонником порядка и государственной дисциплины, а теперь в особенности буду требовать от всех не только уважения права, но и, что главнее всего в процессе восстановления государственности, поддержания порядка.

Порядок и закон в моих глазах являются неизменными спутниками, неразрывно друг с другом связанными. Я буду принимать все меры, которыми располагаю в силу своих чрезвычайных полномочий, для борьбы с насилием и произволом. Я буду стремиться к восстановлению правильного отправления всех функций государственной жизни, служащих не только делу государственного строительства, но и возрождению России, так грубо, так дерзко нарушенному предательской рукой большевиков.

Мне нет нужды говорить о том, какой вред принесли эти люди для России. Вот почему и дело восстановления

России не может не быть связанным с беспощадной, неумолимой борьбой с большевиками. Только уничтожение большевизма может создать условия спокойной жизни, о чём так исстрадалась русская земля; только после выполнения этой тяжёлой задачи мы все можем снова подумать о правильном устройстве всей нашей державной государственности».

Далее — об армии. В её создании видит Верховный свою первостепенную задачу. О Национальном собрании хорошо высказано: «Я избегаю называть Национальное Собрание Учредительным Собранием, так как последнее слово слишком скомпрометировано. Опыт созыва Учредительного Собрания, собранного в дни развала страны, дал слишком односторонний партийный состав. Вместо Учредительного Собрания собралось партийное, которое запело «Интернационал» и было разогнано матросом. Повторение такого опыта недопустимо.

Вот почему я и говорю о созыве Национального Собрания, где народ в лице своих полномочных представителей установит формы государственного правления, соответствующие национальным интересам России...»

Так зачитался Пётр Сергеевич, три месяца почти оторванный от жизни, от новостей её, что не заметил, как дверь отворилась, и в квартиру вошли. И вздрогнул поражённо, когда родной голос вскрикнул:

— Отец!

Надинька?.. Она-то здесь как?.. Возможно ли?.. Поднялся, ещё глазам своим не вполне веря, и стоял, ошеломлённый.

Не усидела Надя в тихом Новониколаевске под опекой Мани. Как отправила та сына к отцу в деревню, и прекратились уроки французского, так и совсем некуда стало сил приложить. Мане — что? У неё весь город — знакомые. То с визитами поедет, то ещё куда,

то сама гостей принимает. Легко жила, не скучала. А Надя искала дела. Такого дела, чтобы всю её забрало, чтобы не дало погрузиться в тоску от разлуки с Алёшей. От него с фронта редкие письма приходили. Ласковые, ободряющие. Но между письмами этими такая бездна времени разверзалась, что с ума сойти от неизвестности можно было. Каждое утро просыпалась Надя с мыслями об Алёше, о том, будет ли письмо, каждый день взволнованно проглядывала почту и, не найдя заветного конверта, страдала, воображая мужа раненым или убитым, или забывшим о ней (каких только глупостей не лезло в голову!), вечером снова думала о том же, ночью ей снилось, что пришло письмо, или что Алёша вернулся... И просыпалась с ноющей душой. А рядом — беззаботная Маня. Её новое платье... Городские сплетни... Карьера её мужа... И не выдержала Надя, сорвалась в Омск, поступать в госпиталь сестрой милосердия. Думали, брать ли её, ничего толком не умеющую. В Киеве, правда, помогала в госпитале короткое время перед отъездом, но научиться ничему толком не успела. Боялась Надинька: вот, откажут, скажут, что не нужны такие неумёхи им, и что тогда? Кляла себя, что барышней книжной выросла, «безрукой». Но обошлось — приняли в штат, вняв горячим мольбам. Для начала простой сиделкой. Сразу взялась Надя осваивать незнакомое дело: оказалось, ничего сложного. Училась она быстро всегда, отличаясь старательностью и памятью. И не пожалело госпитальное начальство, что взяло сестру Юшину в штат. Скоро уже сама делала она перевязки, допущена была ассистировать на операциях. Правда, на первой операции едва не случилось с нею обморока. Оперировали офицера с раздробленной голенью, ампутировали ногу. И сделалось Наде дурно. Вспомнились ужасы Киева, запах крови и мертвецы в дворцовом парке... Так бы и повалилась без чувств. Но



— сдержала себя, губы до крови закусила, выдержала до конца. Лишь после долго сидела, тря威士忌 нашатырным спиртом. Ей было стыдно за свою слабость, но Вера Григорьевна, старшая сестра, уже пожилая и видевшая много, утешила:

— Этак со всеми поначалу. К чужой-то муке привыкнуть надо. Некоторые не могут. А ты сумеешь, я вижу.

У Веры Григорьевны трое сыновей были в армии. Томилась мать о них. Ждала писем, писала сама, вязала им тёплые носки, шарфы, перчатки. Иногда по вечерам, когда в госпитале всё затихало, вспоминала, какими были её мальчики в детстве, перебирала в памяти дорогие эпизоды, светлея лицом. А Надя слушала и училась у Веры Григорьевны всему: выдержке, самозабвению, врачебному искусству. Так долго служила Вера Григорьевна милосердной сестрой, сменяя госпиталю, бывши на фронте, что, кажется, и сама могла бы уже не хуже иного врача провести операцию, поставить диагноз. Муж её погиб в самом начале войны, но о нём Вера Григорьевна вспоминала редко, не желая травить свою рану. А Надя много рассказывала ей об Алёше, счастливая тем, что можно с кем-то так долго говорить о любимом человеке, облегчая тем душу.

Работа в госпитале заняла Надиньку всецело. Там и дневала, и ночевала она. Рука у неё оказалась лёгкой, глаз верным — и всякое дело спорилось. Раненые полюбили её, и Надя впервые в жизни почувствовала осмысленность своей жизни, свою нужность. Она часами просиживала подле страждущих, слушала их рассказы, писала под диктовку письма их близким, утешала, читала им вслух разные книги. И любимую свою, неразлучную, мамин подарок на именины — затёртый в дорогах том Зайцева — читала. Светлые строки его, благоухающие, поэзией наполненные,

страницы, на которых запечатлена была жизнь отошедшая, прекрасная, как мечта.

В Омске встретила Надя старинного друга отца, капитана Кромина. Он однажды приехал в госпиталь навестить кого-то из знакомых. Сколько радости было встретить знакомого человека! Друга семьи! Правда, о семье ничего не знал Борис Васильевич. Ни о матери, ни об отце. Надеялся на лучшее. А что оставалось? А кто не надеялся? Такое время настало. Только и осталось, что — надеяться.

А в это утро Борис Васильевич пришёл таинственный, сказал, чтобы Надинька отпросилась на несколько часов и ехала с ним — дело безотлагательной важности. Надя вначале сопротивлялась. Как же ей уйти с дежурства? Но Кромин настоял, хотя и не пожелал объяснить что-либо. Даже испугалась Надя, что такого случиться могло. Уж не худые ли вести из дома? Не дай Господи! Отпросилась у Веры Григорьевны. Та отпустила на три часа. В санях домчали до дома Бориса Васильевича. Как ни просила она объяснить ей, что стряслось, но не выдал своей тайны капитан, улыбался загадочно в усы, тянул плавно:

— Увидишь, Надинька, увидишь.

И увидела. Чего только ни ждала Надя, но такого и представить не могла! Стоял перед ней живой и здоровый — её отец! Исхудавший, потемневший лицом, измученный — но живой! Стоял потрясённый, не в силах произнести ни слова. Смотрел на дочь. А она слёзы глотала. Уж и не надеялась свидеться! Обнялись, сели, засыпали вопросами друг друга. А Борис Васильевич улыбался:

— Ну что, бесценные друзья мои, как вам сюрприз мой? Я же говорил, что довольны останетесь... — скинув полушубок и расстегнув неизменный флотский мундир, расставлял на столе принесённую снедь. — Сейчас

отобедаем на радостях. Два часа невелик срок, но лучше, чем ничего. Пётр, насчёт вещей не беспокойся. Я договорился: к ночи всё загружено будет.

— Спасибо... — пробормотал Тягаев, с трудом приходя в себя от неожиданности. Нет, не мираж это был, не бредовое видение, не сон. Сидела рядом с ним его дочь, никла головой к плечу. Сколько ж не виделись? Дольше года! И что-то новое совсем появилось в ней за это время. Вроде бы Надя, а — другая... Или это так кажется после разлуки долгой? Повзрослела! Уже не та девочка, какой была недавно. И похудела, кажется? Щёки, детски припухлые — куда делись?

— Я работаю много. В госпитале. И день, и ночь там. Вот и...

В госпитале? Никогда бы не подумал! Нежная, хрупкая, никогда крови не видевшая — и вдруг такая тяжёлая работа? Переменилась! Но что же... И вдруг увидел, понял: кольцо на пальце обручальное. Неужели?..

— Да, я замуж вышла. Он офицер. Сейчас на фронте... Прости, что мы без благословения, но ведь война... Не могли же мы ждать столько...

Значит, зять. Из крестьян. Поручик... На фронте? Это хорошо. Значит, не шкурник.

— Как жаль, что его сейчас здесь нет! Я бы так хотела, чтобы вы познакомились! Он бы тебе обязательно понравился. Он очень хороший человек. Ты увидишь!

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Пётр Сергеевич тепло, чувствуя, что дочь сильно волнуется, что он осудит её, ждёт, как откликнется. — Ты не могла сделать плохого выбора. И хорошо, что вы ждать не стали. Сейчас не то время, чтобы ждать...

Просияла, успокоилась, прильнула ещё теснее. Выросла дочь, а он и не заметил. Как же время летит

страшно... Рассказывала о том, как познакомилась с мужем. О Киеве. Сколько ж ей, бедняжке, пережить пришлось! А он-то удивился, что она в госпитале работает и крови не боится...

— Предлагаю выпить за встречу! Чтобы была она не последней! — Кромин, довольный своим сюрпризом и радующийся за друга, поднял бокал.

Надинька вина чуть пригубила, символически. Ей скоро в госпиталь возвращаться — никак нельзя.

— Пётр, это невежливо-с, с твоей стороны, — лукаво прищурился Борис. — Мы с Надей всё тебе рассказали про себя. А ты молчишь. Ты-то где пропадал все эти месяцы?

— На Волге. Партизанским атаманом был, отрядом мужиков командовал... Потом в Народной армии. Месяц под Казанью, потом отступление... — коротко ответил Тягаев. Ему не хотелось рассказывать подробно обо всём пережитом. Да и о чём рассказывать? Разве что — о кудеснике? О нём можно. Надиньке будет интересно послушать. Она сама многое пережила, к чему же ещё всю свою черноту накопленную на её душу валить? А о кудеснике — в самый раз. Хоть что-то светлое. Стал рассказывать. Надинька оживилась, заблестели глаза, слушала, дыхание затаив. Точно так, как когда-то в детстве, когда в редкие часы досуга рассказывал он ей разные занимательные, удивительные истории. Знал их Пётр Сергеевич немало. Недаром в Москве вырос — там таких историй несметное множество было. Приносили их со всех концов света странники, калики перехожие. Пересказывали люди друг другу. В Петрограде ничего этого не было. Петроград чудесам не верил... Мало, мало часов посвятил Тягаев дочери. Но бывали такие мгновения близости, особенно, пока мала была она. Сжал её Пётр Сергеевич на колени, рассказывал, извлекая из памяти, истории, слышанные в детстве, а она сидела неподвижно, чуть губки разомкнув, глаза —

два каштана, как у матери, крупнее только — распахнув широко, смотрела на отца, внимала. Вот и теперь, с той же детской зачарованностью слушала Надинька о старике-кудеснике. И уже мечтала увидеть его. Взаправдошный чудодей — это ли не диво!

— Да, брат, когда б не ты рассказывал, подумал бы, что басня, — улыбнулся Кромин.

— Я и сам бы не поверил себе, если бы своими глазами не видел, и своей головой не почувствовал, — отозвался Тягаев.

— Побольше бы кудесников таких. Глядишь, давно бы выиграла войну!

Неумолимо подходило к концу отпущенное на эту короткую встречу время. Хотелось Петру Сергеевичу выведать у Кромина подробности о положении дел в Омске. А не выведал. Всего на два часа увиделись с дочерью после такой разлуки — и забыв о ней, спорить с Борисом о политике, перемалывать в который раз все проклятые вопросы? Невозможно. Не хотелось портить этой встречи ни себе, ни другим. К тому же, не вот бы и стал Кромин откровенничать. Он молчать умел, ушёл бы от прямого ответа в дипломатии своей, только бы раздражил...

Пролетели два часа, как две минуты. Пора было Надиньке возвращаться в госпиталь. Долг есть долг. Хоть проводить её. Поехали втроём. Мчались сани по оживлённым улицам, падал лёгкий снег. И вспоминалась Москва... Никогда не вспоминал Пётр Сергеевич о Петрограде с такой любовью, как о Первопрестольной. Петроград — мозг. Москва — сердце. Вспомнился первый год службы. Удалой отставной поручик Разгромов, красавец, любимец женщин, бретёр, отчаянный смельчак и игрок... Друг юности, с которым учились и служить начинали вместе, Адя... Летящие по Москве сани, звон гитары, шампанское... Редко себе позволял Тягаев такие

развлечения, но, что греха таить, бывало. На то и молодость! А мчали-то — к «Яру»! И нахлёстывал лихач коней: «Бойся!» А хмельной Разгромов читал стихи... Бальмонта... Тогда среди девиц много было бальмонтисток, и он со стихами этими шёл на штурм их... Ещё не написал тогда модный поэт гнусного стишка, приравнивающего офицеров к убийцам... Как-то теперь он поёт?.. Сколько же лет прошло с тех пор, как мчали по Москве те сани! Разгромов погиб в Японскую, погиб героически, несмотря на шалую свою жизнь. Адя сложил голову на войне Великой. Отлетела юность, звеня гитарными струнами, бокалами и шпорами, и ничего не осталось от неё. Какая-то Москва теперь? Летят ли ещё по ней сани? Звонят ли колокола?

Домчали до госпиталя быстро, вошли в него. В глаза сразу бросилось необычное оживление. Причина его выяснилась тотчас: навестить раненых прибыл сам Верховный правитель.

Надинька поспешила доложить о своём возвращении, заодно и поделиться радостью с Верой Григорьевной. Кромин и Тягаев поднялись на второй этаж, где в это время находился адмирал. Идя по коридору, Пётр Сергеевич слышал мелодию романса «Гори, гори, моя звезда...» Он чуть замедлил шаг и в следующее мгновение услышал голос... Этот голос нельзя было спутать! День неожиданных встреч ещё не завершился! Это был голос Криницыной...

— Что с тобой? — спросил Кромин.

— Нет, ничего... — качнул головой Тягаев. — Просто узнал голос...

— Ещё бы! Этот голос, почитай, вся Россия знает. Соловушка... Кстати, она, как и ты, в Омск с Волги добралась. Из Казани.

— Откуда ты знаешь?

— Мне рассказывали чехи, которые предоставили любезно ей место в своём вагоне. Какой-то чешский

офицер, её поклонник пылкий, не мог допустить, чтобы она в Казани осталась, попала в плен к большевикам, и позаботился об её своевременной эвакуации. В Омске она давно уже. Выступает с концертами в пользу раненых. Все офицеры без ума от неё. Что неудивительно. Редкая женщина!

Действительно, любезно со стороны чехов. Страшно подумать, что было бы останься Евдокия Осиповна в Казани, в плену этих изуверов... Тягаев остановился у дверей палаты, где пела Криницына, прислонился к дверному косяку.

Звезда надежды благодатная,  
Звезда моих счастливых дней,  
Ты будешь вечно незакатная  
В душе тоскующей моей...

Раненых было много. Слушали, сидя, стоя, иные, кто не в силах был подняться, лежали. Залетела эта «звезда надежды» к искалеченным воинам, озарила лучом обожжённые души... Звенели струны гитары под пальцами бывшего с Евдокией Осиповной музыканта, звенел, переливаясь голос её, заполняя всё вокруг. Одета она была, как всегда, просто, немногим отличаясь от милосердных сестёр, одна из которых, пожилая, с лицом морщинистым и добрым, сидела тут же, и лишь тёмно-вишнёвая шаль, наброшенная на плечи, украшала чёрное, монашески скромное платье. Здесь же был и Верховный правитель. Он сидел на стуле, прямо напротив Криницыной, рядом с сестрой милосердия, положив ногу на ногу, сложив на коленях руки и немного опустив голову. Колчака Пётр Сергеевич видел впервые. В этот момент ничего диктаторского, воинственного не было в фигуре славного адмирала. Сухопарый человек с желтоватым, очень уставшим и

даже как будто больным лицом... Лицо, с чертами заострённым, резковатыми, печально, и тень лежит на высоком челе, в уголках тонких губ скорбная складка, под глазами тени от бессонных ночей, такие тени, что кажется, словно шрамы глубокие залегли под ними. Глаза Колчака были опущены, прикрыты тяжёлыми веками — их и не видно было. Иногда он поднимал их, и наполнены были они невыразимым чувством. Он не просто слушал красивый романс в чудном исполнении, он проникнут был каждой фразой его, каждой нотой... В это мгновение не был адмирал ни прославленным героем, ни вождём, ни правителем, а обычным человеком, и это явственно ощутил Тягаев.

А романс допевался...

Умру ли я, ты над могилою  
Гори, сияй, моя звезда.

Взглянул Пётр Сергеевич на Криницыну и взгляд её перехватил. Увидела! Узнала! Вздогнула... Кажется, сейчас бы бросилась к нему, а никак нельзя было — нужно было допеть, а там — на бис, и выслушать все тёплые слова, и каждому ответить улыбкой и благодарностью... А Тягаев ждать не стал. Отпрянул от двери резко, поспешил вниз. Как теперь встретиться с нею? Как говорить? Только что сидел полковник с дочерью, вспоминали родной дом, вспоминали Лизу... И тотчас же заключить в объятия другую женщину? Едва ли не на глазах у Нади? И чем оправдаться перед ней? Тем, что война, тем, что так занят был всю жизнь службой, что не удосужился по-настоящему полюбить женщины? А теперь, на пятом десятке, в круговерти этой вдруг встретил ту, единственную? Что за жалающая боль — не избыть её! Там, в Казани, и жена, и дочь, и вся прежняя жизнь казались непреодолимо далёкими,



настолько, что и вряд ли можно было рассчитывать на воссоединение, чем-то канувшим навсегда... А Евдокия Осиповна была единственной реальностью, последним лучом гбнущей жизни. А теперь всё изменилось! Чувство осталось прежним, если не более сильным, но теперь рядом была Надя. Рядом была уже похороненная жизнь... И как соединить? И не чувствовать себя при этом подлецом и предателем? Ожидать понимания от дочери просто низко. Может быть, и поймёт, но простить не сможет. Как и сам Пётр Сергеевич не сможет себе простить. Нельзя соединить две жизни. И разорвать нельзя! Лучше бы не свидеться никогда более с ненаглядной Евдокией Осиповной. Но упорно сводит судьба. Она — в Омске. Значит, неизбежна новая встреча... Впрочем, для этого нужно ещё уцелеть, продираясь сюда с Волжанами... Только бы не встретиться теперь! Уклониться от этой встречи! Чтобы никто не узнал ничего... А там, если Бог сбережёт, уже и решать... Но только не теперь! Не теперь! Теперь невозможно!

— Ты что сорвался опять, словно оса тебя ужалила? — с удивлением спросил Кромин уже в вестибюле.

— Нет, ничего. Просто я думаю, что мне уже пора. На Урале мои соратники замерзают и гибнут, а я здесь прохлаждаюсь... Вино, воспоминания, музыка, мирная жизнь... Ещё немного, и я размягчусь, отложу отъезд до утра... А это будет преступлением, которого я себе потом не прощу.

— Странный ты, брат, — покачал головой Борис, глядя пронизательно. Того гляди, сопоставит и догадается... — Сильно тебе заваруха эта нервы расшатала. Скорее бы уж твои Волжане добрались сюда, отдохнёшь хоть. А то ведь этак и заболеть недолго.

— Ничего, не заболею, — отозвался Пётр Сергеевич. — У меня замечательный лекарь. Позови Надю. Простимся, и я отправлюсь.

Каждая лишняя минута, проведённая в стенах госпиталя, жгла полковника. Он боялся, что вот-вот на лестнице появится дорогая фигура в тёмно-вишнёвой шали, и уже нельзя будет избежать встречи.

Надя пришла вскоре. Простились. Тягаев пытался найти какие-нибудь добрые, ободряющие слова, но не находил, комкал. Только прижал крепко, поцеловал в голову:

— Береги себя!

— И ты! — всплакнула. Не для порядка, а искренно огорчаясь столь скорому отъезду отца. Единственная дочь, бесконечно любимая, самый родной человек на свете... И как причинить ей боль? Как стать в её глазах изменником? Не думать об этом... Вот, если суждено вернуться, тогда...

Уже садясь в сани, увидел Пётр Сергеевич, как из дверей госпиталя вышло несколько офицеров и она — Евдокия Осиповна. В шубке, в по-русски повязанном на голове платке. Остановилась на лестнице, натягивая перчатки, и озиралась по сторонам, ища... Что-то она теперь подумает? Бесценная, несравненная, единственная, почему так нескладно всё? Ни за что, ни про что обидел её. Сбежал, как дезертир с поля боя. Постыдно. Сидел Пётр Сергеевич в санях, как на иголках, боясь быть замеченным, кляня себя самыми последними словами. Но, вот, помчались по ставшим уже знакомым омским улицам — к вокзалу. Стремительно темнело, и прекратился снег. Тягаев молчал. Хранил молчание и Кромин, но полковник чувствовал, как он смотрит на него пытливо, догадываясь о чём-то. Рассказать ему, поделиться? С кем ещё, как не со старым другом? Нет, ни с кем, никому. А Борис заговорил сам:

— Ты что ли, Петя, знаком с нею?

— С кем?

— С соловушкой нашей.

— Она спасла мне жизнь, когда я вынужден был бежать из Петрограда.

— Вот как? Отчего же тогда ты не захотел выразить ей своё почтение?

Молчал Тягаев. И что было говорить? Умён был Кромин, легко сопоставил всё сам, догадался... И что за глупость такая? Ничего-то не умел скрыть Пётр Сергеевич. Весь — как на ладони. И ведь никогда дураком не был, а даже наоборот. А врать не умел. Особенно, близким.

— Вот-с, стало быть, как... — проронил Борис. — Что ж, житейское дело.

— Я просил бы тебя обойтись без философии.

— Можно и без философии, — вздохнул Кромин. — К тому же, это дело не моё. Я до чужой личной жизни не охотник.

— Извини, — тихо сказал Пётр Сергеевич. — Ты прав, у меня совершенно расшатаны нервы. Срываюсь...

— Понимаю, брат, и не обижаюсь.

Остальной путь проделали молча. У теплушки простились, но когда полковник уже занёс ногу, чтобы подняться в вагон, Борис остановил его:

— погоди! — скинул свой полушубок, протянул. — А мне давай свой. Он у тебя худой совсем, в таком всего легче замёрзнуть и сгинуть от какой-нибудь пневмонии глупейшей.

От такого подарка Тягаев отказываться не стал, его полушубок, в самом деле, пронизывали любые ветры. Натянул кроминский — большая разница!

— Давай хоть обнимемся напоследях! — Борис с медвежьей силой привлёк друга к груди, загрёб крепкими, большими, как лопаты, ручищами. —

Поезжай, брат! И береги себя! Возвращайся, а остальное всё уладится. С Богом!

— Спасибо за всё, Боря. Даст Бог, свидимся!

Пётр Сергеевич вскочил на подножку вагона, эшелон, к которому был он прицеплен, тронулся. Кромин стоял, широко расставив ноги, придерживая накиннутый на плечи полушубок, смотрел вслед. Снял мохнатую шапку с головы, помахал. Тягаев кивнул головой, скрылся в теплушке, задвинул дверь. Поезд набирал скорость. Через три дня вновь суждено было оказаться полковнику на Урале, среди своих Волжан. И от этого стало на сердце свободнее. Всё же на войне всё проще и легче, чем в мирной жизни, где всё так запутано, что никаким мечом не разрубить бесчисленных гордиевых узлов политики, дипломатии, личных отношений...

## Глава 15. Тени мёртвого города

*Декабрь 1918 года. Петроград*

— Петербургу быть пусто... Кто бы мог подумать, что это пророчество так страшно сбудется в наши дни?

— Ничего удивительного, мама. Наш город построен на костях, на насилии над природой. Вот и мстит. Прежде наводнениями, затем революцией, теперь мором...

— Мор... Голод... Последнее и самое страшное испытание.

— Последнее ли?

— Для тех, кто не переживёт...

— Для большинства... Вчера Анну Всеволодовну похоронили. Испанка, истощение. На прошлой неделе Клейнгофы, все трое в два дня... Их даже похоронить некому оказалось. Из наших знакомых не осталось почти никого.

— Теперь они со Христом. Утешаются. Скоро и мы...

— Мне иногда кажется, что нас уже нет. Что мы просто тени в этом имперском склепе, бывшем когда-то столицей.

— Тени не чувствуют боли. Пока мы чувствуем боль, мы живы. Поэтому за неё надо благодарить...

— Я не могу благодарить, мама. Я выхожу на улицу, вижу это свинцовое, беспросветное небо, и мне кажется, что оно пусто. Совсем пусто. Я больше на него не смотрю. Только себе под ноги...

— Так говорить неверно... И думать... Испытания посылаются по Его милости... Их нужно принимать и страдать достойно. Уж очень нагрешили все мы, от Бога

отошли, вот, он нас и не слышит. Мы часто ропщем, почему Бог не помогает нам, когда мы просим? А почему мы не помогаем друг другу? Почему Бог не слышит нас? А почему мы Его не слышали, замыкали слух от Его гласа? Ведь Он говорил с нами через своих пророков... Через отца Иоанна ... Он предупреждал... Где-то у меня было записано...

— Не ищи, мама...

— Нет-нет, найду... Ах, голова моя... Всё забываю... Ах, вот: «Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стёртые правосудием Божиим с лица земли за своё безбожие и за свои беззакония...» Ты видишь? Чья же вина, что мы только самих себя слышали? «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои, и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови» ...

— Мама, выпей кофе. Ржаной... У нас не осталось почти. У нас ничего не осталось... Я почти всё продала. Сейчас пойду продавать папин альбом с гравюрами... Он его так любил!

— Нестрашно... Ты только икон моих не продавай, когда меня не станет. А всё остальное можно продать, нестрашно...

Ирина Лавровна сделала несколько глотков горькой, тёмной жидкости, которая теперь именовалась кофе. Последний месяц она уже не поднималась с постели, ноги отказали ей. Маленькая, высохшая, она лежала на постели, на высоко положенных подушках, укрытая двумя одеялами и шубой, но холод всё равно пронизывал. Достать дров было задачей труднейшей, а потому экономили каждую щепку. А зима выстуживала последнее тепло, покрывала окна ледяной коркой. Даже днём царил в комнате сумрак, а огня нельзя было

зажечь всё из-за той же экономии. К холоду добавлялась ещё и сырость, от которой стены покрывались чёрным слоем плесени. Дышать было трудно, Добрееву мучил кашель.

— Мама, съешь кусочек хлеба...

— Спасибо, я не хочу...

Хлеб? Небольшой чёрный сухарь. Иного теперь нет. Вся еда в доме: эти сухари, гнилая картошка, морковь... Даже крупы нет денег купить. А без крупы не выжить. Не выжить — Лизе. О себе Ирина Лавровна не думала. Она почти ничего не ела, но не чувствовала голода, живя исключительно пищей духовной. Даже удивлялась Добреева своему состоянию. Ни боли не чувствовала она, ни голода, ни тоски. А как-то легко-легко на душе было, словно ангел крылом тронул её. В этой пустой, запущенной, холодной и тёмной комнате, ей было светло. Свет был внутри неё, и так хотелось передать его Лизе!

— А всё-таки всё ещё будет хорошо... Этот кошмар однажды кончится, и Россия возродится. Возродится вместе со Христом...

— Я уже не верю в это, мама.

— Это неверно... Нужно слушать пророков. Они не ошибаются. «Если в России сохранится хоть немного верных православных, Бог её помилует, — а у нас праведники есть». Так батюшка Серафим говорил...

Все понравившиеся цитаты из своих святых книг Ирина Лавровна выписывала в толстую тетрадь. Эта тетрадь вместе с Библией и молитвословом всегда лежали возле её постели. Тут же лежал и альбом с семейными фотографиями, который любила Добреева перелистывать. Зрение её очень ослабло за время болезни, но она ещё разбирала, хотя и не без труда, строки книг, но открывала их всё реже. Читать не было сил, при малейшем напряжении подступала дурнота, и Ирина Лавровна оставляла попытки читать. Часами

лежала она в полузабытьи, а душа не мутилась ничем. Добреева знала, что умирает. День за днём она чувствовала, как жизнь по капле, по крупице уходит из её разбитого тела, но страха не было.

— Смерть нестрашна... Люди боятся посмотреть в глаза смерти. А ей в глаза и не нужно смотреть... Нужно в Его глаза смотреть... Он Терпеливец и Милостивец, Он наши грешные души примет и спасёт...

А Лиза не понимала. Лиза была погружена в заботы, что бы ещё продать, куда бы устроиться на работу, чтобы хоть фунт крупы добыть, чтобы не умереть с голоду. Взясась делать какие-то переводы, разбирала в темноте мелкие шрифты, посадила зрение... Хотела найти врача для Ирины Лавровны, но та запретила. Не хватало ещё, чтобы последние деньги ушли на врачей и лекарства для неё, которой уже не подняться. Они нужнее Лизе. Лиза сильная, она может пережить лихолетье.

— Испытания пройдут, и истина воссияет...

— Жаль только жить в эту пору прекрасную... — бросила дочь, складывая листки перевода. — Сегодня у нас будет крупа! — вздохнула радостно, снимая очки. — А если удастся продать папин альбом...

Лиза пеклась о хлебе насущном. А Ирина Лавровна всё меньше нуждалась в нём, всё меньше чувствовала себя принадлежностью бренной земли. Тело её оставалось прикованным к постели, а душа воспаряла к небу. В начале лета сподобил Господь большую радость пережить — лицезреть самого Святейшего, быть на службе его. Хотя уже тогда была Добреева больна, а узнав, что Предстоятель прибывает в Петроград, решила, что, каких бы усилий это ни стоило, быть на его службе. Хоть бы и умереть сразу после!

Огромная толпа постоянно окружала Патриарха во все шесть дней его пребывания в городе. Пути его устилали цветами, часами ждали благословения и



поучений. Александро-Невская лавра была заполнена верующими, жаждавшими слов утешения и напутствия от своего пастыря. Шли последние дни Пасхи, вот-вот должны были умолкнуть на долгие месяцы дивные пасхальные гимны... Последний раз видела Добреева лавру. Теснила её, хрупкую и больную, толпа со всех сторон, и временами пугалась Ирина Лавровна — не раздавят ли? Или самой ей откажут силы? Но силы не могли отказаться. Не её, угасшие, а высшие, которые питали её в тот день особенно. Со слезами слушала она слова Патриарха:

— Нельзя не заметить увядания этого града. Вместе со всей матерью Родиной нашей большие терпит он скорби и поношения. Великая Россия, удивлявшая весь мир своими подвигами, теперь лежит беспомощная и терпит унижения. И, конечно, не может не испытывать скорби всякий русский человек.

Однако скорбь наша не может быть безмерной. Как апостолы, расставшись с Учителем своим, выступили на проповедь с радостью, так и мы не должны унывать, не должны падать духом, не должны отчаиваться. В том самом обстоятельстве, что верующие люди повсеместно объединились вокруг своих храмов и не дают их в обиду, как это было у вас, в этом залог великого будущего нашей Церкви Православной и всего нашего народа...

На этом месте Добреева заплакала уже в голос. Вспомнилось ей, как здесь, на земле этой величайшей русской святыни несколько месяцев тому назад пролилась первая мученическая кровь. Безбожные красноармейцы во главе с комиссаром пытались захватить лавру. Звонари ударили в набат, и окрестный люд сбежался на подмогу монахам, а протоиерей Скорбящей церкви о. Пётр Скипетров заслонил собой от солдатских ружей женщину, крикнул им, осатанелым:

— Братья, что вы делаете? Вы же в святом месте!

И в тот же миг выпущенная из ружья пуля угодила ему в рот, раздробила череп...

А Святейший продолжал:

— Когда в приветствиях, которыми встречали меня здесь, у врат этой святой обители, прозвучали слова: Благословен грядый во имя Господне... — я припомнил слова Иисуса Христа, обращённые им к Иерусалиму: О, если бы град сей хотя теперь бы познал, что служит ко спасению его...

Негромок был голос Предстоятеля, но доходил до всякой души. Светлая печаль слышалась в этом голосе, та же печаль, какая сквозила в простом лице его, в кротких глазах. Лица не могла разглядеть Добреева тогда, стоя слишком далеко, но видела она его на фотографиях. И сколько печали было в лице этого Богом данного в погибельные дни молитвенника Земли Русской! Вся скорбь мира, почудилось, сосредоточилась в его глазах... Хотелось Ирине Лавровне пасть на колени, но невозможно было и из-за стоящих со всех сторон людей, и потому, что с колен никогда бы не подняться было ей самой — слишком больна была.

Завершалась чудная проповедь, и каждое слово к сердцу целительным бальзамом ложилось, врачуя:

— ...я взираю на вас с утешением, потому что вы знаете, в чём наше спасение. Спасение в Церкви Божией, в вере нашей в Бога. Она только может нас спасти и избавить от тех несчастий, которые всюду облегают нас. Конечно, нужны и преобразования, нужны и реформы. Но главное не в этом. Главное — это возрождение души нашей, об этом надо заботиться прежде всего. Как Иов Многострадальный потерял всё, что имел, был терзаем, страдал, мучился, но не потерял веры в Бога, и вера эта спасла его и возвратила ему всё потерянное и утраченное, так и нам Господь попустил переносить великие страдания, поношения и обиды, попустил потерять многое из того, что мы имели

раньше. Но была бы только крепка вера православная, только бы её не утратил русский народ. Всё возвратится ему, всё будет у него, и восстанет он, как Иов с гноища своего.

Пока будет вера — будет стоять и государство наше. Воспламеняющий огонь ревности Божией спасёт Родину нашу. Но только спасение это надо искать не в захватах, не в обогащении за счёт другого, а, напротив, стремиться с любовью помогать друг другу, «честью друг друга больше творяше».

Пример для нас — небесный покровитель этой святой обители и всего града — благоверный великий князь Александр Невский. Познай свою братию, Российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствуй... Вспомни землю нашу, кода-то обильную, текшую медом и млеком, а ныне оскудевшую. Спаси, угодник Божий, своим представительством перед Престолом Божиим всех верных рабов твоих, уповающих на тя и прибегающих под кров твой святой...

Как всё продумано в человеческой судьбе, когда полагается человек на Божию волю. Хватило сил Ирине Лавровне отстоять ту патриаршую службу, увидеть своими глазами первого после стольких лет Предстоятеля. И лишь после слегла она окончательно, и уже не покидала стен своего дома, тихо угасая день за днём.

— Мама, я ушла. Постараюсь недолго.

— Спаси тебя Господь! — перекрестила дочь вслед уже плохо слушающейся рукой. Дверь захлопнулась. Добреева осталась одна. Взяла со столика альбом, стала в который раз за последнее время перебирать фотографии, вглядываясь в дорогие лица. Родители... Муж... Кирилл Алексеевич, друг незабвенный, скоро свидимся... Ты и заждался, наверное? погоди, недолго осталось... Струились перед взором картины прожитой жизни. Дом родительский, мадемуазель, дача в

Павловске... Там ещё играли Штрауса... И танцевали вальс... И всё-то было как светло, как радостно, как легко! И первые годы жизни семейной лёгкими были. Только сыночка-первенца прибрал к себе Господь. А потом одна за другой две дочери родились, обе на отца похожие. А потом и мальчик родился, Илюша, не могли родители нарадоваться на него. Только жизни ему, ангелочку, всего шесть годков было отведено. Не уберегли... Перебирала Ирина Лавровна Илюшины карточки (первенца и сфотографировать не успели — он и двух недель не прожил, сердечный), подносила к губам. Не уберегла... И до сих пор не могла простить себе этого... Старый альбом с фотографиями — всё, что осталось от жизни. Вся жизнь — в нём уместилась. Вся память... Текли по сухим щекам слёзы из почти не видящих, поблекших глаз. И откуда их столько? И как хорошо, что они есть... Душа омывается в них, очищается... Душа — зеркало... Чем чище оно, тем легче в нём отразиться Богу...

Ирина Лавровна отложила альбом, закрыла глаза. Ей слышалось светлое пасхальное пенье, которое звучало в последний раз во дни приезда Святейшего. И мысленно вторила она каждому слову, пока мысль не заволокло туманом, пока биение сердца не затихло...

Елизавета Кирилловна Тягаева шла по пустынным, не очищенным ото льда и снега улицам, волоча обутые в огромные мужские сапоги, беспрестанно сводимые от холода ноги. В прежнее время, завидь её кто, непременно подали бы на бедность. Пальто истрёпанное, поверх несколько платков (внизу две кофты шерстяные, обе рваные, на локтях похожие на крупные сети), чулок нет, вместо них обмотки из тряпья, солдатские сапоги, страшные, с ног спадающие, а, главное, холодные... В таком виде, пожалуй, и последние нищие не щеголяли! И ничуть не стыдно ходить так... Без чулок, в рванине и грязи...

Стыда не осталось. И чего стыдиться, если все теперь схожие наряды носят. Вон, побежала на противоположной стороне бывшая дама — шинель на ней, калоши и шляпа, бывшая модной два года тому назад, поверх намотанного на голову шарфа. И никто поэтому не подаст на бедность. Самим бы кто подал...

Как страшно изменилось тело,  
Как рот измученный поблѣк!  
Я смерти не такой хотела,  
Не этот назначала срок...

Тело, в самом деле, изменилось разительно. Мяса не осталось... Кости, обтянутые кожей. Правда, кости — крепкие, широкие. Силы не занимать. Вот, когда пригодилось это сложение, на которое в ранней юности пеняла она, считая себя лишённой лёгкости и изящности, слишком тяжёлой, крупной под стать мужчине. А хрупкой и изящной — выдюжи-ка такую жизнь! Самой тащить дрова через полгорода на салазках, затаскивать их по лестнице на руках отмёрзших, с пальцами негнушимися, рубить... И когда нет воды (а её очень часто не бывает теперь) ходить за ней с ведрами, или растапливать снег... И тащить эту ледяную воду по лестнице... Вода расплѣскивается, и вот, единственные сапоги промочены... Холодно так, что сводит зубы! И стоять часами на толкучке, слясь продать остатки прежнего благосостояния. Всё столовое серебро — за ничтожное количество крупы, за сухую, похожую на дерево селѣдку... Как это выдержать всё хрупким и нежным? А Елизавете Кирилловне — ничего... Если голова её создана была для науки, то тело для физического труда. И широкие плечи, и сильные, крупные, совсем не аристократические (горято было раньше!) руки... И после всего истончившееся

так, что все кости перечесть легко можно, тело сохранило главное — прежнюю царственную осанку, спину прямую по-офицерски, голову, откинутую гордо. Ничто не могло сломить этого...

Но ничего и не проходит даром. Физические нагрузки тянуло сильное, здоровое тело, а голод давал себя знать. С той поры, как расстреляли Вревского (достоверно ничего не известно было, но уверена была Елизавета Кирилловна, что — расстреляли), с едой совсем трудно стало. Чечевица, хлеб, в котором муки лишь пятнадцать процентов, а остальное — высевки, опилки, мусор... Чай из морковных очистков. Гнилая картошка... Представить нельзя, что всё это, в принципе, можно есть. А ели! Ели жадно! Значит, можно. Самое выносливое животное на земле — человек. Ко всему привыкает он. Есть несъедобное, обходиться без необходимого, к холоду, к грязи, к тому, что вокруг — смерть, насилие... И уже ничего нестрашно. Вревского расстреляли... Тупо откликается сердце. Уже не колеблет его участь ближних, и своя участь, и ничто иное. Остался один инстинкт, животный — выжить. Расстрелы вошли в повседневное бытие города после убийства Урицкого. Сотни жертв, ночную добычу дозорных смерти, свозили в Кронштадт, грузили на баржи, держали без пищи, затем убивали, топили... Иные солдаты отказывались убивать: «Довольно — насытились!» «Насытились» — звериное слово! Другие пьянели от крови. Убивать им становилось мало, а потому кололи глаза, снимали с рук «барские перчатки», закапывали живых... И жуткие истории эти уже не холодили сердца. К ним привыкли. Таков стал порядок вещей... И этот порядок — не ад ли ещё? Если нет, то что тогда ад?..

И целый день, своих пугаясь стонов,  
В тоске смертельной мечется толпа,

А за рекой на траурных знамёнах  
Зловещие смеются черепа.  
Вот для чего я пела и мечтала,  
Мне сердце разорвали пополам,  
Как после залпа сразу тихо стало,  
Смерть выслала дозорных по дворам...

У Петроградского ада был управитель. Бывший цирюльник... Еврей... Зиновьев, въехавший вместе с Лениным в plombированном вагоне, призывавший «разрешить всем рабочим расправляться с интеллигенцией по-своему, прямо на улице». Только поражаться можно было цинизму, с которым большевистский «генерал-губернатор», заявлял: «Мы постараемся направить костлявую руку голода против истинных врагов трудящихся и голодного народа. Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедочный хвостик». И ерничал, доведя норму хлеба для интеллигенции до «восьмушки»: «Мы сделали это для того, чтобы они (буржуи) не забыли запаха хлеба». Эти селедочные хвостики, эти «восьмушки» было всё, что оставила новая власть Елизавете Кирилловне, её умирающей матери и всем тем, чем духовный и интеллектуальный уровень хотя бы несколько превосходил уровень, господствовавший отныне в России. Что такое безумие? А вот что: списки приехавших в том проклятом вагоне были напечатаны в газетах, и в списках этих не было ни единой русской фамилии, и что же? Пошли за ними! Русские люди. Безумие, чистой воды безумие. Вревский пошёл... На что надеялся? А сейчас — тоже кто-то надеется ещё?.. Да, кто-то надеется. И только тогда перестанет, когда его, лично его вытащат ночью из постели и повезут в последний путь, «в распыл»... На чужих примерах не понимает... Инсценировка «Бесов» во всероссийском

масштабе... В один миг лучшие люди, первые люди оказались во власти горстки мерзавцев, в один миг рухнули все многовековые устои, и большинство смотрело на это и не смело пикнуть, в один миг... Всё предсказал провидец Достоевский. И приходится платить страшную цену — за то, что не умели слышать своих пророков, через которых говорил сам Бог...

Тяжело было переставлять ноги в громадных сапогах, и иногда Елизавета Кирилловна останавливалась, пыталась отдышаться. Голод сказывался. Появилась отдышка, боли в сердце, головокружения. Она бодрилась. Не её могучему организму сдаваться тяготам! Но иногда становилось на улице нестерпимо дурно, и не раз представляла гордая женщина, как лежит, распластавшись, на мостовой... И ни одна душа не подойдёт, не поможет... Так и замёрзнет насмерть, и псы обглодают остатки плоти. Так уже случилось с бедной генеральшей Хрулёвой...

В очередной раз остановилась — перед Медным Всадником. Вперила в него злой взгляд. Ты, первый Император, ниспровергатель основ, произвол свой противопоставивший естественному ходу событий, Божьему замыслу, смотри, что стало с твоей Империей! С твоим городом! Ты спорил с верой, громя её, предавая оскудению монастыри, калеча душу народную, растлевая верхи примером своим! Ты спорил с природой, возмечтав построить свою столицу на болотах, и для того фундаментом в эти болота скольких мужиков положив! Великий! Да, ты велик! Велик! Великий разрушитель! Ты был подобен тем безумцам, которые хотели добраться до небес, построив башню... Ты возводил эту башню, разрушая всё прочее, колосс возводил! И вот, закономерно: башня обрушилась, а созидавшие её по твоему примеру стали говорить на разных языках, и не могут понять друг друга ни в чём, и



оттого убивают друг друга... Смотри, смотри на плоды твоего великого произвола! Смотри, как гибнет твой город! В нищете, в грязи, в запустении... Это не город, это склеп... Мёртвый город, вымороженный, выморенный город, страшный город... Могила... Смотри! Шакалы воют в чертогах твоих, и гиены — в увеселительных домах... Смотри! Первый большевик, коронованный большевик...

Стянула Елизавета Кирилловна платок с головы, чтобы свежий ветер остудил её. Так и до безумия недалеко... Разве не так несчастный пушкинский Евгений грозил каменному изваянию? Безумие... Сойти с ума Елизавета Кирилловна боялась. Она слишком дорожила своим редким умом. А он от истощения иногда начинал подводить, выпадали из него элементарные вещи, вдруг начинали путаться мысли...

Снова надела платок, стыдясь (остался стыд ещё — надо же!) своей кое-как остриженной головы. Густые, длинные волосы — непозволительная роскошь во времена, когда кусок мыла стоит пять тысяч рублей (на такие деньги лучше десять фунтов хлеба, хоть и ужасен он, купить). Ко всему привыкает человек. Даже к грязи и отсутствию пристойного белья... Всё оказывается излишками, роскошью — мыло, бельё, книги, музыка, науки... И только одно осталось необходимое — хлеб наш насущный дай нам днесь... Хлеба! Хлеба! Хлеба! Даже этого, где муки пятнадцать процентов, а остальное опилки, но дайте в досталь! Размочить его в воде, кормить умирающую мать... Ах, если бы найти денег! Купить лекарства, говядины, яиц, молока... Господи Боже, если бы молока... Тогда бы выходила Елизавета Кирилловна её, выходила непременно, и она бы жила ещё... А так... Боялась самой себе признаться, но и ясно было, как Божий день, считанные дни остались матери. Уже истаяла она, стала совсем крошечной и лёгкой, как ребёнок, уже и руки

отнимаются... Каждый день, уходя из дома и прощаясь с ней, боялась Елизавета Кирилловна, что — навсегда, что, вернувшись, не застанет её живой. И ничем помочь нельзя... От одного легче, что мать страдания свои с таким смирением переносит. Будто бы даже радостно. В последние недели стала она удивительно светлой. Лежала в постели: руки, как спицы, лицо маленькое, прозрачное, а сквозь прозрачность эту словно солнечные лучи струились. И из глаз. Уже не читала мать святых своих книг, заботливо расставленных на полке, не было сил, а лишь перелистывала всякий день тетрадь со своими выписками из них и молилась, молилась постоянно, пока не впадала в забытие. Она не тяготилась своим уходом, она была счастлива ему...

А Елизавета Кирилловна страдала. Тяжко было ходить за больной матерью, а представить себе, что её нет, ещё горше. Остаться совсем одной в этом пронизанном могильным духом городе. Ни единой души близкой... Где-то теперь все свои? Сестра? Надинька? Петя? О Пете думала она часто со времени его бегства. Как никогда прежде не думала. Перебрала письма его к ней и свои к нему, поразились, сколько сходства натур, но какое при этом неумение попадать друг другу в такт. Две параллельные линии... В письмах особенно ярко проступило это. Петя с фронта писал коротко: бои, не хватает снарядов, погиб корнет его полка, легко ранен сам, отступили, прорвались вперёд, убили лошадь под ним... Позииции, диспозиции... Всё — о деле. В конце двумя словами: как ты? как Надя? Отвечала и Елизавета Кирилловна немногословно. Эпистолярной болезнью переболела она ещё в ранней юности, а затем стала писать коротко и по существу, без литераторства. К тому же уставала от писаний научных, тратя всю энергию, чувства и вдохновение на свои статьи и работы, на письма не доставало их, и выходили они сухи, черствы. И все — о своём: написала статью о

Достоевском, была на лекции, читала новое сочинение Розанова, новая постановка в Александринке, была на выставке, стихи Блока, очень любопытный появился поэт, участвовала в диспуте... Расписывала об этом, не думая, что большей части из того, о чём она толкует, он не знает, не понимает, не любит. Что нет дела ему до Александринки и Блока, до её политических (и это было!) диспутов и модных выставок, когда гибли его подчинённые, когда сам он ежечасно рисковал быть убитым, когда сходил с ума от несуразности иных приказов, когда не хватало (ещё в Четырнадцатом) оружия... А она не понимала его. И в письмах не друг с другом беседовали они, а сами с собой. И друг к другу лишь пару традиционных и казённых фраз обращали: здоров ли ты? как самочувствие Ирины Лавровны? Ни ссор, ни обид. Полное взаимное уважение. И — чуждость. Как же раньше не понимала? Да просто некогда было понять, некогда задуматься... За ворохом научных и общественных дел не хватило времени вдуматься, вчувствоваться в собственного мужа. Так вникала в дела всех знакомых! Так вчувствовалась! Так хватало памяти на все дела — в таких разных сферах! А на самого близкого человека — не хватило... Как и ему — на неё. Но её вина, как женщины, больше. Ей бы должно было понять. Она жизнью не рисковала, за подчинённых не отвечала. А не поняла... Гнула своё. Как так выходит? Параллельные линии... Такие схожие, но не пересекающиеся... Письма мужа, раз прочитав, не перечитывала Елизавета Кирилловна. Не было потребности такой. И, прочтя, не старалась (или не умела?) ощутить, чем дышит Петя, как бьётся пульс его, отвечала не в тон, невпопад... А ведь любила? Любила... Кажется... Кого ж как не его? Или и любить не умела? Поразительная женская нечуткость! Подчинён он был службе, а она работе, существовали, как две разные планеты, хоть и в одной плоскости. Только сейчас и

поняла и себя, и его, когда ничего не осталось: ни работы, ни общественной деятельности, ни друзей, ни близких... Как безнадежно поздно!

Усиливающийся северный ветер больно колот лицо крупной мелкого снега. Лицо... Каким оно сделалось? Бывшие в доме зеркала Елизавета Кирилловна давно выменяла, и недостатка их не ощущалось. Она и прежде не слишком любила своего отражения, а теперь увидеть его было бы просто страшно.

За переводы ей всё же заплатили. Ничтожно мало, но хоть что-то. Если бы ещё обменять старинный альбом с гравюрами... До последнего тянула, чтобы сберечь его. Альбом восемнадцатого века с гравюрами старых мастеров. Редчайшая ценность, мечта коллекционеров. Некогда за него бы дали круглую сумму, а теперь хорошо, если гнилой картошки отсыплют... Разве мужик-мешочник поймёт ценность этой вещи? Для него ценность — в размерах вещи, в красочности, да ещё что бы позолота была... Из картин, продаваемых «буржуями», всех больше пользовались спросом именно такие: огромные полотна с жизнерадостными сюжетами и тонами, а особое внимание уделялось рамам — непременно желалось покупателям, чтобы были они массивными и позолоченными. Старый коллекционер ругался:

— Плебеи! Они ничего не понимают в искусстве! Им нужна не живопись, а ковёр на стену! Дивные миниатюры никто не хочет брать, а всякую ерунду...

«Ерунду» брали охотно. Чем выше указывалась цена, тем охотнее. К дешёвизне отношение было подозрительным. В первое время это невежество было на руку, выручало. Но скоро не осталось у Елизаветы Кирилловны ни картин, ни изящных предметов обстановки, ни приличной посуды, ни столового серебра... Только этот альбом. Как любил его покойный отец! Просмотр гравюр был для него целым ритуалом:

сидя в глубоком кресле, он медленно перелистывал их, осторожно касаясь страниц двумя пальцами (одевал для действия этого специальные перчатки), разглядывал каждую работу подолгу сквозь лупу. А теперь чьи-нибудь варварские руки запачкают страницы, оставляя на них сальные разводы, а потом закинут бесценный альбом в пыльный угол, где он и погибнет... Какие глупости лезут в голову! Альбом погибнет. Не всё ли равно, когда гибнет вся жизнь, гибнет столько людей, гибнет Россия?

...Мужик-мешочник долго рассматривал принесённый раритет. Сомневался, какая ценность может быть в этих чёрно-белых рисунках. И красоты даже особой не примечал. Этого мужика Елизавета Кирилловна уже знала. Это ему снесён был гарднеровский сервиз и пейзаж кисти Юлия Клевера. На пейзаже том изображён был зимний закат, полыхающее небо, тёмный снег, чёрные, печальные в своей наготе деревья, деревенька на горизонте, и старуха бредущая к ней по дороге, опираясь на посох. В этой старухе виделась Елизавете Кирилловне она сама. Только клюки ещё не было в руках её, но и не закат ещё — и клюка будет, когда от голода начнут пухнуть ноги... У художника было несколько вариантов этой картины, один приобрела Елизавета Кирилловна, повесила в гостиной над диваном. И с ним жаль было расставаться, а пришлось. Ах, как правильно учили святые не привязываться ни к чему земному, не вкладывать души в вещи! К вещам привязываться нельзя, чтобы потом можно было легко расстаться с ними, не жалеть о них...

— И что вы хотите за эту книжицу? — с видом одолжения спросил мужик, крутя альбом в руках.

— Мне нужна крупа.

— Кому она не нужна-то, бывшая барынька. На что мне ваша книжка?

— Возьмите. Она дороже всего, что я приносила вам раньше. Мой отец выложил за неё целое состояние когда-то.

— Не знаю, не знаю... — мялся мешочник. — Ничего особенного в ней я не вижу.

Ветер всё усиливался. Из воспалённых, болящих глаз градом струились слёзы, катились по растрескавшейся, сухой коже щёк. Елизавета Кирилловна посмотрела на небо. Непроглядно серое, низкое... И мелкая крупа снега сыплется с него... Господи, почему манны небесной больше не посылаешь ты?.. Голова закружилась. Елизавета Кирилловна зажмурилась, пошатнулась.

— Хорошо, я предложу ещё кому-нибудь, раз вам не надо... Мне крупа нужна. У меня мать умирает...

— Пойдите, бывшая барынька... Куда заспешили? Я ещё не отказал вам...

То ли пожалел мужик её, то ли счёл, что можно будет продать «книжицу» когда-нибудь выгодно, но отсыпал «бывшей барыньке» гречневой крупы в мешок.

Мимо прошла под руку с матросом развязная девица, ярко покрашенная, в дорогой шубе, с золотыми серьгами в ушах. Из чьих-то шкафов украдены эти меха и цацки? Чья кровь пролита за них?.. Мародёры, убийцы, воры, проститутки — им принадлежит власть в России, им надо кланяться теперь... И это ещё не ад? Не ад... Только чистилище... Преддверье...

— Ишь, шмара, — мужик зло посмотрел вслед девице. — Расфуфырилась! У нас на селе такой бы подол задрали и пустили...

Бережно взяв крупу, Елизавета Кирилловна купила ещё немного картошки. Пожалела, что не взяла с собой салазок, до дома было порядочно, и тяжеловат оказался груз даже для её плеч. Да ещё и сердце давило, перехватывало вдруг так, что вздохнуть нельзя. А груз и невелик был как будто, прежде донесла бы легко, а

сейчас силы истаяли. Подхватила мешок негнуцимися пальцами, перекинула через плечо, пошла, чуть покачиваясь, но всё равно прямая, гордая, и шагала твёрдо, не отступаясь.

— Купите сапожки! Купите сапожки! — сновала по толкучке девочка лет восьми или старше. Теперь не разобрать — так исхудали, исчахли дети, что лет их не дашь им. Эта — маленькая, худенькая такая, что ветром колышет её, до синевы бледная, одета в отрѣпья, намотанные кое-как. Девочка продавала сапоги. Сапоги были хорошие, тёплые, явно с женской ноги. Глядя на них, Елизавета Кирилловна ещё сильнее ощутила, какими стопудовыми гирями были на её ногах громадные солдатские сапожищи. А девочка-тень остановилась перед ней:

— Тётенька, возьмите! Тётенька, мне бы хлебца только... — молящие глаза, голодные до безумия, особенно страшные у ребёнка.

Елизавета Кирилловна не раз видела такие глаза. И ещё страшнее. Петроград был наводнѣн теньями. Это были умирающие от голода дети и женщины. Они бродили по улицам, тощие, посиневшие, чуть живые, тянули руки, молили об одном: «Хлеба!» Глаза их делались безумными, но никто не давал им ни крохи. И они умирали. Валились посреди улиц, чтобы больше не встать.

Однажды Елизавете Кирилловне довелось обедать в столовой. Есть пришлось чечевичную похлёбку и маленькую, сухую воблу. Ужасная гадость, но если бы хоть её можно было есть каждый день! С улицы набилось много голодных детей. Они обступили стол, смотрели жадно, безумно, сглатывая слюну, трясясь, шептали дрожащими голосами: «Тётенька, оставьте ложечку!» Елизавета Кирилловна не выдержала, отодвинула миску с остатками похлёбки. И тогда дети, как голодные звери, обезумев, отталкивая друг друга,

отчаянно визжа, кинулись на неё и вмиг вылизали дочиста... Ничего более жуткого в своей жизни Елизавета Кирилловна не видела.

— Мне бы хлебца только...

Голодный взгляд невинного ребёнка обжигал, и Елизавета Кирилловна поспешила пройти мимо. Ей было стыдно, что у неё есть крупа и картошка, что она не поделилась этим богатством... Но разве можно накормить всех умирающих от голода, если умирает весь город? Капля в море ничего не поправит... А дома ждёт мама. И ей тоже нужна пища. И нужно скорее бежать к ней, потому что она там одна... А сзади слышалось пронзительное:

— Тётенька, пожалуйста, хотя бы корочку...

Домой Елизавета Кирилловна вернулась уже в сумерках. Отперла дверь, переступила порог и замерла, прислушиваясь. Ни единого шороха не доносилось. Елизавета Кирилловна опустила мешок на пол:

— Мама! Мама, я пришла!

Ответа не последовало. Могильная тишина царила в доме. Куда-то вдруг разом исчезли все силы. Не осталось их даже на то, чтобы пройти в комнату... Пройти и увидеть... Сколько дней, просыпаясь утром и возвращаясь откуда-нибудь, Елизавета Кирилловна боялась услышать эту тишину. И вот, этот день настал... Она тяжело опустилась на пол, сидела бездвижно какое-то время, позвала ещё раз без надежды:

— Мама! Ты слышишь меня?.. — затем поднялась и вошла в комнату.

Мать лежала на постели точно так, как утром. Неподвижно. Руки её были сомкнуты на груди, а глаза закрыты. На губах застыла счастливая улыбка...

Гроба купить было не на что. Некоторые, дальновидные, запаслись раньше... А большинство хоронили своих мертвецов в чём придётся. В коробках, ящиках... Но у Елизаветы Кирилловны не было и их.



Лишь большая бельевая корзина... В неё и положила она мать, завернув в чистые простыни. Поутру снесла вниз (сила неженская — вот, для чего сгодилась!), поставила на салазки, потянула по скользкой, заснеженной мостовой. Мимо шли редкие прохожие. Не понимали... Не замечали... Оставьте мёртвым погребать своих мертвецов... А в этом городе — все мёртвые... Живых не осталось... Все мертвы, только одни уже лежат, а другие, ещё не поняв смерти своей, ходят, ищут пропитания, сходят с ума...

Корзину с дорогим прахом оставила у кладбища, как делали все, у кого не было средств на погребение. Тем утром несколько ящиков уже ожидало последнего пристанища. И этим пристанищем должна была стать общая могила. В ней, без имени, без отпевания, без гроба и даже без сапог (их продала Елизавета Кирилловна, когда ясно стало, что матери уже не встать) суждено было упокоиться Ирине Лавровне Добреевой...

Дом опустел. Едва войдя в него, Елизавета Кирилловна застонала. Всё было так же: пустая сумрачная комната, постель, ночной столик, и на нём — фотоальбом, Библия, тетрадь с выписками... Тетрадь — открытая. На том месте, где последний раз читала её мать вчера утром. И святые книги её так же стоят на полке. И так же скорбно и светло смотрят иконы... А её — нет... И никто не напутствует больше вслед: «Спаси тебя Господь!» Как раскалённый прут в сердце вонзился. Елизавета Кирилловна упала на колени, заплакала хрипло, надрывно. Никогда и никто не видел слёз её, никогда не позволяла их себе гордая женщина, а теперь не могла сдержаться, теперь боль разрывала её изнутри и не находила облегчения в слезах.

Она лежала на холодном полу, бессильная, разбитая, в голове стоял туман, а из этого тумана выплывала картина, похожая на сон. Синеватый силуэт

Карадага, тёплый песок под ногами, смешанный с цветными камушками, волны, мерно лижущие побережье, гаснущее солнце, дарящее всему желтоватый оттенок... Вдоль воды идёт молодая, полная сил женщина в белом, лёгком платье. Ветер играет её подолом, рукавами, тонким шарфом... Одной рукой она придерживает белую шляпу, в другой несёт свои туфли... Вокруг неё играют две девочки, они ищут камушки, соревнуясь, кто больше наберёт... Одну из этих девочек зовут Лизой... И мать ласково смотрит на неё, улыбается... Потом видение изменилось, словно перевернулась страница. И снова был Карадаг, и прибой, и закат... И женщина, высокая и прямая, шла у самой воды, ласкающей её босые ступни. На ней не платье, а лёгкая белая туника, а в руках открытый зонт, который чуть покручивает она. Рядом с ней играет маленькая, светло-русая девочка...

— Мама, мама! Посмотри, какой камушек!

— Это сердолик, Надинька...

— Тебе он нравится?

— Очень красивый.

— Тогда я дарю его тебе.

— Спасибо, золотце.

Где-то и теперь есть Карадаг... Там бушуют волны... Там в песке скрывается множество разноцветных камушков... Там летом будет тепло... Только дачников приедет немного, потому что многих из них уже нет в живых... Они убиты, или умерли от голода и болезней... А может, нет уже и самого Коктебеля? Нет обители муз, где царствовал поэт-прорицатель? А сердолик — остался... Маленький камушек, протянутый тёплой детской ладонью...

Елизавета Кирилловна резко поднялась. Прошла к шкафу, выдвинула ящик, достала простой деревянный ларец. В этом ларце всё, что осталось ценного: Петины ордена, свои дипломы, крохотная шкатулка с музыкой,

подаренная отцом матери в честь помолвки, с которой она не расставалась, и сердолик... Сердолик, вставленный в серебрянную оправу, на серебрянной цепочке. Цепочку можно будет продать, а сам камень никогда, его сохранить... Подумав, Елизавета Кирилловна одела кулон на шею, убрала ларец. Мысли её путались, хотелось куда-то бежать, но куда и зачем понять было нельзя. словно в лёгком помешательстве она бродила по квартире, ища неизвестно что, выдвигала ящики, перебирала вещи... На столе увидела сухарь чёрного хлеба, от которого накануне отказалась мать, схватила его, сунула в карман пальто и вышла из квартиры, на ходу наматывая на голову платок.

Метель, начинавшаяся с вечера, теперь разошлась не на шутку. Порывы ветра были столь сильными, что Елизавете Кирилловне приходилось пригибаться к самой земле, чтобы двигаться вперёд. Ноги увязали в снегу, несколько раз она спотыкалась, падала, поднималась и вновь шла, борясь со стихией. У серой стены дома, в снегу Елизавета Кирилловна различила чёрный силуэт. Приблизилась. Мало ли что? Вдруг человек ещё жив, упал от слабости, скошен тифом... Помочь, дотащить... Нельзя же пройти мимо живого, оставить умирать... Но женщина была мертва. Она лежала, заметаемая снегом, глаза её остекленели, а зубы были оскалены. Несчастливая погибла от голода. Рядом с ней валялась клюка, обычная палка, длинная и довольно толстая. Елизавета Кирилловна подобрала её и побрела дальше, опираясь на неё.

На толкучем рынке было менеелюдно, чем накануне. Вероятно, не все отважились выйти на улицу в такую стихию. Елизавета Кирилловна остановилась, пытаясь сообразить, зачем она здесь. Пошарила глазами вокруг, отдышалась. Рядом, сливаясь с порывом ветра, тонко прошелестело:

— Тётенька, хлебца...

Вчерашняя девочка. Серое лицо, стекленеющие глаза... Девочка-тень, ребёнок со смертью в глазах... Дрожит, прижимает к груди сапоги.

— Купите сапожки, тётяшка... Хорошие... Мамка их два года только носила...

— А где же мамка твоя?

— Померла.

— Сиротка, значит... А кто-нибудь есть у тебя?

Мотнула головой.

— А звать тебя как, золотце?

— Полей...

— Идём со мной, Поля. Я дам тебе хлебца. И гречневой каши дам.

Глаза девочки расширились. В них был испуг и недоверие. Задрожала ещё сильнее, рот приоткрылся, сглотнула судорожно:

— Гречневой... каши?..

— Идём, золотце. Не бойся...

Впервые в жизни поняла Елизавета Кирилловна, как страшно быть одной. Она ощутила одиночество и поняла, что не вынесет его. Всё вынесет, а его нет. И за эту девочку уцепилась, как за соломинку, а та точно так же уцепилась за неё, пошла робко следом, прижимая к груди сапоги умершей матери.

В мёртвом городе бушевала метель, и сквозь неё шли две тени. Женщина, едва переставляющая ноги в огромных сапогах, опирающаяся на палку, и девочка, хватаящаяся за полы её пальто, чтобы не потеряться. Заката не было, потому что свет стал безысходно сер, тёмн, и снег скрипел под ногами, увязающими в нём, и ветер выстуживал жизнь в истощённых телах и развивал отрёпья.

— Тётяшка, вы правда мне хлебца дадите?

— Конечно, правда.

— Тогда я вам мамины сапожки подарю...

— Спасибо, золотце...

## Глава 16. Граф Келлер

*14-15 декабря 1918 года. Киев*

Странен был вид обречённого города. Отчего-то никто не спешил встать на его защиту. Ломились от публики театры, переполнены стояли кафе. На всех углах гремела музыка. Мелькали лёгкого нрава девицы и сомнительной наружности типы — для них стояла золотая пора. А сколько шикарно одетых дам передвигалось по улицам Киева под руку с офицерами, совсем не спешившими на фронт! Последний, торопливый парад одуревших, обречённых на гибель людей. В последний раз — показать блеск нарядов. В последний раз — пройти под руку с прекрасной дамой. В последний раз — покутить в кабаке на последние же! В последний раз — ласкать женщину. Все, абсолютно все жили в сознании надвигающейся катастрофы (уж заполнившие город беженцы из Совдепии — никак не могли слепы быть, и пережившие прошлогоднюю бойню киевляне — тоже), но никто не шевельнул пальцем, чтобы её отворотить. Всем было «не больше всех надо». Жизнь свою хотя бы — кому больше надо было спасти?.. А жизнь была копейкой. Её прожигали — в последний раз. И вся Россия — так же в последний раз жила? Гибла так же напрасно и бессмысленно?..

Вначале была надежда — немцы. Что за позор! Украина не заботилась созданием своей армии, которая защитила бы её. А всецело полагалась на силы вчерашнего врага, чьи серые мундиры унылыми пятнами мелькали в великолепии нарядов публики. Именно публика наполняла Киев в эти горькие дни. Это был не народ, не общество, а публика. Публика не умеет защищаться. Но публику и никакого стремления

нет защищать. Публике только и радость — злорадно посулить большевика или Петлюру: уж они вам!

И вот, «ужо» наступало, Петлюра входил в Киев. Даже на подступах некому было сражаться с ним. Немногочисленным защитникам объявили:

— Командующий бросил нас. Вы вольны делать всё, что хотите.

Командующий? Генерал Долгоруков? Бросил?.. Этот высокородный подлец с аксельбантами ещё днями со страниц газет клялся умереть со своей армией! А теперь бежал первым. Ах, жалость! Отдать бы эту крысу Петлюре!

Но не о Долгорукове впору было думать, а о самих себе. Юнкер Родион Марлинский принял решение мгновенно. Конечно, оставаться в Киеве, где менее года назад погиб отец, где краснокрестной сестрой милосердия работала мать. Конечно, быть верным и сражаться до конца.

Артиллерия гроыхала у самых стен города, несколько часов оставалось до Петлюры. С винтовками за плечами Родя и его друг Кока Куренной быстро шли, временами переходя на бег, по запруженным перепуганными людьми, волнующимся улицам. Кто мог, покидал город, другие прятались, третьи бессильно ожидали конца. Под ногами хлюпал подтаявший, стоптанный многими сапогами и калошами снег.

— погоди! — Кока остановился у одного из немереного числа кафе. — Зайдём!

Родя смерил недовольным взглядом отличавшегося чрезмерной дородностью друга, фыркнул:

— Сколько можно жрать! Да ещё перед боем! Вот, угодит тебе Петлюра штыком в живот!

— Ты не понял. Там отец с матерью... Проститься... — смутился Кока.

— А... Тогда пойдём, — милостиво разрешил Марлинский.

В кафе было многолюдно даже в этот час. Куренные сидели за столиком и обедали. Точнее сказать, обедал, чинно хлебая борщ, отец семейства, а мать лишь беспокойно озиралась в ожидании сына. Юнкера подошли к столу, и Кока сразу объявил:

— Батьку, матушка, я пришёл проститься. Ухожу воевать с петлюровцами.

Отец опустил ложку, покрутил длинный ус. Был он похож на сечевого казака из дружины Тараса Бульбы. Не выразил ни волнения, ни удивления:

— Борща хочешь, сынку?

— Нет, батьку. Нам, может, в бой...

— Сыночек, да какой же бой?! Одумайся! Куда ты, шалый, один на Петлюру полезешь? Я тебя не пущу! — слёзно запричитала мать.

— Нет, не могу. Я должен идти.

Родя переминался с ноги на ногу. Ему надоела эта затянувшаяся сцена: дёрнуло же Коку явиться к родителям со своим решением — теперь пока уляжется, а времени чуть! В это время что-то громыхнуло у самого входа в кафе, со звоном вылетели стёкла, повалил дым, вспыхнула стрельба. Посетители спешно повалились на пол. Воспользовавшись замешательством, Родя ухватил приятеля за рукав и потащил за собой. Пригибая головы, юнкера выбежали на улицу, пробежали квартал и наткнулись на несколько офицерских взводов.

— Никита! — радостно крикнул Кока, завидев среди офицеров брата.

Никита Куренной, молодой, сбитый офицер с коротко остриженной головой и пышными усами обернулся:

— Никол? Ты как здесь?

— Да вот, мы с Марлинским с Петлюрой драться решили!

— Только вас и ждал он, чтоб по затылку потрепать, — усмехнулся Никита. — Отправил бы я вас,

вояк, домой, да, боюсь, это сейчас ещё опаснее.

— Куда вы идёте? — спросил Родя, сняв с плеча тяжёлую винтовку и опершись на неё.

— Хотим выбраться из города.

— А потом?

— На Дон, конечно!

— На Дон! — счастливо выдохнул Кока. И у Роди также загорелось: на Дон! Куда же ещё? На Дон! К Деникину! И продолжить борьбу! А Никита почему-то никакого восторга от идеи этой не испытывал. Ничего не сказал больше.

— Можно с вами пойти?

— А куда ж вас ещё?

Между тем, отряд продолжал топтаться на месте. Колонна, в которой набралось порядка двухсот человек, дотянулась до Крещатика и остановилась у гостиницы.

— Господа, отряд без командира, это стадо баранов!

— Нужен командующий!

— Сбегай до Берлина, возверни ихнее превосходительство генерала Долгорукова и ихнюю светлость гетмана Скоропадского!

— В рот им дышло обоим!

— На ближайших фонарях за ноги вздёрнуть!

— Господа, без командования мы не можем продвигаться! Нужно что-то решить!

— А что тут решать?! Все генералы драпанули с немцами, а нас оставили кровью захлёбываться!

— Не все! — это Никита баском крикнул.

— Кого же вы предлагаете, ротмистр?

— В Киеве находится генерал от кавалерии граф Келлер!

Забилось сердце учащённо. Конечно! Келлер! Имя это хорошо известно было всей России. Лучший кавалерийский начальник в годы Великой войны. Первая шашка Империи! Его имя было так популярно, что тринадцатилетние и пятнадцатилетние мальчишки,



даже из богатых и благополучных семей, убегали из дома служить к нему. Среди этих мальчишек, мечтавших воевать под началом Графа, был и Родя Марлинский, и Кока Куренной, и звонкие мальчишеские голоса их восторженно поддержали:

— Келлера! Келлера!

И собравшиеся офицеры согласились. Решили послать к генералу делегацию в составе трёх человек. И в число этих трёх включили Никиту, служившего под началом Графа.

Имя Келлера вырвалось у ротмистра Куренного само собой. Да и чьё имя могло ещё вырваться у офицера, всю войну прослужившего в славном третьем кавалерийском корпусе, которым командовал Граф? С уверенностью мог утверждать Никита, что таких начальников, как Келлер — по пальцам одной руки счесть. Старый воин, вольнопером прошедший Балканскую войну, получив за неё два Георгия, флигель-адъютант Государя, несмотря на такое положение, на знатный род и громкий титул был он удивительно чуток к нуждам солдата. Никогда не заискивал Граф симпатий нижних чинов, как стало модным это после революции, но отечески заботился о них, считая это своей святой обязанностью. С солдатами был он в высшей степени прост и деликатен в обращении тогда как со старшими начальниками держался сухо. Нелёгко был характер у Графа, а любили его и офицеры, и нижние чины. Знал он психологию солдата и казака, легко находил общий язык с ними. Встречая раненых, выносимых из боя, генерал разговаривал с каждым из них, успокаивал, ободрял ласковым словом.

Даже в самые тяжёлые периоды войны, в ходе которой Граф почти постоянно находился либо непосредственно на линии огня, либо поблизости от нее, он не забывал о нижних чинах и всегда следил за

их довольствием, принимая меры по обеспечению их всем необходимым, проверял на вкус содержимое солдатских котлов, строго взыскивая, если оно было недостаточно хорошего качества. Зная это, интенданты в третьем корпусе, в отличие от других частей, не рисковали воровать продукты. По приказу Келлера горячую пищу выдавали нижним чинам не менее двух раз в день, когда в других частях они не всегда получали её и раз в сутки. С огромным вниманием относился Фёдор Артурович и к здоровью своих солдат, лично интересуясь состоянием раненых. Во время эпидемии холеры Граф лично два раза в сутки обходил всех больных, следя, чтобы у каждого больного были у ног бутылки с горячей водой и чтобы растирали тех, у кого сильная рвота и корчи. Совершенно игнорируя опасность заразиться, подходил к тяжело больным и сам растирал им руки, пробовал, горяча ли вода в бутылках, разговаривал, утешал больных, что холера у них в легкой форме, никто еще не умер и, наверное, смертных случаев не будет. Это сильно ободряло больных солдат морально.

Тогда же по приказу Келлера среди чинов корпуса в пищу стала добавляться лимонная кислота, была увеличена норма чая, в рацион был включен рис благоприятно сказывающийся на желудке, генерал лично следил за тем, чтобы кашевары его хорошо разваривали, так как благотворное воздействие этой пищи наблюдалось лишь в случае его хорошей обработки. Однажды Фёдор Артурович вызвал на совещание всех командиров полков и стал распекать их за невнимание к больным.

— Что же мы можем больше сделать? — поднялся командир конно-артиллерийского дивизиона. — Все, что от нас зависело, и что Вы требовали, мы выполнили, а прекратить холеру не в наших силах.

Келлер вскочил со своего стула, ударил кулаком по столу и закричал:

— Вы еще смеете говорить, что вы все сделали и больше ничем помочь не можете, так я вам покажу, что вы еще можете сделать, — и, обратившись к начальнику штаба, добавил:

— Я назначаю командиров полков ночными дежурными по холерным баракам, и вы распределите им очередь.

С этими словами Граф хлопнул дверью и вышел из комнаты.

За время войны Фёдор Артурович был трижды ранен, два раза тяжело. В самые трудные моменты он, богатырь двухметрового роста, в неизменной волчьей папаше, лично водил полки в атаку.

Граф был единственным командующим, не пожелавшим присягать Временному правительству. Начавший свою службу ещё при деде свергнутого Императора, старый генерал счёл, что в его лета поздно изменять присяге, а к тому и грешно перед Богом.

Получив телеграмму об отречении Государя, он собрал свой корпус и во всеуслышание прочитал перед его чинами телеграмму, направленную им Государю в Царское село:

— С чувством удовлетворения узнали мы, что Вашему Величеству благоугодно было переменить образ управления нашим Отечеством и дать России ответственное министерство, чем снять с Себя тяжелый непосильный для самого сильного человека труд. С великой радостью узнали мы о возвращении к нам по приказу Вашего Императорского Величества нашего старого Верховного главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, но с тяжелым чувством ужаса и отчаяния выслушали чины кавалерийского корпуса Манифест Вашего Величества об отречении от Всероссийского Престола и с негодованием и

презрением отнесли все чины корпуса к тем изменникам из войск, забывшим свой долг перед Царем, забывшим присягу, данную Богу и присоединившимся к бунтовщикам. По приказанию и завету Вашего Императорского Величества 3-й кавалерийский корпус, бывший всегда с начала войны в первой линии и сражавшийся в продолжении двух с половиною лет с полным самоотвержением, будет вновь так же стоять за Родину и будет впредь так же биться с внешним врагом до последней капли крови и до полной победы над ним. Но, Ваше Величество, простите нас, если мы прибегаем с горячей мольбою к нашему Богом данному нам Царю. Не покидайте нас, Ваше Величество, не отнимайте у нас законного Наследника Престола Русского. Только с Вами во главе возможно то единение Русского народа, о котором Ваше Величество изволите писать в Манифесте. Только со своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть мира, благоденствия и счастья...

Офицеры поддержали обращение Графа бурными аплодисментами:

— Ура, ура! Поддержим все, не дадим в обиду Императора!

Но ответа на телеграмму так и не последовало. И верный рыцарь своего Монарха покинул пост, отдав свой последний приказ: «Сегодняшним приказом я отчислен от командования славным 3-м кавалерийским корпусом. Прощайте же все дорогие боевые товарищи, господа генералы, офицеры, казаки, драгуны, уланы, гусары, артиллеристы, самокатчики, стрелки и все служащие в рядах этого доблестного боевого корпуса!

Переживали мы с Вами вместе и горе, и радости, хоронили наших дорогих покойников, положивших жизнь свою за Веру, Царя и Отечество, радовались достигнутыми с Божьей помощью неоднократным успехам над врагами. Не один раз бывали сами ранены

и страдали от ран. Сроднились мы с Вами. Горячее же спасибо всем Вам за Ваше доверие ко мне, за Вашу любовь, за Вашу всегдашнюю отвагу и слепое послушание в трудные минуты боя. Дай Вам Господи силы и дальше служить также честно и верно своей Родине, всегдашней удачи и счастья. Не забывайте своего старого и крепко любящего Вас командира корпуса. Помните то, чему он Вас учил. Бог Вам в помощь!»

Под звуки «Боже, Царя храни!» шестидесятилетний генерал прощался со своими солдатами и офицерами, принимая их последний парад. В глубокой горести и со слезами провожали его бойцы, боготворившие своего легендарного командира.

После отставки Граф жил с семьёй в Харькове. Его не посмели тронуть ни немцы, ни большевики. В антибольшевистских силах не находилось Графу достойного места. Украина ломала позорную комедию самостоятельности. «Пан гетман» в чёрной черкеске, окружённый адъютантами и стражей в какой-то фантастической форме, заседал во дворце, объяснялись на «державной мове», сами толком не зная её. Многие украинизировали фамилии... Всё это казалось сущим цирком. Да и чем могло быть ещё, если гетманскую булаву вручали Скоропадскому именно в цирке (более подходящего зала не нашли)?

Приехавшему в Киев генералу Врангелю гетман, бывший его старым сослуживцем, предложил участвовать в формировании украинской армии. Врангель от «лестного» предложения принять участие в балагане отказался и уехал в Екатеринодар.

Графу не находилось места и в армии Добровольческой. Преградой служили его монархические взгляды, которые старый воин не желал уклонять в какую-либо сторону.

Съехавшиеся в Киев правые деятели желали видеть Федора Артуровича во главе монархической Южной армии, создаваемой ими при помощи германских военных. Келлер отказался.

— Здесь, — заявил он, — часть интеллигенции держится союзнической ориентации, другая, большая часть — приверженцы немецкой ориентации, но те и другие забыли о своей русской ориентации.

После этого в Киев прибыли псковские монархисты от имени Северной армии, по окончании формирования готовившейся принести присягу «законному Царю и Русскому государству». В полках вводились старые уставы и прежняя униформа с добавлением нашивки — белого креста на левом рукаве; в Пскове развешивались плакаты с именами известных генералов — Юденича, Гурко и Келлера как вероятных вождей. «Совет обороны Северо-Западной области» предложил Графу возглавить формируемую Северную армию, монархическую по своей идеологии, создаваемую в районе Пскова. После некоторых раздумий Фёдор Артурович согласился. В выпущенном «Призыве старого солдата» генерал Келлер писал: «Во время трех лет войны, сражаясь вместе с вами на полях Галиции, в Буковине, на Карпатских горах, в Венгрии и Румынии, я принимал часто рискованные решения, но на авантюры я вас не вел никогда. Теперь настала пора, когда я вновь зову вас за собою, а сам уезжаю с первым отходящим поездом в Киев, а оттуда в Псков... За Веру, Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы — настало время исполнить свой долг... Время терять некогда — каждая минута дорога! Вспомните и прочтите молитву перед боем, — ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знаменем и с Божьей помощью вперед за Веру, за Царя и за целую неделимую нашу родину Россию».

Граф собирал вокруг себя офицеров для будущей армии. Был установлен нарукавный знак армии — Православный восьмиконечный серебряный крест, и нагрудный, наградной — белый мальтийский крест, аналогичный кресту рыцаря Мальтийского ордена, крест генерала Келлера. В Киеве за несколько дней до планируемого отъезда во Псков митрополит Антоний (Храповицкий) отслужил в Киево-Печерской лавре молебен, давая Фёдору Артуровичу свое благословение.

Но стремительно развивающиеся события внесли свои коррективы в намерения Графа. Украинская оперетта подходила к своему логичному финалу. Немцы выводили войска с Украины, а никаких своих серьёзных вооружённых формирований у Киева не было. Тогда-то и вспомнил «пан гетман» о старом генерале и предложил ему возглавить все войска, действующие на территории Украины. Фёдор Артурович согласился.

Это известие застало ротмистра Куренного на фронте. Впрочем, фронт — слишком громкое название для той несурязицы, которая царила на подступах к Киеву. В штабных поездах, в тепле и неге сидели, попивая коньяк, штабные чины, давшие дёру первыми (к Петлюре впору перейти, чтобы ораву эту нагнать и перевешать!), в ледяных, заметённых снегом окопах, без достаточного количества оружия и обмундирования, в сапогах за неимением валенок замерзали фронтовые офицеры. Каждое утро по несколько человек насмерть замёрзших. Обмороженных и считать не приходится. Сам Никита едва-едва не отморозил ноги, так примёрзли сапоги, что резать пришлось, и ноги, уже чернотой тронутые водкой растирать. И на кой ляд было стоять? Растянули жидкую цепь ничтожных сил — проходи, кто хочешь! В длинном овраге, по которому целая армия неприятельская в тыл пройти могла свободно, оставляли на ночь по два часовых — курам на смех! Но не до смеха было. Особенно, когда известно

стало о кошмарном случае в Софиевской Борщаговке. Отряд офицеров получил сведения, что деревня свободна, местные подтвердили это (солгали, глазом не сморгнув!). Разместились по хатам, а ночью петлюровцы всех расстреляли, а крестьяне в (откуда взявшейся?) дикой ненависти изуродовали трупы так, что некоторые из них превращены были в бесформенную массу мяса. Вагон с этим жутким грузом долго стоял на путях... А офицеров замёрзших по-прежнему подвое выставляли в караул — на ту же участь. А больше выставлять был некого. «Гетманская гвардия», откормленные сердюки — шкуру свою берегли. Не раз стоял Никита в карауле, промерзал до костей на ледяном ветру, с ногами одеревеневшими, завернув башлыком исколотое снегом и ветром лицо, в ночном мраке, и от холода притуплялась готовность к сопротивлению, а в памяти всплывал вагон с тридцатью тремя изуродованными телами, и болезненно прислушивался ротмистр, не крадутся ли теперь по его душу. С утра пили. Водку. Много и отчаянно. Чтобы согреться и хоть немного забыться от окружающего бедлама и бессмыслицы (вот, истинное отчаяние — гибнуть без всякого смысла!). Вспоминалось, как перебили поляки запорожцев, застав их пьяными. А не пить — мочи не было. Слишком тошно. Да и согреться же как-то надо...

Единственным светлым мгновением в этой идиотической «войне» только и было — явление Графа. Фёдор Артурович лично прибыл на фронт. Старый воин, прихрамывая после ранения, опираясь на палку, он вновь повёл цепи в атаку, идя впереди них — величественное было зрелище и печальное, и трогательное до слёз. Первый и единственный раз перешли тогда в наступление и смяли петлюровцев, и захватили четыре орудия.

А через десять дней Графа отрешили от должности. Причина была в том, что генерал «слишком»



решительно взялся за дело, пренебрегая бессмысленной политикой и политическими авантюристами, её проводящими. Вскоре после назначения Келлером был образован Совет обороны, в который вошли многие представители монархических кругов Киева. Федор Артурович отдавал приказания министрам и вызывал их к себе для доклада, со свойственной ему откровенностью он не признавал искусственной украинизации, проводимой державным правительством. Это привело к серьезному конфликту с ним. Графу было заявлено, что он «неправильно понимает существо своей власти: ему не может быть подчинена власть законодательная, какую до созыва Державного сейма является Совет министров» и поставлено в вину то, что в своих воззваниях он «говорит об единой России, игнорируя вовсе Украинскую державу». В ответ на это Келлер потребовал всей полноты власти. В тот же день Скоропадский издал приказ об его отставке и назначении на место Федора Артуровича его заместителя (труса и предателя!), генерал-лейтенанта князя Долгорукова. Прощаясь, Граф объяснил причины своего ухода:

— Во-первых, я могу приложить свои силы и положить свою голову только для создания Великой, нераздельной, единой России, а не за отделение от России федеративного государства. Во-вторых, считаю, что без единой власти в настоящее время, когда восстание разгорается во всех губерниях, установить спокойствие в стране невозможно.

Это был уже конец окончательный. Три недели спустя «пан гетман» вместе с сиятельным командующим и прочей штабной швалью удрали, позабыв напрочь об офицерской чести. А Граф остался в городе. И бросились к нему, как утопающие, за соломинку цепляющиеся.

Было около двух часов дня, когда ротмистр Куренной с двумя офицерами переступил порог квартиры, занимаемой генералом. Фёдор Артурович встретил их в прихожей. Никита заметил, что он постарел за месяцы смуты. Благородное, породистое лицо его с загнутыми кверху усами и седеющими, чуть заметно начинающими редеть у лба волосами, выглядело осунувшимся и удручённым, но всё та же неизменная твёрдость и властность сквозила в нём. Одет был генерал в традиционную старую русскую форму, на шее — белоэмалевый Георгий, и ещё один — на груди.

— Слушаю вас, господа офицеры, — хорошо поставленный, твёрдый голос, испытующий взгляд, попеременно останавливающийся на каждом из вошедших.

Никита шагнул вперёд, вытянулся по стойке «смирно», отрапортовал:

— Ваше превосходительство, разрешите доложить: дружина полковника Всеволжского, сформированная генералом-лейтенантом князем Долгоруковым и записавшаяся в состав Северной армии, не желает сдаваться уже входящим в город войскам Петлюры и просит вас принять ее под ваше начальство и вывести из города, куда вы пожелаете! Дружина ожидает ваших распоряжений в гостинице «Бояр» на Крещатике, — и представился запоздало: — Ротмистр Куренной.

— Сколько человек в дружине?

— Около ста, ваше превосходительство, — ответил Никита и почувствовал, как жалко и стыдно прозвучали эти слова. Присовокупил торопливо: — И ещё конная сотня. Правда, пешая. Тоже сформированная для Северной армии. И о других войсках имеются сведения, что они собрались у городского музея с намерением пробиться на Дон, но во главе их нет начальства.

Генерал опустил голову. Куренной подумал, что сейчас он непременно откажется от этой сомнительной авантюры — пробиваться с горсткой людей из окружённого неприятелем города. Граф обернулся к стоящему позади адъютанту:

— Полковник, поезжайте в Михайловский монастырь и испросите у владыки Нестора благословение на наше рискованное предприятие.

Отлегло от сердца. Не отказал старый рыцарь обратившимся к нему людям, принял на себя нелёгкое бремя. Фёдор Артурович позвал денщика, велел собрать бельё и необходимые вещи и доставить «в штаб». Быстро собрался, блеснула у пояса золотая рукоять шашки с георгиевским темляком, надел шинель и с Великой войны запомнившуюся волчью папаху, скомандовал решительно:

— Идёмте, господа офицеры!

На моторе быстро домчали до «штаба». Со всех концов города уже слышалась беспорядочная стрельба — Петлюра вошёл в город, и кольцо сжималось всё теснее. Как только доехали до угла и повернули на Банковскую улицу, автомобиль начали обстреливать из домов и из-за домов, а на середине улицы громынуло что-то вроде залпа, но, несмотря на близкое расстояние — все пули пролетели мимо. Прибыв на место, Граф немедленно устроил краткое совещание в помещении гостиницы.

— Выбраться из города, уже со всех сторон занимаемого противником, будет нелегко, — говорил он, постукивая пальцами, по разложенной карте. — Но при некоторой энергии можно попытаться. Нужно пробиться и выйти к Днепру. Но организованно. Если противник увидит организованное войско, готовое вступить в бой, то он, вероятно, согласится пропустить без сопротивления и кровопролития все

добровольческие дружины на Дон. Расчёта задерживать нас в Киеве у Петлюры быть не может.

В это время прибыл полковник Пантелеев, кавалергард, адъютант Келлера и племянник бывшего председателя Думы Родзянко. Он приехал не один. С ним в помещение «штаба» вошёл сам владыка Нестор. Офицеры почтительно поднялись и расступились. Встревоженный епископ благословил их и подошёл прямо к генералу, заговорил, заметно волнуясь:

— Фёдор Артурович, я умоляю вас отказаться от этой безнадёжной затеи! Киев окружён петлюровцами! Выхода из города нет!

— Положение Киева мне известно, — отозвался Граф негромко.

Владыка подошёл совсем вплотную к нему, взял за руку, спросил, глядя с болью:

— На что же вы рассчитываете? Поберегите себя и своих офицеров для России!

— Офицеры не желают сдаваться, а хотят бороться до конца. Я понимаю их. Если хоть один шанс пробиться есть, он должен быть использован.

— Это безумие!

— Возможно. Но я не «пан гетман», чтобы бросить своих людей на произвол судьбы. Что бы ни было, я останусь с ними. И поведу их. А там — как Господь даст! — старый воин опустил на одно колено, склонил красивую голову. — Благословите!

Владыка Нестор торопливо поднял его, благословил, сказал с горестным вздохом:

— Ни одно благословение не было мне давать столь тяжко... Сохрани Господь, Фёдор Артурович, вас и ваших людей на избранном вами пути!

С выражением глубокой скорби на лице, тая слёзы в печальных глазах, епископ ещё раз благословил офицеров и покинул «штаб».

— А теперь, господа, выдвигаемся, — скомандовал Граф.

В вестибюле гостиницы выстроились немногочисленные офицеры. Ротмистр заметил, что число их уменьшилось за время его отсутствия.

— В ружьё! — прозвучала громкая команда генерала.

Стали строиться кое-как. Ни единого начальника, который повторил бы команду своему взводу. Ни порядка, ни дисциплины. А у многих и оружия — нет. Прежде не обращал Никита на эту вопиющую неподготовленность внимания, а теперь — словно глазами Графа смотрел — и готов был со стыда сгореть за каждого. Конный отряд выглядел лучше, но и он не годился никуда. Отдал ему Фёдор Артурович приказ выслать авангард в цепочку: замялись на месте и, не зная, как исполнить. Пришлось генералу самому выслать дозорных, самому организовать движение по улице...

Когда приблизились к Думе, от дозоров донесся крик:

— Петлюровцы идут!

И сразу смялись передние ряды, бросились назад, сбились в кучу — позор!

— Свернуть в переулок!

Догадался Никита, что хочет Граф избежать неприятной встречи и в обход добраться до музея, где должны были находиться другие офицерские дружины.

Не успели и нескольких шагов пройти, как раздалось несколько выстрелов. И снова замешательство. И кинулись в разные стороны, перетрусив. Заходило сердце от гнева и стыда, а рядом с генералом уже не больше пятидесяти человек осталось. Небольшой стычки с петлюровцами избежать всё же не удалось, отбросили их, но уже мало кого

ободрила эта победа. И вздохнул Фёдор Артурович безнадежно, оглядывая тающие силы свои:

— Бывают такие победители, которые очень похожи на побежденных...

Но двинулись дальше, переулками петляя. Обратного хода — нет. Прошли ещё немного — и упёрлись в петлюровцев. Те стеной сплошной растянулись от дома до дома и двигались на маленький отряд.

— Всё, заворачивай оглобли, — приказал Граф.

С готовностью завернули, поспешили обратно, отойдя, остановились, окружённые, как загнанные волки, на Софийской площади. Уже стемнело в городе. Келлер снял папаху, помолчал и произнёс глухо:

— Господа, должен вам сказать, что дело наше проиграно, расходитесь по домам, кто куда может.

Площадь похожа была на яму: все улицы проходили поверху. И с них поливали отряд из пулемётов и ружей. В стене была вделана лестница и, оценив обстановку, Граф распорядился:

— Надо штурмовать эту лестницу каменную, чтобы выбить тех, кто нас там обстреливает.

К лестнице бросились юнкера — Родя Марлинский и Кока Куренной. Взвились вдвоём по ней под свинцовым дождём. Вдохновлённые их примером, и остальные ринулись следом. Увидев поднимающихся добровольцев, петлюровцы отступили.

Поднялся наверх маленький отряд, а последним, замыкающим — старый командир его, на больную ногу припадающий. Ждали дальнейших указаний.

— Расходитесь, господа. Срывайте погоны и уходите поодиночке.

А сам стоял, возвышался при полном мундире. Крест Георгиевский, золотая шашка...

— Ваше превосходительство, мы не можем разойтись, не сопроводив вас в надёжное место, —

заявил полковник Всеволжский. — Для нас было бы высшим бесчестьем покинуть вас, нашего командующего.

— Вас нужно спрятать, — согласился и полковник Пантелеев.

— Спрятать... — Граф чуть усмехнулся. — Я ведь не иголка, чтобы спрятать меня, — но не стал спорить, более беспокоясь за своих подчинённых, нежели о себе: — Извольте. Единственное место, куда я могу пойти — Михайловский монастырь. Проводите меня туда, и можете быть свободны.

Решение было принято, и полсотни человек, оставшихся с генералом, проводили его тёмными, ощетилившимися улицами до монастыря. Входя в него, он простился с юнкерами, коих осталось менее десяти человек, сказал с отеческой теплотой:

— Теперь тоже разбредайтесь, как можете, — и исчез за дверями.

У Роди в горле засвербило от горечи. Стиснул кулаки, закусил губу. Кока дёрнул его за рукав, спросил неуверенно:

— Куда ж мы теперь?..

Марлинский не ответил. Вынул нож, срезал погоны, протянул следующим:

— Спарывайте и расходимся по двое. Так легче проскочить.

Без погон и без оружия юнкера быстро растеклись в разные стороны. Приунывший Кока, семья которого обитала на другом конце города, повторил свой вопрос:

— А мы-то — куда?

Куда? На Отрадную — куда ж ещё! Там, на Отрадной, в бывшем здании польского госпиталя с гетманского разрешения разместилась община Красного Креста. Руководил ею доктор Юрий Ильич Лодыженский, в госпитале которого Родя уже скрывался во время большевистского террора этой

зимой. Многие погибли тогда, убит был отец, умерла от горя бабушка, а Родя уцелел, маскируясь тяжело больным. Не желал он скрываться тогда, считал это стыдным, но мать умолила. Мать теперь — тоже на Отрадной. Сестра милосердия. Много будет работы Красному Кресту в захваченном петлюровцами городе! Закрутится новая мясорубка...

— Айда на Отрадную, в госпиталь.

— Далече... — скис Кока.

Далече... Отрадная — окраина Киева. Но, может, там зато не так опасно, как в центре?

— Есть другие предложения?

— Нема...

— Тогда шагом марш!

Голодные, замёрзшие, павшие духом юнкера побрели по тёмным, готовым каждую минуту расправиться с ними улицам. И зачем был весь этот несчастный поход? И как же теперь — на Дон? И что будет с оставшимися офицерами и Графом?..

Офицеров, оставшихся с Фёдором Артуровичем, было менее сорока. Они разместились в монастырской чайной и ждали распоряжений генерала.

— Господа, все мы понимаем, что сопротивление в настоящих условиях бессмысленно, — сказал Граф. — Мне дороги ваши жизни, дорог каждый из вас, поэтому я не хочу, чтобы вы ни за что, ни про что сложили ваши головы. Уверен, им найдётся ещё лучшее применение в России. А здесь — кончено. Поэтому приказываю сложить оружие и расходиться. Благодарю вас всех за верную и доблестную службу!

Понурился, головы, офицеры стали уходить. Оружие они с отчаянием бросали на пол в кучу, стараясь предварительно испортить его. Граф смотрел на это трагическое действие со скорбью, тепло, с рукопожатием, прощался с каждым. На глазах его,



сохранявшими доброе выражение даже в минуты гнева, стояли слёзы.

Ротмистр Куренной трепетно поцеловал, а затем сломал свою шашку, бывшую с ним во всех атаках Великой войны, бросил в общую кучу, подошёл к генералу:

— Ваше превосходительство, позвольте мне остаться при вас!

— Нет, ротмистр, я вам этого не позволю. Постарайтесь выбраться отсюда и служите верой и правдой Отечеству.

— Но ваше превосходительство...

— Ротмистр, разве вы большевик, чтобы оспаривать приказания командира? — по мужественному лицу старого воина текли слёзы, и разрывалось сердце Никиты от вида этих слёз. — Ступайте. И храни вас Бог!

Ничего не было горше Куренному, чем исполнить этот последний приказ генерала. Он последовал бы за ним в огонь по первому зову, он легко и с радостью отдал бы за Графа жизнь. Но Граф не потребовал этого, Граф приказал уйти, покинуть себя, спасти жизнь свою, а не его. И не смел ротмистр ослушаться приказа, отдал честь в последний раз, уже и своих слёз не сдерживая, хотел отчеканить по-военному чётко, а получилось надрывно-дрожаще:

— Честь имею, ваше превосходительство!

Один за другим покинули офицеры чайную, оставив за собой груды преломленного оружия. Граф проводил их и отправился в отведённую ему келью. Мерцал в полутьме розоватый огонёк лампы перед старинной монастырской иконой. Фёдор Артурович перекрестился и опустился на диван.

Сорок лет минуло с той поры, как начал он свою службу Царю и Отечеству. В 1877-м году русское общество отличалось давно небывалым единением. Леденящие кровь известия с Балкан не оставили

равнодушным никого. Боснийские сербы и болгары, находившиеся под турецким владычеством и угнетаемые магометанами, подвергались чудовищным мучениям за Христову веру. В Болгарии бесновались горцы-черкесы, бежавшие туда от русского оружия с Кавказа; привыкшие повсюду жить разбоем, они обирали крестьян, насиловали женщин, угоняли в рабство молодежь. В Боснии лютовали албанцы-арнауты. Но настал долгожданный момент, когда в славянских землях поднялось знамя восстания, и прозвучал призыв: «С верою в Бога — свобода или смерть!» Против непокорного народа двинулись турецкие войска, производившие истребления тысячами и десятками тысяч. Из отрубленных голов строились высокие башни. Привозимые в Россию болгарские сироты рассказывали своим избавителям о страшных, изощренных злодеяниях, творимых в родных селениях. Едва уцелевшие, они вспоминали о том, как перед посаженными на колья детьми черкесы живьем сдирали кожу с их родителей, как на глазах поруганных матерей солдаты в красных фесках подбрасывали и ловили на штык младенцев, как гордились иные башибузуки особенным умением — для потехи разорвать голыми руками пополам схваченного за ножки грудного ребенка...

Теперь на пространствах матушки-России творились большевиками зверства, мало уступающие зверствам башибузуков. Но нет дела миру, нет дела иным народам до страданий русских женщин, детей и стариков. На потоки слёз и крови — ниоткуда не слышно отклика.

А русские люди всем сердцем откликнулись на боль братских народов: в городах и деревнях собирали пожертвования, вся огромная страна провожала отъезжавших на Балканы добровольцев. Офицерская молодежь стремилась к жертвенному подвигу, простые солдаты и именитые генералы испытывали одни

чувства. С фронта приходили вести о русском героизме и первых потерях; в России люди перечисляли крупные суммы на раненых воинов, а записывались неизвестными. В девятнадцать лет Келлер, оставив учёбу в подготовительном пансионе Николаевского кавалерийского училища, без ведома родителей вступил в первый Лейб-драгунский Московский полк нижним чином на правах вольноопределяющегося и отправился на войну. Примером для него был двоюродный брат Федор Эдуардович Келлер, молодой подполковник, недавно окончивший Николаевскую академию Генерального штаба и в числе нескольких тысяч русских добровольцев отправившийся на Балканы. Поступив на службу в Сербскую армию, он вскоре прославил себя дерзкой вылазкой-рекогносцировкой накануне большой битвы при Фундине, а чуть позже разгромил турок в схватках в долине Моравы. Под его началом русские и болгарские добровольцы отражали набеги головорезов-башибузуков и подавляли мятежи боснийских мусульман. Прирожденный воин, каковыми являлись все Келлеры, Федор Эдуардович был удостоен за свои ратные труды высших военных наград княжества, врученных ему сербским командованием...

Когда первый Лейб-драгунский Московский полк присоединился к колонне легендарного генерала Скобелева, Фёдор Артурович встретил своего вернувшегося из Сербии брата, только что возглавившего штаб Скобелева вместо раненого Куропаткина. После боёв под Шейновым и Терновым Главнокомандующий лично наградил вольноопределяющегося Келлера серебряными солдатскими Георгиями 3-й и 4-й степеней. Через полтора месяца после окончания войны он был произведен за отличие в первый офицерский чин — в прапорщики своего полка, а после выдержал в Тверском

кавалерийском юнкерском училище экзамен на право производства в следующие чины.

Та первая в его жизни война явилась бесценным опытом. На всю жизнь сохранил Келлер уважение к нижним чинам и убеждение, что любому офицеру весьма полезно хотя бы год прослужить вольноопределяющимся, чтобы лучше понять психологию солдата. Примечал Фёдор Артурович, что между офицером и солдатом нарастает отчуждённость, что разделяются они на две касты, в себе замыкающиеся, и ясно было, как белый день, что добра от разрыва этого — не жди. Суворов и Скобелев — разве свысока к солдату относились, как к скотинке серой? Суворов и Скобелев солдатам отцами были, не гнушались маленьким человеком, тем и побеждали. Убеждён был Келлер, что заращивать возникший разрыв надо развитием и воспитанием солдата, соблюдением достоинства его. И до, и во время Великой войны Федор Артурович старался развивать лучшие качества как офицеров, так и нижних чинов и внимательно следил за тем, чтобы их подготовка была на должном уровне, понимая, что в противном случае о победах можно забыть. «Вся наша работа должна быть направлена к тому, чтобы выработать сознательного отдельного бойца и начальника, умеющего оценить условия, в которых он находится, и принять, не ожидая приказаний, соответствующие решения для нанесения противнику удара, сохранив свои силы. А это возможно только тогда, когда у каждого младшего начальника тверда вера в себя, когда он умеет оценить положение находящегося перед ним неприятеля, к какому бы роду войск он ни принадлежал, умеет оценить и воспользоваться открывающимися ему шансами на успех и умеет не упустить выгодную минуту для нанесения ему поражения и для атаки», — писал он.

Чувство личного достоинства, личной ответственности, самостоятельности и сознательности необходимо было воспитывать в нижних чинах, выводя их из унижительного ранга «серой скотинки» до мыслящих, отвечающих за свои поступки бойцов. И не единожды писал об этом Келлер: «Солдату внушают на словах о высоком звании воина, а не так еще давно на оградах парков, скверов и при входах на гулянки он мог прочесть: «Собак не водить», а рядом — «Нижним чинам вход воспрещается». Объяснялись такие распоряжения тем, что солдаты стесняют публику, держать себя на гуляниях не умеют, так же как не умеют ходить по людным улицам, и показываются иногда очень грязно одетыми. Пора, казалось бы, переменить взгляд на солдата, пора посмотреть на него как на взрослого, полноправного человека, отвечающего за свои проступки и поведение, и пора воспитывать его в этом направлении, выказывая ему полное доверие, но в то же время безустанно и строго требуя от него трезвого поведения, сохранения воинского достоинства и умения себя держать на улицах и в людных местах. За малейший же проступок или отступление от приличия и добропорядочности беспощадно взыскивать с него. Только этим способом мы воспитаем самостоятельных твердых людей, которые привыкнут сами следить за собой и отвечать за свои поступки и поведение, будут их обдумывать и взвешивать, а не тех недомыслей, полудетей, которые, вырвавшись из-под глаз начальника на свободу, способны напиться до потери сознания и своей распущенностью коробить общество и ронять достоинство воинского знамени. Воспитание, которое я отстаиваю, не сразу, конечно, принесет желательные плоды и породит вначале много хлопот и неприятностей, но не пройдет и двух лет, как облик нашего нижнего чина, самосознание его и уважение к себе самому совершенно изменится».

Во вверенных ему частях Фёдор Артурович устанавливал строжайшую законность и для офицеров, и для нижних чинов, не делая различий. Решительно пресекал случаи рукоприкладства, не спускал и малейших проступков, будучи уверен, что развал начнётся именно с мелочей. И вёл, вёл кропотливую работу по превращению солдата из недомысля в ответственного, самостоятельного война. И раздражался на тех командиров, которым казалось, что «серая скотинка» в управлении удобнее. О, да! Удобнее! Но до той поры, пока вожжи в твоих руках, а перехватят другие их — и им как удобно ехать окажется! Успех революционеров у тёмных слоёв населения не тем ли обусловлен? Приучили людей к существованию детскому, к тому, что «начальство всё решит», а погонят это стадо против приучивших — и не остановить! О революции знал Келлер не понаслышке. Жертвой террористов едва не стал он сам. В 1905-м году Фёдор Артурович был отправлен на усмирение переведенной на военное положение Польши. Там, исполняя обязанности временного Калишского генерал-губернатора, и подвергся нападению революционеров: раненый и контуженный при взрыве брошенной в него бомбы, он избежал гибели лишь благодаря собственной ловкости, позволившей ему поймать снаряд на лету...

А всё же не смекали наверху, что тёмная, неразвитая масса опасна, что она — подарок революционерам. «Серая скотинка», из повиновения вышедшая, во всю дикость инстинктов распустившаяся — как остановить её, когда у неё никаких сдержек, воспитанием укреплённых, не будет? Доверять, доверять человеку надо, разрешить ему самому, своей головой думать. Иначе подумают за него другие, заморчат — и не миновать беды. Последний раз пытался генерал донести эти мысли свои в 1914-м году, посвятив в последнем выпуске брошюры «Несколько

кавалерийских вопросов» проблеме воспитания рядового состава отдельный раздел, доказывал и разъяснял упорно: «Наш солдат в сравнении с солдатом западных армий, так сказать, школьно или научно действительно менее развит, но сметки и природного ума у него не меньше, а несравненно больше, чем у всякого немца или француза, и это объясняется очень просто: западный простолюдин, по большей части житель города или ферм, где ему незнакома ни дикая природа, с которой приходится на каждом шагу бороться, ни десятиверстные пространства, на которых уже с малых лет приходится ориентироваться нашему крестьянину.

Пущенная кем-то фраза о высоком развитии солдата западных армий сравнительно с нашим принята без всякой проверки (надо полагать в силу нашей всегдашней готовности к самооплеванию) на веру и чуть ли не за аксиому, против которой никто даже не считает возможным поднять своего голоса. Наш солдат не развит, наш солдат не любит военного дела и способен действовать только в массе под непосредственным надзором и при подсказе начальника и все его признаваемое в лучшем случае достоинство выражается в покорности, выносливости и, в последнее время, даже заподозренной любви к Отечеству. Тот, кто дал себе труд хоть немного ближе узнать русского солдата, кто интересовался его бытом, кто немного проник в его миросозерцание, его взгляды, наклонности и слабости, тот не мог не убедиться в том, что составленное о нашем солдате мнение совершенно не соответствует истине и что все зависит от того, как приняться за его воспитание и обучение».

На основании огромного личного опыта делал Фёдор Артурович вывод: «Для того чтобы человек отнесся к делу с интересом и сознательно, необходимо его личное участие в исполнении задачи и возможность

проявить свою хоть маленькую инициативу. У него должно быть сознание в том, что личное его маленькое «я» играет роль и все же хоть немного способствует достижению общего большого дела. Обстановка, общий план и выполнение целого, иногда сложного маневра, солдату не могут быть понятны, для этого требуется подготовка и знания, ему недоступные. Но зато мелочи маневра, в общей сложности имеющие часто громадное значение, как, например, своевременная доставка донесения, работа отдельного дозора и разъезда, перехват донесения, умение пробраться незамеченным сквозь сторожевое охранение противника, открытие и своевременное отогнание назойливо следящего за отрядом неприятельского разъезда и т. д., для него понятны и интересны, и, развивая в солдате удаль, умение применяться и пользоваться местностью, сметку и решимость, готовят его к исполнению того, что от него потребуется в военное время».

Но — не слышали закостеневшие, не поворачивались застывшие. Да и поздно было: Четырнадцатый строил полки и дивизии, гнал «серую скотинку» в окопы. В своём корпусе развивал Келлер свою систему, и даже после Февраля показывал он лучшую дисциплину. Февраль показал всю справедливость опасений Фёдора Артуровича. Полудетей и недомыслей, вырвавшихся из-под опеки, уже никак нельзя было вернуть к порядку. А они, не привыкшие жить своим умом, тотчас стали самой лёгкой добычей революционеров. И тем управлять ими, направлять их на вчерашнее начальство, к худшим инстинктам полудикого сознания обращаясь — как удобно оказалось!

Но не поведение нижних чинов более всего удручало Келлера. От них ожидать много трудно было. Но — офицеры!.. Одну демонстрацию, в которой офицеры приняли участие (позор несмываемый!),



генерал велел разогнать, издал приказ, стыдящий и предупреждающий: «На всех фронтах наши братья дерутся с нападающим на них врагом, а в России в некоторых городах еще льется кровь православная, да не от вражеских пуль, а от своих, братских. И в это время в Оргееве играет военная музыка и устраивается парад. Я не хотел верить своим глазам, когда в голове этого позорного парада увидел офицеров, а в его рядах унтер-офицеров и Георгиевских кавалеров. Я увидел среди них тех людей, которые должны были объяснить молодым весь позор и стыд такого торжества в такое время. Кто такому параду может радоваться — да только внутренние и внешние враги России, ждущие удобного момента, чтобы ударить по нам, что они давно готовили. И этот момент наступает — мы сами создали у себя беспорядки. Кроме врагов, такому явлению радоваться некому. Настоящий русский человек посмотрит на такой парад, покачает головой и больно ему станет за Русскую землю. И мне больно и стыдно было смотреть на офицеров и молодцов Георгиевских кавалеров с красными тряпками на груди. Мне, как старому солдату, тяжело было видеть, что войска показывают пример беспорядка. Образумьтесь же, господа офицеры и солдаты 5-го запасного пехотного полка, берегите пуще глаза своего порядок и дисциплину. Враг не дремлет...»

Но — уже катилось всё. Сбылось пророчество Кронштадтского прозорливца: «Бог отнимет благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами». Так и вертелось оно в голове, на глазах осуществляющееся. Своему Государю Фёдор Артурович остался верен. Уйдя в отставку и обосновавшись в Киеве, он желал разделить участь Императора, быть с ним в тяжкие для него дни. Написал о своём желании Керенскому: «В виду того, что моя

служба Отечеству в армии очевидно более не нужна, ходатайствую перед Временным правительством о разрешении мне последовать за Государем Императором Николаем Александровичем в Сибирь и о разрешении мне состоять при Особе Его Величества, оставаясь по Вашему усмотрению в резерве чинов или будучи уволен с причитающейся мне пенсией в отставку. Согласие Их Величеств иметь меня при Себе сочту для себя за особую милость, о которой ввиду невозможности для меня лично о ней ходатайствовать очень прошу Вас запросить Государя Императора и в случае Его на это согласия не отказать в приказании спешно выслать мне в Харьков пропуск на беспрепятственный проезд и проживание в месте местопребывания Их Величеств». Но не осуществилось — отказал министр-председатель генералу...

Ни на каких иных началах, кроме монархических, не возродиться России. Монархический строй самим Богом установлен. И народу русскому без Царя нельзя. Эту, кажется, простую истину пытался донести Фёдор Артурович до Алексева и Деникина, уговаривая выдвинуть монархический лозунг и откреститься от республиканства, столь многим навредившего уже России. Объяснял в письме Михаилу Васильевичу: «Единственной надеждой являлась до сих пор для нас Добровольческая армия, но в последнее время и к ней относятся подозрительно, и подозрение, вкравшееся уже давно, растёт с каждым днем... Большинство монархических партий, которые в последнее время все разрастаются, в Вас не уверены, что вызывается тем, что никто от Вас не слышал столь желательного, ясного и определенного объявления, куда и к какой цели Вы идёте сами и куда ведёте Добровольческую армию. Немцы это, очевидно, поняли, и я сильно опасаюсь, что они этим воспользуются в свою пользу, то есть для разъединения офицерства...

Боюсь я также, что для того, чтобы отвлечь от Вас офицеров, из которых лучший элемент монархисты, немцы не остановятся перед тем, чтобы здесь в Малороссии или Крыму формировать армию с чисто монархическим, определенным лозунгом. Если немцы объявят, что цель формирования — возведение законного Государя на Престол и объединение России под Его державою, и дадут твердые гарантии, то для такой цели, как бы противно ни было идти с ними рука об руку, пойдет почти все лучшее офицерство кадрового состава.

В Ваших руках, Михаил Васильевич, средство предупредить еще немцев (чистым намерениям коих я не верю), но для этого Вы должны честно и открыто, не мешкая, объявить — кто Вы, куда и к какой цели Вы стремитесь и ведете Добровольческую армию.

Объединение России великое дело, но такой лозунг слишком неопределенный, и каждый даже Ваш доброволец чувствует в нем что-то недосказанное, так как каждый человек понимает, что собрать и объединить рассыпавшихся можно только к одному определенному месту или лицу. Вы же об этом лице, который может быть только прирожденный, законный Государь, умалчиваете. Объявите, что Вы идете за законного Государя, если Его действительно уже нет на свете, то за законного же Наследника Его, и за Вами пойдет без колебаний все лучшее, что осталось в России, и весь народ, истосковавшаяся по твердой власти...»

Но и тут не убедил. Остались вожди Добровольческой армии при своём мнении. А, упирая на монархическую идею, предложил Краснов возглавить Южную армию. Доводы звучали красиво и веско, но не подкупили Фёдора Артуровича. Знал генерал, что Южная армия — затея немецкая. И с немцами дел иметь не желал. Созданную же и возглавленную Северную

армию, поразмыслив, поставил Келлер во имя единения антибольшевистских сил в подчинение Добровольческой, формально и сам, несмотря на расхождения во взглядах, стал подчинённым Деникина.

— Ваше превосходительство, вас хочет видеть полковник Купфер, — доложил, войдя, полковник Пантелеев.

— Пусть войдёт.

Купфер появился в сопровождении какого-то малорослого немецкого майора с хмурым лицом. Он заговорил по-немецки, поспешно:

— Ваше превосходительство, узнав о вашем опасном положении, германский штаб решил предложить вам помощь. Мы предлагаем вам поехать с нами в германскую комендатуру, где я ручаюсь за вашу безопасность.

Это предложение из уст недавних врагов коробило. Фёдор Артурович прекрасно владел немецким, но ответил по-русски:

— Я благодарю вас за участие, но принять вашего предложения не могу.

— Фёдор Артурович, от имени всего русского офицерства, я умоляю вас согласиться! — подался вперёд Пантелеев, на лице которого изобразилось отчаяние.

— Ваше превосходительство, я присоединяюсь к просьбе полковника Пантелеева, — горячо заговорил и молчавший дотоле Нелидов.

— Ваше превосходительство, решайтесь! На счету каждая секунда! — воскликнул штабс-ротмистр Иванов.

Трудно было отказать мольбам этих верных офицеров. Нехотя, генерал последовал за Купфером, поддерживаемый Пантелеевым. Дорогой Нелидов накинул ему на плечи немецкую шинель и, протянув немецкую фуражку, сказал:

— Наденьте её, ваше превосходительство. Вашу папаху слишком хорошо знают в городе, она может привлечь внимание.

Подчинился генерал и этому настоянию. Но у самой ограды монастыря последовало новое требование. Требовал Купфер, чтобы Фёдор Артурович снял шашку и Георгия с шеи, чтобы эти предметы не бросались в глаза при выходе из автомобиля. Ну, уж это чересчур было! С гневом сбросил с себя Келлер ненавистную немецкую шинель (говорят, в такой же Скоропадский бежал — ему ли уподобиться?!), отрезал:

— Если вы меня хотите одеть совершенно немцем, то я никуда не пойду! — повернулся круто и возвратился в свою келью, не слушая просьб и молений спешащих за ним офицеров.

Немцы уехали. И в тот же час в монастырь явились петлюровцы. Тихая обитель наполнилась шумом. Прибежал запыхавшийся монах, посланный владыкой Нестором:

— Ваше превосходительство, в монастыре обыск. Если вас здесь найдут, беда будет. Я могу провести вас потайным ходом в обысканный уже корпус, а потом, когда эти бандиты уйдут, вы вернётесь сюда.

— Спасибо, но ничего этого не нужно, — покачал головой Келлер. — За весь истекший год я не скрывался ни от кого, живя открыто и не тая моих убеждений. И теперь я не намерен изменять этому принципу и прятаться. Полковник, — обратился он к Пантелееву, — объявите господам петлюровцам, что тот, кого они ищут здесь и ожидает их. Иначе они в своих розысках перевернут, пожалуй, вверх дном весь монастырь...

— Но ваше превосходительство...

— Исполняйте приказ.

Будучи не раз на волосок от смерти, давно перестал Фёдор Артурович бояться её. И теперь не о своей судьбе беспокоился, а об адъютантах, оставшихся с ним

и пожелавших разделить его участь, и монахах, которых невольно подверг лишней опасности. Не стоило искать убежища в монастыре, давая бесчинствующим ордам повод к его разорению во время обыска... Но больше некуда было пойти, чтобы успокоить людей, чтобы они могли разойтись. И деваться отсюда некуда было. Не жалел генерал, что отверг предложение немцев. Что за позор — пользоваться услугами врага, обряжаться во вражеский мундир, под защитой вражеских штыков — бежать! Так могли поступить Скоропадский и Долгоруков, честь офицера забывшие, но не граф Келлер.

В коридоре послышалась возня, и в келью ввалился патруль, состоявший из сечевых стрельцов.

— Господин генерал, объявляю вам, что вы и ваши адъютанты с этого момента являетесь арестованными, — сказал командир.

Три солдата тотчас наставили винтовки на Фёдора Артуровича, с невозмутимым видом продолжавшего сидеть на диване. Их командир выглядел смущенным. Помявшись немного, он заявил:

— Мною получен приказ вас обезоружить.

Смешно выглядела эта старавшаяся изо всех сил казаться воинственной и решительной компания! Молодой сечевой командир, ставший между генералом и дверью, ведущей в его спальню, с трудом вытащил свой револьвер. Мальчишка! Ожидал сопротивления? А его подчиненные с нарочито свирепым видом, очевидно, были мало знакомы с винтовками, так что у одного из них затвор был не повернут, а другой, наведя на арестованного дуло, копался, стараясь засунуть патрон в коробку, что ему плохо удавалось. Угадал генерал, что эти люди, являвшие собой молодую армию, силятся исполнить все по правилам уставов и инструкций, но не ведают толком как. Отдал им револьвер и шашку, остался сидеть, наблюдая за их действиями с

насмешливым видом, которого не умел и не старался скрыть. Один из солдат оскорбился:

— Разве это смешно?

— Конечно смешно наводить три винтовки на безоружного старика, которого этим ведь не испугаешь. Лучше было бы просто попросить его и взять оружие.

Ушёл патруль, выставив при дверях караул. Осталась у генерала одна последняя забота — отрядный штандарт! Неодушевлённый символ воинской чести — он не должен был попасть в руки врага. Нужно было, во что бы то ни стало, спасти его. Но как? Легче сказать, чем сделать! Вся надежда была на владыку Нестора, которому успел Келлер дать знать о неотложном деле.

В монастырском храме заканчивалась заутреня. Не удалось побывать на ней во всей этой кутерьме... Вслушивался Фёдор Артурович в звон колоколов, непривычно тихий этим утром, словно бы и колокола были испуганы и боялись говорить в полный голос.

За дверями послышались решительные шаги, дверь открылась, и в келью быстро и отважно вошёл владыка Нестор. Он был одет простым монахом, согбен. Каким чудом преодолел посты часовых? Некогда было спрашивать. Генерал протянул епископу пакет со штандартом. Тот быстро спрятал его под рясой, подал просфору, поднял глаза сострадающие, благословил и, не говоря ни слова, вышел. На входе уже ждали его, закричали на мове, требуя ответа, как смел он без разрешения пройти к пленнику.

— Шо це таке, я ж монах, та принес святой хлиб до графа, та и все!

Звук удара, вскрик (не постеснялись на монаха руку поднять?), матерная брань, угроза пристрелить в другой раз. Лишь бы только ушёл! Лишь бы не схватили! Фёдор Артурович не находил себе места. Но вот, в окно он увидел ещё сильнее пригорбленную

фигуру владыки Нестора, стремительно удаляющегося. Камень с души — провёл-таки караульных, смог уйти святой этот человек, страха не ведающий! Помиловал Господь! Не успел ещё скрыться, а уж по всему двору монастыря бегали солдаты с воплями:

— Где тот монах, що ходыв до грахва Келлера?

Теперь не сыщут...

Последняя тягость земная спала с плеч. Генерал вкусил принесённую владыкой просфору, снял шейную иконку, которую носил последнее время, не снимая. Этот образ Богородицы Державной ещё летом через верных людей прислал ему Святейший Патриарх Тихон. Чудный образ — неспроста явлен он был в такую пору. Выпали символы царской власти из рук Царя земного, и, вот, оказались в руках Царицы Небесной.

— Мать пресвятая, пречистая Богородица, упование и надежда наша, спаси и сохрани Россию под Покровом Твоим и умили Твоего Сына Твоего, чтобы возвратил нам, грешным, Царя!

Приложился благоговейно, перекрестился широко. На душе было спокойно и ясно. Перед лицом вплотную подошедшей к нему смерти не чувствовал Граф ни страха, ни угнетённости. Земной свой путь он прошёл с честью и долг перед Царём и Отечеством выполнил до конца, не отклонив малодушно чаши своей. И сознавая это, ожидал генерал часа, в который предстоит ему отчитаться во всех поступках своих не перед земными начальниками, действительными и самозванными, а перед Главнокомандующим Воинства Небесного. А час сей близился...



## Глава 17. Русские люди

*Конец декабря 1918 года. Урал. Завод Аши-Балашовский*

Наконец-то, добралась Волжская группа до Уфы, где сменили её уральские формирования. Дорого стоил этот поход! А на последнем рывке и вовсе едва не накрыли красные всю группу. Догадались «товарищи» стянуть силы в район вилки между Волго-Бугульминской и Самаро-Златоустовской железными дорогами. Но вовремя донесла разведка, и легко разгадал Владимир Оскарович нехитрый манёвр: хотели большевики стянуть кулак и ударить на станцию Чишмы, где перед Уфой соединялись обе дороги, и так отрезать Волжан от уральской столицы. Что всегда выручало в таких ситуациях? А то же, что и во все века: быстрота и натиск. И неожиданность. А уж это как никто другой умел Каппель! Сколько раз искусные капканы расставляли «товарищи», а он опрокидывал все их расчёты, опережал удар и громил их. Так же действовали и теперь. На Волго-Бугульминской, вдоль которой отступали всё это время, оставил один бронепоезд и небольшие заслоны, а сам со всей группой обрушился на Сергеевский посад, куда стягивали силы красные. И побежали «товарищи» так, что любо-дорого. Даже обозы с артиллерией побросали (вот уж нелишний трофей при скудости снабжения!). Одно плохо — не добились. Обезвредили кулак, но не добились. Если бы были резервы, то можно было эту операцию развить, уничтожить красную группировку. Но резервов не было никаких, и без охраны оставалось главное направление — Волго-Бугульминская дорога. Пришлось возвращаться и вновь тянуться к Уфе...

По достижению её стало несколько легче. Всё ж не одни теперь стали. Приняли эстафету Уральцы. Но покой пока даже и не снился. Путь лежал в Омск. А в ближайшем предстояло походным порядком миновать военно-промышленные районы Урала. А они все распропагандированы были «товарищами», и враждебностью дышали, и только и жди, что удар в спину нанесут.

Чтобы пропустить свои части, Владимир Оскарович со штабом остановился на Аша-Балашовском горном заводе. Так и пропитана была атмосфера здесь озлобленностью против белых, сквозила она в смурных лицах шахтёров. И вечером уже докладывал комендант штаба:

— Рабочие митингуют в своих шахтах. Наша контрразведка докладывает, что ночью на митинге шахты № 2 они постановили чинить всяческие препятствия проходящим войскам... И ещё... — замаялся.

— Что — ещё?

— Некой группе рабочих поручено произвести покушение на вас.

Губы Каппеля дрогнули в усмешке. Кому-то не терпится получить обещанное Троцким вознаграждение за его голову: пятьдесят тысяч рублей. Такую цену товарищ военмор назначил после взятия Волжанами Симбирска. Дёшево оценили, Лев Давидович, поскупились! А может, уже и повысил сумму премиальных? Надо бы повысить! «Наполеон», пусть и «маленький», как «Красная Звезда» после Сергеевского посада окрестила, дороже стоит.

— Владимир Оскарович, я думаю, следует принять меры, чтобы не допустить каких-либо эксцессов.

— Разумеется. Все надлежащие меры надо принять. Распорядитесь немедленно!

— Слушаюсь, — отдал честь комендант, вышел.

Владимир Оскарович сомкнул руки, задумался, глядя немигающими глазами в одну точку. Как причудливо складывается судьба! Накануне февральских событий он, получив чин подполковника, исполнял обязанности помощника начальника оперативного отделения штаба Юго-Западного фронта. Начавшуюся смуту не мог Каппель воспринять иначе, нежели как путь к краху. И единственным спасительным путём виделась — диктатура. Нужен был диктатор, волевой, сильный, живущий национальными интересами России, диктатор, который пресёк бы болтовню «временщиков» и навёл бы порядок. Но диктатор не явился, а большевики пришли. И на этом кончилась для Владимира Оскаровича война Великая, и началась Гражданская. Сомнений, что сражаться с большевиками ему придётся очень скоро, у него не было. Такова была и цель его. Но не думал Каппель стать лидером волжского Белого движения. Это произошло неожиданно, вдруг.

В начале июня 1918-го года в Самаре состоялось собрание офицеров генерального штаба, на котором обсуждался вопрос о том, кто возглавит добровольческие части. Вопрос следовало решить незамедлительно, так как в Сибири начало разворачиваться антибольшевистское движение. Поднявшие в мае восстание чешские части освободили Самару от большевиков. Тотчас было объявлено о формировании нового правительства, состоявшего из членов Учредительного собрания. По всем улицам города было расклеено воззвание о вступлении в народную антибольшевистскую армию. Здание женской гимназии, где производилась запись, было забито молодыми добровольцами. Теперь эту зеленую, в большинстве необученную военному делу молодежь нужно было кому-то возглавить... И что же? Желających взять на себя тяжелую и ответственную роль не

оказалось. Сидели господа старшие офицеры, смущенно молчали, опустив глаза, косились друг на друга. Совесть и смотреть было на это! Кто-то робко предложил бросить жребий. Это стало последней каплей. Ещё не хватало, чтобы кто попало, кому «не повезёт», оказался во главе Добровольцев. Ведь погубит же — как пить дать погубит! И хотя только-только приехал Владимир Оскарович в Самару, и многих был из присутствующих моложе летами и чином, а поднялся и сказал спокойно и твёрдо:

— Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков.

И с радостью согласились все, сняли груз с плеч своих, жали руку, напутствовали некоторые. Кто везёт, того и погоняют... И погнались, в долгий ящик не откладывая. Самарское правительство вело в ту пору переговоры с чешским командованием, упрашивая его задержать чешские части в Самаре, хотя бы на некоторое время, чтобы укрепиться, сколотить свою армию и быть в состоянии дать отпор красным, которые, безусловно, примут все меры, чтобы вернуть Самару. Чехи дали согласие с условием, что Самарское правительство пошлет свои воинские части к Сызрани, где на чешские арьергарды наседали превосходящие их силы красных.

Было у Каппеля всего триста пятьдесят человек. Бросить такой отряд против красных, превосходящих его числом в пять раз, казалось безумием. Но приказ был отдан, и его надо было выполнять. Погрузились в вагоны и отправились. За четырнадцать верст до Сызрани Владимир Оскарович выгрузил свой отряд и, обрисовав обстановку, дал каждому начальнику задание. В восемнадцати верстах западнее Сызрани, на станции Заборовка, стояли красные эшелоны. На рассвете главные силы в количестве двухсот

пятидесяти человек атаковали город в лоб. Остальные части глубоким обходом с севера вышли на станцию Заборовка и, энергично обстреляв эшелоны и заняв станцию, ударили на город с запада, разрушив по пути железнодорожное полотно. Сызрань, оставленная чехами под давлением красных, была взята. Красные в панике бежали к Пензе, бросая раненых, оружие и припасы. До города Кузнецка их преследовал немедленно составленный из простых теплушек броневик. Главным трофеем той операции были военные склады. Отряд потерял убитыми четыре человека, тогда, как потери красных были огромны. Всё смог учесть, всё предвидеть Владимир Оскарович! И Добровольцы все приказы его исполнили с замечательной точностью, ни единого шага неверного! В тот же день в Сызрани состоялся парад. Бесконечные рукоплескания населения, крики приветствий, цветы, толпы народа — все это еще больше подняло дух Добровольцев. После парада их всех тащили по домам, угощали, благодарили. В отряд потянулись новые добровольцы, а захваченное военное имущество дало возможность формировать новые и пополнять старые части. Головокружительной была та победа, и окружила она имя Каппеля тотчас ореолом победителя, который не мерк с той поры.

А из Самары летел уже новый приказ. И сутки спустя грузился отряд из вагонов на пароход «Мефодий». Задача была немного-немало — овладение городом Ставрополем и прилегающими селами, где, по сведениям разведки, были сгруппированы крупные красные силы при большом количестве пулеметов и сильной артиллерии. Трудное дело, но надо справиться. Назвался груздем — полезай в кузов. Сызрань взяли, так и Ставрополь никуда не денется... Немного не доходя до Ставрополя, «Мефодий» пристал к левому берегу Волги и части Каппеля выгрузились. Для

быстроты движения к городу в ближайшей деревне для пехоты были временно взяты подводы, за которые, по приказу Владимира Оскаровича, платили по пятнадцать рублей. В том, что население раздражать нельзя ни в коем случае, был Каппель убеждён. Население — первая и главная опора. Тыл. Если его настроить против себя, то никакой военной гений не спасёт. Имея впереди конные разъезды, отряды быстро двигались вперед, и при встречах с противником неутомленная переходами пехота неожиданно выростала перед красными, внося этим смятение в их ряды.

Красные сгруппировали большие силы с артиллерией и пулеметами в восемнадцати верстах от Ставрополя, около деревни Васильевки. Бой здесь затянулся, противник превосходил белые силы и количественно, и силой своего огня. Белая пехота несла большие потери и залегла, у артиллеристов осталось только двадцать пять снарядов. Тогда Каппель приказал одному орудью быстро выдвинуться насколько возможно вперед, и обстрелять с предельной близости пулеметные позиции противника, а всей коннице широким аллюром пойти в обход правого фланга красных. Орудие карьером вынеслось вперед, и через несколько минут Васильевка была взята. Пехота была посажена снова на подводы, и весь отряд стремительно двинулся дальше, преследуя красных. На плечах противника ворвались в город и заняли его, очистили район от красных.

Задача была выполнена, и пора было возвращаться обратно, но во время погрузки на «Мефодий» захваченного в Ставрополе военного имущества к Каппелю явились крестьяне деревни Климовки, находящейся на правом берегу Волги, и просили освободить их район от красных. Снесясь по прямому проводу с Самарой, Каппель перебросил свои силы на правый берег и на другое утро, после короткого боя,

занял Климовку. Остановившись здесь на дневку, отряд ночью подвергся нападению красных, подошедших к берегу на двух пароходах. На «Мефодий» было оставлено два молодых добровольца, красные их захватили и впоследствии изуродованные тела несчастных были найдены в селе Новодевичьем. Но ночной налет красным не удался — уже привыкший к боевой обстановке отряд, сам перешел в наступление, противник, бросив пулеметы, был прижат к берегу и, быстро погрузившись на пароходы, отошел на север.

Село Новодевичье, где, по сведениям разведки, было около двух тысяч красноармейцев, матросский полк в восемьсот человек, большое количество пулеметов и артиллерия, находилось в восемнадцати верстах от Климовки. Село было сильно укреплено и являлось серьезным экзаменом для полутысячного отряда. Но Добровольцы не сомневались в победе. В ближайшем от села овраге, при огарке свечи, Каппель с собранными им начальниками составлял диспозицию. По этой диспозиции белые части должны были свернуть с главного тракта, которым двигались, на проселочную дорогу, шедшую ближе к Волге, и пройдя три версты от села, там на перекрестке дороги повернуть влево и, обойдя село с юго-запада, с рассветом атаковать его.

В результате блестяще проведенной операции вся артиллерия красных, все пулеметы и пять пароходов, стоявших на Волге, были захвачены Каппелем. На следующее утро разведчики севернее Новодевичьего захватили в плен командующего красным Сингелеевским фронтом, бывшего поручика Мельникова. Рядовых красноармейцев Владимир Оскарович отпустил. Взаимное истребление никогда не принесёт пользы. И, если основываться на нём, то победят те, кто больше истребит. Истребит больше — своего народа. Такая победа может устраивать «товарищей», но не истинных сыновей России.

Гражданская война — война психологическая. Тут действовать надо тонко... Те же отпущенные красноармейцы будут полезны как свидетели того, что «белые» борются не с народом, а с большевиками. Бывшие офицеры, пошедшие на службу «товарищам» — дело иное. К ним пощады быть не может. Подвели тогда, у Новодевичьего, к Владимиру Оскаровичу Мельникова — одет щёгольски, на лаковых сапогах шпоры звякают, на воротнике красные знаки отличия... Поднялся Каппель медленно, приблизился к Мельникову почти лицом к лицу, не отрывая от него взгляда. Вглядывался в лицо изменника, в глаза его, пытаюсь понять — что в них? В душе — что? Как смел? А бывший поручик глаза отводил. Но не просил пощады, страха не показывал. Отвернулся Владимир Оскарович, бросил хрипло:

— Военно-полевой суд. Немедленно... Изменнику.

Через полчаса приговор был вынесен, подписан и приведён в исполнение.

Когда бы продвигаться дальше по тому берегу Волги! Слышно было, что громит на Кубани красных Добровольческая армия, а Донская — рвётся к Царицыну, к Волге. Ах, когда бы им немного быстрее, раньше к Волге выйти! Тут бы и встретились, соединили бы силы! Но далеко была Донская армия. А того дальше Добровольческая. И некому было подкрепить небольшой отряд Каппеля, и нельзя было с такими малыми силами углубляться вперёд — слишком велик риск.

А тут и из Самары пришел приказ снова двинуться на Сызрань, где местные формирования не могли справиться с наступающими красными. Скорее туда! Погрузились на «Мефодий», подоспели вовремя и энергичным ударом принудили красных к отступлению. И — с корабля на бал — из Сызрани, усадив пехоту на



подводы, Каппель двинулся на Симбирск, до которого было около ста сорока верст.

Ожидая появления Каппеля на пароходах, красные сильно укрепили берега Волги под Симбирском. На них были установлены орудия и пулеметы, ночью прожектора шарили по реке, высланные вниз по Волге наблюдатели и разведка зорко следили за рекой. Казалось, что взять город было невозможно. Но предугадал Владимир Оскарович, что именно так будут действовать «товарищи», не стал повторяться. Неожиданно он явился со своими частями, откуда не ждали, и обрушил на город артиллерийские залпы. С громopodobным «ура», гоня ошарашенного неприятеля, ворвались в Симбирск молодцы-добровольцы, а впереди них — сам Каппель. Большевики удирали, бросив все военное имущество, орудия, пулеметы, и даже не успев расстрелять арестованных в городе офицеров.

В Симбирске Владимир Оскарович впервые появился перед населением. Никогда не случилось ему прежде выступать перед столь большим собранием. Городской театр был переполнен до отказа, в гробовой тишине сотни глаз были устремлены на него, ожидая его слов. Говорил Каппель просто, но искренне, говорил от души, говорил о том, что болело у всякого находившегося в зале: о поруганной Родине, о том, что Родина, народ, свобода находятся под угрозой, и на борьбу с этой угрозой всякий верный сын Отечества должен подняться теперь. «Отечество в опасности!» — вот, был лейтмотив его речи. Многие присутствующие плакали. Когда Владимир Оскарович кончил речь, она была покрыта не овациями, а каким-то сплошным ревом и громом, от которых дрожало все здание.

С того дня отряд Каппеля стал быстро пополняться добровольцами. В строй становились офицеры и простые мужики, купцы и инженеры — все, кто был верен своему Отечеству. Несколько вредило движению

правительства. Эсеровскому Комучу не было веры. К тому же и чувствовалось явственно, что Комуч боится армии. И лишь ещё больший страх перед большевиками мешает ему эту армию в который раз предать. Но Владимир Оскарович и его войско жили единой целью — победить большевиков. Думать о правительстве, о политических дразгах было просто некогда. Беспрерывная боевая, походная жизнь не давала отдыха. И в ней основной груз ложился на плечи командира. Он жил жизнью солдат, быт его несколько не отличался от их быта, и в боях он шёл плечом к плечу с ними, залегал рядом в цепях. Но в отличие от рядового бойца командир должен ещё продумывать операции, командир ответственен не только за себя, но за всех подчинённых, командир должен не только воевать, но и думать. Бывало, что не удавалось Каппелю выспаться по несколько суток, бывало, что по целому дню не бывало крохи во рту. Просто забывал за бесконечными хлопотами о том, что нужно подкрепить силы, забывал о голоде, об усталости. Но и не было же лучшего примера для солдат, нежели пример командира.

Казань взял Владимир Оскарович вопреки директивам Самары. Велика была эта победа, но принесла она и горечь. Многие офицеры не пошли в Народную армию, не веря Каппелю, как «ставленнику Комуча». Это недоверие было всего тяжелее, всего больнее для него. А того хуже, что оно стало одной из причин отступления. До сих пор не мог вспоминать Каппель без горечи о тогдашнем, до сих пор занозой в сердце был отказ офицеров вступить в ряды Добровольцев. Кому хуже сделали?.. Полковник Нечаев целую часть кавалерийскую в Омск увёл... Оставил его, вернувшегося по приказу, Владимир Оскарович при группе. Когда разобрался тот во всём, то просил

прощения, глубоко раскаивался в том, что сделал. Да какой прок? Не вернуть уже было кавалеристов тех...

А теперь — отступление. В Сибирь, где не вот и ждут. Где Волжане — чужие. Прислали из Омска чин генеральский. То-то счастье... Лучше бы батальон пехоты прислали. А до Сибири — добраться ещё. И через промышленные уральские районы, где ненавидят замороченные русские люди «царских сатрапов», «офицерье», «буржуев»... Препятствовать движению войск и организовать покушение... Час от часу не легче. И что-то же надо делать с этим. Нельзя так оставить. Записать этих горняков во враги? Да какие они враги? Простые русские люди. Обманутые просто. С ними не сражаться, их не карать надо, с ними надо разговаривать, объяснять, контрпропаганду вести. Ведь русские же! Разговаривать... Вот именно, разговаривать. И не откладывая. И не ища ораторов опытных, которые своими криками только большую сумятицу вносят. А — пойти самому. Одному. И объясниться.

Владимир Оскарович запахнул свою английскую куртку, надел кавалерийскую фуражку, ставшую от времени походить на кепку, подумал, взять ли оружие. Нет, оружия не надо. В случае чего оно не выручит, а может только помешать. Вышел на улицу, вдохнул морозный воздух. Шахта № 2... Найти бы её ещё. Уже и темно совсем... Поманил к себе караульного:

— Вы знаете, где находится шахта № 2?

Караульный был совсем юноша, едва усы над губой пробивались.

— Так точно... — ответил неуверенно.

— Проводите меня.

— Ваше превосходительство, я не могу... — солдат побледнел. — Там большевики. Они вас убьют!

— Если вы боитесь, я пойду один, — стальным тоном отозвался Каппель, не сводя глаз с караульного.

Сломался юноша, не посмел возражать командиру, повёл, но с видом затравленным. Не доходя немного до места, Владимир Оскарович приказал:

— А теперь возвращайтесь назад и никому не говорите о нашей прогулке. Поняли меня? Никому.

— Ваша превосходительство, а как же вы?..

— Выполнять!

Караульный понурил голову, побрёл назад, часто озираясь. Каппель решительно спустился в шахту, слившись с несколькими идущими туда рабочими.

В шахте №2 царил полумрак, и никто не обратил внимания на вошедшего ничем неприметного человека. Владимир Оскарович притулился в углу и стал со вниманием наблюдать за происходящим. Собрание бурлило. Выступали ораторы, призывавшие к мести, уничтожению, борьбе, кричали обычные митинговые лозунги, полные звонких слов, лжи и злобы, которые встречали аплодисментами и криками:

— Верно! Правильно!

— Товарищи! — крикнул председатель, обращаясь к двум или трем красноармейцам, стоявшим около трибуны: — Вы были захвачены белогвардейцами, но удачно спаслись. Расскажите товарищам, что вы видели у Каппеля, о его зверствах, расстрелах и порках!

Так-так, это уже интересно. Что-то расскажут мОлодцы, на все четыре стороны отпущенные? Будут сочинять на ходу? Или им уже старшие товарищи внушили, что нужно говорить?

Ждали собравшиеся рассказа. Ждал и Каппель. А красноармейцы смущенно переглядывались, молчали.

— Не стесняйтесь, товарищи! — подбодрил их председатель: — Говорите прямо обо всем, что у них делается, как вы спаслись из кровавых рук царского генерала!

— Да как спаслись? — пожал плечами один из солдат. — Взяли у нас винтовки, а нас отпустили.

Каппель, говорят, никого из нас не расстреливает, а отпускает, кто куда хочет...

Вот! Вот, во имя чего всё было! Сколько раз слышал Каппель упрёки в том, что гуманизм к красноармейцам вреден, что нужно давить и уничтожать. А он уверял, что те будут полезны, если расскажут у себя, что их отпустили, что их брата не трогают. Верил Владимир Оскарович, что так и будет. Не совсем же без совести стали русские люди, пусть и на той стороне. Считали иные эту веру его идеализмом. Но вот ведь — оправдалась она! Не посмели солдатики русские, в красной армии служащие, врать, будто бы истязал их Каппель. Не забыли добра, и того не забыли, что на их стороне пленных не щадили.

В шахте смущённое молчание повисло. Не того ждали, не того. И председатель занервничал заметно, объявил:

— Это, товарищи, только ловкий трюк! Мозги нам запудривает. А вам, товарищи красноармейцы, даже довольно таки стыдно говорить так на митинге!

На трибуну вскочил какой-то молодой человек и срывающимся голосом, перекрикивая шум, стал читать популярные стихи какого-то красного горе-поэта:

— Мы смелы и дерзки, мы юностью пьяны,  
Мы мезтью, мы верой горим.  
Мы Волги сыны, мы ее партизаны,  
Мы новую эру творим.  
Пощады от вас мы не просим, тираны —  
Ведь сами мы вас не щадим!

— Не щадим... Нет пощады... Смерть белобандитам!  
Смерть Каппелю! — раздался гром голосов.

Ну, вот, теперь пришло время обнаружить себя. В самое пекло. На рожон. А так-то и больше шансов

стихию эту обуздать. Отчаянного да безоружного, вдруг явившегося не тронут. Это — тоже психология. Владимир Оскарович невозмутимо подошёл к трибуне, попросил слова.

— Товарищи! — закричал председатель, — слово принадлежит очередному оратору!

«Очередной оратор» быстро и легко вспрыгнул на трибуну. Ожидая тишины, он спокойно стоял на трибуне, вглядываясь в зал, требующий его смерти, заметил, как у красноармейцев вдруг побледнели и вытянулись лица. Узнали! Наконец, гул затих. Тогда громким и уверенным голосом Владимир Оскарович произнёс:

— Я — генерал Каппель, я один и без всякой охраны и оружия. Вы решили убить меня. Я вас слушал, теперь выслушайте меня вы.

Присутствующие замерли, а некоторые стали осторожно пробираться к дверям.

— Оставайтесь все! — резко и повелительно бросил Каппель. — Ведь я здесь один, а одного бояться нечего!

Мертвая тишина повисла в шахте. Все возвратились на свои места. Никто не посмел ринуться к трибуне, чтобы совлечь с неё «белобандита», никто не посмел вынуть по его адресу оружие, никто не посмел прервать его даже криком. И лишь его голос, твёрдый, глубокий, уверенный звучал в этой настороженной, каждое мгновенье готовой разорваться тишине:

— Здесь говорилось о зле, исходящем от «царизма», от «реакционного офицерства». Но почему-то никто не сказал о том, что несёт России и её народу большевизм. Поэтому об этом скажу я. Большевизм несёт полное порабощение всякого человека, превращение его в бесправный винтик в его бездушной машине. Большевизм несёт разорение крестьянам. Обнищание всех без исключения слоёв населения. Раскрепощение выпущенных их тюрем убийц и грабителей, в руки

которых отдаются судьбы ни в чём не повинных людей. Разрушение всех устоев: церкви, семьи — всего, на чём стояло веками наше Отечество. Не свободу несёт большевизм, а рабство, не равноправие всех слоёв, а всеобщее бесправие перед ЧеКой. Россия катится в пропасть, и единственная моя цель — остановить это гибельное движение. Я не воюю с народом. Это подтвердят вам и солдаты, выступавшие передо мной. Никто из взятых в плен красноармейцев не был нами убит или искалечен, но все отпущены. И глядя в глаза вам, я могу сказать твёрдо: мои руки чисты, ни я, ни мои соратники не были палачами. Могут ли то же самое повторить товарищи большевики? Могут ли повторить они, расстреливавшие ваших братьев, рабочих, на Сормовском, Воткинском, Ижевском и других заводах? Они, сотнями топившие заложников в Сарапуле? Они, выгребавшие до последнего зёрнышка крестьянские запасы, выжигавшие целые деревни? Они, предававшие пленных изощрённым пыткам? Не посмеют они сказать этого, глядя в глаза вопрошающим! Я не борюсь ни за политический строй, ни за партии, ни за власть, ни за класс. У нас нет преобладания какого-либо класса в отличие от большевиков. Для нас не существует такого различия, и у нас бок о бок сражаются офицеры и хлебобобы, рабочие и купцы. Поэтому наша армия именуется Народной. Мы сражаемся за то, чтобы прекратилась литься невинная кровь по нашей земле, чтобы прекратились бесчинства большевистских наёмников, чтобы в России право стояло выше силы, чтобы всякий человек был свободен и не боялся ежеминутно, что его ограбят или убьют. Чтобы всякий человек мог спокойно заниматься своим делом, чувствуя себя под защитой закона. Мы сражаемся против насилия «чрезвычайка», против тех, для кого Россия — пустой звук, большая часть суши, на которой можно ставить опыты. Мы сражаемся за Россию, за

Россию сильную, свободную, независимую, национальную, за народ русский, которому не престоало влачить то жалкое существование, в которое он ввергают теперь. За достойную жизнь каждого в ней. И во имя этой цели мы проливаем кровь. Не заложников, не женщин и детей, не безоружных пленных, как это делают большевики. А свою кровь. Мы хотим, чтобы Россия процветала наравне с другими передовыми странами. Мы хотим, чтобы все фабрики и заводы работали и рабочие имели вполне приличное существование. Я пришёл к вам теперь, как русский человек к русским людям, веря, что не настолько же ещё обезумели мы, чтобы друг друга не понять. Теперь я сказал вам всё, что хотел, и вы можете убить меня, как только что вас призывали.

Так измотался в последние дни полковник Тягаев, что сквозь навалившийся тяжёлый сон не сразу разобрал, что такое говорит ему, трясая за плечо, Донька. Прибыл Пётр Сергеевич из Омска в армию, и сразу такими далёкими и малозначительными показались недавние личные переживания. Так и всегда было: личное отступало на второй план перед служебным, перед Долгом. Каппеля застал Тягаев в окружении целой инженерной комиссии: судили-рядили, как починить мост через реку Ин. Мост железнодорожный беспомощно лежал на льду, и бронепоезда не могли продвигаться дальше. Теперь только красных не доставало! Опаснейшее положение! А те — и близко уже, по пятам идут. И зная это, члены комиссии убедительно доказывали Владимиру Оскаровичу, что на починку нужно недели две. А в запасе и дней двух не было... Слушал Каппель специалистов, а затем велел позвать одного из офицеров, который с чинами бронепоездов занимался реанимацией моста. Подбежал молодой прапорщик,



запыхавшийся, вспотевший, неуклюже поправлял косматую, серую папаху, вытянулся в струнку.

— Когда предполагается пустить эшелоны через мост? Мы имеем всего два-три дня, — спросил Владимир Оскарович.

— Поезда едва ли смогут пройти ранее двенадцати часов завтрашнего дня, — ответил прапорщик виноватым тоном, словно извиняясь, что не может наладить мост в два часа.

Каппель крепко пожал ему руку:

— Идите, работайте! Спасибо вам!

Комиссия разводила руками, оспаривала. Не знала эта учёная комиссия русского человека, хотя русские же были в ней. Две недели — это по-научному, с планами и расчётами, как положено. Это, господа хорошие, роскошь. А русские люди безо всякой науки да на глаз в считанные часы всё необходимое сделают. Голь на выдумку хитра. Русский человек, решительно, всё может! Талантлив и изобретателен он! Непобедим! Но только, чтобы таланты эти проявились, цель нужна и сила направляющая. Нужен — вождь. Вождь, который сказал бы заветное «Вперёд!», увлёк бы за собой, вождь, слово которого воспринималось бы, как закон. Когда есть такой вождь, энергия удесятиряется, и море по колено становится. Такой вождь — концентрирует волю массы, которая без него размякает и разбредается. Каппель и был таким вождём. Много невозможного совершили под его началом Волжане. И вот, подняли мост за сутки. Комиссии только ахнуть осталось...

Пересекли Ин, а потом с боями пробились к Уфе. Здесь занемоглось Петру Сергеевичу. Одолела запущенная простуда. И теперь лежал он в натопленном помещении укрытый полушубком и чьей-то дохой и спал. Снился какой-то бред. Снились Лиза... Будто бы пришли с нею и с Надинькой в театр. Когда

такое было в последний раз? Не вспомнить даже. Но бывало, бывало... Пришли в театр, сидели втроём в ложе, а на сцену вышла... Криницына. Пела «Звезду любви» и смотрела глазами лани на Тягаева, а в этих глазах слёзы стояли. И нестерпимо стыдно было перед ней, и жалко её, и хотелось к ней броситься... А рядом сидела Лиза. И тоже смотрела, скосив глаза. И перед ней тоже было стыдно. И готов был полковник провалиться сквозь землю. А тут откуда-то голос Донькин:

— Ваше высокоблагородие, проснитесь!

Проснулся, но не до конца. Голова ещё в тумане была, но видение бредовое исчезло. Присниться же такое! Ужас, сущий ужас... Сколько кошмаров снилось прежде, война снилась, но и то не так тягостно было.

— Пётр Сергеевич! Каппель исчез! Вы слышите, господин полковник?

Подскочил, как ужаленный.

— Куда исчез?! Как исчез?!

Донька (стоял с перепуганным лицом) плечами пожал:

— Никто не знает. В штабе переполох. Говорят, вчера на митинге постановили Каппеля убить...

Аж дыхание прервалось. Ещё этого не доставало! Тогда всему конец! Да как же могло случиться? Ведь не из штаба же выкрали?

— Говорят, будто бы сам ушёл куда-то...

Безумие! Куда ушёл? Один??? Ценил Пётр Сергеевич отвагу, но не безрассудство же! Отними вождя, и рассыплется группа, и никто не выведет её... Как же можно рисковать так?!

Вскочил Тягаев, накинул полушубок, поспешил, мучаясь ознобом, в штаб. А там уже едва ли ни паника была. У старших офицеров лица вытянулись, побелели, как мел. Удалось выяснить, что генерал ушёл на прогулку с одним из офицеров и до сих пор не

возвращался. Так надо же — искать! Не теряя ни мгновения! В ту минуту, когда решали, как лучше всего организовать поиски, чтобы раньше времени не взбудоражить войска, с улицы слышались крики «Ура!». Вместе с другими офицерами Пётр Сергеевич вышел из штаба и остановился в изумлении. К штабу шла целая толпа горняков. Они несли на руках Каппеля и кричали ему «Ура!»... Настолько удивительной была эта картина, что Тягаев едва мог поверить своим глазам. Немного не доходя до штаба, рабочие опустили генерала на землю и стали расходиться, качая головами, говоря с восхищением:

— Вот это — так генерал!

Как ни в чём не бывало, Владимир Оскарович вошёл в штаб. Завидев Петра Сергеевича, кивнул ему:

— Рад, что вам уже лучше, полковник. Зайдите ко мне.

Тягаев проследовал за генералом в занимаемую им комнату. Там Каппель зажёл огарок свечи, опустился на стул, вздохнул и устало посмотрел на Петра Сергеевича:

— Вот, теперь никаких недоразумений не будет. Рабочие выразили готовность оказывать нашей группе всякое содействие и ничем нам не препятствовать.

— Как же вам это удалось? — поразился Тягаев.

— Мы просто поговорили... Большая ошибка решать всё силой. Мы же не с внешним врагом воюем. Со своими же братьями, с русскими людьми. И кровь их не добавит нам ни чести, ни славы. Честь и слава в том, чтобы рассеять ту тьму, которой забили их головы, привлечь их на нашу сторону. А для этого нужно разговаривать. Не кричать, а разговаривать, — Владимир Оскарович помолчал и, взглянув на оплывшую свечу, добавил грустно: — Бедные русские люди... Обманутые, темные, такие часто жестокие, но русские...

## Глава 18. Цареубийца

*Начало января 1919 года. Омск*

— Через полчаса тучи уже нет; облака, грудями в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит на небе. Крон в солнечных лучах идёт домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветёт растрёпанными шапками, и к отцу Крониду плывёт душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пёс Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тёпел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими жёлтыми глазами; весь он, как добрый резвящийся чёрт... — и тепло стало на сердце, такое чувство, точно пёс этот подбежал, и руки тонут в его тёплой, густой шерсти... Вспомнился Наде пёс, с которым резвилась она всё детство. Именно такой он и был, на медведя похожий, огромный, белый... Отец привёз его щенком в подарок, когда вернулся из Туркестана. За статью и белизну назвали пса Лордом. Бабушка боялась, что он, такой огромный, может невзначай покалечить Надиньку, а того хуже — укусить. Но Лорд Надиньку не кусал. Он был благороден и степенен и свою маленькую хозяйку опекал и защищал. Не было у Надиньки друга более верного, чем Лорд. Всё-всё понимали его мудрые, совсем человеческие глаза... И так плакала она, когда его не стало!

— Утихли ветры, в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девственен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи... — в который раз читала Надя рассказ о священнике

Крониде, но снова удивлялась: каким же чутким художником надо быть, что бы так сказать — «в облаках любовь и благозвучие»! Этот рассказ наиболее часто читала сестра Юшина вслух раненым. Для лучшей поправки от любой болезни нужны положительные эмоции — об этом ещё бабушка говорила, когда выхаживала Надиньку от кори. Значит, никаких газет, никаких дурных новостей, никаких мрачных повествований, а только самое светлое, радостное, прекрасное... И старательно выбирала Надя, что читать во время своих дежурств. Невелик выбор был, но и не мал. Бунин, Тургенев... Достоевского — ни в коем случае. От него и здоровому занеможет. Зарубежное что-нибудь? Например, чудную рождественскую историю Диккенса «Сверчок на печи». Как раз и время подходящее: Рождество скоро. И своих, навсегда любимых — Чарскую, Зайцева... У кого ещё столько солнца на каждой странице разлито, как не у Зайцева? Хотя были у него и другие рассказы. Совсем не солнечные. Один из первых — «Волки». В детстве не понравился он Надиньке. Слишком уж мрачен был. А, вот, теперь перечла на досуге, не вслух (мрачного и без того у болящих довольно), а для себя, и совсем по-другому ощутила. Да ведь это — притча! Больше того — пророчество! «И теперь волкам казалось, что оставшийся товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмёт, похоронит их в себе». И стали роптать волки на своего старого вожака:

— Где мы? Когда мы придём куда-нибудь?

А старик отвечал:

— Товарищи, вокруг нас поля, они громадны, и нельзя сразу выйти из них. Неужели вы думаете, что я

поведу вас себе на гибель? Правда, я не знаю наверное, куда нам идти. Но кто это знает?

— Ты не знаешь, не знаешь. Должен знать! — и кинулись в бешенстве на вожака и растерзали его...

«Усталые волки расходились в разные стороны; они отходили от этого места, останавливались, оглядывались и тихонько брели дальше; они шли медленно-медленно, и никто из них не знал, куда и зачем идёт. Но что-то ужасное, к чему нельзя подойти близко, лежало над огрызками их вожака и безудержно толкало прочь в холодную темноту; темнота же облегалась их, и снегом заносило следы...

...А потом они опять принялись выть, но теперь каждый выл в одиночку, и если кто, бродя, наткнулся на товарища, то оба поворачивали в разные стороны.

В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал её, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля».

Семнадцать лет назад написан был этот страшный рассказ! И тогда — не поняли всей его глубины. А теперь сбылось, сбылось, сбылось... Это был единственный рассказ, который Надинька ни разу не перечитывала. А теперь перечла впервые и всё возвращалась к нему. Рассказать или написать Алёше...

Дочитала сестра Юшина раненым «Кронида», прикрыла заболевшие от утомления глаза. Написать Алёше... Где-то он теперь? Едва только наступал перерыв в работе, как первая мысль была: нет письма! Уже три недели нет. Ни весточки. Каждое утро ждала, и сердце обрывалось: ничего. А если ранен? Лежит в каком-нибудь походном лазарете, и позаботиться некому... Металась, рвалась на фронт. Если в поезд санитарный пойти служить? И нагрузка больше там, не останется времени думать. Вера Григорьевна

остановила. Сказала, что нельзя так срываться. И из родного госпиталя, где привыкли уже к сестре Юшиной, и не дождавшись вестей о муже.

— Уедешь, а тут тебе письмо! Или сам он! Так и разминётесь!

А письма всё не было... Что же случилось? Что? Господи, лишь бы жив был! Беспокоилась Надя и об отце. Но гораздо слабее. Даже судила себя за это. Но отец всю жизнь был в отлучках, на войнах, это было привычно. И как-то отдалился он. Любила Надинька отца, а близости душевной с ним не было. И быстро возвращались мысли снова к Алёше.

Раненые спали. В ночной тишине слышно было лишь, как тихо стонал доставленный накануне штабс-капитан, как бормотал что-то, вскрикивая контуженный ротмистр... В палату тихонько вошёл легко-раненый пожилой солдат с окладистой, ещё не тронутой сединой бородой, приблизился к Наде:

— Дочка, там братушка наш, кажись, помирать собрался... Тебя кличет...

— Меня? Так лучше доктора позвать.

— И я сказал, что доктора. А он грит: позовите сестричку, барышню нежную. Тебя, дочка выходит. Грит, будто бы знавал тебя прежде.

Совсем удивилась Надя. Не помнила она, чтобы знавалась с кем-либо из солдат раньше. Должно быть, спутал с кем-нибудь. Но всё равно надо идти, раз зовёт человек. Посмотреть, что к чему, и позвать доктора.

Солдата, который звал её, Надя не узнала. Перед ней лежал худой человек, с лицом мокрым от пота, давно небритым. Недавно ему ампутировали ногу, но неудачно, началась гангрена. Это сестра Юшина намётанным глазом сразу определила. Сев возле страдальца, она взяла его за руку, наклонилась:

— Вы звали меня?

Несколько солдат, занимавших соседние койки, вышли покурить, чтобы не мешать братушке разговаривать. Он лежал один, в самом углу палаты. Заслышав голос Нади, приоткрыл глаза:

— Вы ли это, барышня?

— Простите, я не могу вспомнить...

— Мы с вами в поезде сознакомились. Вы с мужем тогда ехали... В Сибирь... Кузьма я...

Кузьма? Вспомнила Надя. Конечно, Кузьма! Тот самый солдат-попутчик, «большевик с человеческим лицом», как его за глаза Алёша прозвал. Неужели он? Узнать нельзя. И — как здесь? Ведь он же с той стороны?

— Я помню вас, милый. Но как вы здесь?

— Не ошибся, значит... — по пересохшим губам мелькнуло подобие улыбки. — Я, барышня, до утра не протяну...

— Я доктора сейчас позову.

— Не зовите, барышня. Очень вас прошу. Мне бы теперь попа лучше... Но попа тоже не хочу... Я в Бога не верю... А душу кому-то перед смертью излить охота... Облегчить... Вы, барышня, хорошая. На тех похожи... Они у меня и сейчас, как глаза закрою, стоят перед взглядом, словно я их убил... А я не убивал... Я не хотел... Это несправедливо было!

Всю жизнь Кузьма Данилов искал справедливости. Мальчишкой оставшись сиротой после того, как родители преставились в голодный год, он, прихватив маленькую сестрёнку рванул из деревни к дядьке, ещё летошним годом нанявшемуся на Каштымковский завод. Дядька, Трофим Алексич, сам жил впроголодь, временами запивал так, что начинали ему по углам мерещиться черти, и сам он становился схож видом с чёртом. Жену свою, смурную и желчную бабу, он частенько лупцевал. Бивала и она его. Детей у них не было, и за то дядька бранил её непотребными словами.



Таковые слова, вообще, составляли основу его небогатого словарного запаса, и приличные в запойные дни лишь изредка вклинивались в этот поток матерной ругани. Племянникам ни Трофим Алексич, ни его Марфутка не обрадовались, но с порога, однако же, не погнались. Устроил дядька Кузю на завод, и стал Кузя сам себе на хлеб зарабатывать. Сестрёнка его померла через год от глотошной, и остался Кузьма совсем один. Шёл тогда 1905-й год, и везде вспыхивали забастовки, и сновали по фабрикам и заводам агитаторы, и казалось, что рухнет скоро ненавистное самодержавие, и трудящиеся вздохнут полной грудью...

Само собой, примкнул Кузя к революционерам со всей юношеской горячностью. Он и грамоты не знал, но то, что мир устроен несправедливо, и надо менять его, понимал слишком хорошо. Разве справедливо, что его родители с голодухи померли, когда баре с золотых блюд едят, и столы у них ломаются? Сестрёнка от глотошной померла, а богатеи завсегда бы хорошего доктора сыскали! А сам Кузьма? Барские-то дети грамоте учатся, забот не знают в его года, а у него руки в мозолях, а недавно надорвался, так две недели кровью харкал — тётка уже хоронить собиралась. А как рабочие живут? Да ведь смотреть страшно! Весь досуг — водка. А разве их в том вина? Они и рады бы чем иным заняться, да только грошей, которые они за свой пот получают, только и хватает, что на горькую. Человеческий облик люди теряют от нищеты и судьбы беспросветной, а баре в роскоши купаются, и дела им нет до того!

Появился тогда на заводе агитатор. Фамилии его никто не знал, а только кличку — Зиновий. Зиновий был ещё молод. Сухощавый, горбоносый, с глазами-угольями горящими — настоящий борец, хоть сейчас на баррикады! К нему-то и прилепился Кузя, как к брату старшему, всякому слову его внимал, повторял в

уверенности, что выше этой истины ничего быть не может. Зиновий Кузьму привечал, научил грамоте, объяснял, что такое есть коммунизм, шпарил цитатами из Маркса и Ленина. От него впервые услышал Кузя эти дорогие и великие имена. А потом товарища Зиновия арестовали... Двое палачей-жандармов увели его, улыбающегося, пружинистого, горящего жаждой свергнуть тиранию и построить справедливое общество. Он был прекрасен в момент ареста! Столько вдохновения было в лице его! Позже узнал Кузьма, что Зиновия застрелили при попытке к бегству. Звери!

А революцию, так славно начавшуюся, задушили. Кузю по молодости лет даже не подвергли наказанию за участие в антиправительственных акциях, пожурили только, и такое отношение совсем уж обидно было! Ощущал себя Кузьма уже настоящим борцом, революционером! А на него смотрели, как на мальчишку.

Снова тянулось беспросветное заводское существование. Но томилась душа Кузи. Требовала настоящего дела. Требовала борьбы. Тот, кто смиренно терпит несправедливость, подставляет щёку, живёт в грязи и смраде и не ищет лучшей доли, не борется с тиранией, тот ничего лучшего и не стоит, а достоин только презрения!

В Бога Кузьма не верил. Какой Бог, если так несправедливо всё устроено? Если только кровопийцам живётся хорошо? Если церковь озабочена лишь тем, чтобы умножить свои доходы? Вон, глико на духовенство! В золоте и серебре все! А народ бедствует! Раскормились сами, а народу бедность проповедуют?! Лицемеры! Какой, вообще, прок от попов? Тоже паразиты! Буржуазные элементы! И товарищ Зиновий так говорил. Кормят сказками про загробную жизнь. А нетути её! А поэтому строить жизнь нужно здесь! Настоящую жизнь! Справедливую,

равноправную, счастливую! Коммунизм, одним словом. И ради торжества его готов был Кузя отдать жизнь.

В партию вступил Кузьма в 1908-м году. В тот день был он, словно именинник. Сбылась мечта! Теперь и он не просто Кузька Данилов, а товарищ Кузьма, член коммунистической партии, во главе которой (дух захватывает!) — Ленин! Ах, когда бы самого его увидеть, руку пожать! Но куда там! Это заслужить надо! Борьбой заслужить! И Кузя боролся: распространял листовки, агитировал своих заводских... За эту агитацию и погнали его с завода, а за найденную при обыске литературу два года ссылки дали. То-то устрашили! Ссылкой! Жил эти два года Кузя, как у Христа (хоть его и не было) за пазухой. Казённое содержание, здоровый сибирский воздух... Столярному делу выучился, охотился, читал Маркса. Мудрёно тот писал, трудно это чтение Кузьме давалось. Вот, был бы жив товарищ Зиновий — всё бы коротко и ясно объяснил. А сам терялся Кузя, не понимал. А сколько бы ещё прочесть надо! Два года бился с «Капиталом», но до конца так и не одолел (об этом никому, стыдно признаться, говорить с видом знающим: читал, мол, знаю). Правда, было у Кузьмы подозрение, что многие товарищи тоже не читали, и это несколько утешало. В конце концов, все детали нужно знать вождям. А рядовому бойцу — необязательно. И так ведь ясно, как день, что и Маркс, и Ленин за справедливость, за рабочий народ, что они правы.

Кончилась ссылка, и задумался Кузя, куда дальше грести. Обрато на завод? Нет уж, этап пройденный. За границу? Ждут там... Для заграницы образования в половину «Капитала» маловато. Дело нужно. А где его делать? Ясно где — в Петербурге! Там главная работа кипит! Там все вожди, которые не заграницей! Они и посоветуют, и направят.

Рванул Кузьма в столицу. Шёл июнь 1914-го года. Едва успел Кузя осмотреться в городе, отыскать своих, едва успел побывать на нескольких конспиративных собраниях, как грянула война, и вместо революционного подполья оказался он в армии, будучи призван в неё уже в первых числах августа.

Вначале огорчился Кузьма, что так вышло. Но старшие товарищи утешили: служба в армии, тоже можно принести пользу общему делу, распространяя наши идеи в солдатской среде. Точно! Как это сам не сообразил! Уж этому-то Кузю и учить не надо, с молодых ногтей тем только и занимался! С таким партийным заданием и отбыл рядовой Данилов на фронт. Только оказалось, что фронт это немножко другое. Внёс фронт свои поправки в намерения Кузьмы. И впервые на фронте какая-то неуловимая, едва заметная трещинка тронула казавшийся нерушимым гранит его убеждений.

Война есть война, и на войне надо воевать. Империалистическая она, капиталистами начатая, но воюют-то кто? Да народ и воюет! Простые крестьяне и рабочие! И ни отстать от них, ни ножа в спину воткнуть — нельзя. Вот, забузили на оборонных предприятиях, слышал Кузя. А как же можно? Снаряды-то братушкам нужны, солдатам, это ж они в окопах гибнут. Борьба борьбой, революция революцией, но и разуместь же надо, по ком бить! Вождям-то того не видать, а Кузьма на передовой усёк быстро. Агитационная работа не очень шла у него, как-то всё не ко времени она приходилась. Ну, вот, к примеру: несколько суток с германцем бились, из окопов не вылазили, наконец, передышка, и что, лезть к людям с идейными вывертами? Пошлют, не стесняясь, в выражениях, и правы будут. Видали, скажут, агитаторов вшивых. Да и самого Кузю не тянуло на агитацию. Всё больше засасывала его подлая война, втягивала против воли в свою мясорубку. И думалось уже не о том, как бы

революцию скорее сделать, а о прозаическом: как живым остаться, как бы немцу вжарить (стыдился Кузьма такого своего желания — там же, на той стороне тоже трудящиеся, но крепло оно, чем больше братушек в землю укладывалось). А тут ещё слюбился с одной бабёшкой из деревни, возле которой стояли лагерем. И впервые подумал, что жаль будет помереть, и чтобы никто не заплакал над могилой, и никакого продолжения не осталось на земле. Как одинокий волк. Раздёргивалась прежняя цельность борца-революционера на разные мелочи. Нет, не стать никогда Кузе таким, каким был товарищ Зиновий! Товарищ Зиновий, тот как стрела был. Летел к своей цели и ничего кроме неё не видел. А Кузьма всё озирался, озирался, и лёт его, ещё в Петербурге ставший таким стремительным, замедлялся от этих озираний, сбивался...

А тут — как мир перевернулся! Коронованный кровопийца отрёкся от трона! Сам??? Уму непостижимо! Выходит, Революция произошла?.. Так вдруг?.. Сама собой?.. Без Кузи?.. Даже обидно стало. Но быстро сообразил — это революция не та! Не наша! Кого она к власти привела? Опять буржуев-капиталистов! А трудящимся что от неё? Шиш! Революцию, товарищи, надо углубить, довести до конца! Вот, в этот-то момент и проснулся в Кузьме задремавший было борец и агитатор! Временное правительство — обман! Это, товарищи, всё та же сволочь! Нужно, чтобы установилась власть наша, рабоче-крестьянская! Как говорит товарищ Ленин... Не очень-то знал Кузьма, что именно говорил Ильич, прочесть его толком не успел, но разве это было важно? Ильич ошибаться не может! А Кузя, и не читая, говорил с такой убеждённостью и вдохновением, что ему верили. Избрали председателем солдатского комитета полка. Положение — крепче офицерского. Лепота! Офицеров иных даже жаль было

Кузе. В конце концов, не все из них были кровопийцами. И хорошие люди тоже встречались. Помнил Кузьма, сколько погибло их только в первые месяцы наступления, когда шли они впереди своих солдат, больше их рискуя, чаще их погибая. И жертвы эти примиряли с ними. А к тому, классовая борьба классовой борьбой, но без офицеров-то как? Всё ж таки, чтобы войну вести, образование нужно, знания, опыт. Свои командиры пока возрастут, а теперь других нет. Значит, с теми офицерами, которые не шкуры, нужно сотрудничать.

Войну эту считал Кузя преступлением царского режима. Столько крови народной за свои империалистические интересы пролили, сволочи! Но теперь, когда Революция (пусть и не та пока) свершилась, задумался Кузьма, что и эту капиталистическую, подлую войну можно превратить в войну справедливую, освободительную! В Мировую Революцию! В других странах под игом буржуев сколько трудящихся томиться, братьев наших! Так надо же и им помочь! Дух захватывало от размаха! И продолжал Кузя служить. Не бежал, как иные, с фронта. Да и бежать, по совести говоря, некуда было. Один, как волк один. Ни кола, ни двора, ни души близкой. Братушки — кто жёнок вспоминал с детками, кто матерей... А Кузьме и вспомнить некого было, кроме пьяницы-дядьки. Все в земле сырой лежат. Служил Кузя честно, не отлынивал, за чужими спинами не прятался. И знало начальство, что он большевик, а тронуть не смело. Высоко было влияние его на солдат. И сам (парадокс!) из лучших бойцов оставался.

А после Октября не выдержал Кузьма, оформил отпуск (зная наперёд, что не возвратится, но всё же формальность соблюдая) и рванул в Петроград. Ходил по нему и радостью захлёбывался. Дожил! Дожил! Дожил! Вот она, Революция наша! Рухнул в тартарары

старый мир, теперь новый устроится! Такой, какого никогда и нигде не бывало! Справедливый мир! В нём дети не будут знать таких горьких путей, каков выпал Кузе. В нём все будут равны, свободны и сыты. Непременно так будет! Вначале, конечно, понадобится одолеть врагов, которые справедливости не желают и рабочему государству мешать хотят, в потом, потом... Ходил Кузьма на митинги. Видел, хотя и издалече, Ленина. Видом не богатырь, а какой человек! Охрип Кузя, «ура» крича и Интернационал распевая.

Ждал Кузьма, что заметят его, что дадут дело. А не тут-то было. Не замечали среди множества таких же. Да и что успел Кузя сделать для Революции, чтобы его заметили? Не Кирпичников, чай... Взгрустнулось. Подышал Кузьма вольным воздухом и... вернулся на фронт. Революция Революцией, а напирющую немчурку сдерживать тоже надо. Она уж и рот раззявила на нашу землю. Своего царя скинули — для того ли, чтобы кайзеру ихнему отдаваться? Шалишь, брат! Мы и тебя скинем! Раздуем мировой пожар! Теперь же! Лучшего времени не будет! А за это и умереть — счастье!

Но Ленин промыслил иначе... С кайзером заключили мир. Огорчился Кузя: а как же Мировая Революция? Как же томящиеся братья? Ведь их выручать надо! Ленин ошибаться не может, конечно, но... Грызло Кузьму это «но». И всё же, раз Ленин сказал, значит, правильно. Сначала со своей конторой разделаться надо, самим укрепиться, а тогда и дальше двигаться, миру освобождение нести. Стало быть, прямой путь Кузе — в Красную армию. Но прежде решил он всё же навестить родные края, посмотреть, что-то стало там за шесть лет его отсутствия.

Приехав в Екатеринбург, стал Кузьма разыскивать дядьку. Какой-никакой, а единственный родственник остался. Трофим Алексич с начала войны работал на Злоказовской фабрике (само собой, после Революции

эксплуататора Злоказова сразу отправили в острог). Фабрика эта изготовляла снаряды и являлась предприятием оборонного значения, рабочих которого нельзя было призывать на фронт, поэтому все, кто желал от фронта уклониться, стремились на неё устроиться. Пил дядька ещё больше прежнего: лицо его приобрело синюшный оттенок, налитые глаза вращались, как у бешеного кабана. Несильно отличалась от мужа и тётка. Племяннику оба они на сей раз обрадовались, усадили за стол, выставили здоровущую бутылку самогона. Трофим Алексич даже всплакнул:

— Жертва ты наша!

— Чего мелешь? Какая ещё жертва?

— Царизма этого проклятого! Чуть не сгубили парня, душегубы! Мальчонку! Ни за что! На каторгу! В кандалы! Суки! — протянул протяжно, со всхлипом.

Не бывал Кузя ни на каторге, ни в кандалах, но спорить не стал. Так и лучше даже. Славы больше, ежели в кандалах. А про ссылку и сказать неудобно, самое благополучное время в его жизни было — поправился там даже. Каторга, конечно, каторга! Пусть так и думают все, что Кузя политкаторжанин.

— Сиротинушка ты моя, — подскуливала мужу тётка визгливым голосом.

Пили несколько дней кряду, и дни эти стёрлись из памяти, словно не было. А вслед затем нашло Кузьму дело.

Нашло оно, впрочем, не Кузьму, а всех Злоказовских. А Кузьму, как бывшего заводского да ещё партийца со стажем, привлекли до кучи. А дело было — чрезвычайное. Охрана бывшего царя, привезённого вместе с семьёй в Екатеринбург, и заключённого в доме Ипатьева. Охранять его, кроме злоказовцев, набрали рабочих Сысертского завода. Но им доверили лишь наружную охрану, а злоказовцам — в самом доме.



Царя Кузя ненавидел. За войны, прошлую и нынешнюю, за Кровавое воскресенье, за расстрелы рабочих, за... За то одно, что он был — царь. Сразу согласился Кузьма охранять его. Ещё отобьёт его контра, какая угроза Революции будет! Необходимо охранять — до суда. В том, что будет суд, Кузя не сомневался. Как же иначе? Царь не перед кем-нибудь проштрафился, он перед всем народом виноватый. И перед народом ответить должен за свои преступления. И только народ вправе судить. Всенародный суд над царём мнился Кузьме, как апофеоз, торжество Революции и справедливости.

С таким настроением и вступил свежеепечённый красноармеец Данилов в Ипатьевский дом. Впервые в жизни увидел он царя и его семью. Увидел в нескольких шагах от себя, как простых смертных. Смотрел на них презрительно: попили вы кровушки нашей, теперь отыгрывается вам, получите! А царь вдруг остановился перед ним, посмотрел открыто, прямо в глаза... Был он невысок ростом, пониже Кузи, ещё не стар, и ничего не было в нём царственного, тем более, тиранского. Человек как человек... Странно даже... Лицо казалось спокойным, а глаза были ясными. Почему он остановился напротив Кузи? Смотрел, словно хотел что-то сказать, но не произносил ни слова. Во взгляде не было ни укора, ни неприязни, а немой вопрос, что ли — не мог Кузьма разобрать. И не по себе от этого открытого, ясного взгляда стало. Почему-то вдруг совестно... И первым отвёл Кузя глаза. И царь прошёл...

Позже не раз ещё приходилось Кузьме видеть его. Чаще всего это бывало в саду. Бывший самодержец ежедневно выходил гулять с детьми. Царевич, кажется, был сильно болен и не мог ходить. Часто он просто сидел в коляске, а во время прогулок отец всегда носил его на руках. Мальчика Кузе было по-человечески жаль. Ненависть, питаемая к царю, не переходила на его

детей. Убеждён был Кузьма, что дети не ответчики за грехи отцов. Что карать детей за то, что их родители были кровопийцами несправедливо. В этом ещё больше убедило его наблюдение за княжнами.

Никогда не мог подумать Кузя, что княжны бывают такими. Скромные, простые, всегда приветливые... Ни единого взгляда недоброго, ни гордости, ни надменности... Милые, чистые барышни. Барышень Кузьма почему-то всегда стеснялся. А тут ещё и царевны... И жалко их становилось. Почему бы не простить их? Пущай бы жили. Как все прочие, обычные люди. Своим трудом. Неужто не хватит им места в нашем новом мире? Непременно хватит! Всем хватит, кроме шкур и кровопийц!

Когда царь проходил мимо, Кузе всё время казалось, что он хочет о чём-то поговорить с ним. Однажды спросил, как в первый раз, ясных глаз не отводя (словно в душу ими взглядеться хотел, понять):

— Скажите, что происходит — там? — кивнул за забор. — Какие новости? Что война?

Смутился Кузя, ответил сбивчиво:

— Так это... Война идёт... Русские с русскими дерутся... — зашарил рукой в карманах, ища табак.

— Вы что-то потеряли?

— Закурить...

— Вот, возьмите, — протянул несколько своих папирос.

Совсем не похож был на царя этот венценосный узник. Столько простоты и обходительности в обращении... Ловкая игра? Нет, не похоже. Человек играющий, лгущий не может так открыто смотреть в глаза. Стал Кузьма даже избегать встреч с царём, чтобы взгляд этот не преследовал его. Ведь до чего дошло: ему, партийцу со стажем, убеждённому большевику, жертве царизма, красноармейцу! — стало жаль царя! Перед товарищами неловко!

И за товарищей тоже неловко было. Ненависть их к самодержцу была Кузе понятна. И суровость нужна в деле охраны. Но зачем же делать мерзости? Сопровождали княжон в уборную с непристойными шутками, писали непотребные надписи и рисовали того же пошиба рисунки, пели похабные песни. Заставляли нежных барышень им, пьяным в хлам, играть на пианино, насмехались... Пробовал иногда Кузьма урезонить слишком разошедшихся товарищей, но те щурились подозрительно:

— А ты что за заступник? Ты, что ли, контра?! Так мы тебя самого в распыл пустим!

А тон безобразному поведению задавал комендант Авдеев. Вор и пьяница, он не упускал случая, чтобы досадить узникам. В любой просьбе отказывал им с нескрываемым удовольствием, говорил о них в самых резких выражениях, глумясь и чувствуя от этого себя выше и значительнее.

По вечерам собирались караульные в комнате, прямо под покоем узников, напивались пьяны, орали во всю глотку революционные гимны. Подтягивал и Кузя «Вы жертвою пали...», пил много, чтобы залить явившееся ощущение несправедливости происходящего в этом доме. А вокруг сыпались пьяные рассказы о царице и Распутине, одна похабнее другой. Интересно, правду ли говорили? Неужто царица с мужиком спуталась? Дыма без огня не бывает... Царица Кузьме не нравилась. Гордая! Совсем ничего сходного с мужем. По ней сразу видать — царица. В сад она не выходила. Иногда лишь сидела на крыльце. Как изваяние. Нерусская какая-то, надменная. Видать, много понимает про себя. Схожа с матерью была одна из царевен, Татьяна. Мягче гораздо, но тоже — строгая, гордая. А собой хороша. Темноволосая, волоокая... Что особенно удивляло Кузю, как стоически переносили эти нежные барышни ту обстановку, в которой им

приходилось жить. Насмехались над ними, соревнуясь в наглости, а они не теряли приветливости своей, открытости. Подошли раз на прогулке к Кузьме младшие царевны. У Анастасии на руках пёс был, гладила его, улыбалась чуть озорно (была в ней задоринка замечательная), о чём-то спросила. Буркнул Кузя в ответ неразборчиво и ретировался поспешно. Не мог он с княжнами разговаривать, все слова разом испарялись, словно молчун нападал. А они смотрели ещё на него с такой теплотой, будто бы он не тюремщик их был, не из тех, от которых столько натерпелись они, а друг верный. И от этого тошно становилось. Вроде бы и правильно всё делал Кузьма, как партия велела, а на душе тяжело было. И ещё одна маята привязалась к нему — не отделаться. Княжна Ольга. Старшая. Видел её, и сердце проваливалось куда-то. Ничуть не уступала она красотой Татьяне, а только более русской эта красота была. И не было в ней сестриной и материной гордости, а отцовская мягкость и открытость, и тихая печаль. И зачем вы, Ольга Николаевна, родились дочкой царя? Были бы вы из простых... Горы бы свернул для вас! Весь мир бы к вашим ногам! Да ведь и не потеряно ещё ничего. Кончится эта усобица, выстроится новое общество, где всё по справедливости будет. Найдётся и вам дело. Счастливая тогда жизнь будет! Честная! Не та, что была у вас! А на солдат караульных не взыщите за грубость их. Озлились они. Дураки они. И пьют много. Но это — временно. А скоро наладится всё. Хотелось сказать ей много-много утешительных слов, но и приблизиться не смел, наоборот, избегал встреч. Каким-то нечистым и виноватым чувствовал себя Кузя перед нею и её сестрами.

Даже на царя не осталось прежнего зла. Представлял себя Кузьма суд. А, допустим, спросят его, красноармейца Данилова, какой кары достоин бывший

царь? И что бы ответил? И не знал Кузя. Чувствовал, что, пожалуй, и не потребовал бы уже казни тирана. А народ? Русский народ — потребовал бы? Народ — не тиран. Народ щедр и добр, зла не помнит. Народ-то и простить может. И вдруг явилась нежданная, показавшаяся бы постыдной ещё недавно мысль — простить! Именно простить! Вот, в этом-то и явится величие души свободного народа! Величие Революции! Не упиться кровью тирана, а простить его! И всем бы стало очевидно, насколько народ выше и честнее любого царя. Ах, какой это был бы жест! Как это было бы по-русски! Вот, только что тогда делать с царём? Ведь для Революции опасен, как знамя. И справедливо ли, чтобы он не ответил за свои преступления? Заточить где-нибудь до конца дней под надёжной охраной. А дети его пусть живут себе, как им хочется. Простой, трудовой жизнью. Так будет справедливо.

Утром и вечером узники молились все вместе, собравшись в одной из комнат. Женщины выводили каноны и молитвы. Внизу пьяные охранники орали «Интернационал», заглушая негромкие голоса, доносившиеся сверху. Кузя подтягивал своим, а тянуло слушать Херувимскую, которую пели княжны. Звуки этой песни напомнили Кузьме детство. Вспомнилось, как совсем маленьким, ездил он с матерью в какой-то монастырь. Возили туда старшего брата, тяжело больного, чтобы приложить к чудотворной иконе и помолиться о его исцелении. Брату ни икона, ни молитвы не помогли, он вскоре умер. И тогда Кузя впервые решил, что Бога нет, что попы лгут о нём. Но и другое отложилось в памяти: тёмный храм, и хор, утешно поющий Херувимскую... Мать слушала и плакала... С той поры ни разу не слышал этой песни. И в храме не бывал лет десять точно. А теперь пели её четыре великих княжны, и еле-еле долетали светлые

звуки через пьяными голосами ревомый «Интернационал»...

Шло время, и утихли злоказовцы в своём желании унизить узников. Одни присмирели, встречая в ответ смирение и неизменную приветливость, словно пробудилось нечто в залитой водкой душах. Другим стало скучно. И тотчас сменили их. И кем! Латышами! Этот факт особенно задел Кузьму. Судьбу русского царя должны решать русские люди. И охранять должны они, а не всякие пришлые! Нечего им лезть не в своё дело! Товарищи Кузины тоже латышей не жаловали, честили их по матушке, разделяли: есть мы, русские большевики, а есть всякие там латыши, разумея под латышами всех нерусских. А один из сысертских товарищей, член партии, как и Кузьма, и вовсе бухнул:

— Я, товарищи, коммунист, а не большевик! Латыши и жида — это большевики. А я русский, я коммунист.

И сысертцев и злоказовцев оставили теперь лишь для наружной охраны, поселив в соседнем доме. А латыши во главе со ставшим взамен Авдеева комендантом Ипатьевского дома Юровским разместились внутри.

Недели две спустя выпало Кузе дежурить ночью. Был он слегка хмельной и едва удерживался, чтобы не прикорнуть на посту. Внезапно ночную тишину нарушило несколько глухих хлопков. Встрепенулся Кузьма, прислушался. Догадался сразу, что стреляют. Где же? По звуку определил: в подвале Ипатьевского дома. И похолодело всё внутри, оборвалось. Неужели?.. Без суда?.. Ночью, тайком, руками латышей?.. Сорвался Кузя с места, пошёл вдоль забора, плохо соображая, куда и зачем. У парадного крыльца стоял заведённый грузовой автомобиль. Суетились в ночной темноте тревожные фигуры. Затем вынесли носилки с телами, накрытыми белыми простынями, стали грузить, спеша и бранясь. Мелькнула безжизненная, белая рука,

свесившаяся с одних из носилок. Не её ли рука?.. Так значит — всех?.. И детей??? За что их-то? Ознобом забило Кузьму. Не так! Не так!! Не так!!! Несправедливо! Хотелось выкрикнуть это слово сто раз. Несправедливо! Какое они имели право убивать?! Только народ имел право решать, только народ... А не они! А так — это преступление, жестокое, отвратительное! Если бы знать... Застонал Кузя. Неужели ради этого он боролся? К этому стремился? Никогда, никогда он не пошёл бы в охранники, если бы знал, что этим кончится! Несправедливо! Кому в лицо крикнуть это слово?! И ничего не исправить уже...

Грузовик отъехал, прогромыхав в ночной тишине, у крыльца суетливо заметали следы, засыпали песком капли крови... Кузьма, шатаясь побрёл назад, волоча за собой винтовку по земле. Дойдя до дома Попова, в котором жила охрана последние недели, столкнулся с дядькой.

— Где ты бродишь, мать твою?! — набросился тот на племянника. — Ещё ищи тебя! Пошли быстро!

— Куда?

— Куда надо! — Трофим Алексич смотрел зло, вращал глазами. — Этих-то слышал-нет? Того! Укокали!

— Всех?

— Сказывают, всех! Кого стрельнули, а кого и штыком докололи, кто трепыхался!

Штыком... Мразь латышская... А дядька — кажется, рад был? Возбуждён больше обычного, рассказывал, что слышал, матерком перебивая повествование.

— Так-то мы их, Кузя! Так-то мы их!

Мы?.. Неужели, в самом деле, мы? Нет! Нет! Не хотел этого Кузя, не хотел!

— Несправедливо... — сорвалось с языка.

Но дядька не расслышал, волок Кузьму следом за собой. Волок — в подвал. Упёрся Кузя:

— Зачем мы туда?

— Как зачем, мать твою? Приказ! Надо же отчистить там всё. Там же кровищи! Кровищи!

Спустились в подвал. Там уже орудовали красноармейцы. Оттирали тряпками кровь с испещрённых пулями стен, оставляя бурые, грязные разводы, тёрли холодной водой и опилками пол. Кровь была везде: брызгами на стенах, лужицами на полу. Кто-то кивнул в сторону:

— Здесь Анастасию доби́ли штыком.

Откуда знал? Был сам? Или рассказали бывшие?

— Живее, живее! Трите!

Сунули в руки Кузе тряпку:

— Три!

Кузьма машинально опустился на колени, стал тереть. Промелькнула перед взором жизнь: умница Зиновий, стачка на заводе, ссылка, вступление в партию, агитация солдат на фронте, свободный Петроград... Во имя чего же было всё? Во имя этого? Жизнь свою он, Кузьма Данилов, этому посвятил? Боролся с царизмом, с несправедливостью... И чего добился? Ведь это же хуже ещё! Тёр кровь опилками, елозя по полу, и сам весь вымазался, словно палач... Здесь доби́ли Анастасию... А Ольгу где?.. Это не её ли кровь теперь на нём? Кто ты теперь Кузьма Данилов? Был член коммунистической партии, герой войны с солдатским Георгием на груди, «жертва царизма»... А теперь кто? Гниль, ничтожество, заматающее, замывающее лихорадочно невинную кровь, следы чужого преступления. Или не чужого?.. Или и своего? Цареубийца... Мечтал о народном суде, о торжестве справедливости, а получил... Внезапно Кузе стало плохо. Зажимая рот, он опрометью выбежал на улицу. Его рвало.

В подвал Кузьма больше не возвращался. Шатался, как пьяный, по городу. Затем завалился к Люське, к которой повадился ходить с первых дней возвращения.



Знал, что к ней кроме него многие за тем же ходят, но до этого дела не было. Не жениться же на ней. Не любить же её. Люська была вдовая солдатка, разбитная, охочая до мужеского пола баба, горячая, ласковая. И готовила вкусно. Ходил к ней Кузьма по два раза на недели. Последний раз вчера был, а потому она не ждала. Был у ней другой гость в эту ночь. Встретила на пороге в одной сорочке, растрёпанная, немного волнуясь:

— Ты чегой-то?

— Водка есть? — спросил Кузя, отстраняя её и похозяйски проходя на кухню. Водка, разумеется, была. Налил сам, выпил целый стакан залпом. Но не полегчало, только ноги дали слабину, и он тяжело бухнулся на стул.

— Случилось что? — озабоченно спросила Люська.

— Случилось... — Кузьма посмотрел на неё мрачно, закурил.

А она не дура была. Догадалась.

— Неужто убили?

Кивнул.

— Всех?

Кивнул снова.

— А тебе-то что за печаль? Помяни и плюнь. Кто они тебе? Было бы о ком печалиться. Кузя, Кузя... Я б твою печаль сейчас легко разогнала, но не одна я... Ты приходи завтра, а? Я тебя успокою.

— Дура! — в сердцах бросил Кузьма. — Как ты не понимаешь! Это же несправедливо!

— Сам дурак! — обиженно фыркнула Люська. — Шёл бы ты, Кузя, своей дорогой. У меня человек, я же сказала тебе.

— Б... ты! — присовокупил Кузя и, прихватив початую бутылку, ушёл.

Через два дня оставляли Екатеринбург. На подступах стояли белые. Сам не знал Кузьма, куда и

зачем уходит. Уходил следом за всеми, бесчувственно, пьяно. Так дошёл до Перми. А дойдя, отказался пополнить ряды красной армии и запил по-чёрному, как никогда в жизни не пил, запил так, что никакой силой нельзя было выгнать его на фронт. Скоро и под Пермью загрохотала артиллерия белых. Шли на город войска генерала Пепеляева. Опять бежали красные, оставляли город... А Кузя не побежал. Он не желал больше никуда бежать. И не желал проливать ничью кровь. Ему казалось, что одежда его, руки его до сих пор в крови, которую он оттирал страшной ночью в подвале. Пермь пала, и объявлен был призыв в армию Белую. Поставили Кузьму снова под ружьё, но крови пролить ему больше не пришлось. В первом же бою был он тяжело ранен и, вот, долго и мучительно умирал неделя за неделей. Однажды, придя в себя, разглядел знакомое лицо. Барышни-попутчицы, с которой ехали в Сибирь несколько месяцев назад. Была она неуловимо похожа на Ольгу Николаевну... Такое лицо хорошее, такая барышня нежная... Попросил позвать её.

Так хотелось Кузе этой барышне всю без остатка душу излить, всю свою неурядчивую жизнь рассказать, а, главное, о том, что той ночью было... А язык плохо слушался, и угасало сознание, и лишь какие-то обрывки вырывались. Шептал Кузьма, задыхаясь:

— Я не того хотел, не того... Несправедливо... Я не убивал...

Она — поняла. Положила тёплую ладонь на лоб, сказала со слезами в голосе:

— Вы не виноваты. Вы не убивали. Я Бога молить буду, чтобы он простил вас. Вы не виноваты.

Не верил Кузя в Бога, но эти слова, как освобождение, как разрешение, как прощение прозвучали для него. И слыша их, он испустил дух.

Надя перекрестилась, вышла из палаты, содрогаясь от только что услышанного. И хотя рассказ умирающего

был сбивчив, краток, перемешан с бредом, но и этого хватило, чтобы понять и ужаснуться. Вспомнили Надя, как писал ей из Екатеринбурга Алёша, что был в роковом доме, что видел подвал, его окровавленные стены, которые так и не удалось отмыть.

За окнами уже светало. Смена сестры Юшиной заканчивалась. Нужно было сходить в церковь, помолиться о новопреставленном. Бог милосерден. Он простит. За страдания простит... Но прежде решила Надя вздремнуть хотя бы час. От усталости слипались глаза. Но тут окликнула её Вера Григорьевна, и по её лицу стало ясно, что что-то случилось.

— Письмо? — с надеждой выдохнула Надя.

— Почти, — Вера Григорьевна улыбнулась. — Скорее иди в мой кабинет.

Ёкнуло сердце в радостном предчувствии и не пошла, а помчалась Надя, взмыла птицей по лестнице, забыв об усталости, впорхнула в заветную дверь.

— Надя!

Да, это было не письмо. Это было — счастье. Рождественское чудо. Перед ней стоял Алёша, живой, здоровый и улыбающийся.

## Глава 19. Рождество в Святом Кресте

*7 января 1919 года. Святой Крест*

Красные спешно отступали на восток. После последних боёв их части были деморализованы, и всё чаще красноармейцы сдавались в плен, переходили на службу побеждающей армии.

Велика была заслуга в этом первого Конного корпуса, действиями своими не дававшего большевикам восстановить силы, гнавшего их вон из пределов Северного Кавказа. Именно корпус Врангеля Ставка решила продемонстрировать прибывшим, наконец, союзникам, на помощь которых возлагались большие надежды, для создания у них лучшего впечатления об армии. Первоначально хотел Деникин взять гостей к Казановичу, но вышла незадача: именно в это время любимый корпус Главнокомандующего находился в тяжёлом положении и не был пригоден для осмотра союзниками. Тогда Антон Иванович телефонирует Врангелю. Спросил, что корпус может показать гостям. Что может показать действующая боевая часть? Сразу ответил Врангель:

— Можем показать, как казаки бьют большевиков! Пусть приезжают до темноты, иначе не застанут нас на месте.

Союзники в сопровождении чинов Штаба и самого Деникина приехать не замедлили. За ночь Пётр Николаевич подготовил директиву по корпусу, перевёл её на английский и французский языки, снабдил картами и пояснениями и на рассвете объявил о выступлении. Не прекращавшиеся несколько дней

дожди размывали дороги. Кони скользили по липкой, чёрной грязи, увязали тачанки, а всего труднее приходилось пластунам. После десятичасового марша вышли во фланг противнику. Гости были крайне утомлены и едва держались в седле. Оставив их на наблюдательном пункте, Пётр Николаевич отправился строить свои полки для атаки. Уже шёл бой на подступах к деревням Шишкино, Александрия, Сухая-Буйвола и Медведское, которыми предстояло овладеть. Замешкался, взбираясь в гору, славный Екатеринодарский полк. Пустив коня в галоп, Врангель без сопровождения помчался к нему. Окопы красных были уже совсем близко, неумолчно свистели пули. Взлетев на взгорье, генерал крикнул командиру Екатеринодарцев:

— Полковник Лебедев, покажите, что не зря носите свои погоны, вперёд!

— Шашки к бою! — воскликнул молодой полковник, бросаясь вперёд.

И понеслись эскадроны! Лошади скользили по грязи, спотыкались и падали, огонь усиливался, но ничто не могло уже остановить мчащуюся во весь опор конницу. Вот, вклинились в оборону красных и, прорубая себе дорогу, ворвались в деревню. Более тысячи пленных, оружие, трофеи... Все четыре деревни были очищены от красных, более ничего не угрожало теперь корпусу генерала Казановича. Смерклось. Колонны пленных тяжело двигались по дорогам. Войска выстроились в каре, и, гарцуя в центре его на разгорячённом коне, Врангель объявил воинам благодарность за новое славное дело, которое они совершили.

— Ура! — грянули бойцы.

— Ура! — крикнул один из пленных и упал на колени.

А гости конца «представления» не дождались. Слишком устали. Пожелали отбыть обратно. И теперь

нужно было Врангелю спешно догонять их, чтобы успеть повидаться с Деникиным до его отъезда. Уже тридцать часов он не ведал сна, а впереди была десятичасовая дорога сквозь промозглую, непроглядную ночь — в Петровское, где расположен был штаб корпуса, откуда выступили поутру. Укутавшись в бурку, пришпорил коня...

Гости ещё не уехали. Задержались в Петровском. Здесь и получили донесение об одержанной победе. Встретили прибывшего Врангеля криками «ура». С тем и отбыли, торопясь отдохнуть, даже поужинали наспех, без аппетита, хотя почти сутки голодали. Заморились...

Кажется, уже всё и вся погрузилось в сон, а Петру Николаевичу нужно было ещё составить приказ на следующий день. Только после этого разрешил отдых и себе.

Не подготовлены оказались гости к серьёзным действиям, к долгим переходам. Не только союзники (что с них взять? они и понять не могут, как, вообще, так воевать возможно), но и свои, штабные, ещё недавно сами сражавшиеся на поле брани. Но окунулись в удушливую атмосферу тыла, пригрелись там, отвыкли от будней суровых...

В тылу побывал Врангель как раз недавно. Ездил в Екатеринодар для решения некоторых служебных вопросов. Главным из них был вопрос о создании мощной регулярной конницы. Это ли не важнейшая задача в условиях войны, в которой маневр, быстрота играет главенствующую роль? А в Ставке ничуть не озабочены были этим. Есть же казаки! А что — казаки? Хорошо знал, Пётр Николаевич казаков. Он ещё в Японскую войну ими командовал. Казаки — воины об Бога, но строить расчёты на них нельзя. Покойный Крымов на них большие надежды возлагал, и прямо сказал ему тогда Врангель, что надежды этой не разделяет — на том и разошлись. Так и теперь. Казаки

— опора надёжная, покуда сражаются за свою землю. А как только война выйдет за пределы её, охота их улетучится. Вновь овладеет ими настроение: разойтись по своим базам, налаживать свою жизнь, а с остальной Россией — нехай русские разбираются. И что тогда? Останется армия без конницы? Лучшая в мире конница была в России! И до чего бездарно расходуются кадры её! Большинство кавалеристов служат в пехотных частях, тающих день ото дня. Всё это пытался донести Врангель до командования. Но без толку. Не только безразлично относились верхи к идее создания регулярной конницы, но даже отрицательно. То ли потому что сами все пехотными офицерами были, не умели понять, то ли что...

Не только вопрос о кавалерии трудно было решить в Ставке. В Ставке, вообще, ничего нельзя было решить. Разросся Штаб до гомерических размеров, распух, сам запутался в своих размноженных, неизвестно на кой нужных отделах, утонул в бумагах. Заседали при Штабе несчётные комиссии, занимались предметами, которые, быть может, и могли бы быть важны в будущем, но на день сегодняшней никакого значения не имевшими. А за нагромождением их о вопросах для армии насущных забывалось, терялись они в этом море. И сколько же всевозможной дряни стекалось в Штаб! Желаящие уклониться от фронта оседали в штабах, в комиссиях, парализуя работу, разлагая тыл.

От тыла сложилось у Врангеля впечатление самое неприятное. Как раз избирали в Екатеринодаре атамана. Бурлил Екатеринодар. Съехались на выборы казачьи офицеры во главе со своими командирами, Шкуро и Покровским. И тот, и другой отличались крайней неразборчивостью в средствах. Первый «прославился» грабежами, второй имел склонность к садизму. Ломились екатеринодарские рестораны, вспыхивали пьяные дебоши... А Ставка почему-то

старательно закрывала на это глаза. Не одергивала зарвавшихся начальников, своим примером деморализующих армию. Ни малейшей попытки не предпринимала, чтобы этот кабак прекратить.

А могла ли предпринять? Могла ли хоть что-то? Две недели сидел Врангель в кубанской столице, изводясь от вынужденного бездействия, и никак не мог добиться вразумительного ответа на свои вопросы. Деникин, как всегда, любезный и сердечный, обещал во всём помочь, чем сможет, но:

— Сообщите обо всех нуждах Ивану Павловичу, — отослал к Романовскому.

А с Романовским совсем сложно дело иметь было. Смотрел на него Врангель и не мог раскусить существа его. Первопоходец, ближайший соратник Деникина, человек, по-видимому, честный... А в армии толковали о нём разное, иные чуть ли не агентом большевиков считали, распускали слухи. Сумел Иван Павлович настроить против себя подавляющее большинство офицерства. Станным человеком был начальник Штаба. Ни единой эмоции не выражало ни правильное лицо его, ни голос, всегда мерный, всегда спокойный. Скользкий человек... Даже решительного ответа нельзя было добиться от него ни по одному вопросу. Отвечал уклончиво, остерегаясь давать обещаний. Избегал и отказов.

— А с этим вы обратитесь к генерал-квартирмейстеру, — адресовал.

Генерал-квартирмейстер полковник Плющик-Плющевский произвёл впечатление человека не только несамостоятельного, но заранее напуганного тем, что за что-то надо взять ответственность.

— Что скажет Иван Павлович... Как посмотрит Иван Павлович... — только и слышалось в ответ от него.

И снова всё сводилось к Ивану Павловичу. А тот адресовал в другие отделы штаба. А оттуда опять



косились на него... И, кажется, никто ни за что не желал отвечать в Штабе, всемерно стараясь переложить груз ответственности на плечи другого. Это приводило Врангеля в крайнее раздражение. Так ничего и не решив, он вернулся на фронт, обстановка на котором потребовала его срочного присутствия. Вернулся и вздохнул с облегчением. Никакие бои не выматывали так, как штабная волокита. Даже бой неудачный не навевал такого уныния. Всякую неудачу в бою, в конце концов, можно было исправить в следующем, взять реванш, от неудач никогда не унывал Пётр Николаевич, они лишь подстёгивали его, прибавляли энергии. На фронте исход всех операций зависел, прежде всего, от его умения правильно спланировать их и от того, сумеет ли он заразить своим порывом своих людей, стать одним целым с ними. А в Штабе от Врангеля ничего не зависело. Ничем не мог он это окостенение преодолеть. И закрадывалась давящая мысль, что окостенение это может пагубно сказаться на фронте. Даже при правильном планировании операций, при наличии лучших частей дело может быть провалено, если верховное командование окажется несостоятельным. Яркий пример тому — Японская война, проигранная исключительно из-за того, что во главе армии оказались не те люди. Если военный талант и личные качества генерала Деникина были несомненны, то люди, составлявшие его окружение, вызвали немало вопросов.

Фронт и новые победы на нём помогли быстро стряхнуть тыловой угар. За два дня до Нового года Пётр Николаевич получил новое назначение — командующим Добровольческой армии. Последняя, наконец, объединилась с Донской, и Деникин принял звание командующего Вооружёнными силами Юга России. Новое назначение очень обрадовало Врангеля. Значит, не так глуха была штабная стена, как показалось.

Значит, высоко ценит командующий работу, проделанную Петром Николаевичем, доверяет ему. А главное, командование Добровольческой армией — какой огромный простор для того, чтобы приложить все знания свои, все силы, какой масштаб для проведения в жизнь многочисленных замыслов! Немного жаль было расставаться с родным корпусом, передаваемым теперь генералу Покровскому. Но расставание это должно было состояться не ранее, чем корпус завершит выполнение своей задачи по освобождению Северного Кавказа.

Очищение этого региона от большевиков было делом решённым. Лучшие кавалерийские начальники Улагай, Бабиев и Топорков, служившие под началом Врангеля, своими блестящими действиями не оставляли противнику ни малейшего шанса на успех. Командиром первой Кавалерийской дивизии, которой недавно командовал он сам, Пётр Николаевич решил назначить своего старого, ещё с Японской войны, товарища генерала Шатилова. Павел Николаевич прибыл в Петровское в первый день нового года. Врангель как раз был занят разработкой плана предстоящих операций, и Шатилов, едва появившись в штабе, оказался втянут в водоворот его замыслов. Времени на то, чтобы предаваться общим воспоминаниям и вести душевные беседы не было, поэтому Пётр Николаевич с полуоборота заговорил о деле, подробно объясняя другу положение на фронте, боевые задачи и свои распоряжения. Шатилов несколько растерялся от такой стремительности. Для него и назначение это было неожиданным, а нужно оказалось ещё одновременно войти в суть дела, разобраться во всём с головокружительной быстротой... Взял карту, отслеживал по ней излагаемые Врангелем планы. От Петра Николаевича, как ни был он погружён в работу, не укрылось смущение друга. К людям был Врангель

внимателен всегда и хорошо чувствовал их состояние, что весьма помогало находить правильный подход к каждому, понять, кто и на что способен и вообще, и в данную конкретную минуту, и согласно тому в дело употребить. Пётр Николаевич окончил свои пояснения и, желая ободрить Шатилова, сказал, положив ему на плечо руку:

— Насчёт твоего назначения не волнуйся. Обе дивизии состоят из прекрасных частей, твои подчинённые — храбрые и способные командиры.

— Меня беспокоит другое.

— Что же?

Недомолвок Врангель не любил. Сам он привык высказываться прямо и того же требовал от других.

— Меня беспокоит, смогу ли оправдать твоё доверие, — серьёзно ответил Павел Николаевич.

Врангель улыбнулся:

— Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Как ты воевал на Кавказе и во время революции, мне известно от людей, видевших тебя в деле. Я бы не стал приглашать тебя и не дал бы тебе такой важной должности только по старой дружбе.

Через три дня части генерала Шатилова взяли Новоселицы и село Александровское. В тот же день генерал Улагай захватил базу Таманской армии — Святой Крест. В Сочельник Шатилов атаковал город Георгиевки, взятие которого должно было отрезать пути отступления Минераловодской группе красных и стать завершающим этапом освобождения Северного Кавказа.

На Рождество был отслужен молебен, и Врангель обратился к своим офицерам с кратким поздравлением.

— Господа, прошлое наше темно, а будущее пока неясно, но рассвет уже брезжит, прорезая кровавую тьму, покрывшую русскую землю, — говорил он. И верилось в это теперь. И оглядывая пройденный путь,

нельзя было не укрепиться в этом. Четыре месяца назад армия была почти безоружна, неорганизована, малочисленна, положение её было незавидно. И, вот, за четыре месяца она преобразилась, она очистила от большевиков огромное пространство, её победительное шествие неудержимо. И она не одинока. В Сибири утвердилась власть Колчака, признанного Верховным правителем и здесь, на Юге. Две эти силы, сжимая большевиков с двух сторон, словно клещами — неужто не раздавят их?

Слова командующего легли на сердце капитану Вигелю. Он и сам, впервые почти за два года, не увидел даже, а услышал этот луч, кровавую тьму разрезающий. Почувствовал приближение его, как если бы из-за плотных туч первые крупницы рассеянного света, как вода живительная сквозь сито, пробились.

Кавказ был практически освобождён. А далее? Продвижение в Россию. К центру её. К Москве... Дух перехватывало, обрывался голос, не договаривая слова заветного. Москва! Родная! Чудная! Сколько месяцев в разлуке... И рвался Вигель туда всей душой, но и боялся. Немела мысль: а в Москве — что? Ещё дом родной цел ли? И живы ли близкие? Жив ли отец? А что если уже никто не ждёт его там?.. Кроме могилы матери?.. Коли так, то лучше бы в Москву и не ступить больше. Но Москва — звала. Как невеста покинутая. Как мать. Манила, грезилась в ночном забытии каждой улочкой своей, каждой церковью, каждой площадью... Встать бы на колени, поклониться земно и губами коснуться мостовых, по котором столько хожено. И верилось, что и дом родной устоял, и все свои — целы. Не может быть судьба так беспощадна, чтобы всех выкосить... А значит — в Москву! А значит — к новым победам!

Эти победы виделись неизбежными. Теперь, когда объединились две армии, Донская и Добровольческая,

как не быть им? А Добровольческую — Врангель возглавит. И это тоже обнадеживало. Счастье сопутствовало Петру Николаевичу. Но не только счастье то было, а большой военный и человеческий талант. Невольно сравнивая его с Деникиным, Вигель думал порой, что Врангель был более достоин занять высший пост. Не было у Антона Ивановича необходимых задатков вождя. Затворившись в Екатеринодаре, он всё реже бывал в армии, отдалялся от неё. Иногда приезжал на фронт. Неловко сидя в седле, говорил длинные, скучные речи. И слушая их, думалось, как лучше было бы, кабы на месте Деникина оказался Врангель с его стремительностью, с его энергией, мгновенно от него как ток передававшейся всем, кто видел и слышал его. Ему не надо было говорить долгих речей. Достаточно было крикнуть несколько фраз, обжигающих и до каждого сердца доходящих — как он умел — и войска вдохновлялись. И словами этими, и самим образом генерала. Невозможно было не восхищаться им, когда он в черкеске, в развивающейся бурке, с шашкой наголо летел в атаку, ведя за собой эскадроны. И в штабе его никогда не было рутины и бюрократии: немногочислен он был и прибывал всегда в движении, всегда шла в нём кипучая работа, руководил которой сам генерал. И, кажется, оценил незаурядные способности Врангеля Верховный, раз дал ему под начало любимое детище — Добровольческую армию.

Под Георгиевском шли бои. В них Николаю не пришлось участвовать. Войдя со второй Кубанской дивизией генерала Улагая в Святой Крест, Вигель вместе с ней и остался здесь. Здесь догнало его целый месяц шедшее из Новочеркасска письмо. Письмо Натальи Фёдоровны, Наташи... Сильно потрепанный конверт принесли утром, и, поборов искус, Вигель не вскрыл его сразу, торопясь на праздничный молебен. И лишь теперь, возвратившись, осторожно разрезал

конверт, в котором оказалось письмо и вырезка из газеты. Газету он отложил в сторону и не без волнения принялся читать письмо. Оно было на нескольких страницах, написано красивым, местами подрагивающим (опять что-то с нервами?) почерком, строчки беспрестанно норовили соскользнуть вниз...

«Дорогой и единственный друг! Видите, я даже обращаюсь к вам, как к нему... Будто бы всё ещё ему пишу... Будто бы не Вы, а он прочтёт...»

Все её письма к нему Николай читал. Она настояла на этом. С каждого своего письма мужу она, прежде чем отправить его, снимала копии, и эти копии хранились у неё в шкатулке, перевязанные тесёмкой. Странная женщина! Письма она писала так, словно рассчитывала, что их будут читать через сто лет, проявляя недюжинный литературный талант. И прекрасен почерк. Даже когда нервы её расстроены. Всё равно — не почерк, а искусство.

«Я снова совсем одна. Словно заживо погребена. Всё чужое... Все чужие... И я никому не нужна. Что может быть убийственнее? Нет-нет, Вы не волнуйтесь, друг великодушный, я сейчас далека от того состояния, в котором Вы меня нашли этой весной. Только холодно и пусто, пусто и холодно... Но я — привыкаю. Привыкаю ходить по улицам одна. Привыкаю к тому, что окна моих друзей занавешены, и мне не к кому идти больше, и они никогда не придут в мою зелёную гостиную... Я почти ненавижу её. Я её боюсь. По вечерам особенно. По вечерам, когда я остаюсь в ней одна, мне чудятся голоса, звуки, словно тени тех, кто собирался здесь за столом, приходят навестить меня... Больше некому приходиться...

Недавно был Ваш друг. Ростислав Андреевич. Он уехал... Я не поняла, куда. То ли в штаб, то ли на фронт, то ли с каким-то заданием... Оставил мне кота. Серого, пушистого... Никак не могу придумать ему имя. Может,

Вы подскажите? Этот кот — мой единственный (кроме Вас) друг. Иногда я просыпаюсь утром и не хочу подниматься, не хочу видеть солнечного света, идти куда-то... А потом вспоминаю, что надо коту рыбы купить. Что надо его кормить. И встаю, и иду...

Я ко всему привыкаю... Привыкаю и к самому невыносимому. К тому, что его нет. К тому, что Вас нет. К тому, что я не нужна больше никому, кроме моего кота...

Если бы Вы могли вырваться в Новочеркасск хоть на несколько дней! Хоть на несколько часов! Господи, если бы Вы знали, как мне страшно без Вас! Как пусто! И как я за Вас молюсь... Чтобы хоть Вам, хоть Вам Он сохранил жизнь, хоть вас помиловал!..»

Нервы Натальи Фёдоровны явно были предельно расшатаны. Сжималось сердце: как она там, бедная? Тогда, весной, Вигель нашёл её на грани помешательства. Иногда на неё нападало какое-то странное состояние: лицо её становилось потерянным, по нему гуляла улыбка, а взгляд делался бессмысленным... Боялся Николай за её рассудок. Неужели и этой прекрасной женщине суждено превратиться в несчастную, страшную в своём безумии, Машу из бедлама? Неужели и ей оказаться в проклятых стенах дома скорби, среди помешенных? Только не это! Из далёкого Новочеркаска, как безумная Маша, тянула она к Вигелю свои прекрасные руки, молила спасти её. Эта мольба в каждой строчке читалась... Но как же ехать к ней? Как оставить фронт? И сколько времени понадобится, чтобы её успокоить? Да и надолго ли успокоится? Всего хуже было то, что в Новочеркасске не оставалось никого из знакомых. Уходя во Второй Кубанский, попросил Николай подполковника Арсентьева, в городе по ранению находившегося, иногда навещать жену боевого товарища. Но, вот, и он уехал. Оставил ей кота... Чтобы было о ком заботиться.

Не забыл Ростислав Андреевич просьбы, всё, что мог, сделал. Но Наталье Фёдоровне человек был нужен. Опора. Нежный вьюн не может расти ввысь сам, ему нужно обвиться вокруг крепкого ствола, прильнуть к нему, держаться за него, а без того опадает он бессильно на землю. Наташа и была таким нежным вьюном. Много лет обвивалась она вокруг своего сильного, любящего её мужа, и цвела ещё прекраснее на фоне его простоты, неприметности. Но срубили ствол, и вьюн стал чахнуть, стал отчаянно искать иной опоры.

Много дней провёл Вигель в обществе Натальи Фёдоровны, выхаживая её, жалея. Когда бы ни война, он, вероятно, никогда бы не оставил её. Из сострадания, из чувства долга... Слова «любовь» не произносил Николай. Любовь в его жизни одна была. Таня. И вместе с ней погибла она под стенами Екатеринодара. До сих пор не зарастала эта рана. И нередко Таня снилась Вигелю по ночам. Молчаливая, кроткая, мягкая, приветливая... Просыпался Николай и вспоминал строки Гейне:

Я каждую ночь тебя вижу во сне  
В толпе незнакомых видений,  
Приветливо ты улыбаешься мне,  
Я плачу, упав на колени.

Ты долго и грустно глядишь на меня  
И светлой качаешь головкой,  
И капают слёзы из глаз у меня,  
И что-то твержу я неловко.

Ты тихое слово мне шепчешь в ответ,  
Ты ветку даёшь мне открыто.  
Проснулся — и ветки твоей уже нет,



И слово твоё позабыто...

Таковыми в точности и были ночные, рождённые сном, свидания с Таней... Может быть, видел сам Гейне схожие сны? Может, и он потерял дорогого человека?

Разрывался Вигель между памятью о невесте и тягой к Наталье Фёдоровне. Иногда думалось, не есть ли его отношения с Наташей изменой, пусть и посмертной, Тане? Далеко зашли отношения эти, и заходили всё дальше... Но Таня не стала бы осуждать. Таня бы поняла и простила. И сама, по всеотзывчивости и сострадательности своей святой души, пожалела бы и полюбила бы Наталью Фёдоровну...

В конце письма была приписка: «Сегодня мне попала в руки газета. Посылаю Вам из неё вырезку. Когда я читала эти строки, я видела Вас... Не удивляйтесь этому. Там не по смыслу про Вас, а по чувству... По моему чувству. Потому что и я, как трава полевая, клонюсь и шепчу: «Слава...» Вам... Ему... И всем, всем таким, как Вы и он...»

Нигде в письме не обращалась Наташа к Вигелю по имени, словно всё ещё писала их не ему, а своему мужу. Точь-в-точь так, как писала ему...

Прочесть газеты Николай не успел. Вошедший казак, Елисей Данилыч, доложил:

— Пленного взяли, ваше благородие. Опросили. Коммунист, и партийный билет при нём. Что делать с ним?

В который раз подивился Вигель, как всё же причудливо устроены люди. Несмотря на приказ о расстреле коммунистов, они, в схватке рубившие большевиков сотнями, взяв пленного, непременно являлись к старшему по званию, чтобы спросить, как поступить. И знали ответ доподлинно, а всё равно спрашивали. Расстрелять по собственному почину,

взять ответственность на себя не смели. Вот, если приказал командир, то дело другое. Тогда выводили и расстреливали, а без того — ни-ни.

Николай пожал плечами, бросил небрежно:

— Расстрелять, разумеется.

Но казак не уходил, переминался с ноги на ногу, крутил в руках папаху.

— Что тебе ещё, Данилыч?

— Так это, ваше благородие... Рождество сегодня. Светлый праздник. Сам Спаситель родился. В такой день расстреливать — грех...

— А в другие дни добродетель?

— В другие не то, Николай Петрович. А светлый день рук и души марасть не хочется. Может, пустить его в честь Христова праздника?

После Ледяного похода, так дорого стоившего ему, Вигель готов был без жалости истребить всякого большевика. Томимый жаждой мщения, он после первого же боя, когда стали искать желающих на расправу, вызвался. Пленных выстроили перед расстрельной командой. Их было несколько десятков. Стояли мрачные, глядя исподлобья. Страха в них не было. Попытались затянуть «Интернационал». В тот же миг последовала команда «пли». Грянул залп... И каждая выпущенная пуля нашла свою жертву. Но пули Николая среди них не было. В последний момент он понял, что не может выстрелить. Да, эта казнь была справедлива, да, пленные большевики получили своё (и менее того, учитывая, каким мукам подвергали пленных на их стороне). Но Вигель стрелять в безоружных не мог. Даже после всех утрат, после всего пережитого. Что-то внутри его протестовало против этого, не позволяло... Больше в расстрельные команды Николай не вызывался. А, вот, приказы о расстрелах отдавал неоднократно. Закон военного времени — суровый закон. Закон войны гражданской — суровее вдвойне. И

закону, пусть даже такому, старался следовать бывший адвокат Вигель.

— Веди сперва сюда своего пленного. Посмотрим, что за птица...

Данилыч привёл захваченного большевика, а сам остался снаружи. Было тому едва за тридцать, держался мужественно и с достоинством. По выправке можно было судить, что прежде служил он в Императорской армии. Стоял по-военному прямо, руки по швам. Только пересохшие губы, которые он временами облизывал, выдавали волнение.

— Представьтесь, — коротко приказал Вигель.

— Роменский Виктор Кондратьевич.

— Чин в Императорской армии?

— Поручик.

— С какого времени в партии?

— С августа семнадцатого.

— Врать не буду, таких, как вы, партийных коммунистов, мы расстреливаем. Но сегодня Рождество, и в честь Христова праздника вы можете быть свободны... Хотите — возвращайтесь к своим, пропуск я вам выдам. Хотите — в тыл. Только дайте слово, что агитации против нас разводить там не будете.

Роменский побледнел. Глаза его округлись и смотрели недоверчиво. Но произнёс, запинаясь:

— Покорнейше благодарю, господин капитан...

— Благодарите не меня, а Бога, — сухо откликнулся Николай. — И если вы атеист, то помните всегда, что своим спасением вы обязаны Спасителю, пришедшему на нашу грешную землю в этот день... Говорите, куда желаете идти?

— Дозвольте остаться у вас, господин капитан.

— Как у нас? — с удивлением переспросил Вигель.

— Так точно, у вас в армии. Служить буду честно.

Принятие в ряды армии пленных было не редкостью. Под Армавиром было захвачено несколько сотен

большевиков. Начальственный элемент в числе трёхсот семидесяти человек был вычленен из общего количества, и Врангель отдал приказ расстрелять их. Красноармейцев построили. Пётр Николаевич велел офицерам предложить осуждённым перейти в Белую армию:

— Действуйте честно, но без сентиментальности.

Офицеры двинулись вдоль строя, делая предложения тем, кто казался наиболее годен. Вигель подошёл к пленнику, выправкой похожего на царского офицера:

— Вы можете сохранить свою жизнь, если перейдёте на нашу сторону.

— Я не перейду на вашу сторону, капитан, — хрипло отозвался большевик.

— В таком случае, вы будете расстреляны. Подумайте...

— Иди ты к чёрту! — зло блеснули глубоко посаженные глаза.

Все триста семьдесят человек были расстреляны. Генерал Врангель обратился к оставшимся пленным:

— Вы были бы достойны участи ваших товарищей, но я возлагаю ответственность не на вас, а на тех, кто вёл вас против своей Родины. Я хочу дать вам возможность загладить ваш грех и доказать, что вы верные сыны Отечества.

Тотчас вчерашние красноармейцы получили оружие и были зачислены в ряды сильно поредевшего в боях пластунского батальона, переименованного в первый Стрелковый полк. Во всех последующих сражениях полк этот проявил себя с лучшей стороны.

Николай Петрович раздумчиво смотрел на Роменского, пытаясь проникнуть в суть его мыслей, понять, зачем нужно вчерашнему коммунисту вступать в ряды Белой армии, когда ему дают полную свободу. Пожал плечами:

— Ваше дело... Ступайте, отыщите артиллерийский парк. Скажете там, что от меня, — подумав, Вигель написал короткую записку. — Вот, передайте, чтобы не было недоразумений. Идите.

— Слушаюсь, господин капитан, — бывший поручик по-военному отдал честь и вышел.

Николай Петрович, помедлив немного, последовал за ним. У входа дожидался Данилыч.

— Что, ваше благородие, всё-таки отпустил?

— Отпустил... Твой пленник изъявил желание служить у нас.

— Что ж, даст Бог, вправду одумается. Хорошо, что греха на душу не взяли.

— Хорошо ли, нет — время покажет, — вздохнул Вигель.

— Что-то ты смурной сегодня, Николай Петрович. Разве какую весть худую получил? Я видал, письмецо у тебя лежало...

— Получил, Данилыч, получил... — угрюмо ответил капитан. — И ума не приложу, куда теперь поворачивать, — махнул рукой, закурил. — Данилыч, у тебя жена есть?

— Как не быть! Казачат трое. Старшой скоро нам пособлять будет!

— Скучает, поди, по тебе...

— Не без этого, Николай Петрович. Хотя ей и скучать-то некогда. Всё ж хозяйство на ней лежит. А ты, что ли, от жены письмо получил?

— Да нет... Не от жены... От не-жены, вернее сказать...

— Вон оно что! — понимающе протянул казак.

— Больна она, Данилыч, понимаешь? Серьёзно больна. И никого у неё, кроме меня, нет. А я отсюда чем могу помочь? Это письмо меня месяц искало. Бог знает, что с ней стало за этот месяц. А ответ ещё столько плутать будет? Душа не на месте у меня.

— Отпуск испроси. Съезди к ней. Оно быстрее письма будет. И полезнее.

— Как же! Тут бои каждый день, я и без того две недели в лазарете прохладился... А теперь по личным обстоятельствам в тыл уеду... Эти проклятые обстоятельства ведь и не пояснишь! Хорош буду! Можно подумать, что у других надобности меньше моих.

— И то верно, — вздохнул Данилыч. — Когда бы жена занемогла... А не-жена — это оно конечно...

На улице показалась скорбная процессия: вереницы саней с убитыми и ранеными тяжело ползли по грязной, едва припорошенной снегом дороге. Впереди везли погибших, укрытых рогожей так, что видны были только ноги, часто босые (сапог не хватало, и со своих мертвецов снимали их). Первую лошадь вёл под уздцы мальчик-казачок лет двенадцати.

— Кого везёшь, сынок? — спросил его Данилыч сочувственно.

— Батю и братку, — ответил мальчик. — Их красные порубали.

Данилыч перекрестился:

— Что ж ты теперь делать будешь?

Казачок вскинул болтавшуюся у него на плече тяжёлую винтовку:

— Красных буду убивать, — отозвался жёстко, и совсем недетскими глазами посмотрел.

Вигелю стало немного не по себе. Проехали сани с убитыми. Показались раненые, наваленные также по нескольку человек, кое-как. Две-три сестры то шли пешком, переходя от одних страждущих к другим, то, устав, садились на край саней.

— Вигель! — крикнул чей-то голос. — Капитан!

Николай увидел, что с одних из саней зовёт его, приподнявшись на локте, знакомый прапорщик. Поспешил к нему, пошёл рядом:

— Куда тебя?

— Да ерунда! Царапина! — хотел крепкое словцо отвесить, но при сестре, рядом сидевшей, удержался. — А вот, другу нашему меньше повезло... — омрачился.

— Кому?

— Ротмистр Гребенников ранен. Кажись, смертельно...

Проехали сани, а Вигель остался стоять на дороге, сжимая кулаки до кровоподтёков на ладонях.

— А мы с пленными в гуманизм играем... — глухо выдавил он.

Кровь бросилась в голову. Какое-то мутное, тяжёлое, злое чувство овладевало его сердцем, гася сознание, оставляя одно единственное страстное желание: ни мгновения не медля, изрубить кого-нибудь, отомстить за убитого друга, утолить чужой кровью свою боль. Не владея собой, бросился к артиллерийскому парку, который был невдалеке.

— Стой! Николай Петрович, стой! — побежал следом Данилыч. — Что удумал?!

Достигнув артиллерийского парка, Вигель увидел Роменского, стоявшего у одного из трофейных орудий, выхватил пистолет. Бывший поручик инстинктивно понял, в чём дело, но не подался назад, не дрогнул, а вышел вперёд, спросил ровно:

— Кажется, господин капитан, вы пожалели о своём милосердии? Что ж, расстреливайте. Я готов.

И убил бы его Николай в охватившем его исступлении, но подоспевший Данилыч схватил его за руку, и выстрел ушёл в небо... Казак тряхнул капитана за плечи:

— Ты что ж творишь, ваше благородие?! Не допущу! Окстись! Нешто можно?! Не бери греха на душу!

Вигель сунул пистолет в кобуру, глубоко вздохнул. Не глядя на Роменского, повернулся, пошёл шатко в обратном направлении. Как-то разом не осталось сил ни

на что, а всё тело сотрясала крупная дрожь. Сам себя не узнавал Николай, сам удивлялся своему припадку, словно чёрным крылом заволокло разум, словно чёрт вселился... Данилыч, как тень, шёл следом.

— Говорят, те души, что в такие дни отходят, черти не мытарят...

Вигель не ответил. Вспоминалось давнишнее предчувствие Гребенникова, что до Москвы ему не дойти. Откуда только знал он? При его весёлости и бесшабашности... А вот — знал. Сколько раз судьба пощадила. Даже в безрассудствах, в русской рулетке — прощала. А тут отвернулась, как капризная красавица.

— Ничего, Николай Петрович... Жаль, конечно, хорошего человека. Но на то и война... Сейчас по стопочке выпьем, полегшает. Тебе стопочка зараз лучшее лекарство.

С Гребенниковым мировой так и не выпили... Принцип проклятый выше всего оказался! Упёрся, отказался пить. «До Москвы». А в Москве, если дойти суждено, за упокой придётся теперь пить, а не мировую. А может, всё-таки не смертельно ранен ротмистр? Может, напутал прапорщик? И не узнал у него, где случилось! Где Гребенникова искать!

Пока дошли до дома, где Вигель стал на квартиру, чёрный туман, окутавший сознание, рассеялся, и Николаю стало стыдно за свой срыв. Ведь Бог знает, что могло выйти, не окажись рядом верного Данилыча! Этак и свихнуться недолго... И вновь возвратились мысли к Наташе. Месяц письмо шло... Целый месяц! Как она там? Что с ней случилось? Не захворала ли окончательно? Фотография её, та самая, северьяновская, до сих пор при нём. Она настояла, чтобы карточка осталась у него. Хранил... От Тани и карточки не сохранилось. А икона только. Так и возил с собой: икону убитой невесты и портрет... Как и назвать даже не понятно. Не жена, не



любимая, но и не «вдова друга», большее гораздо...  
Портрет Наташи...

Войдя в комнату, Вигель, не разуваясь, рухнул на скрипучую кровать, лицом в высокие подушки.

— Вот, полежи, Николай Петрович, полежи. А я хозяйке скажу, чтобы по стопочке подала да чаю. А там и отобедаем...

Всё же надо было ехать в Новочеркасск. И совестно отпуск просить, а надо. В конце концов, обстановка на фронте неугрожаема, и можно воспользоваться этим и съездить в тыл, а иначе ведь можно забыть о покое при полной неизвестности о Наташе. Вспомнил о том, что не прочёл присланной газеты, поднялся, взял её, так и лежавшую на столе. Двенадцатый номер «Донской волны», августовский ещё. Роман Кумов, «Памяти погибших героев». Пробежав первые строки, Вигель окликнул Данилыча:

— Послушай, Данилыч, что написано, — и стал читать вслух: — Пусть позволит мне ваша чистая память возложить к подножью ваших безвременных могил несколько смиренных благодарных, благоговейных былинков.

Я не погублю для этого в моём маленьком цветнике ни пышных маков, ни тонкостебельных синеоких васильков — пестрое, но непрочное богатство. Пусть они живут и дышат в память вашу...

Но я отдам вам то, что мне дороже всех пышных маков, синих васильков и благоухающих левкоев: несколько былинков седой горькой полыни и полевого цветущего чебора. Пусть они напомнят вам, как напоминали когда-то мне на чужбине, о прекраснейшей стране под солнцем, где течёт единственная в свете по синеве своих вод старая Река и где на пустынных прибрежных горах колышется белая подсохшая полынь да сладко курится розовый ладонный чебор.

Пусть расскажут они вам, как рассказывали мне в далёких землях, о нашей тихой станице под высокими горами — Пирамидами, о милых, изрытых дождевыми потоками улицах, о старом задумчивом соборе, на котором чудесно трезвонят ко всеобщей под праздники, о сиреневых палисадниках, о заросших шумящими пахучими левадами и садами Базах и Клинах, о коротеньких переулках к Дону, с восхитительными видами на старую синюю богатую воду.

Пусть скажут они вам о ваших оставленных на степной стороне беленьких домах под лепечущей вишней, о грустных лампадках, зажженных в вечерний час близкой рукой во имя ваше, о родных, о близких людях, — о всём том, что вами, высокими, оставлено ныне беззаветно и беспрекословно, ради долга и высокой чести...

И пусть передадут они вам, что вся великая Донская степь с седой полынью и розовым чебором, с чистой ромашкой и важными красноголовыми татарниками, с холодной мятой и узорчатым тысячелистником, со всяким, всяким полевым разнотравием, ныне клонится перед вами ниц и поёт, как под сильнейшим свежим ветром: «Слава вам, слава»...

Клонятся ниц полинявшие под солнцем деревянные голубцы при дорогах, возмутились в глубоких тенистых оврагах ключевые воды, восшумели полевые дикие красавицы — боярышники и луговые терны, задымила травяным ароматом дебелая яркая «рожа» под подъемным слуховым окном: «Слава вам, слава»...

Падают ниц, до самой сырой земли степные народы, и те, которые пьют воду из сырой синей Реки, и те, которые пьют воду из далёких степных жемчужных озерца, на белых хуторах: «Слава вам, слава»...

— Хорошо! — выдохнул Данилыч. На глазах его блестели слёзы, и несколько капель скатилось на

седоватую бороду, утонуло в её черном серебре...

Звякнула посуда. Это дрогнули руки старушки-хозяйки, с подносом застывшей в дверях, зачарованно слушавшей певучие строки. Она ничего не сказала. Только всё морщинистое лицо её было влажно от слёз, которые она не утирала, так как руки её были заняты. Данилыч принял у хозяйки поднос, и она утёрла лицо краем фартука.

— С Рождеством вас, матушка, — сказал старушке Вигель, с утра ещё не видевший её.

— И тебя, сынок, с праздником светлым! Дай Господь следующее счастливее встретить.

## Глава 20. Патриарх Тихон

*7 января 1919 года. Москва*

Храм Христа Спасителя был переполнен молящимися. Во дни скорби и торжества зла, когда власть антихристова обрушила гонения на веру Православную, верующая Москва славил Того, Кто предупреждал Своих чад: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына, восстанут дети на родителей своих и умерщвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца спасётся. Не бойтёсь убивающих тело, души же не могущих убить». И молилась о своём Пастыре, лишь накануне освобождённом из-под ареста и впервые за долгое время свершающего богослужение.

Год тому назад в этих же стенах говорил Патриарх Тихон:

— Теперь всё чаще раздаются голоса, что не наши замыслы и строительные потуги, которыми мы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо — если мы будем достойны этого. Будем же молить Господа, чтоб Он благословил венец наступающего лета Своею благостию, и да будет оно для России лето Господне, благоприятное.

Напрасная надежда была... Сатанинская детель в это лето лишь укрепла, и кровь праведников возопила к небесам. Хотя и не отступились же верные, не попрятались, не постыдились имени Господня. Только крестные ходы против декрета «О свободе совести» — какую силу показали! А следом и майский... Первого мая, пришедшегося на Великую Среду, звали большевики народ на праздничную демонстрацию. Обещали зрелища невиданные: фейерверки,

прожектора... Кремль едва ли не весь закутали в красную материю. Всемерно готовилась «иудина пасха». А отец Иоанн Кедров, не убоявшись кары, воззвал к прихожанам:

— Будет и так много на нас греха! И так не знаешь, где найти отрады и покоя. Неужели ещё мало нам ужасов современной жизни, неужели мы хотим сознательно идти против Христа и основ святой веры в Него и окончательно уничтожить устои нашего измученного, опозоренного и разделённого Отечества, которое верою родилось, выросло, окрепло и было могучим?! Веру оставили, восстали на Церковь и Отечество и гибнем в мучениях за эти тяжкие дни! Что стало с нашей когда-то Святой Русью? Куда девался русский человек — христианин и патриот, для которого Отечество было всегда предметом его любви и святых подвигов?!

Русский православный человек! Если ты не хочешь быть рабом других народов, для которых Россия, наше Отечество, лакомый кусок, а мы все — рабочая сила: на нас будут пахать землю и возить навоз — опомнись, пойми, что ты русский и никакие другие народы не дадут тебе защиты и спасения, все они преследуют только свои цели. Никто, только ты сам сможешь спасти себя от мучений и Отечество — от позора. Спасти не насилием, разорением и кровью своих отцов, братьев и сестёр в междоусобной войне... А спасти себя верою в Христа, Который ещё есть в тебе. Нас разделили на партии, чтобы во вражде и разделении мы сами себя опозорили и уничтожили; дошли мы до таких великих ужасов, кто может поручиться за жизнь на завтрашний день?!

И внял народ православный горячей проповеди, размноженной в тысячах экземплярах. В Первомай лишь совсем оголтелые партийцы и красноармейцы маршировали по Красной площади с пением

«Интернационала». А в самый разгар «иудиной пасхи» свершилось чудо: прорвалось красное полотнище, застывшее лик Николая Чудотворца на Никольских воротах, и образ святого воссиял в лучах солнца. И девятого мая, в день праздника святителя, из всех московских церквей свершён был крестный ход к чудесному образу. Сотни икон, хоругвей, риз, крестов заполнили Красную площадь — будто бы воскресла древняя Русь! Накануне многие причащались, готовились к смерти. Но не решились отряды красноармейцев и чекистов, занявшие переулки, расправиться с верующими, коих собралось в тот жаркий, солнечный день в сердце Москвы не менее четырехсот тысяч. Рать православная, лишь крестами и иконами вооружённая — сколько силы было в ней! И с особым чувством, стоя у Исторического музея, совершал Патриарх службу. Сливались голоса верующих в могучих хор (такой — не на всю ли Россию слышать?), и загоралась надежда в душе, что лето грядущее всё же станет — Господним...

Но не стало... Божия воля. Никуда против неё. Стало быть, надлежит тому быть, и Божий бич не проклинать, а благословлять следует...

Всё в мире подчинено высшей воле, ничего нет бессмысленного, случайного. И в судьбе человека — всё предначертано. Озирая свой путь, ещё крепче убеждался в том смиренный Тихон. Казалось бы, кто мог подумать, что сын скромного сельского батюшки из псковского погоста Клин станет однажды Патриархом всея России? Много поколений предков его служили в церкви дьячками, и лишь отец первым в роду получил священнический сан. Василий Беллавин пошёл дальше: окончил семинарию, Петербургскую духовную академию, принял постриг...

Кто мог подумать... А был в России такой человек. Человек, которому пути Господни открыты были. Отец

Иоанн Кронштадтский. Лишь единожды посетил его епископ Тихон. Совсем незадолго до смерти, когда Батюшка был уже болен. Сидели рядом, беседовали, а под конец отец Иоанн поднялся и, уходя, сказал:

— Теперь, владыка, садитесь вы на моё место, а я пойду отдохну.

Предвидел?..

А ещё во время учёбы в Торопецком духовном училище подшутили над скромным и трудолюбивым Василием друзья: смастерили кадило из кусочков жести и, махая им перед ним, возглашали: «Вашему Святейшеству многие лета!» А в академии дали прозвище шутливо-уважительное — Патриарх. Шутили друзья, а, вот, стала шутка явью. Божия рука — сила.

А ещё покойница-бабка явилась однажды во сне к отцу, предсказала скорую кончину ему и судьбы трёх его сыновей. О младшем, Василии, сказала: этот — будет великим...

Но не постигал Тихон всего смысла предсказаний, и тем более, не обращал внимания на шутки. Смирненно служил он Господу, постепенно поднимаясь всё выше на своём пути.

А путь этот нелёгок был, и как-то дивно совпадал с судьбой России в эти же десятилетия. В конце уходящего века был назначен епископ Тихон в далёкую и неведомую Алеутско-Аляскинскую епархию, где прослужил девять лет. По бурным рекам, на маленьких, кожаных байдарах он объезжал свою новую паству, посещал бедные и грязные их жилища, обучал молитвам, дарил иконки и крестики. С замиранием сердца смотрели многие, как крохотная лодка епископа вздымается волнами, грозящими потопить её. А на мелководье лодку приходилось нести на плечах, через болота, где тучами набрасывались на нежданных жертв комары. Спутников епископа косили болезни, а он не ведал их, как не ведал усталости и уныния. Он

сплавлялся по рекам, шёл пешком по тундрам, спал на земле и голодал, но эти лишения лишь укрепляли его, и всей душой привязались туземцы к своему «Алютухту»...

А Россия в те годы была подобна байдарке в бурных водах. Гремели взрывы, гибли сановники и простые люди, Цусимой окончилась несчастливая война с Японией, народные волнения едва не привели к Революции, сменилось три Думы... Но всё же не удалось свирепым валам потопить Россию, вывел её на ровную гладь умелый кормчий.

В 1907-м году возвратился владыка Тихон на родную землю. Наступала в России усилиями Столыпина эра благоденствия. Бури успокаивались, революция была подавлена, начиналась созидательная работа, страна стремительно развивалась и крепла. Эти благословенные для России годы стали благословенными и в жизни смиренного Тихона. Совпали они с его служением в Ярославской епархии. Здесь, как нигде, жива была исконная древняя Русь, на всём лежал отпечаток былой славы, сам воздух наполнен был духом веков минувших. Так же как и в Америке, посещал владыка самые отдалённые уезды своей епархии, добираясь до них верхом, на лодке, пешком — как приходилось, считая это главным своим пасторским долгом. А в 1913-м, полном торжеств, посетил Ярославль Государь Император, и единственный раз служил смиренный Тихон в его присутствии при большом стечении народа, желавшего лицезреть Царя-батюшку. И каким незабываемым казалось всё тогда!

А через год не осталось и следа от той незабываемости. Россия вступила в войну, а владыка Тихон стал архиепископом Литовским и Виленским. Когда подошли немцы к стенам Вильно, он вывез из города мощи святых Виленских мучеников Антония,



Иоанна и Евстафия. Большая часть епархии была занята неприятелем, но её пастырь продолжал ездить по фронтовым городам, ещё не захваченным, служил там молебны о даровании победы, на которые собирались даже староверы и католики.

— Воистину, Русь Царём сильна, и с ним не боится врагов она! Отстоит Царя Россия, отстоит и Россию Царь! — проповедовал он.

Но Царя — не отстояли... И вот, когда обрушилось всё, оказалось, что отстаивать Православную Русь, защищать народ православный должен он, смиренный Тихон... В Успенском соборе Кремля, искалеченном при подавлении восстания юнкеров (пробило стену и снарядом, угодившем в Распятие, оторвало руки Спасителю — больно и страшно взирать), возведён он был на патриарший престол. И облекли в древние ризы святых предшественников (впору пришлись, как на него пошитые). И трижды провозгласили: «Аксиос!» И пропел многолетье голосом-колоколом архидиакон Розов. И увенчали белым клобуком патриарха Никона смиренную главу.

Русские митрополиты и патриархи, сколько принято вами мук за веру Православную! Митрополит Филипп — обличал без страха деяния грозного царя, и удушен был убийцей Малютой. Патриарх Иов — избит, заточён и уморен поляками. Патриарх Гермоген, из темницы взывавший к русским людям, поднимавший их на борьбу с засевшими в Кремле кощунниками — заморен голодом. Вернулись на Русь смутные дни. Снова в святом Кремле засел враг, снова смерть бродит по городам и весям, снова угнетён народ, и рассеяны силы его, снова над верой глумятся, и святые бесчестят. И нужен здесь новый Гермоген! А смиренный Тихон сумеет ли до высоты той хоть отдалённо дотянуться? Но, раз поставил Господь, так и научит, не покинет избранника своего. Взывал некогда патриарх Гермоген

из своего узилища к русским людям: «Болит моя душа, болезнует сердце и все внутренности терзаются, все составы содрогаются. Я плачу и с рыданием вопию: помилуйте, братие и чада, свои души и своих родителей, отошедших и живых... Посмотрите, как отечество наше расхищается и разоряется чужими; какому поруганию предаются св. иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющих к Богу! Вспомните, на кого Вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворившего вас? Не на своих ли братьев? Не своё ли отечество разоряете?..» И также готов был возопить Патриарх Тихон, видя, истребляют друг друга в братоубийственной бойне русские люди. Да услышат ли?..

Пели вокруг утешно новому Патриарху, а он прозирал уже, что не избежать ему в голгофские годы участи своих предшественников. Что вместе с белым клобуком Никона опустил на главу его терновый венец. На выходе из собора приветствовали своего Пастыря москвичи. Опускались на колени, крестились, желали многолетия и благоденствия, просили молитв. Даже красноармейцы, охранявшие Кремль, погасили папиросы и снимали шапки. Тоже ведь, как не затуманены, а русские люди... Благословлял смиренный Тихон паству, но вдруг вырвалась вперёд растрёпанная, страшная в своём бесновании женщина, захохотала, закричала неистово:

— Недолго, недолго вам радоваться! Убьют, убьют вашего Патриарха! — и рукой указывала, и тряслась вся. Какой злой демон вселился в эту несчастную душу и глаголил устами безумной? Помолился Святейший, чтобы исцелил Господь своё страждущее чадо, как некогда гадаринского бесноватого.

«Убьют, убьют...» — истерический вопль. Знал смиренный Тихон и сам, что — убьют. И к смерти был приготовлен. И не боялся её, ибо для верующего

человека что может быть радостнее, чем принять смерть за Христа? Но и легко же обычному верующему. Он несёт ответственность лишь за свою душу, за свою жизнь. А Патриарх Всероссийский — за души всех чад своих. И принимая решение, обязан он печься о них. Простой священник может обличать бесстрашно богоборческую власть, призывать народ на борьбу — и взойти на крест, погибнуть за веру. Но слова Патриарха — дело иное. Они — закон для верующих. И за них не он один будет платить своей головой, но сколько ещё голов невинных полететь может! И он перед Богом за них в ответе. Вот, и удержаться: не зайти в заявлениях и призывах слишком далеко, чтобы не спровоцировать, не усугубить кровопролития, но и не отступить же в главном, не предать молчанием Бога. На этой грани, лезвия бритвы тоньшей, удержаться — Господи, вразуми смиренного раба Твоего!

Считал Святейший неоспоримо: Церковь не должна вмешиваться в политику. Известный лозунг: армия — вне политики. А Церковь — и подавно. Богу — Богово, а Кесарю — Кесарево. И бороться с установившейся властью не намерен был смиренный Тихон. Раз попустил Господь, чтобы такова была, значит, заслужили бича этого. Но и поддерживать — ни в коем случае. Да и ни одну из противоборствующих сторон не поддержал открыто. Просили благословить Деникина, Колчака — отказал. Церковь — вне политики. Как глаголил святитель Василий Великий: «Во всём ином, о, правители, мы скромнее и смиреннее всякого, — это повелевает нам заповедь; а когда дело о Боге, и против Него дерзают восставать, тогда, не обращая внимания ни на что, мы имеем в виду одного Бога». Вот, в этом, последнем, должен всякий христианин насмерть стоять. И здесь примирения не могло быть. Не дело Церкви судить о земной власти, Богом попущенной, тем более, бороться с нею, но прямая обязанность — указывать на

отступления от великих Христовых заветов, избличать действия, основанные на насилии ко Христу. И выступал смиренный Тихон с резким осуждением богоборческих решений новой власти, защищая веру и Церковь, и анафематствовал власть за «декрет о свободе от совести», и стоял в вопросах этих несокрушимо, как скала.

Со всей России шли к Патриарху люди. Шли письма. «Вся надежда истерзанных сердец и душ наших на Тебя, на святые молитвы Твои. Моли Господа, нашего Царя небесного, помиловать и спасти нашу Русь Православную». Всех принимал смиренный Тихон, всех выслушивал с участием, всем старался подать утешение. Да как утешить, когда вся страна вопиёт? Нет, не письма, не просьбы, не жалобы летели к нему со всех краёв, а только лишь — вопли. Вопли терзаемых, осиротевших, ограбленных, обещанных... Вопли вздёрнутой на дыбу — России. «Помогите и здесь на земле...» А чем помочь? Чем облегчить страдания вопиющих? Каждый день приносил новые и новые леденящие душу вести...

Жестокий террор развернула власть против священства. Первым мучеником погиб в Киеве старейший из русских архиереев, митрополит Киевский и Галицкий Владимир, бывший председателем Собора, из рук которого принял смиренный Тихон посох святителя Петра. Не согласился владыка Владимир ни стать «украинским патриархом», ни отдать епархиальные деньги. Семидесятилетнего старца убили ночью, подняв с постели и выведя за ограду монастыря. Нашли его во рву почти раздетого, на груди рана рваная, лицо и затылок штоком истыканы, рёбра переломаны, глаз пробит пулей... Архиепископа Пермского и Кунгурского заставили вырыть себе могилу и живьём закопали в ней. Утопили в реке епископа Соликамского Феофана. Приехавшего расследовать их

гибель архиепископа Черниговского Василия — схватили и расстреляли на обратном пути. А епископа Тобольского и Сибирского Ермогена, благословившего последним из архиереев царскую семью незадолго до их убийства, с камне на шее бросили в Тобол. Архиепископу Сарапульскому Амвросию вывернули руки и нанесли удар штыком в спину. А епископу Петропавловскому Мефодию штыковые раны старались нанести в виде креста. Белгородскому епископу Никодиму пробили голову железным прутом, а после расстреляли. Иоакима, епископа Нижегородского, повесили на Царских воротах кафедрального собора Севастополя вниз головой... Убиты были епископ Вяземский Макарий, Кирилловский Варсонофий, Селенгинский Ефрем. А сколько было убито простых священников! Монахов! А перед смертью терзали, как первых христиан. Монахинь подвергали насилию и глумлению... Большевики затмили в своём зверстве римских императоров, но при этом посол в Берлине Иоффе заявил, ничуть не смутясь: «Никогда не имели места на территории Советской республики массовые расстрелы невинных людей и аресты высших священнослужителей».

Есть грань, за которой смирение превращается в отступничество, в предательство безмолвием. И не мог молчать смиренный Тихон, видя бесчинства безбожной власти, принимая в душу свою слёзы, изливавшиеся ему со всех концов ставшей полем брани России. Хотя уже перлюстрировались письма его, и всё чаще подвергался он обыскам и допросам, и после убийства Урицкого и покушения на Ленина террор обрёл сильнейший размах, но именно в это время, в канун годовщины Октября, Святейший обратился с письмом к Совету народных комиссаров, в котором высказал всё, о чём не считал себя вправе промолчать.

«Все взявшие меч мечом погибнут»  
(Матф. 26, 52).

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными комиссарами». Целый год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9, 10). Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унижительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоевана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставив защиту Родины, бежать с полей сражений. Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что «больше сия любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Иоанн, 13, 15).

Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что, когда

дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защищать родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете?

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности, все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве «заложников», этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами, не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной «контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения напутствия Св. Тайнами, а

тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много претерпели от жестоких властей?

Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями не прикрывались злодеяния, — убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями.

Вы обещали свободу.

Великое благо свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы и не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами



беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда населения целых домов выселяются и имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники, голос общественного и государственного обсуждения и обличения заглушен, печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их последнюю волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль это священное достояние всего верующего народа.

«И что еще скажу. Не достанет мне времени» (Евр. 11, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей

сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ Зверя.

Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась Божиим слугой, на благо подчиненных и была «страшна не для добрых дел, а для злых» (Рим. 13, 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры, обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междуусобной брани. А иначе «взыщется от вас всякая кровь праведная вами проливаемая» (Лук. 11, 51) «и от меча погибнете сами вы, взявшие меч» (Мф. 23, 27).

Ответ был закономерен, и даже мягок: Святейшего подвергли домашнему аресту, изъяв патриаршие панагии, кресты и митру, как «похищенные из Чудова и Вознесенского монастырей». Хотели судить, но не посмели. Ещё не ощутили, зажатые между двух фронтов, полной власти. Ещё беспокоились о реакции иностранных держав на свои действия. А убийство

Патриарха могло бы сильно навредить власти в глазах последних. Подержали под арестом чуть более месяца, помытарили допросами, стараясь уловить в чём-нибудь (а не получалось уловить — отвечал смиренный Тихон как будто бы прямо, а осторожно и умно, что не придерёшься, только удивляться могли допрашивавшие, откуда в похожем на простого сельского батюшку, бесхитростном и мягком с виду Патриархе столько тонкости и умелости в обхождении провокационных вопросов, словно всю жизнь только тем и занимался) — а с тем и отпустили. Надолго ли?

Шёл 1919-й год от Рождества Христова. «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» Ныне Спаситель родился. И утешно пели во храме. И убран был храм еловыми ветвями, смолянистый аромат которых смешивался с запахом ладана и воска. И всё было — как встарь. Светло и благолепно. А за пределами храма, по всем занесённым снегом просторам России продолжала литься кровь. Накалялись страсти. И жажда мести полнила души и толкала их на умножение жестокости, и кровь призывала кровь.

— Не омрачайте подвига своего христианского возвращением к такому пониманию защиты благополучия Церкви, которое унизило бы её и принизило бы вас до уровня действий её хулителей. Убереги, Господи, нашу Православную Русь от такого ужаса.

Светло и тепло горели свечи, подобные сердцам собравшихся во храме в Светлый праздник.

Беззащитным младенцем пришёл Господь в мир, и тотчас ополчились на него силы зла. И ища крови его, истребил Ирод тысячи невинных младенцев. А теперь новый Ирод правит Русью, и творит деяния, от которых содрогается душа, но, несмотря на все обиды и муки, нельзя уподобиться православным русским людям своим врагам, нельзя, подняв меч, разить им в погромном безумии правого и виноватого, не разбирая, губя души в крови отмщения.

— Православная Русь, да идёт мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие. Да не обагрится твоя рука в крови, вопиющей к небу. Не дай врагу Христа, Дьяволу, увлечь тебя страстию отмщения и посрамить подвиг твоего исповедничества, посрамить цену твоих страданий от руки насильников и гонителей Христа. Помни: погромы — это торжество твоих врагов. Помни: погромы — это бесчестье для тебя, бесчестье для Святой Церкви! Для христианина идеал — Христос, не извлекавший меча в Свою защиту, утихомиривший сынов грома, на кресте молившийся за своих врагов. Для христианина путеводный светоч — завет святого апостола, много претерпевшего за своего Спасителя и смертью запечатлевшего преданность Ему: «Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Ибо сказано: Мне отмщение и Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие угли».

## Глава 21. Встреча рыцарей

*Январь 1919 года. Омск*

Многострадальная ручка кресла давно покрылась затейливыми иероглифами, но адмирал продолжал нещадно кромсать ее перочинным ножиком, вымещая на ней накопившееся раздражение. А раздражаться — было от чего! Как только принял Александр Васильевич пост Верховного, так мгновенно оказался под огнём с самых разных сторон. Вместо того, чтобы сражаться с врагом, с большевиками, приходилось тратить время и нервы на баталии с оппозицией внутренней, с предателями, которые слово «Родина» понимают только в том случае, если они её главные «спасители». Если не они главные, то и Родина в красном пламени сгорай! Что поделаешь с ними? Ударяют штыком в спину, открывают путь большевикам. Думают уцелеть сами? Или разучились думать? До того обезумели, что элементарный инстинкт самосохранения утратили? Да думают ли, вообще? Сомнительно. Временное правительство, Керенский, большевиков вооружая и предавая Корнилова, думал ли? И горький этот опыт уже за плечами имея, ничему не научились!

Началось всё с генерала Болдырева. Строго говоря, у него были причины обижаться. Являясь одним из Директоров и Главнокомандующим фронтом, он сам мог рассчитывать стать диктатором. И ничего не имел против этого Александр Васильевич, сам на историческом заседании восемнадцатого ноября был одним из двух, кто голосовал за кандидатуру Болдырева. И не желая терять опытного и знающего обстановку генерала, полагал Колчак вначале оставить за Болдыревым командование фронтом. Но стало

известно, что тот осуждает переворот и подбивает чехов выступить против Омска с тем, чтобы восстановить Директорию. Только и не доставало, чтобы чехи двинулись на Омск! Мало одной усобицы, так ещё и другую начать потому лишь, что оказалось задетым честолюбие одного генерала! И какой позор для него! Говорить о любви к России и преданности ей и быть готовым расколоть антибольшевистский фронт, пойти против своих? Уму непостижимо! Чехи колебались. Хотя генерал Сыровой запретил всякую политическую пропаганду на фронте, это не помешало Чехословацкому Национальному Совету выпустить декларацию, в которой говорилось, что чехословацкая армия не может сочувствовать «насильственным переворотам», что переворот в Омске был незаконен, что чехословаки надеются, что кризис будет разрешён законным путём, и потому считают его незаконченным. Всё это крайне волновало англичан, которые даже установили пулемёты на омских улицах на случай выступления чехов. Позор! Судьбу России решали иностранцы! Поддержки чехи Болдырева, и диктатура была бы сметена. Но чехи, несмотря на неприязнь к новой власти, сохранили нейтралитет. Правда, этот глухо-враждебный нейтралитет не мог успокаивать. Чехи, давно покинувшие фронт, из главной силы, помогавшей в борьбе с большевизмом, превращались в силу, представляющую угрозу антибольшевистскому движению в Сибири. Оказавшись в тылу, хорошо вооружённые, они в любой момент могли нарушить нейтралитет, нанести удар в спину.

Не получив ожидаемой поддержки от чехов, Болдырев прибыл в Омск для встречи с адмиралом. Держался он вызывающе, говорил, не скрывая враждебности, с апломбом:

— Судя по краткой беседе с генералом Дитерихсом, нанесён непоправимый удар идее суверенности народа

в виде того уважения, которое в моём лице упрочилось за титулом Верховного главнокомандования и со стороны войск русских, и со стороны союзников. Я не ошибусь, если скажу, что ваших распоряжений как Верховного главнокомандующего слушать не будут. Я не позволил себе в течение двух суток ни одного слова ни устно, ни письменно, не обращался к войскам, и все ждали, что в Омске поймут всё безумие совершившегося факта и, ради спасения фронта и нарождавшегося спокойствия в стране, более внимательно отнесутся к делу. Как солдат и гражданин, я должен вам честно и открыто сказать, что я совершенно не разделяю ни того, что случилось, ни того, что совершается, и считаю совершенно необходимым восстановление Директории, немедленное освобождение и немедленное же восстановление в правах Авксентьева и других и сложения вами ваших полномочий. Я считал долгом чести высказать моё глубокое убеждение и надеюсь, что вы будете иметь мужество выслушать меня спокойно.

Трудно было слушать спокойно эту тираду, так и штормило всё внутри, и на каждое заявление хотелось ответить. Нарождавшееся спокойствие в стране! Хорошо спокойствие! Все месяцы, что находился Колчак в составе правительства, только тем и занято было оно, что делило портфели, делом и заниматься некогда было. Спокойствие! Отдали власть, де-факто, одной партии. И какой! Партии социалистов-революционеров, угробивших уже Россию однажды! Это — спокойствие? И сколько слов выпрених, сколько позы в речи генерала! И всё это для того только, чтобы прикрыть единственное — оскорблённое честолюбие! Нет, без таких генералов обойдётся Россия...

Присовокупил ещё:

— Если бы вы пожелали выслушать более подробную характеристику положения на фронте и оценку политических кругов в прифронтной полосе в связи с происшедшими событиями, я охотно это исполню.

— Генерал, я не мальчик, в ваших поучениях не нуждаюсь, — сдержанно ответил Александр Васильевич. — Я взвесил всё и знаю, что делаю.

— В таком случае, при создавшихся условиях ни работать, ни оставаться на территории Сибири я не желаю!

Это было кстати. Совсем не желал и Колчак, чтобы этот с непомерным гонором, готовый развязать ещё одну усобицу генерал оставался в Сибири и мутил воду.

— О, разумеется. Отдых будет вам полезен. Вы можете отправиться в Японию. Очень вам рекомендую. Или же в Шанхай.

— Благодарю. Я уеду через три дня. Но знайте, вы подписали чужой вексель, да ещё фальшивый, расплата по нему может погубить не только вас, но и дело, начатое в Сибири!

Александр Васильевич вспыхнул, но, подавив гнев, произнёс спокойно:

— Прощайте, генерал. Желаю вам приятного отдыха.

— Честь имею!

Болдырев уехал через несколько дней, выпустив прощальное воззвание к армии, в котором завещал помнить, что будущее России на фронте и в создании единой боеспособной армии. Будет крепок фронт и крепка духом армия — будет обеспечено и воссоздание Великой России. Мысли эти очень согласовались с убеждениями Колчака, и он мысленно поблагодарил генерала, что хотя бы напоследок он повёл себя, как джентльмен и патриот, не дав волю честолюбивым стремлениям.



В речи Болдырева задело адмирала упоминание Дитерихса. Случайно ли упомянул его генерал? Или Михаил Константинович тоже противник переворота? Известный своими монархическими убеждениями, он вряд ли мог сочувствовать директории. С другой стороны, он был командующим у чехословаков, близок к ним... А чехословаки были недовольны. Только и сдержало их давление союзников... Никому нельзя довериться. Столько людей, а опереться не на кого... Пустыня! Что все идеи, все программы и намерения, если нет людей, чтобы их воплощать? Людей верных? Кажется, всё придётся решать самому. Всё решать, всё делать и за всё отвечать. Но это и неплохо отчасти... «В основании учения об управлении вооружённой силой лежит идея творческой воли начальника — командующего, облечённого абсолютной властью, как средством выражения этой воли», — так сам писал ещё в двенадцатом году, в очерке «Служба Генерального Штаба». «Искусство высшего, вернее, всякого командования есть искусство военного замысла, — это та творческая работа, которая в силу своей сущности может принадлежать только одному лицу, так как понятие всякой идейной творческой деятельности не допускает возможности двойственности и вообще участия в ней второго лица». И разве не подтвердили справедливость этого утверждения все коллегиальные правительства последнего периода: Временное, Комуч, Директория? Они оказались творчески бесплодны, вместе собравшись, ни одного решения принять не могли, занимались внутренней грызнёй, не имели единой линии. А единая линия может быть только у одного человека. У командующего. Правда, творческого подъёма не ощущал в себе Александр Васильевич. Настолько велик был окружающий разгром, что руки опускались. То ли дело было в благословенные годы борьбы за судостроительную программу! Огонь горел в

крови! И на Балтике, и в Севастополе... А теперь огня этого не хватало. Было лишь сознание долга и готовность отдать всё во имя возрождения России. Ещё будучи военным министром при Директории, составил Колчак план действий первой необходимости: исключить партийную борьбу, никаких партий не должно быть ни в армии, ни в государственных органах, сокращение непомерно разросшихся штабов (одних «помощников», слоняющихся без всякого дела несметное количество — место им на фронте!), создание и укрепление кадров для армии и будущего флота. А ещё и в тылу же нужно налаживать жизнь. Вторичное дело в сравнении с армией, но и его забывать нельзя. И всю эту махину — в одиночку вытянуть? Конечно, «творческая работа по созданию замысла является по существу единоличной и принадлежит всецело командующему безраздельно, всякое влияние на неё со стороны вторых лиц является недопустимым, никакой помощи или совместной деятельности в этой работе быть не должно», но исполнители — нужны. Сотрудники и сподвижники — нужны. На кого бы опереться можно было, кому со спокойным сердцем можно было бы доверить то или иное дело и быть уверенным, что оно будет исполнено на совесть. Озирался адмирал в поисках таких людей и не находил, тем более, что почти никого не знал прежде.

Союзники удержали чехов от бунта. Союзники стали играть непропорционально большую роль. Не было в Сибири развитой промышленности. Следовательно, до времени жива армия была только поставками союзников. А те своей выгоды не забудут, бескорыстной помощи от них ждать не приходилось. Прибывший глава французской миссии генерал Жанен, сразу Колчаку не понравившийся, с порога намекнул, что главнокомандующим над войсками должен быть он. И

союзники его поддержали. Хорошее дело, нечего сказать! Ещё иностранца в командиры над армией! И под его началом бороться с большевиками за «национальную Россию»! Очень поверит население национальным лозунгам в таком случае. И без того присутствие и влияние союзников в существующем объёме бросает тень на Омск. Выговорил Александр Васильевич резко на бесцеремонное предложение:

— Я нуждаюсь только в сапогах, тёплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Для того чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы.

Сняли больной вопрос с повестки дня после этого. Но уж теперь не забудут...

Самым низким образом повели себя эсеры. От них, правда, много ожидать и не приходилось. А всё же зло брало от такой вопиющей подлости. Собранный в Екатеринбурге, где находился бежавший из Самары Комуч, Съезд членов Учредительного собрания заявил о полной невозможности признания переворота и борьбы против Омска всеми средствами. Бомбы собрались метать снова господ эсеры? Мало им, что Россию сгубили, так и тут не могут остановиться! Месяц назад сами увещевали кого-то за намерение открыть борьбу в тылу фронта, а теперь ради своих партийных догм идут на это — с какой лёгкостью! Нет, этим людям нет дела до России. Россия для них лишь средство для воплощения своих подлых партийных целей, для них их партия выше России, и Россию, не задумываясь, приносят они в жертву ей раз за разом. Во главе собравшихся негодяев стоял бывший член Временного правительства Чернов, о котором ещё в ту пору говорили, что он немецкий агент. Цацкаться с подобными мерзавцами Александр Васильевич нужным

не счёл и отдал приказ об их аресте. Несколько рот 25-го Уральского драгунского сибирского полка исполнили его. Но в дело вмешались чехи, база которых находилась в Екатеринбурге. Заправлявший там чешский генерал Гайда отбил арестованных. Пришлось вести переговоры с ним. Решено было отправить членов Комуча в Тюмень и Шадринск, но по пути туда они вновь были освобождены чехами и доставлены в Уфу. В Уфе эсеры продолжили свою подрывную деятельность. Выпустили ультиматум: «Если наше предложение не будет принято, Совет управляющих ведомствами объявит вас врагами народа, доведёт об этом до сведения союзных правительств, предложит всем областным правительствам активно выступить против реакционной диктатуры в защиту Учред. Собр., выделив необходимые силы для подавления преступного мятежа». Горбатого могила исправит! Ходили слухи, будто бы ультиматум был послан с одобрения чешского командующего Уфимским фронтом генерала Войцеховского. С другой, передавали, что именно Войцеховский не допустил столь желаемого Советом снятия с фронта воинских частей для посылки их на Омск и поездки на фронт самих «учредиловцев». Кому-то верить?

Адмирал издал новый приказ об аресте Комуча и ответственности всех начальников и офицеров за помощь ему в его подрывной деятельности. Миссию выполнения этого приказа взял на себя Дитерихс. Сделал он это с явным нежеланием и даже заявил о своём отказе сотрудничать с Верховным правителем впредь. Арест был произведён. Но арестовали — не тех. В Омск доставили лиц, Колчаку неизвестных, видимо, бывших на вторых ролях. Главари же, включая Чернова, были предупреждены чехами и скрылись. При расследовании деятельности Совета вскрылись громадные хищения. Миллионы рублей выделялись без

всякого порядка, на неведомые (надо думать, партийные) цели и исчезали бесследно. Только «в связи с военными обстоятельствами» израсходовано было пятнадцать миллионов, из которых около десяти были сняты в один день. Совет считал себя вправе снимать ценности с эшелонов эвакуированных казначейств и отделений Государственного банка. Таким образом было захвачено тридцать шесть миллионов... В голове не укладывалось! Колоссальные суммы, десятки миллионов рублей буквально растворились в воздухе, а виновных невозможно было придать суду! Виновные затаились в Уфе, продолжали свою подпольную подрывную деятельность, готовили восстание, и, в конце концов, Уфа пала, в последний день ушедшего года в неё победоносно вошли красные части...

В первые дни правления адмирал получил немало приветственных телеграмм. От торгово-промышленных организаций, различных частей армии, многих сибирских городов, от генералов Хорвата и Иванова-Ринова. Это придавало некоторую уверенность. Признали Верховного правителя и на Юге, о чём последовало официальное заявление Деникина.

В поддержке армии Александр Васильевич не сомневался. Но была ещё атаманина. Сразу признал адмирала лишь атаман Дутов. Атаман Анненков временно воздержался от признания, явно демонстрируя свою независимость. Калмыков хранил молчание. Но хуже всего дело обстояло с Семёновым. Забайкальский атаман отказался признать новую власть и повёл себя таким образом, что конфликт едва не привёл к кровопролитию.

Григорий Михайлович Семёнов заинтересовался фигурой Колчака ещё в Петрограде. В то время будущий атаман носил чин есаула, служил в Уссурийской конной дивизии и был одним из ближайших соратников генерала Крымова. С

поручением от последнего он и прибыл в столицу летом Семнадцатого. В Петроград Семёнов привёз проект формирования добровольческих частей из инородческого населения Забайкалья. В то же время он стал сводить знакомства с представителями разных офицерских организаций, имея целью организовать переворот с целью ликвидации Петросовета, свержения «временщиков» и установления диктатуры. Григорий Михайлович, как и другие, искал Диктатора. И также как и другие остановил свой взгляд на Колчаке, как на возможном кандидате. Семёнов жил на квартире лейтенанта флота Ульриха, и, нет сомнений, что тот немало рассказывал ему об адмирале. Но тогда Александр Васильевич отбыл за границу, и совместной деятельности не получилось. Второй раз их пути пересеклись в Шанхае, где адмирал, уже поступив на английскую службу и получив назначение в Месопотамию, ожидал парохода. От Семёнова к Колчаку явился посланец атамана поручик Жевченко. Он живо и подробно описал развёрнутую своим командиром кипучую деятельность: с кучкой соратников Григорий Михайлович стал разоружать революционные запасные и ополченские части в родном Забайкалье, собирал добровольцев и разгонял совдепы. Ища контактов с российскими представителями за границей и союзными дипломатами, он отправил Жевченко в Шанхай. А к тому приказал ему непременно встретиться с Александром Васильевичем.

— Атаман просит вас прибыть в Маньчжурию для возглавления начатого им движения против большевиков.

Ничуть не привлекало адмирала такое предложение. Уже успел он услышать кое-что о семёновских отрядах и их методах. Чистейшей воды атаманщина! Не регулярная армия, а пугачёвская ватага. Ни дисциплины, ни законов. Авантюризм. Не мог

и не хотел Колчак участвовать в столь своеобразном формировании. Партизанщина представлялась ему не достаточно серьёзной постановкой дела. Нужна была организация, регулярные вооружённые силы, стратегия действий, а ничего этого не было у Семёнова. Ответил уклончиво:

— К сожалению, я поехать не могу, так как связан обязательствами перед английским правительством. Но к выступлению Григория Михайловича я отношусь сочувственно, а потому буду ходатайствовать перед нашими агентами о содействии вам в снабжении оружием.

Но скоро судьба привела Александра Васильевича на территорию Семёнова. Передумали англичане, и уговорил российский посланник князь Кудашёв принять на себя командование военными силами, сформировавшимися в районе КВЖД, и распределение сумм, поступавших от союзников. Это предложение показалось более серьёзным, и адмирал согласился. Тут-то и начались разлады с Семёновым. Нашла коса на камень.

То, как организованы были атаманские дружины, казалось адмиралу чем-то вопиющим. Вольница! Сечь! Атаманы не подчинялись никому, отряды их вели себя зачастую, как большевики, как бандиты. Много рассказывали Колчаку о творившихся на КВЖД бесчинствах. Атаманские отряды присваивали себе функции политической полиции и контрразведки, досматривали поезда, арестовывали всех, кто вызывал их подозрения, убивали без суда и следствия. Всё это представлялось адмиралу сущим кошмаром, не хотелось даже верить в то, что всё это правда, но вскоре в этом пришлось убедиться. Партизаны полностью перенимали тактику своих противников. Главной причиной тому была месть. Пробраться к партизанам через большевистские кордоны было делом

рискованным. Задержанных предавали мучительной смерти. Только при переходе через Слюдянку погибло, по меньшей мере, четыреста офицеров. Могли ли уцелевшие не мстить? Мораль была одна: режь сам, пока не зарезали тебя. Какое чудовищное развращение! Да чем же тогда мы их лучше? Только тем, что идея другая? Попытался Александр Васильевич как-то повлиять на обстановку, но не мог. Даже привлечь к ответственности по закону лиц, совершивших преступления было нельзя! Нельзя было лица эти установить, потому что никто их не выдавал! Да и действовали наверняка: арестовывали, кого считали нужным, по ночам, увозили куда-то, и люди бесследно исчезали. Приходилось адмиралу видеть, как бесчинные аресты осуществлялись в самом Харбине. А повлиять не мог. Только настроил против себя атаманов и их людей. В этом регионе властью были они...

Измучался Александр Васильевич, созерцая творящийся беспорядок. Вольница творила беззаконие, но даже среди неё не было единства. Партизаны враждовали ещё и друг с другом. К примеру, отряд Семёнова конфликтовал с отрядом Орлова. Рознь и распущенность... Это ли фундамент для антибольшевистского движения? Для будущей армии?..

До того дошло, что семёновцы арестовали одного из офицеров Колчака и отправили в Маньчжурию на расстрел. Александр Васильевич успел вовремя вмешаться, сам арестовал арестовывателя и потребовал, наконец, полного подчинения себе семёновского отряда. Атаман подчиниться отказался. Колчак попробовал надавить, пригрозил не давать отряду никаких снабжений, но угроза не возымела действия. Семёнов был в хороших отношениях с японцами, и ему помогали они. Отношения же Александра Васильевича с ними были крайне натянуты. На просьбу продать оружие их генерал таинственно



осведомился, «какую компенсацию может дать Россия за помощь». Вспылил адмирал, наговорил японцу лишнего, с той поры отношения разладились.

Александр Васильевич прибегнул к последнему способу сохранить баланс: разделить сферы влияния — оставить Забайкалье атаману, а самому с будущими войсками обосноваться в Амурской области и Приморье. Ответом была новая низость! За спиной Колчака Григорий Михайлович сговорился с Хорватом, начальствовавшим над КВЖД, относительно того, как делить финансовую помощь союзников без участия адмирала. Всё развалилось окончательно...

Всё чаще Александру Васильевичу казалось, что какой-то злой рок следует за ним. Что фортуна, благоволившая ему в молодости, теперь отвернулась от него — и окончательно. Все продолжали видеть в нём победителя, знамя, а он во время всё чаще настигавших его приступов хандры чувствовал себя — неудачником. Дело жизни его, Босфорская операция, не состоялось. Флот Черноморский ему сохранить не удалось. Продолжить войну на службе союзников (кондотьером — что за унижение!) — тоже. Провалилась работа на КВЖД... Столько усилий, нервов, огня, трудов — и всё напрасно. А теперь он — Верховный правитель. Зачем? Чтобы и здесь — всё рухнуло?.. Нужно было пробираться на Юг, пойти в подчинение Деникину. И зачем только внял уговорам и остался в Омске? Полководцу, от которого отвернулась удача, нельзя быть правителем... Неужто окажется Болдырев пророком? А — не обратить уже.

Не забыл Семёнов обиды. Как Иуда, повёл себя после переворота. Прислал протест! Он, де, не признаёт адмирала Колчака Верховным правителем, потому что тот, находясь на Дальнем Востоке, противодействовал успеху его отряда и оставил его без обмундирования и

припасов, но согласен признать таковым Деникина, Дутова или Хорвата!

Надо было привести в чувство эту вольницу! Сколько же будут продолжаться эти капризы, эта губительная самостийность?! А тут ещё поступили сведения, будто бы на Забайкальской железной дороге задержан транспорт с оружием, обувью и другими вещами. Ещё и снабжение перекрыть вознамерились?.. Это была серьёзнейшая угроза. Оказалось впоследствии, что было это лишь совпадением, но тогда не на шутке встревожился Александр Васильевич. Велел полковнику Лебедеву, корниловскому посланнику (теперь — связующее звено с Деникиным!), назначенному начальником штаба, вызвать Семёнова по прямому проводу и всё выяснить. Атаман разговаривать не пожелал. Что было делать? Александр Васильевич издал приказ, объявляющий Семёнова предателем и отрешающий его от должности, и выслал в Забайкалье отряд, чтобы навести там порядок и обеспечить беспрепятственное прохождение грузов. Узнав об этом, всполошились японцы. Они заявили, что в случае, если колчаковский отряд войдёт в Забайкалье, то их войска будут с ним сражаться. Только этого и не доставало! Пришлось срочно отряд останавливать. Чем бы всё окончилось неизвестно, но в конфликт вмешался Дутов, обратившийся к Семёнову и напомнивший ему об ответственности перед Родиной. Сошлись на компромиссе: адмирал отменил свой приказ об отрешении атамана от должности, а тот признал его Верховным правителем.

Вся эта история оставила тяжёлый осадок в душе Александра Васильевича. Какой моральный ущерб, какая пощёчина власти! И какой подрыв всего движения! Вместо монолитной силы, готовой противостоять врагам Родины, оно лишь радовало их своей расколотостью, постоянными внутренними

конфликтами, раздиравшими его. Стыд! Стыд! Ясно видел Колчак, что все вскрывшиеся в первые же дни противоречия не сняты окончательно, что ещё непременно проявятся они. Может быть, всего этого не случилось бы, будь на его месте кто-нибудь другой? Может быть, он просто не должен был принимать власти? Сел не в свои сани? Вспоминалось болдыревский злой посул: «ваших распоряжений как Верховного главнокомандующего слушать не будут». Неужели прав был? До сих пор власти своей не чувствовал Александр Васильевич. Кто кому подчинялся в Сибири?.. Объявленный диктатором, Колчак всё больше осознавал, что не имеет в руках никаких рычагов, чтобы привести в чувство ни чешскую вольницу, ни атаманщину. Все жили по своим законам, все были надёжно защищены своей вооружённой силой и готовы были обратить её против своих же во имя личных целей. И это были — «свои»? И эти — сражались «за Россию»? И с ними — «делать дело»? Как?! Глухое отчаяние сдавливало сердце.

А тут ещё добралась до Омска Волжская группа под командование Каппеля. Партизаны. Подчинялись Комучу. Не лучшая рекомендация. И что из себя представляет этот молодой вождь, которого Болдырев, едва узнав о перевороте, произвёл в генералы. С чего бы? Рассчитывал на поддержку? Имел основания рассчитывать? Каппель сам — не из эсеров ли? Вокруг него их много было. Даже Савинков мелькал. Настораживала адмирала личность «волжского Наполеона». О делах его ходили легенды, которым даже верилось с трудом — настолько удивительны они были. Говорили разное. Одни ругали «выскачкой» и «учредиловцем», другие восхищались. Как-то поведёт себя этот волжский герой? При такой славе, должно быть, тоже — с амбицией. Начнёт свою «партию» сколачивать, пытаться диктовать условия, требовать. А

может, по зависти врут на него? О самом Колчаке мало ли наветов ходило! А окажется Каппель честным патриотом, человеком, на которого можно положиться. Хорошо бы так! Но с трудом в это верилось. Настолько не везло во всём, что и тут удачи ждать не приходилось. А потому нервничал адмирал перед предстоящей встречей с командиром Волжан, кромсал ручку кресла, ожидая его прихода. Приказал Каппелю быть у себя сразу по прибытии в Омск. Нужно было, не откладывая, познакомиться с этим легендарным героем, в глаза ему посмотреть. С минуту на минуту должен был появиться он, и Александр Васильевич беспокойно поглядывал на часы.

Ровно в назначенный час вошедший адъютант доложил о прибытии генерала Каппеля.

— Просите, — кивнул Колчак, убирая ножик и принимая официальный вид. Немного опустив голову, он поднялся, опираясь пальцами о стол, исподлобья, чуть опустив веки, воззрился на дверь, ожидая, кто же появится в её проёме.

Появился ещё довольно молодой человек, невысокий, подтянутый, на груди никаких наград, кроме георгиевской ленточки и значков академии и Николаевского кавалерийского училища. Светлые волосы расчёсаны на косой пробор, борода аккуратно подстрижена. Лицо усталое, обветренное, довольно простое, не ожесточённое, без тени хитрости, но светящееся умом. И всего примечательнее — глаза. Синие, глубокие, смотрящие прямо и твёрдо. В глазах этих была отчётливо видна непреклонная воля, неустрашимость, ум и прямота. Так прямо не мог бы смотреть человек, держащий камень за пазухой. Адмирал почувствовал некоторое облегчение. По первому взгляду, показался ему Каппель человеком симпатичным.

А молодой генерал звякнул шпорами, отдал честь, отрапортовал голосом звучным и хорошо поставленным:

— Ваше Высокопревосходительство, генерал Каппель по Вашему повелению прибыл!

Колчак выпрямился, посмотрел на волжского героя уже без напускной строгости, прямо. Взгляды встретились, и Александр Васильевич почувствовал, что человек, стоящий перед ним как раз таков, каким он надеялся и не верил найти его. Он быстро вышел из-за стола, он протянул Каппелю обе руки:

— Владимир Оскарович, наконец, вы здесь — я рад, я очень рад!

— Ваше Высокопревосходительство...

— Меня зовут Александр Васильевич.

В течение двух часов Каппель рассказывал адмиралу о делах, бывших на Волге. Колчак дотошно выпрашивал его обо всех деталях, после всех слухов ему хотелось знать из первых рук всё, что происходило на Волге. Теплело на сердце: какие же люди есть ещё в России! В разных самых слоях её! Как способны ещё бороться! Значит, не всё безнадежно! Не безнадежно движение, не безнадежен народ, не безнадежна Россия! Пока такие люди есть. Если бы больше их! Это не атаманщина, не чехи, которые себе на уме. Настоящие русские патриоты! Как бальзам на израненную душу Верховного, был рассказ Каппеля, как прорвавшаяся вдруг струя живительная сам он, волжский витязь, такой путь проделавший со своими богатырями. Владимир Оскарович рассказывал взволнованно, подробно, превознося мужество и доблесть своих подчинённых, и ни разу не обмолвился лишь об одном — о себе. Будто бы сами собой свершали подвиги его люди, а он ни при чём был. И никаких его заслуг не было. Удивительный человек! Где теперь такую скромность встретишь?

— Но вы-то, вы сами, Владимир Оскарович?.. Что же вы о своих подвигах молчите? Я наслышан о них.

Смутился герой воспоминанием о своих заслугах. И это смущение так было удивительно в таком мужественном человеке, имя которого наводило страх на красных. Опустил глаза, пожал плечами:

— Я? Я ничего...

Колчак с любопытством посмотрел на странного генерала, помолчал, а затем спросил:

— Сколько вам лет?

— Тридцать семь, то есть тридцать седьмой...

— Тридцать седьмой, — задумчиво повторил Колчак, вспоминая себя в эти годы. Сколько надежд было тогда! Сколько замыслов и сил! А теперь разбито всё и в прахе лежит... — Ну, а как вы смотрите на то, что происходит? Как, вы думаете, нужно бороться со всем этим?

Владимир Оскарович оживился, отбросил скромность, загорелся, заговорил горячо, подкрепляя каждую мысль свою случаями собственного совсем недавнего опыта. О, сколько успел передумать этот молодой генерал! Он не только громил большевиков на Волге, он анализировал, искал новые подходы, разрабатывал свою систему ведения Гражданской войны, а теперь, лишь подтолкнул его адмирал, и полилось обильным потоком много раз передуманное и перечувствованное, накипевшее, искавшее выхода.

— Большинство из нас, будучи незнакомы с политической жизнью государства, попали впросак, — рассуждал Каппель. — И многим очень трудно в этом разобраться. Революция — это мощный, неудержимый поток и пытаться остановить его — сплошное безумие. Нужно знать, что этот поток снесет все преграды на своем пути. Но дать этому потоку желательное направление было бы не так трудно. Мы этого не хотели понять. Наши военачальники ведут войну, применяя старинные методы, как будто бы теперь не

гражданская война, а старое доброе время со штабами и интендантствами! Правда, многие из них посвятили когда-то свою жизнь служению Родине и даже в свое время были на месте, принося много пользы. Но теперь гражданская война и кто ее не понимает, того учить некогда. Нужно дать возможность работать в деле освобождения родины не тем, кто по каким-то привилегиям или за выслугу лет имеет право занимать тот или иной пост, а тем, кто может, понимает и знает, что нужно делать!

Вот, с такими людьми работать можно. Сколько кипучей энергии, но не беспорядочной, а подкреплённой здравым смыслом, недюжинным умом. Ах, как давно не встречал Александр Васильевич подобных! Такие — на вес золота. Беречь их надо, помогать всячески. Поверил адмирал этому вдруг явившемуся герою. И хотелось многими своими мыслями и сомнениями поделиться с ним, обсудить, подкрепить свою веру угасающую его — пламенем горящей в глазах. Но удержался. Не счёл возможным так, сходу распахивать душу, почерневшую от всех тревог и неудач последнего года. Сказал искренне, вновь пожимая Каппелю руки:

— Владимир Оскарович, спасибо вам. Мне бывает часто очень тяжело... — всё-таки вырвалось, но не дал себе Колчак продолжить, повторил лишь с чувством: — Спасибо вам.

Понимающе посмотрели глубокие, умные глаза. Сопереживательно и готовно тяжесть эту на себя взвалить, помочь нести этот крест давящий. Ответил тоном ободряющим, своей внутренней верой и негибаемостью делясь:

— Ваше Высокопревосходительство, перед нами Россия — остальное неважно!